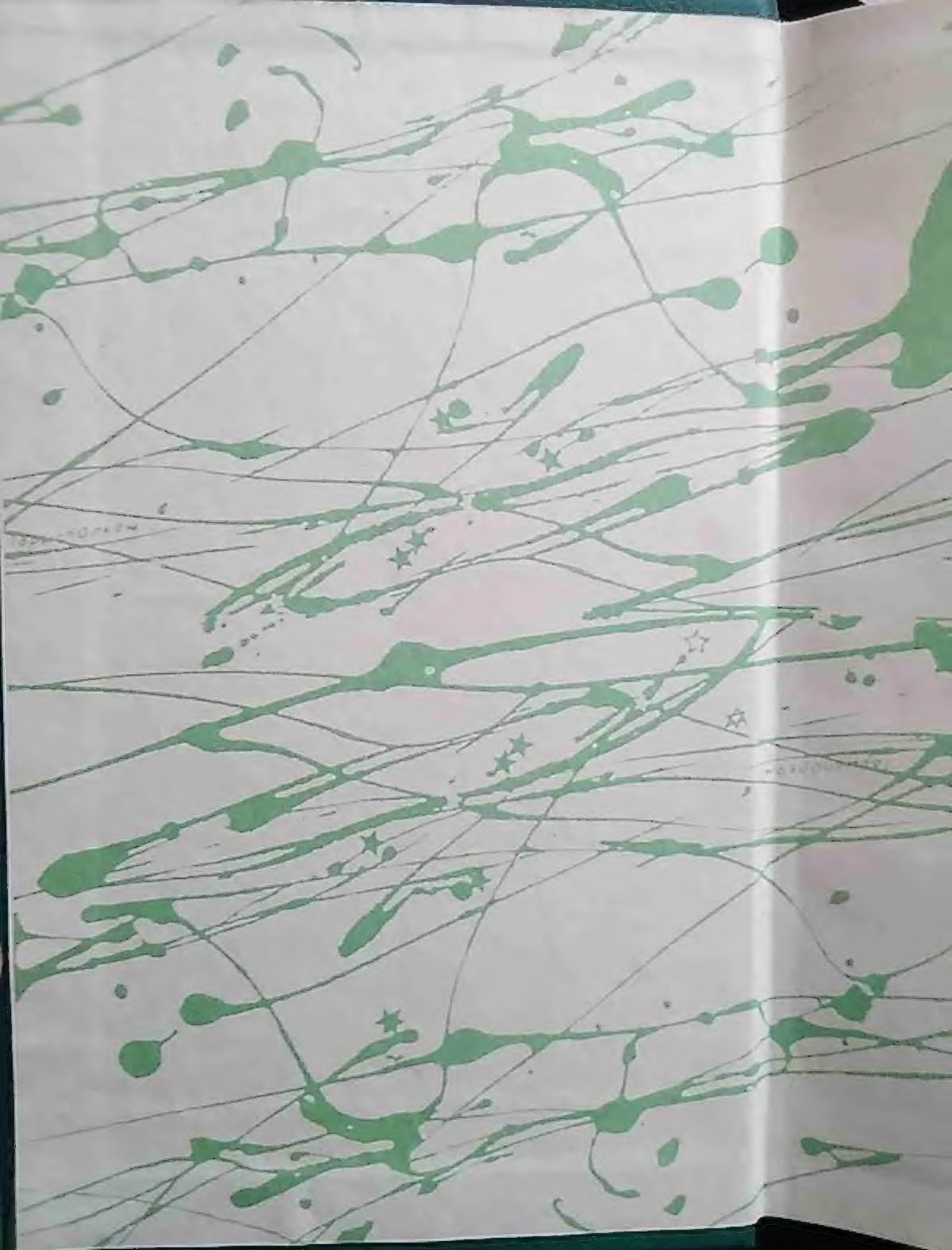
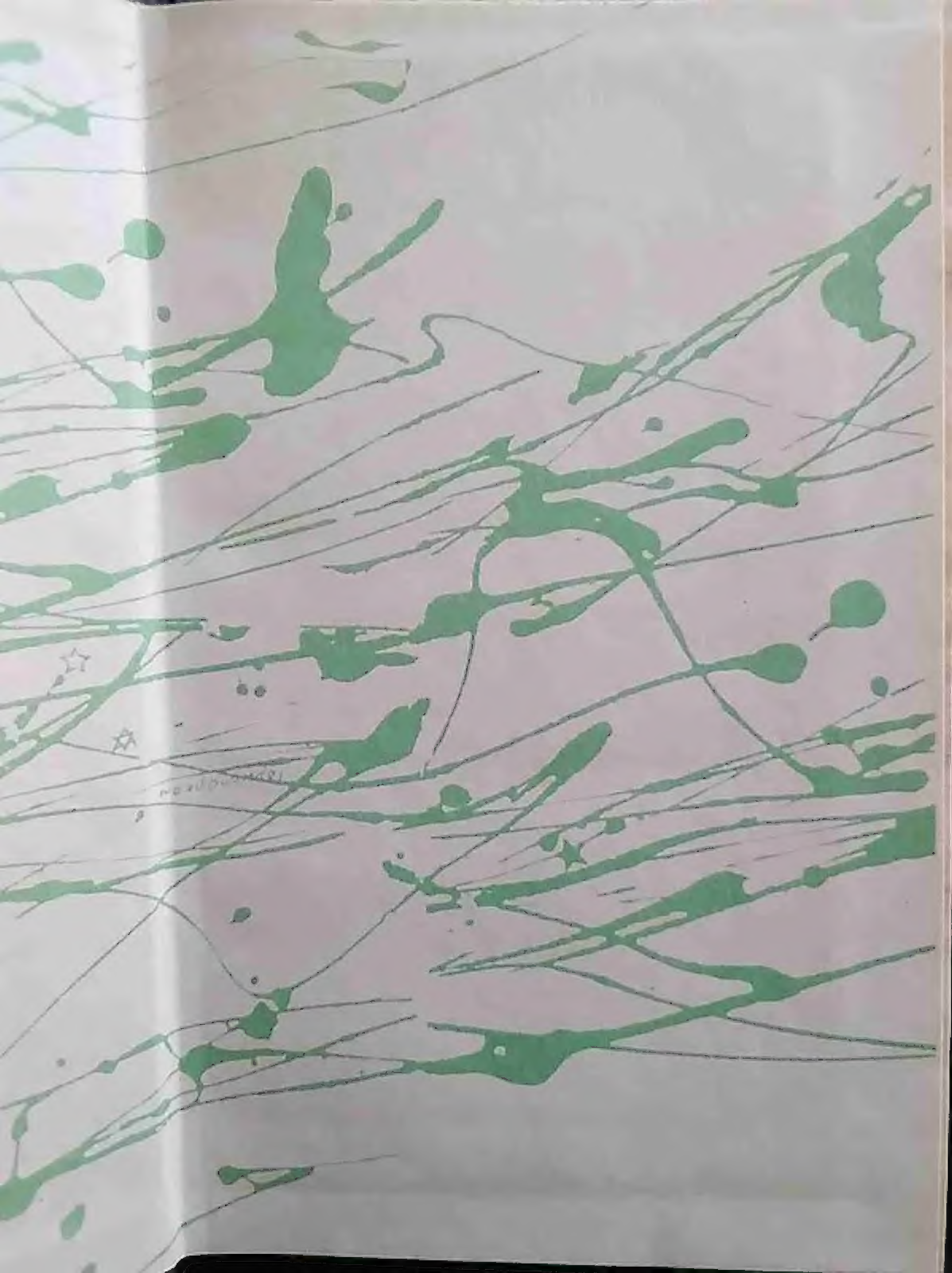


ИЗМАИЛ ЗАСЛАВСКИЙ

ИСХОD





ИЗМАИЛ ЗАСЛАВСКИЙ

ИСХОД

...Я стал пришельцем в чужой земле.

(Библия. Исход 2,22)



ИЗМАИЛ ЗАСЛАВСКИЙ



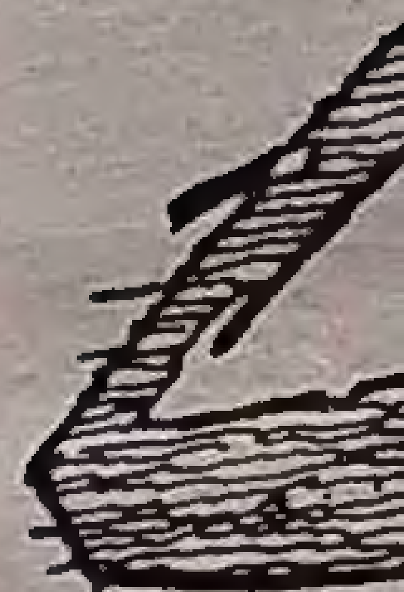
ИСХОД

Роман

Киев
Радянський пысьмэнный
1991

ББК 84Р7
З-36

Редактор Ю. С. Чикирисов



Заславский И. А.

З-36 Исход: Роман.— К.: Рад. пысьмэннык, 1991.— 431 с.
ISBN 5-333-01025-0

Что есть человек в этом мире? Куда он стремится? Что заставляет его сниматься с насиженного места и отправляться в дальний, зачастую неизведанный путь? Становится ли ему лучше, когда он меняет привычную среду обитания, а тем более Отчизну? Что он приобретает, а что теряет в безвозвратно изменившейся обстановке?

Эти и иные злободневные проблемы исследуются в романе «Исход». Его героев мы встречаем в Киеве и Вене, Париже и Нью-Йорке, Иерусалиме и Хайфе. Их чувства, мысли, поступки, логика событий помогут думающему читателю глубже понять проблемы гражданственности и патриотизма, разобраться в расхожих космополитических концепциях, отделить зерна от плевел...

Мир во всех его противоречиях добра и зла, любви и ненависти, горечи утрат и радости обретения не может оставить равнодушным того, кто окунется в него с добрым сердцем и светлыми чувствами.

ББК 84Р7

З $\frac{4702010201-189}{М223(04)-91}$ БЗ.26.9.90

ISBN 5-333-01025-0

Я стал пришельцем в чужой земле.
Библия, Исход (2, 22)



Стоял жаркий июльский полдень. Разгневанное до полуденной красноты солнце повисло над старым Подолом, прожигая насквозь все живое и мертвое. Ручьи тротуаров покрылись мелкой зыбью расплавленного асфальта. Из пересохших глоток водосточных труб сочилась смола.

Активные горожане без стона меняли третью кожу на кавказской Ривьере и виноградном Крымском побережье, отдавшись безвозмездным щедротам юга и мечтая лишь о том, чтобы «лето не кончалось», как ежедневно напевали пропахшие шашлычным дымом звонкие колокольчики громкоговорителей. Граждане, проявившие зрелую активность в прошлом, осели на клубничных дачах. Там они в уютных гамаках, натянутых меж двух деревьев сочной антоновки или данешты, плыли в вечность, вдыхая волшебные малиновые ароматы и решая вечную проблему этого лета — «быть или не быть» дождю.

Усталый Днепр накатывал нежные, благодатные волны в котел центрального пляжа, в котором варились не сбежавшие в эвакуацию на время жаркой битвы с солнцем и засухой. В прозрачном пляжном бульоне дозревали зажаренные в днепровской подливе неохваченные: домохозяйки, студенты, лица, которым юг противопоказан по состоянию здоровья, содержимому кармана, склонные к ностальгии,— те, кто ни за какие блага не променяют прозрачную ласковость и добрую, пусть и горящую, нежность украинского лета на экзотическую прелесть юга, тополиную негу на самшитовую тишь, днепровские склоны на Кавказские горы...

По Пешеходному мосту на пляж текла частично обезвоженная живая река доведенных до крайности, но взбодренных близостью воды горожан. На последнем издыхании

она спускалась вниз и, рассыпаясь жадными ручейками, плыла к бесчисленным раздевалкам, а затем к зарослям ивы и лозняка, дающим ненадежную, но временную тень.

Легко преодолев последние ступени, Майка нетерпеливо расстегнула верхние пуговицы легкого пляжного халатика, ощупывая усталым взглядом место встречи с подругой, сбежавшей на Днепр еще поутру с доброго согласия шефа. Тот благоволил к ней и позволял подобные вольности в надежде быть понятым и, таким образом, допущенным к интимной встрече в предместных таинственных зеленых кущах со всеми необходимыми атрибутами сервиса и чувства в виде мангала, боржоми, телячьей вырезки, коньяка и шотландского пледа, с отеческой заботой помещенных им в багажник своей малиновой «коломбины» марки «Жигули».

Подруга ее, в прошлом гимнастка, а в настоящем инженер-экономист, не желала прощаться со спортом. Она работала главбухом в ресторане «Старт», ласточкиным гнездом прилепившемся к дозорной днепровской круче и с высоты птичьего полета благожелательно, а порой пьяно взирающем веселыми глазищами на футбольное поле, теннисные корты и прочие места отчаянных спортивных сражений при любой погоде на одноименном стадионе «Старт». Центральная чаша спорткомплекса разместилась меж трех грандиозных холмов, увитых вековой зеленью застоявшихся берез, ясеней и тополей, переходящих в черемухо-сиреневые платаны, у ног которых спали бывшие дубы и королевские сосны в виде трибун для зрителей.

— Наконец-то дождались! Здравствуй! — Нинка чмокнула Майку в щеку.— Идем скорее. Ты в купальнике? — скороговоркой спросила она, пробираясь к берегу. При этом она усиленно глядела себе под ноги, чтоб не пройтись по спинам распластавшихся «мучеников».

— Нинуля! Мне бы переодеться...

— Ты посмотри на очереди у раздевалок,— укоризненно проговорила та.— Никаких переодеваний. Все делается очень просто. Вынимай купальник, бросай сумку и вперед!

— Куда?

— В воду. Ты же отличная пловчиха, я — тоже. Плывешь в халате — возвращаешься в купальнике. Я тебе помогу.

Майка впала в минутное раздумье, но, увлекаемая подругой, под сочувственные взгляды отдыхающих вбежала в воду, нырнула, всплыла метрах в пятнадцати и блаженно перевернулась на спину. Через несколько минут подруги лежали на песке. Подложив под головы руки и закрыв глаза,

они предались покою. Сладкая истома поглотила их, оградила от жары прохладной свежестью, окутала легким дуновением ветерка и замерла внутренней расслабленностью и негой под сердцем. Однако вскоре солнце обратило особо пристальное внимание на чуть смуглую, еще не тронутую загаром Майку и, решив восполнить пробел в своей работе в кратчайший срок, лизнуло ее спину с таким усердием, что она оказалась в воде.

Купалась она долго: проплыла метров сто против течения, повернула к цветному пояску заградительных буев, отделяющих пляж от фарватера, отдохнула лежа на спине и только заметив тень, брошенную на воду мостом, направилась к берегу.

Нинки на месте не оказалось. Вернулась она не одна. Сопровождал ее загоревший до мулатной бронзы кавалер с прикопченным «Хамелеоном» на носу и модными часами-браслетом на запястье.

— Знакомьтесь,— предложила Нинка,— мой сотрудник Фред. А это — Майя.

Фред галантно и чуть сверх меры пригубил ее руку, окинул всю колким, оценивающим, а затем уже одобрительным взглядом, широко улыбнулся и не терпящим возражений тоном провозгласил:

— Она нам подходит, она нам нужна. Вперед, за мной, кто хочет выжить!

Майка в недоумении посмотрела на подругу.

— Собирай вещи,— предупреждая вопросы, сказала та,— у Фреда лодка и машина тоже. И вообще он из баловней и удачников. Дача у него тоже есть.

— Это не главное. У меня есть сердце, которое вот уже три минуты бьется новым, доселе неизведанным, таинственным стуком, и мысли чистые, как слезы младенца. Только не те, что стучат в его невинной головке, когда он испытывает рези в животике,— шутил Фред, пробираясь к берегу.— И вообще, если бы мы не встретились, я при всей своей доброте не смог бы спасти вас от окончательного зажаривания на пляжной сковородке, а себя от мести патрона по жалобе любимого мной главбуха.

— Кем вы работаете, Фред? — поинтересовалась Майка, легко впрыгнув в уткнувшуюся носом в берег изящную бело-голубую лодку с легкой каютой и странным названием «ВЕГА», начертанном на борту и спасательном круге.

— Я директор спортбара, девочка, и, будучи знатоком спорта, а отчасти и меценатом наиболее ярких спортивных надежд в области акробатики, пришел к выводу, что моя

должность имеет некоторые преимущества по сравнению со многими, а в первую очередь с должностью директора спортзала. Потому как я к нему хожу бесплатно, а он в бар за наличные. К тому же, моя ставка больше, чем его жизнь,— съехидничал он, запуская двигатель.— Я за его деньги, сохраняя здоровье, покупаю удовольствия, в то время как он укорачивает свою жизнь, употребляя сверх нормативов коньяк фирмы «Коктебель», с которой я поддерживаю дружеские отношения на взаимовыгодных условиях в течение нескольких лет ко всеобщему удовольствию. Кстати, ты бывала в Крыму?

— Нет. Не успела еще.

— Почему?

— Раньше мама не пускала. Теперь — университет. Через год диплом в Ялте отмечу,— ответила, рассматривая медную табличку, привинченную над дверью каюты, на которой была выгравирована голова дога с предостерегающей надписью: «Оставь надежду всяк сюда входящий».— Фред! Там пес? — Майка вопросительно посмотрела на дверь.

Нинка искренне расхохоталась:

— Ну, ты душка, просто душка! Какова невинность, а, Фреди?! Завтра будешь принимать нас хлебосольно и бесплатно. Запомни: Фред не переносит домашних животных, собак особенно...

— Мужского пола, в частности,— добавил тот, элегантно выворачивая на фарватер и прибавляя газ.— Там,— указал он глазами на каюту,— филиал спортбара, в котором от бара — виски, джин и тоник, а от спорта — эспандер, гантели и надувной матрасик под белой простынкой без кружевов для парных упражнений на мини-батуте. Впрочем, можешь войти, там не заперто. Потом поделишься с подругой впечатлениями. Ее я не приглашал в этот офис ни разу — боюсь патрона и ревизионного коварства.

— Не такой ты уж трус, Фреди,— вмешалась Нинка,— я тебя немного знаю, присмотрелась. А на счет коварства ты не прав. У нас с тобой свои тайны, верно? Ну, а дите это не приглашай туда. Она в подобные заведения ходить не училась, понятно?!

— Я и не зайду никогда.

— Боишься, когда страшно? — улыбнулся Фред.

— Нет. Просто не смогу жить без надежды,— ответила она, отворачиваясь и бросая взгляд на величественные днепровские склоны, скрывшие в густой листве вековых зеленых стражей древнего города тысячелетнюю крепостную стену, золотые купола Лавры и красавицу Софию, тыся-

чи белокаменных многоэтажных домов, ставших уже старожилами вечно юной и доброй столицы.

Было тихо. Ни ветерка. Только полноводный красавец Днепр ласково играл маленьким суденышком, качая его в нежной, искрящейся до боли в глазах колыбели, да жаркое солнце грациозно плыло меж высоких берегов к далеким заманчивым плесам...

Нинка прекрасно освоилась на переднем сиденье и, пользуясь сигнальным флажком, с грандиозным успехом регулировала движение малотоннажных судов, нещадно бороздивших водную гладь во всех направлениях. Незадачливые и счастливые обладатели шлюпок, плоскодонок и катамаранов удивляли скоростью, лихостью и бесстрашием, превосходившими цирковое трюкачество. Шестиметровый семейный дизель-баркас, призывающий ко вниманию мычаще-блеющим нижним «фа» клаксоном, получил два-три жалостливых взгляда и бесчисленное количество насмешек по поводу законченности форм, своих и владельца, усердно плавящего третий подбородок на бессменной отпускной вахте у штурвала своего любимца; зато глиссирующий «Прогресс» с двумя «Нептунами» за кормой и прильнувшей друг к дружке парой на юте, переживающей впервые совместную нехватку кислорода, срывал бурю аплодисментов и исчезал, растворяясь через минуту в серебряных воздушно-речных далях.

Обогнув один из прибрежных мысов, Фред сбавил скорость, ввел лодку в едва приметный узкий залив и пристал к берегу.

— Дорогие дамы,— заявил он,— мы приехали. Первая, заранее запланированная неожиданность — ранний ужин на диком берегу с зажариванием жертвенного барана и ритуальными танцами вокруг костра. Вторая — встреча с диким отшельником в семейных трусах, которого еще Даня Дефо назвал Робинзоном Круизо.

— Круиз я завершил еще сорок минут назад, Робик,— услышали девушки слова недовольного шефа, выходящего из липовой рощи, посаженной с полвека назад вдоль обрывистого, резко уходящего вверх берега.— Твоя «пунктуальность» будет наказана запретом торговли алкогольными напитками после ноля часов по московскому времени. А так как алкоголь, хоть и с большим трудом, но еще чувствуется в коктейлях твоего приготовления, следовательно, и бар будет закрыт в ноль часов ежедневно.

— Босс! Вы сделаете меня нищим,— воскликнул Фред, падая на колени.— Умоляю, босс, я невиновен!

За неимением неба, схороненного за шелестящими о своем зелеными мудрыми кронами, он картинно воздел руки в сторону Ннинки, одиноко позирующей на носу лодки в цветастом мини-купальнике, усаженном пятью розами сразу: две, едва распустившиеся, на груди, остальные, цветущие — на плавках.

— Здравствуйте, Зиновий Исаакович! — тихо проговорила она, опустив очи долу.— Фред не виновен ни в чем. Я пришла на час позже, чем договаривались. Но, согласитесь, я же не знала, что вы вовлекли меня в заговор.

— С целью как можно лучше и дальше — больше провести время, дорогая Нинель,— оживился шеф, подавая ей руку.— Робик! Ты помилован! Трудись, лунатик, на сон грядущий ревизорам.

Фред поднялся, отряхнул колени от прелой прошлогодней листвы, помог выйти из лодки Майке, с интересом наблюдавшей долгожданную встречу сослуживцев.

— Вперед, девочка, знакомься. Наш босс, мой бог Зиновий Исаакович Каган, истинный знаток спорта и благородный ценитель красоты. Моя младшая подруга,— Нинка слегка подтолкнула Майку к шефу,— студентка факультета романо-германских языков нашего университета.

— Очень приятно. Поздравляю, друзья! У нас появился собственный переводчик. А теперь за работу... Робик! Машина наверху. Топор под моим сиденьем. Мясо в холодильнике. Холодильник в багажнике.

— А ключ от вашего сердца на груди главбуха,— со смехом добавил Фред, карабкаясь в гору.

Работа закипела. Бармен с усердием лесоруба, стоящего на ударной трудовой вахте, уничтожал всенародное достояние. Зиновий Исаакович колдовал над мясом, девушки сервировали полезную площадь шотландского пледа бело-кобальтовой посудой шефа с именной монограммой «РТ»[1].

Обильно промаринованное мясо, подражая, по словам бармена, его теще Кларе Соломоновне Розенталь, в девичестве Спивак, пыталось ответить хамством на грубость. Оно шипело на угли, фыркало и плевалось горячим винно-уксусным ядом. Голодные языки пламени лизали жир, обильно стекающий с плавящихся шампуров, и запивали марочным рислингом из шефских запасов, во славу запаха, вкуса и древних кавказских традиций.

После тоста, стоя произнесенного Фредом в честь шефа, Нинка с первой же попытки одолела рекордное коли-

[1] «РТ» — Рестрантрест.

чество граммов «Белой лошади», еще раз продемонстрировав железную волю, выдержку и спортивный азарт, крайне необходимые гимнастке, жаждущей победы и славы.

Майка преодолела условную планку, установленную на стограммовой высоте, только с третьей отчаянной попытки, предпринятой шефом в целях создания мобильного, спаянного единым порывом коллектива, для чего, поддавшись на уговоры, закрыла глаза и крепко сжала вовремя протянутую ей нежную руку подруги.

Закусывая вторую рюмку запеченным помидорчиком, шеф ослабил галстук и предложил называть его по-домашнему — Земой.

На призыв первой откликнулась Нинка, заговорившая театральным шепотом:

— Зема, снимите пиджак. Это так сближает!

Восторженные сотрапезники мгновенно поддержали ее, еще раз наполнив бокалы.

За чашечкой кофе, сваренного по-турецки в джезве из «фамильного сервиза», шеф обнаружил недюжинное дарование полиглота, заявив, что владеет русским, украинским, идиш и древнееврейским языками без словаря, а английским, в частности, со словарем.

— Ну, спроси меня, спроси. Задай любой вопрос,— уговаривал он все еще скромную Майку.

И на первый вопрос, заданный ею в угоду его назойливости, а не из любопытства: «Ду ю спик инглиш?» — Зема достойно ответил: «Конечно, хочу»,— чем вызвал ее недоумение, Нинкин смех и умильные слезы Фреда.

После купания шеф с главбухом заперлись в таинственной каюте для решения некоторых назревших производственных проблем. Соблюдение тайны совещания надежно охраняла загорающая голова медного дога, по-новому в эти минуты навострившего купированные по лекалам уши и отвернувшегося в сторону.

Вырвавшиеся из неволи Нинкины надежды шепнули последнее «прости» и улетели за дальний окоем.

Уставшее за день солнце жадно пило днепровскую воду.

Майка, с завидным упорством, но все-таки развеявшая мечты Фреда о превращении скатерти-самобранки в ложе «де ля мур», заставила его отнести плед в машину.

В воздухе парило разочарование. Старый орешник, чувствуя себя «третьим лишним», переминался с ноги на ногу и бежал к небу. Разговор не клеился.

Усвоив абсурдность девиза «пришел, увидел, наследил», Фред скользнул в прошлое, чтобы из глубокого тыла произвести более подготовленную и планомерную атаку на неприступную, но заманчивую крепость. Он с удовольствием вспомнил то золотое время, когда тоже стоял в очереди за дипломом в одном из нархозовских вузов.

— Я в твои годы, девочка,— рассказывал он,— был неплохим экономистом. Да-да! Экономистом, как мой кафедральный профессор Стрижельчик. Но тот был просто экономистом. А я старшим экономистом одной торговой фирмы, в которой даже пробовал внедрять новую организацию труда. Заерзав в очередной раз на своем служебном стуле, я сбежал из треста и зашел в близлежащий бар, где в течение клятого получаса наблюдал за барменом, ловко манипулирующим запотевшим шекером. И вдруг меня осенило! Я понял, что третьего не дано. Необходимо выбрать: или считать чужие деньги на счетах, или свои — на сберкнижке. Я выбрал второе! И не пожалел об этом ни разу. Случилось это пять лет назад. Меня звали в то время не Фредом и не Робиком, а Ромой Берманом, у которого появлялись раз в месяц сто пятьдесят рублей в левом внутреннем кармане пиджака,— портмоне я не имел за ненадобностью,— и проездной билет на все виды общественного транспорта. Сейчас у меня есть все. Даже любящая жена и ненавистная теща. Моя бывшая месячная зарплата раз в три дня ложится в кошель из крокодиловой кожи. Правда, у меня увеличились и расходы. Но я не плачу. Я по-настоящему счастлив.

— Разве счастье в деньгах, Роман?

— Не называй меня так. Я ненавижу это имя,— возмутился он.— Роман умер вместе с протертым стулом в моем первом офисе. Я — Фред! А счастье — это деньги, и только они. За деньги покупается все: дачи, лодки, машины. Деньги — мерило всех мерил. Они — цена, вес и стоимость. И вообще, счастье не в деньгах, а в их количестве,— взорвался он, окинув ее злобным и в то же время насмешливым взглядом.

— Зачем ты позируешь? — спросила Майка, поднимаясь.

Он опомнился. Укротил вспыхнувший гнев и вдруг ясно осмыслил, что этой девчонке в легоньком ситцевом, с оборкой, пляжном халатике ничего от него не нужно: ни денег, ни их обладателя. Он понял, что случай, познакомивший их сегодня, был чудовищно неправ. И что ей никогда не понять его — Фреда, крупнейшего ловкача и бармена, умеющего как никто делать деньги и покупать удовольствия.

Разгорающуюся ссору прервало появление шефа с главбухом, которые бултыхнулись в воду, искупав местных комаров, готовых к внезапному нападению на обалдевших от счастья любовников.

— Робик! Скорее «Бадузан»,— кричал шеф, лелея в воде свой дегустационный животик.

Его приказание было тут же исполнено.

Нинка, в которой проснулись дремлющие материнские чувства, жирно намылила вороненые кудри шефа и произвела легкий массаж волосистой части головы. Серебряные колокольчики ее смеха вздувались радужными мылинками и уплывали вниз по течению.

Выйдя на берег, шеф издал воинственный клич: «По коням!» — истолкованный каждым по-своему. Майка нерешительно оглянулась, окинула растерянным в поисках лошадей взглядом окрестности. Нинка прижалась к возлюбленному. Фред взмыл птицей в лодку, мигом выудив из каюты бутылку «Белой лошади».

Шеф искренне расхохотался:

— Нет, нет, Робик! Нам всем пора. Мы уезжаем на машине, а ты, лунатик, поведешь свою баржу в гавань. Адью.

— До завтра, босс!

Провожая Майку к машине, он внезапно попытался ей помочь, взял за руку и, даже смущаясь, спросил:

— Мы увидимся?

— Не знаю, Рома. Нет, наверное, а впрочем, случай — вещь упрямая,— проговорила она, садясь в машину.

Нинка уселась рядом с Земой, положила свою ладошку на холеную, огромных размеров шефову руку и, поглаживая, не отпускала до самого дома.

На прощанье шеф посмотрел в Майкины глаза странным, непонятым взглядом и произнес с сожалением:

— Время — мой враг. Мы так и не поговорили по-английски. До встречи.

— Прощайте! — произнесла она, едва сдерживаясь, чтобы не рассмеяться и не испортить мнимую трагику момента.

— Пойдем! — хлопнула Нинка дверцей машины и, обняв подругу, направилась к подъезду.

ГЛАВА 2

В консультативной поликлинике Радиологического научно-исследовательского центра царит строгая, деловая атмосфера. Ежедневно сотням приезжих производят все небходи-

мые исследования для определения точного, обоснованного диагноза болезни.

«Промедление — смерти подобно!» Этот девиз древних приобрел в стенах института свой особый, законченный и подлинный смысл: чем раньше определено заболевание и уточнен диагноз, тем эффективнее лечение, тем больше надежд на благоприятный исход в борьбе с коварным и не склонным к поражению недугом.

Экспресс-диагностика, новейшие методы исследований, четкий подбор специализированных кадров, последние достижения ядерной физики, химиотерапии и хирургии рака позволяют творить чудеса — не только спасать от верной еще несколько десятилетий назад смерти, но возвращать людям практическое здоровье, силу, бодрость,— дарить им вторую, неоценимо ценную жизнь.

Восемь часов утра. В кабинет, отгороженный от регистратуры тонкой перегородкой, входит девушка, надевает белоснежный халат, шапочку, ревнивым взглядом окидывает себя в зеркале, садится за стол, придвигает стопку историй болезней, берет верхнюю. Снимает трубку телефона, набирает номер.

— Алло. Доброе утро. Гостиница? Кто у телефона?.. Галина Николаевна?!. Вы-то мне и нужны. Вас беспокоит регистратор поликлиники. Анализы готовы... Что? Маяковский о вас писал: «Лет до ста расти вам без старости...» Пожалуйста... В девять часов в седьмом кабинете вас ожидает консультант доцент Гельман... Не опаздывайте, пожалуйста...

Девушка кладет трубку. В ее руках следующая история болезни...

Восемь сорок пять. К поликлинике подъезжает респектабельного, темно-коричневого цвета «Лада», переобутая в архипрочные фирменные «стомиллы»[1], колесные диски прикрыты ажурными мерседесовскими колпаками. В крылья идеально вписаны черные торпеды — зеркала заднего вида. На переднем бампере в шахматной кобуре застыли плоские сферические «галогены», надежно освещающие пути водителя «во тьме ночной». На заднем стекле — небесного цвета зеркальная пленка.

Автомобиль припарковывается на стоянке у входа. Из него выходит модный в столице потомственный гинеколог доцент Семен Даниилович Гельман, высокий брюнет при-

---

[1] «Стомилл» — итальянская фирма по производству автооборудования.

мерно сорока лет, с чуть посеребренными [illegible] тым лбом, острым, из-под пушистых [illegible] темно-карих глаз, в которых надежно поселились [illegible] и внимательность. Небольшая тяжесть раздвоенного [illegible] подбородка говорит об упрямстве, жизненных [illegible] и исполненных фортуной капризах. На нем безукоризненный темно-серый, в клетку с шелковинкой костюм. В левой руке коричневый «дипломат».

Уверенной походкой доктор проходит вестибюль. Открывает дверь кабинета, в котором его встречают аспирант Колчин и медсестра Лиля.

— Здравствуйте, коллеги,— приветливо произносит он, снимая пиджак и проходя к умывальнику,— сегодня прекрасное утро.

— Великолепное,— подтверждает Лиля, подавая доктору полотенце и халат.— После работы поеду на Днепр.

— К сожалению, мне этого не дано. После приема — студенты, вечером — манипуляционная. Ну, а Саша с удовольствием составит вам компанию, не так ли, коллега?!

— Через год,— улыбнулся тот,— после защиты.

— Много уже написали?

— Вводную и опытную закончил.

— Полагаю, клинику и выводы успеете. Лиля, много больных?

— Двенадцать, Семен Данилович.

— Пора начинать...

Гельман берет верхнюю историю болезни, внимательно изучает заполненные размашистым, непонятным почерком листы.

— Ваше мнение, коллега?

— Думаю, запущенная эрозия.

— Почему думаете, почему не уверены?

— Ответ цитологов будет через три минуты.

— Прошу вас запомнить, Александр Ильич,— доцент переходит на официальный тон,— думать можно и необходимо, а заключать настоятельно рекомендую, лишь имея на руках результаты всех лабораторных исследований.

В дверь постучали. Лаборантка из цитологии принесла результаты анализов. Лиля нашла нужный бланк и передала его доценту...

— Вы правы, коллега, можно начинать.

— Больная Симбирская, входите, пожалуйста.

В кабинет осторожной, напряженной походкой вошла молодая женщина. В нерешительности застыла у порога.

— Прошу садиться.

Гельман оторвался от истории болезни, посмотрел добрым мягким взглядом на пациентку, отметил бледность ее лица, синеватые тени под чуть воспаленными глазами, нервные движения не знающих покоя рук, испуганный и чуть виноватый взгляд.

— Галина Николаевна,— начал он,— прежде всего, вы напрасно нервничаете. Успокойтесь и расскажите, откуда вы приехали.

— Из Геленджика.

— Прекрасно! Вы давно там живете?

— Всю жизнь.

— Сколько лет вы замужем?

— Двенадцать.

— Дети есть?

— Конечно, двое.

— Какого возраста?

— Дочери десять и Алешеньке шесть.

— Когда вы начали ощущать недомогание?

— Три года назад.

— Вы обращались в женскую консультацию?

— Нет.

— Почему?

— Вначале это случалось эпизодично... Да и, знаете... Дом, работа, дети...

— Дети?! — улыбнулся доктор.— Именно дети, Галина Николаевна, обязывают нас с вами следить за своим здоровьем. Пройдемте со мной...

После осмотра Гельман заключил:

— В настоящее время я констатирую у вас запущенную эрозию, что является небезобидным заболеванием. Хорошо, что вы вспомнили наконец о своем здоровье. Согласно нашему заключению, пройдете курс лечения по месту жительства. На год я запрещаю вам активное солнце. Морские ванны приветствую. В прогретой воде и только после пяти вечера. Вы свободны. Прощайте.

— Спасибо большое. Право, не знаю, как вас благодарить. Знаете, если будете в наших краях, заезжайте в гости. Запросто,— повернулась она к Колчину,— у нас большая квартира, сад... У самого моря... Приезжайте...

Прием продолжался. Очередь за стенами кабинета медленно, но уверенно, приближалась к концу. Стрелки часов неумолимо бежали к полудню. Вдруг зазвонил телефон.

— Вас,— Лиля передала трубку уставшему консультанту.

— Слушаю,— впервые позволил себе расслабиться доктор.

— Сеня! Привет, это Зема. Во-первых, у меня для тебя «русский шоколад» в стосорокаграммовых банках; во-вторых — дело, с задержкой в четыре недели; в-третьих — приезжай, пообедаем. Мамина курица и бастурма — на выбор. Запьешь наваристым бульоном.

— Заманчиво, но не смогу. Дел много. Плохо, что ты опять задержался. Жду дома в восемь...

Анна Петровна бесшумно двигалась по большой, заставленной громоздкой старинной мебелью квартире, в который раз протирая сегодня невидимую пыль с массивного письменного стола, тяжелого кабинетного кресла, допотопного, о двух валиках и высокой спинке, дивана, с трех величественных, до лепного потолка, книжных шкафов, на бесчисленных полках которых разместились тяжелые фолианты основоположников классического романа и классической медицины, западная лирика и современный детектив, история искусств и антология античной поэзии, детская энциклопедия и Блок.

Отдельной маршевой ротой выстроились «во фрунт» Шолом Алейхем, Иосиф Бялик, Менделе Мойше Сфорим, Юлиан Тувим, Илья Эренбург и Борис Пастернак.

Все здесь говорило о разносторонних вкусах и интересах хозяина, который вот уже девять лет как спит вечным сном на еврейском кладбище, в первом ряду первого сектора, у центральных ворот, вместе с женой Цилей, умершей двумя годами ранее, и единственной невесткой Женечкой — археологом, погибшей в далекой тибетской экспедиции и похороненной справа от тестя.

У ног их замерли в почетном карауле три серебристые ели, а в головах охраняет их сон раскидистая плакучая ива, обнявшая надломленными в горе руками огромный, березовского гранита памятник. Красивый... Задуманный Сенечкой, ее Сенечкой, которого вырастила она, тогда еще двадцатилетняя Нюрка, старшенькая из восьмерых детей безземельного крестьянина Петра Хмары из прихерсонского села Ютовки, умершего в тридцать третьем от голода.

Нашел ее на вокзале, отогрел от холода у старинной кафельной печки, отпоил горячим чаем с малиной и вылечил от белокровия сырой печенкой телячьей да морковью хозяин квартиры — Даниил Элевич Гельман, сын портного из бердичевского предместья Райгородка, расстрелянного деникинцами за длинный горбатый нос, вьющиеся волосы с пейсами, красавицу жену, без чувств повалившуюся к ногам офицера, и семерых детей, старший из которых не

[illegible] в братскую могилу по причине отсутствия — был он в то время студентом-медиком в далеком Питере.

С тех времен обрела Нюрка семью и единственного сына — Сенечку, которого любила без памяти, отдавала ему всю жизнь без остатка и ревновала слепо даже к родителю его.

Но пролетело время, превратившее Нюрку в Анну Петровну, а Сенечку — в отца близняшек Доры и Тамары, в год конфирмации потерявших мать.

Договариваться о посвящении в совершеннолетие со старым городским раввином, потомком древних левитов и фарисеев, поехала Анна Петровна во исполнение последней воли спасителя своего, на смертном одре завещавшем ей тысячу рублей на празднество и заклятие свое блюсти честь девочек до совершеннолетия гражданского. Во двор синагоги иноверку не впустили, дабы исполнить, очевидно, через Иисуса Христа реченное самаритянке, по вере изголодавшейся, если верить Евангелию православному: «Прочь отсюда, собака неверная! Я пришел спасти детей дома Израилевого», а на вымоленной аудиенции ребэ наотрез отказал. Но призрел Господь всемогущий да всеведующий плачущую старуху и послал ей «ангела во плоти», то бишь давнишнего друга Сенечки — Зему Кагана, родича служителя синагоги, который за «триста сребренников» ублажил дух «ничтоже сумняшеся».

И успокоилась душа хозяина... Перестал он являться в сны тяжелые. Обошел напоследок, не скрипнув половицею, устланную коврами да паласами квартиру жизни своей, позвенел баккара да поиграл хрусталями, слезой капнул на монографию неоконченную да и затих навек в хладном саване под прессом габровым с лабрадоритами.

Привела Анна Петровна девочек в банкетный зал ресторана нарядного и торжественно вместе с Сенечкой отметила их совершеннолетие. С радостью рассталась она с деньгами, сбежавшими к новому хозяину — Кагану, возложившему на себя все заботы по достойной встрече гостей и праздника.

Расхваливали гости и фиш[1] по-еврейски, и катушки из мацы в курином бульоне, и фасоль, тертую с гусиными шкварками, и бабки, и струдели...

Веселились до поздней ночи. Музыканты старались изо всех сил угодить строгому шефу и щедрым гостям, без устали танцевавшим народные «фрейлехс» и «семь сорок»,

---

[1] *Фиш (идиш)* — рыба.

грустившим под «Плач Израиля», вовсю аплодировавшим Сенечке и дочерям, исполнившим во хвосте с Анной Петровной «летку-енку».

Наутро девочки напевали непонятые старухой строки:

> Часто снится нам страна прекрасная,
> Где небо синее, а море Красное...

И на ее вопрос: «Где ж та страна находится?» — сестры в один голос отвечали: «Где-то за Одессой!»

Давно это было. Семь годов прошло. Девчушки выросли. Барышнями стали. Замуж повыбежали с благословения отцовского. Только деток своих нет еще у них. Через два года обещались, как институты свои закончат. По отцовской дороге пошли — врачами будут.

Телефонный звонок прервал воспоминания. Анна Петровна сняла трубку.

— Алло, Сенечка! Нет, никого не было... Хорошо... Когда ты будешь?.. Хорошо. Приезжай скорей... Сегодня твой любимый юх с фасолью... жду.

Доктор закончил последнюю перевязку, прошел в ординаторскую. Просмотрел несколько историй болезней. Вписал новые назначения. Подошел к окну. Посмотрел вниз. На площадке одиноко скучала «ладушка», верно ожидающая своего хозяина. С удовлетворением отметил, что шеф уехал раньше,— значит, заметил, кто дольше трудится. Пора домой. Нужно еще заехать к дочерям. Благо, они живут в центре.

«Заскочу на минутку»,— решил доктор и пошел к лифту.

В машине включил стереоавтомат — подарок благодарного пациента. Песни Донны Саммер всякий раз приятно поражали своей нежностью, ласковостью, женской кротостью, проникая внутрь, будили уснувшее, тайное, личное, обволакивали желанием и звали в любовь.

«Нужно позвонить Асе,— подумал он,— решиться наконец. Женечку не вернешь. Дети уже взрослые. Рвануть, что ли, на недельку,— размечтался он, вспоминая прошлогоднее лето, сочинскую «Светлану» и знакомство с пережившей первую любовь дерматологом из Одессы Асей Левиной.— Если в этом году не женюсь — захолостякую на всю жизнь. Хорошо, что есть Нюра. Но ей уже за шестьдесят. Не с кем будет и словом перемолвиться. А кроме всего, тянет к ней. Как мальчишка, влопался с первого взгляда. Поэтому и не звоню месяцами. Боюсь голос ее услышать. Вспомню, не выдержу — сорвусь. А впрочем, мужчина я или не мужчина? Позвоню»,— приказал себе

Гельман, подъезжая к новому белокаменному шестнадцатиэтажному красавцу — кооперативу медиков, в котором купил дочерям две квартиры в подарок к замужеству. Много пришлось побегать, чуть не к министру ходил. Но уважили. Приняли во внимание личность и необходимость в дополнительной жилой площади для занятий научным трудом. Правда, скучновато порой в большой, опустевшей после ухода дочерей квартире. «Что с того, что по воскресеньям они приезжают на завтрак? Что с того?.. У них свои семьи. Свои интересы, своя жизнь...»

Двери открыла Дора.

— Папуля, дорогой! — приветствовала она, обнимая его.— Проходи. Дима! Папа приехал!

В прихожую вышел зять, начинающий тренер по футболу.

— Отец! Добрый вечер. Как чувствуете себя? — спросил он, протягивая для приветствия обе руки.

— Здравствуй, Дмитрий! Чувствую себя прекрасно. Но почему ты всегда интересуешься моим здоровьем, разве я стар?

— Нет, отец, вы молоды. Вы даже можете представлять нашу медицину в матчах ветеранов. Но, интересуясь вашим здоровьем, я забочусь о благосостоянии нашей семьи,— улыбнулся зять, вызвав к жизни ответную благожелательную улыбку тестя и тайное восхищение супруги, оценившей его пробужденную практичность.

— Совсем забыл,— Гельман достал портмоне и отсчитал сто рублей.— Зовите Тамару.

— Их нет, папуля. Они на пляже.

— Тогда поделитесь с ними. За вторую декаду мы в расчете. За квартиру заплатили?..

Услышав утвердительный ответ, направился к двери.

— Осторожно ведите машину,— напутствовал его Дмитрий,— я позвоню до воскресенья.

— До встречи, папуля! Бабуле привет большой...

Анна Петровна встретила его на пороге квартиры. После смерти Женечки она взяла себе за правило ожидать Сенечку на балконе. В ненастную погоду в гостиной, из окон которой хорошо просматривалась улица.

— Ой, Сенечка, миленький! Молодец-то какой! Думала, разогревать придется. Мойся скорее,— торопила она, с легкостью, не присущей возрасту, порхая из кухни в столовую и назад...

— Обед прекрасный,— хвалил он, с удовольствием расправляясь с горячей, приправленной специями телятиной, запивая ароматным бульоном.

— Ну, будет, будет. Такой уж прекрасный,— ворчала старуха с тихой радостью,— фасоль вроде и жестковата.

— Тебе кажется. Руки у тебя золотые, Нюрочка.

— Вот спасибо, сыночек. Вот спасибо. Овощи почему не ешь? Лучок возьми,— уговаривала она, пододвигая к нему салатницу.

— Не могу, Нюра, пациенты придут.

— И много?

— Троим назначил.

— Ой не бережешь себя! Ой мучаешь! Когда отдыхать-то будешь?

Проснувшийся дверной звонок прервал ее причитания. В дверях стояли Каган с Нинкой.

— Можно к вам?

— Пожалуйста,— произнесла она, окидывая их чуть неприязненным взглядом,— проходите в кабинет. Доктор сейчас освободится.

Анна Петровна вернулась в столовую. Сенечка допивал бульон.

— Кто пришел, Нюра?

— Да попа родственник с женщиной. И сколько их у него? Каждый раз новая.

— Ты не права, Нюра, просто Зиновий Исаакович старается для знакомых. Вот ты своим знакомым одолжения делаешь?

— Если могу, чего ж не сделать?! К людям надобно доброй быть.

— Вот и Зиновий Исаакович такой же добрый, как ты, понимаешь?!

— Понимаю... Только ты не верь ему, Сенечка, не добрый он.

— Да будет тебе... Я его лучше знаю.

Гельман прошел в кабинет, где тут же попал под шквал бурных приветствий своего школьного приятеля. Его излишне миловидная и смущенная возлюбленная сидела, потупив взгляд, на краешке кресла, рассматривая старинный чернильный беломраморный, с медью и благими херувимчиками, усевшимися на крышках чернильниц, прибор и не пыталась поддержать беседу, в которой чувствовала себя донельзя одинокой.

Заметив ее состояние, доктор прервал словотечение гостя, дружески улыбнулся ей и, сопроводив свою речь широким жестом, сказал:

— В вашем избраннике умер великий оратор, но вдвойне жив хитрый льстец. Его комплиментам в адрес моей скром-

ной персоны я крайне обязан вам. Спасибо. Зему может остановить только утрата аудитории. Если я сбегу один, он станет докучать вам. Поэтому предлагаю удрать вместе,— подал он ей руку.— А ты займись напитками и не скучай. Хорошо?

— Согласен, доктор. Если не надолго. Поторопись. Веры в тебя у меня хватит минут на десять.

— Наконец-то признался,— улыбнулся Гельман, закрывая за собой дверь «святая святых» — операционно-манипуляционного кабинета...

— Если в будущем с вами произойдет подобная неожиданность,— заключил он после сладкого тоста Земы за благополучный исход хирургического вмешательства,— что крайне нежелательно, обратитесь ко мне в момент первых сомнений. Легче перенести укол, чем то, что вам предстоит в субботу.

— Да, но я плачу только за стопроцентные варианты, доктор,— заметил Каган.

— Не забывай, это плата за кровь.— Нинка покраснела от гнева.

— За счастье, дорогая,— глаза Кагана загорелись влажным блеском.

— За счастье платят другой валютой, я думаю,— прервал его Гельман,— да и любовь-то совсем не нуждается в плате, тем более, подобного рода.

— Доктор забывает, что я не плачу за нравоучения. К тому же, мне уже поздно что-то внушать.

— Скорее бесполезно, я думаю.

— Ты думаешь, что если платишь за любовь одиночеством, то в награду Бог дает тебе мудрость?!

— Этот вопрос — объект отдельного исследования,— поднялся Гельман, желая скорее проститься.

После ухода гостей он удобно устроился за письменным столом, вынул связку писем. Долго перечитывал уже наверняка выученные и замученные строки: «Здравствуй, доктор... Познай себя... Я не клятву, а тебя несу в своем сердце, в себе... в памяти...»

Его занятие прервал очередной посетитель.

— Проходите, пожалуйста, присаживайтесь,— ответил он на приветствие сына прооперированной третьего дня пациентки.

— Спасибо, доктор, я постою.

— Ну вот еще новости, садитесь немедленно! — приказал он, указывая рукой на мягкое, удобное, в стиле модерн кресло, которое, не вписываясь в тяжелый, мрачный и занос-

чивый ансамбль древности, неуверенно прижалось к массивному дубовому столу.— Самочувствие вашей мамы стабильное. Думаю, дней через двадцать, крайнее — через месяц она будет дома. Так что не волнуйтесь.

— Нет-нет, я не волнуюсь, доктор. Я... мы.... наша семья, в общем,— смущенно начал он,— мы хотим вас отблагодарить за то, что вы вернули нам маму. Сейчас возле нее отец.— Он достал из кармана маленькую пузатую коробочку в голубоватом кожаном одеянии.— Примите от нас...

— Что это, молодой человек?

— Наша благодарность... вам, доктор...

На мягкой бархатной подушечке, удобно расположившись, дремал, призывно моргая веселым изумрудным глазом, степенный «маркиз» с осколками бриллиантов, рассыпанными по платиновой периферии ромба.

Гельман долго рассматривал перстень. О чем-то задумался. Наконец решился. Захлопнул футляр. Проговорил:

— Я тронут вашим подарком. Но, к сожалению, не смогу его принять. Не заработал... Нет-нет,— пресек он попытку гостя перебить его,— не пытайтесь убеждать меня. Приходите ко мне с матерью через пять лет. Тогда я рад буду вашему подарку, договорились?!

— Но, доктор!

— Никаких «но». Идите и помните: через пять лет! Я верю в нашу встречу. До свидания...

ГЛАВА 3

Творцы красоты и моды торжествуют. На простреленной прожекторами и софитами арене местного цирка третий день продолжается бескомпромиссная жаркая схватка за звание лучшего парикмахера страны. Мастера изо всех союзных республик представлены в каждом виде произвольной и классической программы победителями республиканских конкурсов.

Виртуозы головомойки, профессора фасонной филировочной стрижки и академики прически покоряют замыслом и воплощением. Рыцари пеньюара и бритвы творят красоту. Подобно дирижерским палочкам, в воздухе порхают расчески создателей новых парикмахерских мелодий и ритмов. Специально доставленные манекены напрочь убивают совершенством форм, голливудским жемчугом зубов и счастливой улыбкой.

Частично облысевшее жюри вызывает коленную дрожь височным серебром, морщинами, там, где его нет, и строгостью умудренного опытом взгляда.

Среди доцентов вертикальной завивки, папильоток и «андулясьона на дому» обладатель золотого набора парикмахерских инструментов, многократный победитель европейских конкурсов, член Парижской Академии искусств, кумир московской клиентуры Сережа Нананян. Еще в первый день пребывания на манеже он покорил публику и борцов за победу запасом внутренних возможностей и резервов человеческого организма: за четырнадцать часов непрестанного присутствия в раскаленном почти добела эпицентре боя он, невзирая на саванные аренные смерчи, ни разу не попытался ослабить галстук или расстегнуть белую джинсовую куртку фирмы «Супер-Райфл».

В вязком эфире, насыщенном стойкими, сладкими и дерзкими запахами «Мадам Роше», «Шанель», «Диор», в немом восхищении парят добрые тени апологетов красоты Шарля Марселя и Видаля Сэссуна.

О мода, мода!!!

Кто не исполнит твоего каприза, умрет счастливым, не прочувствовав собственного ничтожества перед тобой.

Древняя персиянка, впервые поставив на водяную баню хну с басмой, навечно оторвала добродетельных мусульман от Корана, заставила забыть волшебное созерцание бега планет и презреть жизнь грядущих поколений. Не успев похвастаться родной маме диковинным цветом напоенной парным кумысом косы, она лежала поперек седла на гнедом с рожденья скакуне, летящем в ночь. Чтобы не ослепнуть от маленького горящего солнца на голове своей избранницы, похититель ловко накинул на нее дедушку паранджи — мешок с дыркой для воздуха.

Что с того, что за твою сестру зарежут моего брата, а потом и сына его дяди, а затем все равно кого, но зарежут, что с того?!

Наши внуки тоже лягут костьми за каприз моды...

«Сэ ля ви!» — воскликнул парижский мастеровой Шарль Марсель, в который раз обжигая пальцы об раскаленный чуть не добела гвоздь, на котором завивал, в угоду капризу возлюбленной, ее золотые кудри.

— Больно, милый?! Дай поцелую!

— О, как сладко!

— И этот пальчик вылечу, и этот, и этот...

«Я с трудом ложку держу в руке, а о завивке и речи быть не может»,— мучался Шарль поутру...

«...А что, если?.. Гвоздь покрыть желобком, скрепить их и приделать по ручке? Тогда я смогу, не обжигая пальцев, делать Нанетту красивой!» — мечтал он, погружая в целебный настой трав обожженые пальцы.

Эврика!!! Все гениальное рождается тихо и просто!

— А все-таки они вертятся! — вскричал влюбленный, ревниво всматриваясь в созданный им шедевр, взорвавший старинную моду прически.

Через год новоиспеченный миллионер основал завод по производству щипцов для завивки волос, жалкое подобие которых — производства цеха ширпотреба близлежащего концерна бытовой техники — и сегодня привлекает незадачливых поклонниц андулясьона.

Щипцы Марселя, пережив долгую конъюнктурную борьбу с папильотками, вертикальной и паровой завивками и бигудями, торжественно улеглись на почетном месте рядом с нейлоновым бюстгалтером шестого европейского размера и сценарием кинобоевика «Бабетта идет на войну» в дорожном чемодане Брижит Бардо, не ведая еще о своей близкой и печальной кончине. Приехав на съемки картины, принесшей ей мировую известность и славу, к рыбакам Скандинавии, бывшая парижская белошвейка не знала еще, что изменит мировую моду прически и заживо похоронит такие дорогие, но никому уже не нужные щипцы своего земляка.

Но стоило ей однажды увидеть рыбацких жен, распутывающих сети, которые в борьбе с бризом специальным приемом запутывали волосы, подчесывая их в прямом смысле «против шерсти»,— и судьбы щипцов, да и волос страстных почитательниц новой моды решились почти одновременно. Но если щипцы исчезли сразу, то сбиваемые в войлок, воспетые в веках, покрытые воздуховодонепроницаемой пленкой шеллачного или канифольного лака бывшие кудри и косы покидали женские головы медленно, но уверенно и, к сожалению, безвозвратно. Объявленная Бабеттой война увенчалась ее полной победой. Получив в качестве контрибуции греческое «воронье крыло», эстонский «лен», русское «золото и пшеницу» и даже витую смоль темнокожих красавиц Новой и Старой Гвинеи, не в меру облысевшая кинозвезда срочно выписала дюжину париков из Гонконга и, крайне разочарованная, пыталась внедрить новую бритоголовую моду прически под кодовым названием «Голая чашка».

Мода праздновала пиррову победу. Еще недавно самодовольные, вызывающе блестящие кудри и локоны, иссеченные штыками расчесок, медленно умирали, отдавая подушке

свое последнее «прости» и заветную мечту нежно обвить пальцы любимого и приучить его к кандалам любви, воплощенным в тонкое золотое кольцо, прочно впившееся в третью фалангу безымянного пальца правой кисти.

Оскорбленная втиранием в голову касторки, мытьем ее ржаным хлебом и кислым молоком, женская половина человечества, уничтожив все куриные желтки в мире, вернулась к классической русской стрижке...

«О баядера, я целую тебя! О баядера...» — напевал влюбленный лондонский парикмахер, мечтая о встрече с мисс Мери, за которой безуспешно ухаживал в течение последнего полугода. Ее отец, преуспевающий лондонский буржуа, и мысли не допускает дать согласие на брак своей единственной, прямо скажем, девочки с каким-то Сэссуном,— парикмахером Видалем Сэссуном, правнуком разбойника, внуком протестанта и сыном цирюльника, пренебрегая даже непреложной закономерностью века, выраженной в том, что он обязательно станет отцом хирурга и дедом политического деятеля.

— Нет, нет и нет!

«Ну, это мы еще посмотрим»,— мысленно закончил очередной поединок с будущим тестем неунывающий правнук разбойника, приглашая в кресло миловидную «пациентку», нуждающуюся в срочном, для спасения видов на будущее, хирургическом вмешательстве.

— Сделайте мне «русскую стрижку».

— Пожалуйста, миссис,— ответил Видаль, тщательно осматривая кладбище волос на челке и макушке, а также затылочное отделение неотложной хирургии.

— Во-первых, не миссис, а мисс,— покраснев от негодования, начала бороться за себя клиентка.

— Очень приятно, мисс.

— А во-вторых, состригите все посеченные волосы, но, пожалуйста, не трогая здоровых.

— Конечно, мисс, но как это сделать? Состригая больные волосы, я непременно задену и здоровые. Я делю волосы на двенадцать прядей и стригу за восемьдесят шиллингов, мисс.

— А вы разделите их на сто двадцать прядей и сострigите только больные кончики.

— Да, мисс, но у меня на это уйдет весь день. К тому же мой шеф, мисс! Он не потерпит такую мизерную выручку. Я потеряю работу, мисс.

— Сколько времени вы затрачиваете на одну стрижку?

— Десять минут, мисс.

— Я заплачу вам по времени.

— О, вы так практичны, мисс.

— Приступайте.

— Я приступил десять минут назад, мисс. Прошу вас отметить время,— улыбнулся он, снимая пробку с флакона, наполненного яичным шампунем.

Разделив волосы на сто двадцать прядей, Видаль впервые применил для стрижки миниатюрные, по типу маникюрных, ножницы с сантиметровым режущим полотном, подстригая отчесанные больные пряди углом по отношению к предварительно отстриженным здоровым волосам.

Эффект оказался поразительным: более укороченная излеченная часть каждой пряди стала своеобразной подпоркой для верхнего слоя здоровых волос. Таким образом естественная пышность будущей прически исключила ненужное взлохмачивание и ранение волос начесом. Гибельное для волос томление на бигудях под сушуаром заменила воздушная укладка феном...

Потрясенная вернувшейся красотой, зримой новизной своей улыбки и видов на ближайшее завтра клиентка, в которой проснулась жаркая, дымная кровь столыпинских изгоев, сделала глубокий вдох и решительно сжала кулачки в радостном предвкушении грядущей битвы за место под солнцем.

Видаль, восхищенный своим открытием, забыл дать сдачу с десятифунтовой ассигнации, настолько он был тронут девичьей щедростью юной леди Дианы Штерн, дочери известного в Лондоне главы рекламной фирмы Исаака Штерна, в прошлом модельера и дизайнера женского платья, а еще раньше эмигранта, выходца из греческого поселения, расположенного в самом центре одесской Молдаванки.

Любовь к дорожному сервису и врожденный дальтонизм его папы, ювелира Мони Штерна, если верить фармазонщикам Бени Крика, наводчикам и скокарям Мишки Япончика, домушницам и проституткам Маньки-Сороконожки и досье деникинской контрразведки, не позволили ему вовремя сориентироваться в цвете белых, зеленых, «блакитных» властей, красный же он ненавидел лютой ненавистью еще с тех времен, когда в шестилетнем возрасте, хвастаясь перед сверстниками работой местного раввина, гулял бесштанно в красной косоворотке и попал на рога обезумевшего быка, выскочившего из плохо запертой в шабыс[1] бойни.

Этот-то коварный недуг и толкнул папу-дальтоника и всю его близорукую семью в каменные джунгли ослепительного

---

[1] Шабыс *(идиш)* — суббота.

нью-йоркского Манхаттена, где он пробовал себя в качестве мойщика окон от четвертого этажа и выше (первый — третий евреям мыть не позволяли), в серые кишкодерни чикагских боен и, наконец, в мрачные, с решетками на узких оконцах мастерские знаменитой огранки у зеленых каналов Амстердама, в одном из которых нашел вечный приют основатель фирмы по гранению алмазов, одесский ювелир, к советам сына которого изредка прислушивается даже принцесса Анна, собираясь на фамильный конезавод...

Видаль мечтал о своем... Радужные надежды призрачного благополучия заполонили его всего пьянящим аргоном, подняли высоко над собой, грозились пронести над угрюмым Тауэром и совершить мягкую посадку в кресло-качалку, стоящую на веранде виллы будущего тестя в зеленом Кенте.

Но судьба распорядилась иначе: она явилась в образе посыльного фирмы «Штерн» за рулем даймлеровской микролитражки с предложением немедленно явиться на собеседование к шефу.

Новый патрон был немногословен. Через месяц двенадцать красавиц, допущенных к финальному смотру на соискание звания «Мисс Великобритания», были пострижены и причесаны свежеиспеченным парикмахерским бардом, получившим авторское свидетельство, фешенебельный салон прически и кроткое сердце Дианы Штерн, не желающей терять время в очереди к главе фирмы «Видаль Сэссун и К°», дочернее отделение которой в приднепровском граде представлял двадцатишестилетний Виктор Даль, прекрасно усвоивший стрижку «сэссун» в учебном горбыткомбинате и рекламирующий ее за девятым креслом на конкурсе красоты и моды.

Проиграв в финале три очка фаворитке сборной РСФСР, местный Ви-Даль занял вторую, серебряную ступеньку на пьедестале почета, напился вдрызг, пытался въехать в массивный гараж, не открыв железные двустворчатые двери, после чего познакомился вплотную с автомобилестроением и узнал, что даже в пустом багажнике личного «жигуленка» он возил какие-то никому не нужные задние лонжероны, которые необходимо заменить, в связи с чем стоимость модной стрижки была увеличена призером конкурса до пятнадцати рублей с «головы».

Всякие попытки торгов пресекались ярким вымпелом, выставленным для обозрения на рабочем столе Виктора Аронович, на котором фосфоресцировала его профессиональная гордость: «Вас обслуживает победитель Всесоюзного конкурса причесок».

Абонементы на обслуживание у Ви-Даля, частично приобретенные самим мастером экстракласса для «своих» клиенток, были раскуплены только на ближайшие полгода, потому как на следующий календарный год их еще не было в кассах салона «Улыбка», где творил Красоту Мастер филировочной стрижки.

Среди постоянных почитательниц у Мастера числились представители всех слоев населения, включая искусство, спорт и Академию наук. Отдельные страницы в его записной книжке занимали привилегированные посетительницы из Внешпосылторга, Ресторантреста, мясокомбината и базы импортной мебели. Единственную фамилию и координаты Мастер не доверил бумаге, но носил в перегруженной заботами памяти, поместив их в потайную ячейку, где хранил самое-самое...

Между сексом и венерологией навеки, пока стучит в груди открытое для любви сердце, запечатлелась фамилия доктора Гельмана, познавшего методы борьбы с издержками чувства и отдающего все силы для победы над вирусами, кокками и даже простейшими, но коварными возбудителями недугов удовольствия, которые, к сожалению, часто сопровождают мероприятия, из скромности именующиеся «веселым ужином» даже в милицейских протоколах. В них неоднократно просматривалась звучная фамилия Мастера, который, увлекаясь ранним Игорем Северянином, восторженно читал поздней ночью его стихи молодой даме, обслуженной бесплатно, при погашенных огнях салона красоты. Не успев прочувствовать ее реакцию на строки:

> ...Сними манто и шелк белья,
> Бесчестья паутину...—

Мастер продолжил:

> ...Что до того, что скажет пустота
> Под шляпками, цилиндрами и кепи?!..

Пустота, представшая на сей раз в обманчивом варианте под фуражками дежурного наряда из ближайшего отдела внутренних дел, проверяющего сохранность социалистической и личной собственности, в том числе импортного набора парикмахерских инструментов Мастера, внезапно ответила противным скрипом открываемой двери и не менее отвратным требованием включить освещение. Луч света карманного фонаря вырвал из темноты прекрасные, одухотворенные, зажженные Музами глаза Мастера, которые вконец потускнели под люминесцентным холодом салонных софитов.

[illegible] к Полине пришлось оплачивать беготней по инстанциям и электронной зажигалкой фирмы «Ронсон», вне лимита презентованной Далем шефу салона Вайнеру — коллекционеру, принимающему в дар все, кроме денег, потому как только в последнем случае, по его мнению, возникают непреодолимые разногласия во мнениях между ним и ближайшим прокурором «при взгляде на вещи».

Вайнер долго и поучительно говорил о чистоте человеческих отношений, моральном уродстве и о дефиците сырокопченой колбасы в его холодильнике. Неизвестно, чем бы закончилась стыдная драма Мастера, если б не спасительный звонок главбуха ресторана «Старт», желающей срочно похорошеть. Через час салями, выписанная из ресторана в дочерние «Полуфабрикаты», была продана без наценки, а точнее — передана Вайнеру из расчета один к трем: одна стрижка — три килограмма.

— Я думаю, ты, наконец, образумишься,— наставническим тоном заключил шеф, принимая сверток.— Неужели ты не можешь научиться все делать красиво? Самое большое достоинство мужчины — это умение создать обстановку, в которой можно расслабиться, раскрепоститься, забыться, наконец...

— Если под обстановкой вы подразумеваете югославскую мебель, так она еще не поступила на базу,— прервал его Мастер,— мне звонили. А для того, чтобы создать интим, Борис Аркадьевич, нужно иметь время и место. Мне тоже нравится торшер-бар, свечи и зеркало в виде ожиревшего сердца над арабской кроватью. Но увы! Мои желания всю жизнь опережают возможности. К тому же, мама спит в проходной комнате, да и вход в ванную, к сожалению, не из спальни. А старушка очень чутко спит. Она нервная, особенно в последнее время.

— Очевидно, ты не даешь ей покоя?

— Ошибаетесь! От брата уже два месяца нет писем. Как попал на Запад, вообще нас забыл. Последнее письмо было из Остии.

— А где это?

— Вот те на!!! Вы меня просто поражаете, Борис Аркадьевич. Оказывается, вы до сих пор не освоили путей эмиграции.

— Как это, как это?! Как это не освоил? — возмутился шеф.— Месяц назад письмо от шурина получил. Они были в Чопе. Потом — Австрия, Вена, Тель-Авив и ульпан под Хайфой. Они уже, слава Богу, на месте. Но Остию они никакую не проезжали.

Полупрезрительная улыбка на лице Мастера сменилась прозрением.

— Да-да, верно. Ваша сестра ехала в Израиль, поэтому из Вены их повезли прямо домой. А моему Фиме Израиль сдался, как мне вчерашние цурыс[1]. Они решили ехать в Штаты, поэтому их повезли в Рим. Оттуда в Остию, учить английский язык.

— А почему именно в Италии?

— Там он легче усваивается! Представляете?! Золотое побережье, песок мельче, чем на Днепре. Пансионаты по последнему слову техники. И два моря сразу: Средиземное и море евреев! Аж страшно становится. С утра четыре часа ликбез и — свободен! Полгода загораешь, а потом ЮСА. И за все — ни копейки. Расчеты — это дело ХИАЗа. Правда, Фима раздумывает. Пока не решится мой вопрос, он будет ждать.

— А в чем у тебя загвоздка?

Вайнер взял сигарету. Достал из кармана подаренную зажигалку, полюбовался ею, подумал и положил в карман. Мастер искренне рассмеялся.

— Борис Аркадьевич! В этой зажигалке миллион включений! Миллион, понимаете? — хохотал он, вынимая спички.— А вы жалеете. В Штатах такие зажигалки в нагрузку к блоку «Филипп Морис» дают.

— Да, но я пока не в Штатах. И не скоро там буду. Если и поеду, то домой, в Израиль.

— А что вы там забыли? И почему «домой»? У вас что — там мама родилась? — смеялся Даль.— Дом там, где хорошо. Там, где есть свой дом, и вилла тоже. И машина, и хорошая девочка на ночь, на две, на сколько захочу, и деньги, все равно, как они будут называться: лиры, марки, франки, фунты, доллары — все равно. Только чтобы их было много! Если Фима договорится, чтоб нам разрешили открыть салон в Италии, я дальше Рима вообще никуда не поеду. Воевать с арабами?! Я еще с ума не съехал, как эта старая дура из Жмеринки и ее хавэйрим. Они свою игру сделали и вкрутили в нее полмира одураченных. Но только не меня. Я тоже читал Герцля, слава Богу.

— Кто это такой?

— Герцль — это Гитлер сионизма. Между прочим, говорят, родился у нас, возле музкомедии. Так вот, он такую комедию написал — до смерти хохотать буду. «Рабсилу мы получим с Востока». Как, нравится? Я тяжелее кошелька

---

[1] Цурыс *(идиш)* — беды.

в жизни никаких грузов не таскал, поеду строить новый Израиль! Я его не ломал, не делил и завоевывать не собираюсь. Там ашкенази и идиотов без меня хватит.

— А кто такие ашкенази? — все более проникаясь уважением перед ученостью собеседника, заискивающе, почти шепотом выдавил Вайнер.

— Ашкенази — это мы,— ткнул себя в грудь Мастер.— Все эмигрировавшие на родину прокоммунистические агенты Кремля, люди Вильнера, Арафата, все, не родившиеся в Израиле,— рабочий скот в отличие от сабра, сыновей Сиона, родившихся в Палестине, и детей Голды Меир. Нас там дискриминируют во всем: в получении образования, работы, заработной плате и даже в праве свободного выбора невесты в чужой общине. А если избранница из семьи сабра, то раввин за ее честь борется до своей крови. Кстати, о крови... Обряд обрезания обязателен для всех, без исключения. Как у вас с этим делом, Борис Аркадьевич?

Вайнер, внезапно прочувствовавший резкую боль ниже пояса, обхватил двумя руками колени и отрицательно покачал головой.

— А мой папа,— торжествовал Мастер,— был более дальновидным. Меня в неглиже от сабра не отличить. Так что готовьтесь, Борис Аркадьевич! Заранее поздравляю. Лишние полторы тысячи шекелей и празднества местной военизированной знати в украшенной нарциссами синагоге за ваш счет обеспечены. Вы будете первым евреем, вторично потерявшим невинность в пятьдесят лет. И смотрите, чтоб вас там не изуродовали. Они же жуткие антисемиты! Семь раз отмерь — один отрежь! Что скажут девы... не говоря о Циле. У вас ведь требовательная жена!..— хохотал он, глядя на побледневшего шефа, над которым искренне смеялся впервые в жизни.

Шеф, он же гроза интернационального коллектива салона «Улыбка», не позволял подобных вольностей. Он был строг, сух и официален. Чаще одного раза в месяц в своем кабинете конфиденциально не принимал никого: ни победителя конкурса, ни даже техничку, получающую два рубля в день за помощь при мытье головы от каждого из двенадцати мастеров салона.

Труд Берты Львовны по местной тарифной сетке оценивался на двадцать процентов выше труда доктора наук, заведующего кафедрой в соседнем мединституте, в связи с чем ведущий терапевт-кардиолог и консультировал ее бесплатно по поводу раннего атеросклероза, и настоятельно рекомендовал в целях сохранения нервных клеток уйти на долевую

пенсию с голой тарифной ставки, которую она тратила ежемесячно в центральном гастрономе, приобретая Борису Аркадьевичу два флакона «Наполеона в треуголке» и заказной торт с шоколадной надписью: *«Навсегда уважаемому — преданная навсегда»*.

Вайнер поощрял конспирацию во всех смыслах и в день 8 Марта ежегодно, пред всеми напоказ, презентовал ей две пары чулок «в резинку» и двухрублевые палеповские духи «Быть может...».

— Несчастье,— добавляла «именинница», брезгливо выбрасывая подарок любимого шефа в ближайшую урну для мусора.

— Ну, хватит. Довольно хохотать,— оправился от потрясений Вайнер, окончательно решив еще и еще раз посоветоваться со своими людьми в синагоге, куда регулярно ездил три раза в год: на пасху за мацой, поставить свечи и заплатить полсотни поминальных по умершей маме за два дня до Рош-Гашоно [1], и на Симхас-Тойра [2], когда все евреи должны быть вместе. Так учил Моисей, завещавший собраться воедино на горе Синай и спасти себя, и детей своих, и весь остаток ветви Израилевой от геенны огненной.

ГЛАВА 4

Тихо и незаметно в город пришла осень. Вчера еще бездонное, синее небо серой тучей тяжело зависло над Днепром, дохнуло туманами на притихшие склоны и парки, охладило горячий багрянец листвы, пролилось охрипшим дождем и, тихо шелестя опавшей листвой, покатило уставшую землю в зиму.

Ветреный тополиный пух блеснул в золоте надежд бабьего лета, обвил паутинками поникшие ветки, брызнул в октябрь рябиновым соком и улетел вдаль, чтобы с первым морозом вернуться искрящимися снежинками и затейливыми серебряными узорами на окнах.

Первым снегом ворвался в город озорной декабрь, дохнул ветрами северными, морозными, застлал снегами улицы и крыши, днепровские склоны и парки, вековые купола церквей и соборов, сковал льдами Днепр могучий, беговые дорожки стадионов и спортивных площадок, разрумянил щеки мальчишек и девчонок и умчал в леса окрестные... за елками новогодними.

---

[1] Рош-Гашоно *(идиш)* — Новый год.
[2] Симхас-Тойра *(идиш)* — Праздник Торы.

В парке бессмертного Кобзаря увековеченный в граните великий поэт весело смотрел на праздничные приготовления и студенческое воинство, текущее в Храм науки, выкрашенный по приказанию злобной императрицы в красный цвет за своеволие, бунтарство и революционные замашки, превратившиеся со временем в идею, течение и высочайшее свершение воли двухсот миллионов прозревших рабов...

В актовый зал, заполненный выпускниками факультета романо-германской филологии, торжественно входят Отцы Науки, занимая почетные места в президиуме. Их речи проникнуты гордостью за молодых людей, получающих сегодня дипломы о высшем образовании.

— С этой трибуны,— говорил ректор,— я призываю вас высоко нести знамя советской науки, с полной отдачей сил трудиться на благо нашей социалистической Родины.

Помните всегда о том, что вы окончили один из лучших вузов страны. Будьте достойными продолжателями дела ваших дедов и отцов, бабушек и матерей, уходивших из этого героического зала в народ — к крестьянам Черниговщины и Полтавщины, на горящие революционным светом баррикады Мойки и Красной Пресни, на борьбу с бандами Зеленого и Махно, Колчака и Деникина, с фашистами и бандеровщиной.

Любите Родину! Любите людей!..

Майка неистово била в ладоши.

— До чего здорово, девчонки! Как прекрасно он говорит,— взахлеб кричала она, аплодируя седовласому академику.

Сквозь шквал аплодисментов едва расслышала слова декана:

— С ответным словом выступит староста курса Майя Владимировна Бергман.

Бодрым шагом она взошла на трибуну...

...— Ты чудесно говорила,— поздравляли ее подруги у памятника Кобзарю.

Вручение дипломов выпускники торжественно отметили в ресторане «Старт».

В разгар веселья музыканты песней «На распутье» от имени друзей поздравили Майку с успешной защитой диплома. На минуту она растерялась, но появление Фреда вмиг развеяло догадки. Она радостно ответила на его приветствие, согласилась пойти танцевать.

Был он моден, элегантен и чуть рассеян.

— Как видишь, я не забыл тебя, девочка,— проговорил Фред, увлекая ее в глубь танцплощадки.— Я не желал

смущать тебя своим непрошеным появлением, а наша общая подруга не рисковала тобой ни разу, ссылаясь на огромную занятость. Искренне поздравляю!

— Спасибо, Роман! А как твои успехи? Ты по-прежнему счастлив?

— Я тебе такого не говорил. Да и счастливым я никогда не был. Более того, я несчастлив, девочка. Ты вкусно танцуешь, пойдем ко мне в бар.

— Не могу, меня ждут.

— Я подойду к окончанию праздника.

— Он никогда не кончится.

— Тогда к закрытию ресторана.

— Не нужно, Роман. Мы сегодня встречаем рассвет.

— Возьми меня с собой,— попросил он, провожая ее к столу.

— А как же любящая жена и ненавистная теща?

— Их больше нет, девочка.

— Почему?

— Мы разошлись во мнениях и взглядах на жизнь в общем и на моногамию брака в частности. Но об этом после. До встречи,— прошептал он, пододвигая ей кресло.

Морозная зимняя ночь приняла в свои объятия неугомонную веселую дружину выпускников и повела их тихими заснеженными днепровскими склонами, мимо Аскольдовой могилы, к величественному обелиску Вечной Славы.

Суровая аллея войны, обрамленная мраморными монументами павших, устремилась ввысь величественным обелиском горя и гнева народного...

— Девчата, давайте споем! — предложила Майка, глядя со смотровой площадки на бегущую вниз серпантином дорогу, расцвеченные гирлянды мостов, прозрачную ширь и даль, подернутую еще неверным утренним светом, на необъятное и самое дорогое, имя которому — моя земля!

— Запевай! Мы поддержим.

В снежные дали тихо полилась песня:

Я люблю тебя, Россия, дорогая моя Русь!

— Нерастраченная сила,— подхватили девчонки,— неразгаданная грусть!

— Почему ты плачешь, девочка? — шепотом спросил Фред.— Никак, выпить хочешь?!

Стрельнула бутылка шампанского, мгновенно извлеченная из «дипломата». Единственный бокал пошел по кругу и звонко разбился на счастье, ударившись о подставленную кем-то бутылку.

— Я знал еще вчера, что «шампусика» не хватит,— с горечью произнес Фред.— Поехали ко мне, переводчики.

— Нет, Роман, нам пора,— возразила Майка,— дома волнуются.

— Ну что же, мой «ягуар» вмещает по паспорту пятерых. Но поскольку паспорт дома — восьмерых и двоих в багажнике. Жителям отдаленных районов настоятельно рекомендую.

На его призыв откликнулись шестеро, доставленные к месту назначения в кратчайший срок.

— Будешь откровенной? — спросил Фред, когда они остались одни.

— Я всегда откровенна.

— Почему ты плакала там, у памятника Славы?

— От счастья, Роман. И еще оттого, что пела любимую песню и острее прежнего прочувствовала ее смысл. Понимаешь: мать и Родина... В этих словах вся моя жизнь... Я росла без отца, но не чувствовала себя сиротой. А без мамы и дня не представляю. Ну, а Родина... Разве это понятие нуждается в объяснениях?

— Послушай, девочка! А ты не врешь? — презрительно усмехнулся он.— Щупала ты эту Родину, что ли? Как можно любить то, что даже не осязаешь? Что в руки взять нельзя?! А любовь к рекам, лесам, озерам... так они ж везде есть — такие же голубые и зеленые.

— Ну, а дом свой ты любишь?

— Во-первых, не дом, а квартиру. Дом бы я любил больше. А во-вторых, я люблю тепло, камин и шкуры — уют, в общем. Так вот, на Фиджи, девочка, среднегодовая — плюс двадцать шесть и уютно, жарче не бывает. А самое приятное, что там никто не ищет на бутылке из-под водки ресторанный штамп.

— Не понимаю?!

— Что тут непонятного? Личные тайны, девочка! Специфика моего производства. На водке из склада Кагана стоит Нинкин штамп. А на моей, магазинной, его нет. Но наценка прежняя. На мою сберкнижку, понимаешь?! ...Стоп, а зачем я тебе все это объясняю?

— Не знаю, мне это неинтересно.

— Ты ведь никому? Интимные тайны... Муки творчества!.. можно сказать. Сама понимаешь, для близких людей. Откровения очищают путь от сомнений к тюремным воротам. Назначай мне свидание, пока они не закрылись за моей спиной.

— Паясничаешь, Роман?

— Нет, очищаюсь. Готовлюсь к нашей следующей встрече.

— Ты уверен, что она состоится?

— Я ни в чем не уверен, девочка. Уверяю себя в желаемом и выдаю за действительное. Стереотип неврастеника, и только. Короче, вечером или никогда!

— Никогда, Роман, только не сердись. Совершенно нет времени. Я уже работаю, да и с мамой посидеть нужно.

— Она что — темноты боится?

— Не смейся, она больна.

— И что с ней?

— Сама не пойму. Мама говорит о возрастных изменениях, но мне кажется, что она меня успокаивает.

— А,— глубокомысленно протянул он,— понимаю! Вторая молодость, бабье лето. Ей замуж пора, девочка.

— Какой же ты циник, право. Останови немедленно.

— Зачем? — в недоумении притормозил он.— Обиделась? На меня?! Да не сказал я тебе ничего плохого! Ну, глупо пошутил, да и только. А маму твою нужно проконсультировать у специалиста, а не сидеть сложа руки и донимать ее вопросами: «Болит, не болит?» У Кагана есть друг — знаменитейший спец по женской части. Я договорюсь сегодня же. Давай телефон. Мамино здоровье — «коза ностра» [1], а гешефт есть гешефт. Ну, решайся же!

— Запомнишь?

— Здесь компьютер,— улыбнулся он, дотрагиваясь до головы.

— 47-89-84.

— Спасибо, поздравь меня с победой.

— С какой?

— С первой, разумеется.

— Шутник ты, Роман. Мы приехали. Останови, пожалуйста. Спасибо.

— И тебе спасибо.

— За что?

— За то, что не вышла раньше.

— Опять шутишь?

— Серьезен, как никогда.— Он попытался взять ее за руку.— До встречи...

— У вас сегодня ответственная работа, присаживайтесь,— пригласил Майку руководитель группы.— В двенадцать двадцать, аэропорт. Группа 173 «с». Встречаете пред-

[1] «Коза ностра» *(итал.)* — наше дело.

ставителей еврейской общины из города Чикаго, США, Гутмана и Ротштейна. Рейс 2420 из Вены. По профессии адвокаты. Совладельцы юридической фирмы. Круиз — «Русская зима». Класс — «люкс».

— Понятно, Сергей Владимирович,— ответила она, просматривая карточки приема.

— Прошу максимум внимания. Будьте радушной хозяйкой города. Возникнут вопросы — звоните.

— Все будет хорошо, Сергей Владимирович.

— Будем надеяться. Ни пуха!

— Спасибо.

Зеркальная «Чайка» мчится в аэропорт. Выбравшись из города, она чуть призадумалась на мгновенье и резко прибавила в скорости на шестирядной, в одном направлении бегущей вдаль оранжевого цвета бетонке, окаймленной притихшим заснеженным лесом. Свежий морозный ветер поет дорожную колыбельную, играя на струне ветрового стекла, веселое солнце расцвечивает мохнатые снежные шапки мудрых дубов и сосен, шаловливо бросает в машину мириады ослепительных искорок.

Здание аэровокзала неожиданно вырастает справа гигантским серебристым лайнером, готовым к взлету.

В зале приветливо, многолюдно, но тихо. Хозяева города встречают гостей.

— Мистер Гутман! Мистер Ротштейн! Я рада приветствовать вас на украинской земле.— Майка перевела дыхание.— Добро пожаловать. Во время вашего пребывания в СССР я буду вашим гидом и переводчиком.

— О'кей! Очень приятно,— ответил Гутман, седовласый, сухопарый, высокого роста джентльмен лет шестидесяти.— Скажите, у вас все девушки так же красивы, как наш гид?

— Спасибо!

— Мы рады встрече с вами,— улыбнулся моложавый Ротштейн.— Надеюсь, знакомство с тысячелетней столицей принесет нам не меньше удовольствия.

— Добро пожаловать!..

Удобно устроившись на заднем сиденье машины, Гутман закурил толщенную сигару и углубился в чтение рекламных проспектов.

Словоохотливый Ротштейн занялся с гидом обсуждением программы посещений достопримечательностей столицы, ее музеев и театров.

— Мы хотим как можно ближе узнать жизнь и быт советских людей. Мы приехали с добрыми намерениями,— говорил он, отгоняя от себя клубы табачного дыма.— Кроме

того, нас интересует советское Право — это чисто профессиональный интерес. А также жизнь религиозной еврейской общины, и, конечно, мы хотим посетить Бабий Яр, место расстрела наших братьев и сестер в годы гитлеровской оккупации города.

— Я постараюсь выполнить все ваши пожелания. В отделе юстиции вас ожидают сегодня, если вы не устали с дороги.

— Нет-нет, что вы! Мы прекрасно себя чу ствуем,— оторвался от чтения Гутман.

— В синагогу поедем завтра в девять.

— Отлично. Завтра шабыс. Мы примем участие в молебне и сразу же направимся в Бабий Яр. Расскажите что вам известно об этой трагической истории.

— В тысяча девятьсот сорок первом на наш город Гитлер бросил отборные, в несколько раз превосходящие наши силы, дивизии. Свыше ста тысяч убитых — таков печальный исход битвы за Киев.

С первого дня оккупации киевское подполье проводило огромную разъяснительную работу среди неэвакуированных граждан еврейской национальности о необходимости покинуть город. Их призывали не верить гитлеровской пропаганде, проводимой по указанию рейха генералом Эбельгардом — комендантом Киева, будто евреев вывезут в нетронутые войной «обетованные райские земли» для новой жизни. Но убеждения подпольщиков не достигли цели, невзирая на то, что на третий день оккупации в Бабий Яр были вывезены и расстреляны около тысячи больных Павловской больницы вместе с врачами и обслуживающим персоналом.

Не сделали они для себя выводов из каждодневных расстрелов в Бабьем Яру многих сотен заложников. Услугу гитлеровцам оказали духовные отцы еврейской общины, утверждавшие в своих проповедях объективную ложь о перемещении евреев в богом освященную землю. Весь мир знал, что, еще когда дымился подожженный фашистами рейхстаг, Гитлер начал проводить в жизнь всегерманскую политику дискриминации, а позже — интернирование и уничтожение еврейской нации. В ноябре тридцать восьмого года, после сотен мелких кровавых налетов, в рейхе был проведен тщательно спланированный всегерманский еврейский погром, санкционированный Гитлером, под кодовым названием «Нахт унд Небель», [1] после чего еврейский вопрос решался фашизмом только в печах концлагерей.

---

[1] «Нахт унд Небель» *(нем.)* — мрак и туман.

Миру известно, что отцы Сиона своим молчанием поощряли массовый геноцид нации, но международный сионизм [illegible]а по-своему «боролся» с антисемитизмом, отстаивая свое право на владение тяжелым денежным мешком. В июле сорок первого в Киев пришли потомки, как они утверждали, древних первосвященников, левитов и каганитов, которые также призывали еврейскую общину не покидать город и не пытаться бороться с фашистами. Своими проповедями о непротивлении злу они также толкнули несчастных к братской могиле. После объявления приказа Эбельгарда о сборе евреев в районе Бабьего Яра и, особенно, после первого дня расстрелов простые советские люди, часто жертвуя собственной жизнью, спасли тысячи евреев, детей и взрослых, спрятав их от уничтожения...

— Еврейство мира,— прервал ее Гутман,— объединенное самой древней верой и церковью, помнит все фашистские злодеяния, направленные против нашей нации. Но вы заблуждаетесь, утверждая, будто наша церковь знала об истреблении евреев на оккупированных немцами территориях.

— Для этого достаточно познакомиться с историей любого еврейского гетто, самоуправление которого, укомплектованное раввином наиболее богатыми прихожанами и санкционированное фашистами, достоверно знало, кого расстреляют завтра, а кого позже. Но молчало, оттягивая, таким образом, и свою неминуемую гибель.

— Чем же эти несчастные могли помочь таким же, как сами, смертникам? — спросил внимательно слушающий Майку Ротштейн.

— Вначале они не были такими же несчастными, а распоряжались жизнью и смертью обитателей гетто, не говоря уже о назначениях на работу, об оказании медицинской помощи и способах сохранить человеческую жизнь. Но главное не в этом. Ведь у них была возможность вооружить обреченных оружием и ненавистью, мобилизовать их на борьбу ради жизни.

А что касается церкви, то достаточно примеров торговли отцов сионизма с имперской администрацией за право выезда богатых евреев из оккупированной Венгрии, духовных отцов голландских евреев и других — всех, кто был на особом учете в четвертом отделе РСХА у Эйхмана. Кстати, суд над ним был проведен не на высоком уровне из-за постыдной сделки между Голдой Меир и престарелым канцлером Аденауэром, договорившихся не касаться по делу ни одного вопроса, кроме личности самого палача. А ведь «пятая

колония» живет и поныне. Да и кровь жертв Освенцима и Бабьего Яра взывает к отмщению. Главный палач киевской трагедии гауптман фон Торнау не осужден так же, как и Иозеф Менгеле, и изобретатель душегубки на колесах Вальтер Рауфф...

— Ты понял, кого нам подсунули? — письменно спросил Гутман своего коллегу после внимательного досмотра четырехкомнатного «люкса», из окон которого открывалась величественная панорама города.— С этой активисткой нужно быть чрезвычайно осторожными. В номере никаких разговоров. На улице — только иврит, только...

Осмотром храма Господнего гости остались довольны. Из беседы с раввином они узнали, что местные власти не препятствуют отправлять веру всем желающим, заботятся о поддержании порядка в дни наибольшего наплыва верующих в престольные праздники, что все желающие обвенчаться «по закону» достигают цели, едва изъявив желание, и крайняя плоть, хоть и редко, но еще платит кровью за единение с богом.

— Правда, я уже лет двадцать не делал хуппэ [1],— с сожалением добавил раввин,— нет желающих. Мало того, что они не верят, так вы же посмотрите, какие им построили Дворцы бракосочетания. Наша синагога, слава богу, старинная, добротная, красивая, в общем, но мало ходят, мало.

— Раввином чикагской общины,— заявил Ротштейн,— нам поручено передать вам в дар двенадцать талесов и свитков Торы. Не говоря уже о благих пожеланиях здоровья для борьбы за нашу святую веру. От имени верующих евреев Америки мы просим вас и дальше отдавать все свои силы служению Иегове и сплочению паствы вокруг церкви.

Пока ребэ рассматривал и пересчитывал талесы, к Ротштейну подошел крепкий еще старик в неприметном сереньком костюмчике, стареньком, затертом на сорока празднествах Рош-Гошоно талесе и засаленной ермолке. Он грузно опустился на стул, вынул молитвенник и, не поднимая глаз, произнес:

— Бог в помощь. В следующую субботу — московская синагога. Мой человек в двенадцатом платном ряду. Двенадцатое место. Кроме списка желающих выехать, он передаст вам фамилии должников. Деньги брались из расчета один к трем. Проинформируйте ХИАЗ и СОХНУТ. Мои люди должны спать спокойно.

---

[1] Хуппэ *(идиш)* — венчание.

— Вашими комиссионными распорядиться как обычно? — тихо спросил Ротштейн, искоса поглядывая на занятую беседой с Гутманом переводчицу.

— Да! Пусть они лежат в Иерусалиме.

— С радостью передам ваши пожелания процветания нашей общине,— перешел на английский Ротштейн.

— Скажите, ребе,— повернулся он к раввину,— многие от вас уезжают в Израиль?

— Таких людей, к счастью, почти нет. Потому что человек, родившийся здесь, будь он евреем или французом, никогда не променяет свою Советише Геймланд [1] на чужую землю, на которой и дня не бывает спокойно. Мы, слава богу, пережили войну. Так с каких это радостей лезть со здоровой головой в больную постель,— ответил раввин, неприязненно взглянув на собеседника.— Мир мой — дом мой, почтеннейшие...

ГЛАВА 5

Левина занимала уютную двухкомнатную квартирку в центре суматошного, юморного и лукаво-сварливого греческого поселения, вошедшего вместе с многозначимым названием — «Осиным гнездом» — в историю старого города. В бутовых сотах Молдаванки прочно когда-то засели трутни-паханы воровского промысла, скупщики всего, что продается, не выставляясь напоказ, ростовщики душ человеческих и даже подпольные акушерки, в чьих окнах до революции красовались герань и черный катетер для всеобщего обозрения.

Обожженные южным солнцем, отполированные до стеклянной скользоты временем и усталыми копытами запряженных цугом знаменитых одесских биндюгов булыжники Шестой Перевальной хранили тихую память по «сладким» миллионерам Маршакам — владельцам дерибассовского пассажа и даже первого восьмиэтажного дома на киевском Крещатике; Бродским, сахарные заводы которых вытянули все соки из трех последних перед революцией поколений «греческих поселенцев», унаследовавших от Дюка правильной формы нос, из которого бремя со временем выперло трудовой мозоль, трансформировавшийся отчасти в сутулость спины и в черную нежить горящих оливою, подернутых морской поволокой, пропахших жизненной горечью миндалевых глаз, глядящих на мир обалденно и непонятно:

---

[1] Советише Геймланд *(идиш)* — Советская Родина.

по королям тьмы Мишке Япончику, Левке Быку и даже по Маньке Сороконожке, сбежавшей с крестником Бенционом Менделевичем Криком в Румынию от неотвратимого второго пришествия Христа, земное название чему — Революция, в пламени которой сбылись вековые мечты и чаяния страждущего племени горбоносых изгнанников на дом, очаг, право свободного перемещения и право на высочайшее ПРАВО — на Звание ГРАЖДАНИН СССР.

Под веселыми, искрящимися, шальными копытами рысаков легендарных революционных тачанок пела одесская булыжная мостовая гордую «Марсельезу», черной лентой кружилась вдоль расстрелянных парапетов, веселых когда-то бульваров, уносилась вдаль, мимо потемкинской столестницы, в бурное море революционных страстей и свершений, поглотивших вековую тьму и всех коронованных и некоронованных особ голубых, а равно черных кровей, и возвратилась назад, чтоб разлиться сомлевшим асфальтом грандиозных новостроек жемчужины черноморского королевства, хлебом-солью встречающей ежегодно сотни тысяч королей, баронов и принцев — равноправных строителей нового общества...

Легко отыскав нужный дом, Гельман припарковал машину под раскидистой акацией у подъезда, уточнил по записной книжке адрес, бережно взял с заднего сиденья ветку цветущего каштана, посмотрел на часы. Шесть утра.

«Рановато,— подумал он, бодро захлопывая дверцу.— Но у меня всего один день. Завтра нужно быть на работе. Она поймет меня. Если вообще поймет,— мучался он сомнениями, пересекая подъезд с сюрпризом в виде второй двери, преодолев которую оказался в типичном одесском дворике с видавшей виды говорливой колонкой у небольшого, огороженного низким штакетником палисадника, где дремали, окаймленные бессмертником, добрые к вечеру маттиолы, ленивые настурции и брошенные нехозяйской рукой «анютины глазки», кокетливо взирающие на непрошеного гостя, с интересом изучающего допотопные деревянные террасы-балконы верхних этажей.

Но не только «анютины глазки» подсматривали за пришельцем, решающим проблему заветной двери. На старинной, с городского бульвара, лавочке, поставленной в тени старой подруги озорного детства — шелковицы, затеняющей мусоросборник, сидел убеленный сединами настоящий живой одессит в патриаршем пижам-халате, шлепанцах-пантофлях, брезгливо задравших зашнурованные носы с ниспадающими на них длинными бантами общевойсковых

[illegible] в защитных очках — «бабочкой» — на [illegible]
[illegible] трубкой в прокуренных усах и с [illegible]
[illegible]ностью в доброжелательной, с [illegible]
Возрастающее любопытство пенсионера [illegible]
очки, спрятать трубку, откашляться и произвести нар[illegible]

— Здравствуйте! И кто это к нам приехал? — И, [illegible] вслушиваясь в ответ, добавить: — Почему вы сам?

— А с кем, простите,— недоуменно пожал плечами доктор,— я должен быть?

— Как это с кем? — возмутился одессит.— Со [illegible]! Вы такой ответственный человек, сразу видно! Кто же вы можете быть?! Муж? Уже поздно. Любовник? Еще рано! Врач?.. Так его же привозят родственники... Квартирант тоже сам не ходит. К тому же вы не нервничаете,— рассуждал одессит,— значит, вас ожидают... А кто же вас может ожидать?! Если бы ожидали, я бы знал. Послушайте! Что же вы молчите?! Если вам нужна комната с видом на меня, спросите! Спрос в нос еще никого не бил. Как наш Фонтан, который «бил», есть и будет!

Одессит издал глубокий вдох; воспользовавшись паузой, доктор отважился спросить:

— Будьте любезны, где шестнадцатая квартира?

Удовлетворенное старческое любопытство пролилось на щеки горячей слезой.

— О-о-о-о! — протянул старик и вдруг, помрачнев, добавил: — Как не знать? Ха! Шестнадцатая квартира... Пойдете в первое парадное,— указал он на древнюю, переживающую третью молодость резную, в узорах, крытую грунтовкой в грязно-ржавый цвет дверь,— и подниметесь на четвертый этаж,— дак там ее нет. Здесь во дворе ее вообще нету, шоб я так жил! Она с фасада, на втором этаже.

— Да, но я тоже с фасада...

— Конечно,— взмахнул руками старик,— я же говорил. Вы такой наутюженный, но близорукий. В подъезде есть еще одна дверь,— хихикнул он,— покрашенная в цвет стены. Мы на ней накат сделали, для камуфляжа. Моя фронтовая идея. Мы хотим видеть, кто к нам ходит. Ха-ха! Куда же вы? Они еще спят.

— Кто они?

— Кто — «они»! Лерка с Асей.

Сердце доктора бешено заколотилось, застучало в висках, подкатило под горло тошноту, вырвалось из груди и схоронилось в укромной могиле дворового палисадника.

— С каким Леркой? — не расслышав собственного голоса, прошептал враз обессиленный влюбленный.

— Ха! — воскликнул воодушевленный старик. — А он не волнуется! А еще его ждут! Не с каким, а с какой! А с какой?! С обыкновенной. С дочкой своей пятилетней, со вчерашнего дня. Вчера весь флигель, включая фасад, праздновал ее день рождения, шоб я так шил и штопал...

Но доктор уже его не слышал. Его уставший от ночной гонки автомобиль взорвал утреннюю тишину и, обдавая редких прохожих продуктами сгорания бензина номер 93, помчался на вещевой рынок. Выбравшись на трассу, он притормозил у перекрестка, подошел к милиционеру, который посмотрел на него доброжелательно, но без должного интереса, и, предупреждая вопросы, ответил:

— Прямо до моста. По «кленовому листу» вверх и направо. Скорость — шестьдесят. До рынка — девять. Пожалуйста.

— Спасибо,— сконфуженно пробормотал доктор и, сев в машину, долгим взглядом окинул себя в зеркале заднего вида.

«Не понимаю! — подумал он.— Как он догадался?»

Но через километр пути все его сомнения рассеялись, как дым из выхлопной трубы идущего впереди видавшего виды «москвичонка».

По невесть кем установленной традиции, сотни автомобилей, следующих на вещевой рынок, разместившийся на добрых пяти гектарах в районе пересечения столбовых в прошлом дорог Киев—Кишинев—Краснодар, занимали крайний правый ряд трассы, скат в скат, след в след, не выпячиваясь, не пытаясь доказать свое физическое или материальное превосходство.

Долгие годы работники госавтоинспекции, украсившие все перекрестки строгим знаком «обгон запрещен», не могли заставить местных и иногородних лихачей подчиниться требованиям правил дорожного движения.

«Лучше потерять рубль, но сохранить десятку!» — рассуждали автомобилисты, пренебрегая запретом, но успевая за счет экономии времени приобрести дефициты «из первых рук». Помогли «гаишникам» работники местного уголовного розыска, безошибочно определяющие наличие «носильного дефицита» в багажниках лихачей.

— Лучше продавать позже, но дороже,— рассудили дельцы «от моря»,— чем вовсе не продавать...

А вещей этих было великое множество: в этом доктор убедился, едва переступил полосу «мира свободной торговли», презентовав благодарственные три рубля за право въезда на двадцатикопеечную стоянку личного автотранспорта.

Втянутый в людской водоворот, он в момент сориентировался и, сконцентрировав всю свою волю, попал правой рукой опять-таки в свой карман брюк. Зажав в руке портмоне, он чудом рванул этот рекордный вес «на себя» и спрятал наличность в левый внутренний карман пиджака. В следующее мгновение его, как ненужную щепку, бушующая стихия выбросила в залив носильных вещей.

Чего тут только не было!!!

Американские «мини» фирмы «ЯША КАЦ и К°» с Малой Арнаутской, головные уборы для нудистов — козырек на резинке, джинсы фирмы «Самопал» с «лейбой» всемирно известной голландской фирмы «Шикк», пеньюары вечерние «Смерть мужчинам» производства фирмы «Темпо», расположенной в подвале телеателье тбилисского Авлабара, и последние образцы обуви из далекой Великобритании, которые ввиду сложности при транспортировке производит фирма «Кент» с бакинской «Кубинки».

— Эй, старик! Чего ищешь? — спросил его весь джинсовый проныра с сигаретой «Мальборо» в зубах и пачкой отечественной жевательной резинки в обертке «Дональд» в руке.

— Мне нужна кукла,— выдавил зардевшийся доктор.

— Что, не наигрался еще? — рассмеялся продавец босоножек-стукалок производства индийской косметической фирмы «Джай», выструганных из русского клена и обтянутых польской джинсовой тканью.

— А еще такой взрослый! — укоризненно процедил проныра, высматривая «своего» покупателя.

— Собственно, это не мне,— оправдывался сконфуженно доктор,— кукла нужна ребенку, девочке.

— А ты возьми себе девочку постарше и купи ей лучше вот это платье,— повернулась к нему завсегдатайша одесского Привоза, вытравленная блондинка в лакированной юбке и прозрачной распашонке, стянутой шнурком под непомерно объемным бюстом.

— Или брючки! — добавил продавец потертых «Левис» с зиппером от старых маминых сапожек.— Какой у тебя сайс?

— Что?

— Не знаешь сайса? Ну, размер у тебя какой?

— У меня нет размера,— вконец потерялся он.

— Во дает! — осклабился проныра, выплевывая окурок.

— Да не слушайте вы их, товарищ,— вмешалась девушка с сумочкой под рукой.— Игрушки продают рядом с хрусталем. Вон видите ковры на заборе? Пробирайтесь к ним.

— Спасибо большое,— поблагодарил доктор, сделал глубокий вдох и нырнул в толпу.

Энергично работая локтями и что есть мочи лавируя в тряском человеческом мелководье, он наконец вынырнул у варного трехсотмиллиметрового столба с пригвожденными к нему стрелами «Ковры», «Хрусталь», «Туалет» и двинулся на поиски куклы. Обнаружил ее в хрустальном ряду, между набором корзинок и колодой нейлоновых игральных карт. Она лежала в неприглядной картонной коробке, но была прекрасна в воздушном, с люрексом платье, белоснежных, с розовой каймой, со штрипками носочках, розовых лакированных туфельках. Ее румяное личико, обрамленное пышной копной каштановых завитушек, было божественно и невинно.

— Простите,— дрожащим от волнения голосом заговорил он,— кукла продается?

— Кукла Нана,— не глядя на покупателя, ответила не совсем проснувшаяся моложавая брюнетка,— рассказывает свою биографию, плачет, как настоящая, питается от батареек, стоит шестьдесят рублей.

— Я хочу послушать.

— Пожалуйста,— оживилась продавщица, нажимая на кнопку-пуговицу.

Чистым, как горный ручеек, детским голоском кукла заговорила:

— Здравствуйте. Меня зовут Нана. У меня есть мама и папочка, братик и сестричка.

— Хватит. Деньги у вас есть?

— Да, конечно.

— Тогда я переверну пластинку.

Через минуту раздался горький плач обиженного ребенка.

— Все! — категорично заявила владелица куклы, укладывая Нану в коробку.

— Можете немножко уступить? — попытался начать торг доктор.

— Кукла, товарищ, не хлеб. И даже не кислородная подушка. Вон за рубль можете резиновую собаку купить. Она вся покусанная. На ней у трех поколений зубы выросли. Берите, пока даю! Это же что-нибудь особенное, а не кукла.

— Пару десяток могли бы и уступить,— пришел на помощь один из покупателей.

— Если и уступлю, то десятку, не больше. Берете?

— Беру!

— Во отец! Вот это отец! Люди, смотрите! Ему для сосика ничего не жалко,— запричитала спекулянтка, принимая деньги и не выпуская из рук коробку с куклой.— Берите пример с этого гражданина.

— Отпустите коробку наконец,— взмолился он,— я прошу вас, пожалуйста!

Рванув на себя горечь вместе с коробкой, доктор с разбега бросился в глубину все еще штормящей стихии...

«Странно, почему Ася даже словом не обмолвилась о ребенке? — мучал он себя по дороге на Шестую Перевальную...— Не хотела отпугнуть? Так ведь она и не пыталась приблизить! — думал он, вспоминая, с каким волнением всякий раз вскрывал ее письма, пытаясь уловить между строк пусть даже едва уловимый штришок, отличающий письмо друга от весточки любимой.— Я не могу упрекнуть ее в неоткровенности, скорее, наоборот! Почти не узнал ее тогда, в Сочи, только молодость и отсутствие жизненного опыта, этакая ложная уверенность в правоте, когда знаешь, каким должен быть объект твоего чувства, но, к сожалению, и не ведаешь, каким он бывает, способен слепо верить, добросовестно заблуждаться и дарить себя всего без остатка тому, кто зачастую достоин лишь бессердечия... Из переписки я узнал ее жизнь: радости и огорчения, мечты и свершения, круг ее интересов, увлечения, быт. Должно быть, я единственный, с кем она так близка и откровенна. И все-таки... Почему она не писала о ребенке? Почему? Я считал ее одинокой и несчастливой... Женщина, познавшая радость Материнства! Не в этом ли полнота жизни? Все горести и невзгоды становятся ничтожными и легко преодолимыми при взгляде на свое дитя. Сколько раз я сам умиротворялся, едва услышав дыхание своих девочек в темноте спальни. Жизнь ради будущего! Не в этом ли счастье человеческое?! Пусть я не достиг тех вершин, покорению которых предназначил себя, но за мной идут дети мои, идут те, кому непременно покорятся высоты, и только от меня зависит физически и морально подготовить их к счастливому жизненному марафону... Может ли ребенок, ее ребенок, оттолкнуть того, кто любит? Напротив! Мои добрые чувства к нему скрепят, сольют воедино любовь и благодарность к ней.

Ждет ли она меня? Наверное... Любит ли?.. А я люблю ее? Не знаю... Но после смерти Женечки только с ней я начал забывать свое горе. Перестал сравнивать жену с другой женщиной. Искать у последней пороки, радоваться

успешному поиску и утверждать: «Женечка так не делала, и не сделала бы, и не смогла бы».

Женечка!!! Прости! Не ко времени вспомнил тебя...»

Доктор припарковал машину, вытер вдруг увлажнившиеся глаза, бережно вложил платок уголком в верхний карман пиджака. Взял подарки и уверенным шагом поднялся на второй этаж.

Дверь в квартиру напоминала его собственную, только коричневую кожу в данном случае заменил черный дерматин. Два глазка: нижний в метре от пола, звонок так же дублирован с учетом роста ребенка.

«Молодчина Ася! Заботливая мать»,— с восхищением заметил он, нажимая на кнопку звонка.

— У нас открыто, входи! — услышал он детский голос.

На пороге стояла маленькая Ася, которая, увидев незнакомца, отошла на несколько шажков и добавила:

— Ася на балконе. Чистит клубнику. Ты любишь?

— Люблю, конечно,— ответил он, преодолевая нерешительность и заодно пространство прихожей.— Позовешь маму?

— Позову. Ты проходи,— пригласила девочка его в обширную гостиную о двух широченных окнах и балконной двери.

Он присел у журнального столика рядом с кафельной печью, напомнившей старинную печь его детства. Положил на колени коробку, ветку каштана. Задумался... Переложил ветку на столик, коробку опустил на пол. Окинул взглядом темную, в стиле модерн, мебель: легковесная хельга, утяжеленная пеналами, секретером и подсервантником; современный хрусталь на зеркальных полках; вдавленный в нишу секретера телевизор; ажурные люстры, небрежно сброшенные с углов потолка по диагонали...

«Низковато для высоких потолков»,— решил он, вспомнив вдруг мебель в отцовской квартире. Почему-то прочувствовал себя старым и неустроенным. Улыбнулся маленькой Асе, которая с присущей деткам любознательностью рассматривала незнакомца.

— Ну, рассказывай, как тебя зовут? — спросил он, протягивая к ней руки.

Она уверенно подошла, позволила себя приподнять, усадить на колени.

— Лера! А тебя?

— Меня? — улыбнулся он.— Дядя Сеня.

— А у меня день рождения. Почему ты вчера не пришел?

— Я опоздал, но пришел сегодня.

— Что ты мне принес?

— Ой, совсем забыл! Я принес тебе куклу, говорящую и очень красивую,— добавил он, раскрывая коробку.

— Чу́дная какая! — озарилась восторгом малышка, принимая подарок.— Как ее зовут?

— Сейчас она тебе расскажет.— Он нажал на кнопку, отчего немедленно зарыдала Нана по маме с барахолки.

— Почему она плачет? Ты сделал ей больно?

— Нет, маленькая! Она плачет от радости, что нашла тебя. Мы очень долго тебя искали. У кого только не спрашивали — никто не знал, где живет маленькая Лерочка. Что это с тобой? — вдруг встревожился он, заметив слезы на глазах малышки.— Ты расстроилась! Почему?

— Потому что я нашла тебя. Я знаю, кто ты,— зарыдала Лерка,— ты мой папа... Ася говорила, что ты приедешь с большой говорящей куклой...

Он поднялся. Усадил малышку в кресло. Зачем-то отбежал к двери. Повернулся. Подбежал к девочке. Обнял ее. Крепко прижал к груди:

— Доченька моя! Маленькая! Видишь, мама не обманула...

— Мама всегда говорит правду,— всхлипывала Лерка.— Почему ты так долго не приезжал?

— Я был на работе... Очень далеко... Но всегда помнил о тебе и очень скучал,— целуя заплаканные глазки, шептал доктор, убеждаясь все больше и больше в правоте своих слов.

В комнате появилась Ася. Остановилась на пороге. Подошла, испуганная и уличенная, чуть слышно выдохнула:

— Гельман! Милый ты мой!

— Мама, мамочка,— перебила ее Лерка,— папка приехал! Любенький мой,— щебетала она, обхватив ручонками седоватую голову знатока человеческих душ, протянувшего к Асе руки...

Через час, после обильного завтрака, доктор безмятежно спал на широкой низкой оттоманке в заботливо приготовленной для него постели. Лерка, проявившая вдруг характер, отказалась пойти к подружкам, устроилась на ковре против отца и, соорудив нехитрое ложе, определила Нану «отдохнуть с дороги». Ася отключила телефон и звонок и хлопотала на кухне.

— Мамка! А папка не уедет? — в десятый раз спрашивала Лерка, волоча из спальни теплый плед.

— Тише говори! Не уедет, если ты будешь послушной,— отвечала Ася, с тревогой думая о завтрашнем дне.— Зачем тебе плед? Нане тепло, сейчас лето.

— Нет, мамка! Я папку укрою. Пусть ему теплей будет. Он так любит.

— Прекрати немедленно. Ты разбудишь его...

Уложив зареванную, не желавшую отдыхать дочку в спальне и пообещав ей, что вечером она сама выберет, с кем будет спать, Ася вернулась в гостиную, села в кресло против спящего доктора, закурила. Смотрела на него и думала: «Гельман, Гельман! Что ж ты наделал? Черт с тобой, ты обо мне не думаешь... Но о ребенке!.. Пусть даже чужом тебе ребенке?.. Кто тебе позволил топтать чувства моей девочки, не помнящей отца и не знающей его ласки? Я не виню его... Не оправдываю, но и зла не желаю. Пусть будет счастлив за то, что ввел меня, тогда еще слепую и по-детски неосторожную девчонку, в удивительный и волшебный мир любви, ласки, где-то порока и... спасительной лжи... ради счастья... Я не жалею ни о чем. Пусть благим будет каждый день его лишь за то, что он очень хотел стать отцом... Без него мне б никогда, наверное, не быть матерью... Впрочем, только ли чувство рождает материнство?.. Слепо ли подражание Лерки, заботливо укладывающей спать «своих деток»? Еще годовалой, она засыпала с целлулоидной Люськой, накрепко прижимая ее к себе. Женщина с рождения несет в себе чувство материнства, и только физиология и мораль не позволяют ей до времени реализовать желаемое.

Почему же он тогда сбежал, не успев на руках подержать ребенка? Недоспать не успел... Пострадать не успел... Сбежал, да и все тут...»

«А ты?! — Ася посмотрела на спящего доктора, перевела взгляд на заботливо сложенные им брюки, улыбнулась.— Чистенький чересчур и педантичный до одури. И вообще, кто ты? Что мне известно о тебе? Умный, отзывчивый, чуткий, да? Чуткость, наверное, рождает любовь. А в тебе еще есть талант! Не много ли для одного мужчины в наутюженных брюках?! Мне с тобой было легко и очень хорошо! Ты действительно умен и воспитан. До противного скромный... Помнишь, с каким страхом ты отдергивал руку, едва коснувшись меня?! Было неприятно танцевать с тобой на расстоянии. Партнер! Даже прижать боялся... Представляю тебя в спальне: «Можно выключить свет, дорогая?.. Разреши помочь расстегнуть тебе лифчик!..» Смех, да и только... К тому же, тебе сорок четыре. Правда, и мне уже под тридцать... Но тебе все равно сорок четыре! Нужно отдать должное — выглядишь ты прекрасно. Жаль, что не была близка с тобой, жаль. Нет, не сейчас, а тогда,

в Сочи. Теперь уже нет желания... Только зло... Кончено, доктор... Лерка мне этого не простит...»

— Гельман! — тихо позвала она.— Просыпайся. Обедать будем.

— Я не сплю, Асенька,— ответил он, открывая глаза и осматриваясь.— Где ребенок?

— Спит в спальне.

— Разбуди ее.

— Зачем?

— Обедать будем.

— Я покормила ее перед сном.

— Прекрасно! Выйди, пожалуйста, я оденусь.

— Да, конечно! — улыбнулась она, оставляя его одного.

Обедали долго и весело. Ася с трудом прервала поток его похвал, высказанных по поводу кулинарных вершин, покоренных хозяйкой дома.

— Знаешь,— торжествовал он,— это у тебя, наверное, врожденное. Даже Нюре такие вкусные салаты не удаются. Я должен записать рецепты. Впрочем, не хочу тебя утруждать. Бульон — как слеза! А цвет?! Нет, ты посмотри, какой цвет!

— Гельман,— прервала она,— давай поздравим нашу спящую именинницу, выпьем?

— С радостью. Что тебе налить?

— Шампанское, пожалуйста, а себе водку.

— Не могу, к сожалению.

— Почему?

— Видишь ли, к ночи я должен уехать. Утром ординатура.

— Ну что же, тогда кушай...

Кофе пили за журнальным столиком, украшенным веткой цветущего каштана. Гельман удобно устроился в кресле напротив Аси, серьезной и решительной, явно настроенной на откровенный, необходимый обоим разговор.

— Послушай,— начала она, прикуривая сигарету,— неужели эти несколько часов встречи оправдывают твою сегодняшнюю ложь? Ты ведь растил дочерей без матери, так как же ты посмел?

От неожиданности он поставил вдруг задрожавшей рукой чашку, часто-часто заморгал, спросил прерывисто и виновато:

— А что, собственно, я солгал?

— Еще спрашиваешь? Сказал Лерке, что ты ее отец!

— Ну и что? — непонимающе воскликнул он.— Впрочем, это действительно ложь. Да, но о ней знаем мы с тобой. Лерочка не знает... и никогда не узнает об этом!

— Опомнись! Что ты говоришь? Тебя через несколько часов здесь не будет. Что я скажу ребенку?

— Как это что? — осмелел он.— Ты скажешь, что папа уехал, ну и...

— А потом?

— Потом? — Он поднялся, одернув пиджак. Сел. Снова встал. Прошелся по комнате. Ослабил галстук. Подошел к Асе вплотную. Опустился на колени. Взял ее за руку:

— Асенька! Отдай мне Лерку!

Она отшатнулась. Посмотрела на него бессмысленным взглядом и разрыдалась.

— Асенька, милая! Ты не поняла. Я ведь не навсегда. Лишь для того, чтобы тебе было легче устроить свои дела и приехать к нам, понимаешь?! Мы должны быть вместе. Будь моей женой,— повысил он голос.— Слышите! Я люблю вас!!!

Плакала она горько и мучительно. По-детски всхлипывая, сопела, затихала и, не в силах сдержать рыдания, вновь заливалась слезами.

Поднявшись с колен, он тяжелыми шагами мерял гостиную, но не осмеливался подойти к Асе, обнять, успокоить, поцеловать.

Первой заговорила она.

— Гельман, пожалуйста, присядь рядом и выслушай меня.

Он придвинул кресло, сел, чуть коснулся ее руки, весь превратился в слух.

— Говори. Я слушаю.

— Прости меня,— произнесла она после минутного раздумья,— я, очевидно, плохая, если подумала, что ты можешь обидеть Лерку. Мы давно знаем друг друга. Все это время я верила тебе, твоим письмам. Ждала тебя, как друга, как старшего товарища, как любовника, наконец, но не как мужа. Твое предложение, не сердись только, застало меня врасплох. Короче, я никогда не мечтала услышать его. Я не знаю сегодня, нужен ли тебе мой ребенок, нет, я неправильно говорю. Скорее, не ребенок, а мир маленького человека, в который ты должен войти с ним, рука об руку, и не отпустить никогда — пока бьется твое сердце. Сделать это должен будешь именно ты! Не Нюра, не я, а ты. Не мне призывать: пойми сложность и ответственность воспитания человека. Ты — умнее и опытнее меня. Но я должна верить, что ты готов к этому. Готов к тому, что моя Лерка, а в ней вся моя жизнь, станет твоим дитем навсегда. Если б я знала, что это так,— я бы отдала

твое не только руку и сердце, но и жизнь свою. Сегодня ты уедешь. Не пиши мне больше, я буду знать, что ты ждешь нас. Если прочувствую это — мы приедем к тебе...

ГЛАВА 6

Клара Соломоновна Розенталь, с трудом упрятавшая свое необъятное тело в новый, купленный по случаю джинсовый плащ, вдруг придралась к ни в чем неповинному зеркалу, обнаружившему, как раз сегодня, у нее новую морщинку под левым глазом.

«Боже мой! Что ж это творится?! Под правым три, да и те после искусного макияжа не видны, почти не видны, ну, виднеются чуть-чуть,— но я ж не девочка, слава богу! Но под левым — четыре. Четыре! Нужно немедленно зайти к косметичке. Черт бы ее побрал! Сколько денег — и все в прорву. Массаж по Жаке. Золотые руки. Белая ртуть. Шелушение обильнее, чем у Борика после скарлатины. «Кларочка! Я вас не узнала! Думаю, что это за девушка? Что ей нужно в косметическом кабинете с таким молодым, цветущим лицом?! Нет, нет и нет! Вам мои руки не нужны. Вы сегодня в них не нуждаетесь. Зайдите завтра, к одиннадцати. Что? Крем из мозговой косточки? Угри?.. Специально для вас — «ферментная гальванизация и аппликация с алоэ». Принесли пустые баночки? Так и быть: шесть рублей, и в кассу, как обычно». Что поделаешь! — нужно зайти. Кстати, массаж избавляет от мигрени.

Да, но только после встречи с этим негодяем, на которого мне смотреть противно. Впрочем, такие, с позволения сказать, мальчики, нравились и мне когда-то,— Клара Соломоновна загадочно улыбнулась.— К тому же, он отец моего внучонка, дай Бог ему здоровья. Мало того, что он уже шесть лет мучает мою Грету — так ему понадобилась и младшая! Как она могла на такое пойти? Может, это ложь? Все-таки они родные сестры. Но Грета уверяет, что только считанные секунды не позволили застать их врасплох. Считанные секунды... Что они значат в любви? Впрочем, именно они все решают. Бедные девочки...»

Клара Соломоновна еще раз прочла повестку. «Как он посмел? Тем более, что она... Да что там говорить, мы все ему простили. С кем не бывает?! Положа руку на грудь! Нет, я этого так не оставлю, негодяй».

Резкий телефонный звонок прервал ее размышления.

— Хэлло! — Клара Соломоновна прервалась и, больно ударив местоимение, добавила: — Я слушаю.

— Очень приятно, что именно вы слушаете,— в тон ответила диспетчер такси.— Вы заказывали машину?

— Да, я,— согласилась Клара Соломоновна.

— «Волга» — 42-40 ожидает вас у подъезда...

Фред проснулся в это утро в своей широкоформатной, как он говорил, постели с головной болью и чрезмерной сухостью в области рта. Сквозь тяжкое похмелье, не открывая глаз, попытался припомнить подробности вчерашнего вечера, неверными движениями расслабленных рук ощупал постель, сквозь дрожащие ресницы обвел взглядом пространство спальни, приподнялся на локтях, прислушался. «Странно! Или я проводил ее ночью, или она ушла утром,— подумал он, падая на подушки,— очень странно». Он открыл глаза, зажмурился от яркого света, проморгался-прослезился, адаптировался окончательно, потянулся к торшер-бару, взял первую попавшуюся бутылку, сделал глоток и затих.

— Наконец-то!

В комнату, неслышно ступая босыми ногами по утепленному текинским ковром полу, вошла голубоглазая блондинка, красиво сложенная и удивительно домашняя, в незатейливом наряде, состоящем из сиреневого в белый горошек приталенного батника и нейлонового передника, забытого наскоро отбывающей под родительский кров Гретой.

— Просыпайся, касатик, слышишь? Любить перестану! Ну, быстренько...

— Ой, напугала,— улыбнулся он.— Присядь рядышком.

— Не могу, Фреди, кофе выкипит. Кстати, вел ты себя безобразно и не заслужил, чтобы тебе подавали его в постель.

— Тогда в стакан, если можно. И сними эту юбку, она напоминает о моей разбитой ячейке общества.

— Предложи мне халатик.

— Нужно его иметь. Грета вывезла все, включая «Всемирную библиотеку» и «Декамерон» на украинском языке, чтоб я не развращался сверх меры. Кроме сберкнижки, у меня нет ничего — пожалей меня, я нищий.

— Только после ванны, Фреди! Иди нырни, там неглубоко. Я принесу тебе кофе...

— Боже! Сегодня я уверен, что ты есть. Иначе откуда такой сервис? Ты мне все больше нравишься, девочка.

— И ты мне, касатик.

— Если я не ошибаюсь, недавно ты клялась мне в вечной любви.

— [illegible] вчера, дорогой, к тому же вечером.

— Ну и что?

— А то, что моя любовь спит по утрам,— проворковала она, удаляясь.

Через минуту из кухни донесся мстительно исполненный старинный русский романс «На заре ты ее не буди...».

— Я рождаюсь, в который раз снова,— шептал разомлевший Фред, глотая обволоченным пьяной горечью ртом напиток из рук сидящей на краю ванны подруги.— Еще немного, и я влюблюсь в тебя окончательно, девочка. При этом я стану жадным, ревнивым и подозрительным.

— Не смеши, Фреди. Ведь мы с тобой еще незнакомы. Ты даже имени моего не знаешь.

— Да, девочка, ты права, не знаю. Я немного легкомысленный. Но, согласись, не любознателен: мне все равно. Я, можно сказать, счастлив оттого, что не знаю твоего имени. Моя любовь не терпит личностных окончаний. Она святая в своей нарицательной стоимости. Кстати, о деньгах — ты нуждаешься?

— Очень, Фреди! Подержи,— сказала она, передавая ему чашечку.

В следующую секунду его уши услышали два звука одновременно: короткий, до боли знакомый звонкой пощечины и длинный, пронзительный звонок в дверь.

— Кто-то слишком нагло врывается в мою жизнь,— констатировал он, потирая ужаленную щеку.

— Это не жена, Фреди? — испуганно спросила блондинка.

— Не знаю, убийца,— вскочил он, на лету хватая полотенце.— Концертные трусы и борцовки для экстренных приемов. Отлично. Закройся в комнате и не выходи...

Фред открыл дверь. На пороге стояла Клара Соломоновна. Она же — «старая дура» в мирной беседе с Гретой; «змея» — в диалоге с друзьями; «мама» — в общении с Кларой Соломоновной. Не проявив должного гостеприимства, он занял в дверном косяке позицию бюксера в момент нокдауна и, проглотив тошнотворный страх, заикаясь, спросил:

— Клара Розенталь, что вам нужно в моем доме?

— Сейчас узнаешь, распутник,— ответила она, отстраняя его со своего пути.— О! Наконец-то я застала тебя в привычной обстановке. Что это за мымра? — спросила она, увидев блондинку, маскирнувшуюся в кресле у окна.

— Это моя домработница. Еле достал. Через бюро услуг,— оправился он от шока,— после побега вашей дочери.

— Да, но она же голая!

— Такую прислали. И вообще... Не ваше дело. Может, ей так легче работать.

— В этом доме плохо со спецодеждой,— поддержала блондинка.

— Ромик! Еще минута — и я умру,— начала угрожать Клара Соломоновна, расстегивая джинсовый плащ.— Убери эту хиврю, немедленно!

Фред, вспомнив о том, что всю свою сознательную жизнь Клара Соломоновна торговала овощами в фирменном магазине «Дары полей», расположенном в районе бывшего Евбаза [1], и основной капитал нажила в тяжелые времена послевоенной суматохи, связанной с карточной системой и низкой стоимостью ворованных изделий из высокопробного золота, предложил домработнице приступить к мытью посуды. «Домработница» передислоцировалась в кухню, накинув на голову махровую простыню.

— Мама,— Фред сбросил постель в прикроватную тумбу,— что вам угодно?

— Ты еще спрашиваешь, мерзавец,— воскликнула она, разворачивая повестку.— Что это такое?!

— Это повестка о том, что вашей дочери необходимо явиться в судебное заседание, так как стороны не пришли к перемирию,— процитировал он свои глубокие познания в юриспруденции.

— А почему стороны не пришли к перемирию?

— А потому что в океане нелепых упреков и подозрений, вызванных цинизмом и ревностью вашей избалованной дочери, утонули мои захлебнувшиеся надежды на счастливую семейную жизнь и вечный союз двух сердец. К тому же, как вам известно, в последнее время этих сердец стало трое, что законами государства, в котором я в данное время проживаю, не только не предусмотрено, но, прямо скажем, запрещено. А так как я, каюсь перед вами, люблю в одинаковой мере двух ваших дочерей, а они, восхищаясь моим разумом и прочими наследственными совершенствами, отвечают в равной степени взаимностью, но подобный брак невозможен в условиях страны социализма, я решил: не достанусь ни той, ни другой. И прошу вас больше меня не тревожить. Вы знаете — я нервный... Может, я с собой что-нибудь сделаю, а вы будете отвечать... Самоубийцы, мамочка, неплохо сочиняют предсмертные записки, умоляя никого не винить в их смерти, кроме...

---

[1] Евбаз *(сленг)* — Еврейский базар.

— Щенок,— прошипела Клара Соломоновна.— Ты меня еще не знаешь. Я тебя посажу.

— Согласен... Но если такое случится, мамочка... (О Боже, лучше быть сиротой). Так вот, если такое случится, я обязательно вспомню в беседе с гражданином прокурором все гниющие подробности ежемесячной распродажи вами естественной убыли овощей и фруктов, а также запрещенные сделки с нежинскими огурчиками, итальянскими лимонами, марокканскими апельсинами, болгарскими овощами и даже херсонскими арбузами, не говоря уже о близлежащих засолзаводах Киевской области, мамуля. Поняли?

И так как Клара Соломоновна на какое-то время лишилась дара речи, добавил коротко:

— Вон отсюда.

Переступив зловещий порог, она тяжело вздохнула, повернулась лицом к обидчику, посмотрела на него долгим умоляющим взглядом и со слезами в голосе, но не на приклеенных ресницах, произнесла:

— Умоляю! Подумай о Борике. Он так на тебя похож!

— Подумаю! Обещаю! — сказал он и захлопнул дверь...

— Зачем ты впустил ее в квартиру, не дав мне одеться? — подала голос из кухни «домработница».

— Видишь ли,— Фред загадочно улыбнулся,— теперь она окончательно поняла, что я для них потерян. Навсегда! Зачем душой кривить? Приношу тебе свои извинения. Я твой должник. Утренний стресс не был оговорен в контракте. Только не суетись, девочка,— угадывая ее желание, предусмотрительно отступил он,— мои чувства не вынесут повторного надругательства. Кстати, мне нужно уехать, а ты остынь. Останешься?

— Если ты сегодня вернешься.

— А что, ты торопишься?

— Нет, просто не терплю одиночества.

— Тогда начни меня встречать.

— Как?

— Оденься и сядь у окна. Можешь даже погулять на балконе.

— Может, лучше приготовить обед?

— К сожалению, наша курица еще цыпленок. Впрочем, холодильник в твоем распоряжении. Только не сбрось его с балкона. Я скоро вернусь. Деловая встреча в моем офисе. Чтобы нас не обворовали, я запру тебя на все замки. Так надежнее. Согласна?

— Ладно, только возвращайся скорее.

— Договорились, пока.

Полный внутреннего напряжения и вмиг заполнившей и его тревоги, Фред бежал лестничными маршами к выходу из подъезда. «Нужно помыть тебя! — облегченно передохнул он, увидев покинутый «жигуленок».— Ну, здравствуй! — проговорил томно и нараспев.— И как тебя до сих пор не украли?»

Открыл дверцу. Раздалась резкая сирена автосторожа. Отключил ее. Поднял капот. Отключил искусно вмонтированные в электросистему разъемы-прерыватели. Снял удавку-струбцину с бензопривода. Открыл багажник. Накинул бензопривод на сосок бензобака. Вернулся к капоту. Подкачал бензонасос. Сел в кабину. Включил стартер. Проверил недавно купленный по случаю пятирожковый итальянский сигнал и, резко набирая скорость, помчался к своему офису.

Благополучно миновав приемную, он без стука приоткрыл дверь директорского кабинета:

— Входить?

— Одну минуту, Робик, я занят,— остановил его властный директорский голос.— Подожди, соберись с мыслями.

«Вечно у него торчит этот «министр финансов в юбке»,— со злостью подумал он.

Но шеф всегда старался быть пунктуальным. По понедельникам — особенно. В этот день Фред сдавал отчет. А вместе с отчетом сто рублей еженедельной дани в знак особого уважения, расположения и нескромного взгляда в будущее под заботливым крылом босса.

— Набежали за смену,— впервые передавая конверт, шепнул он.

— Ну что ж, неплохо для начала. Тем более, что у меня есть расходы,— ответил босс, выдвигая ящик стола.

— Понимаю, без этого нельзя.

— Только между нами,— возвращая кобуру взятки, улыбнулся босс.

— «Коза ностра», босс,— удовлетворенно поклялся Фред, бросая пустой конверт в урну для деловых отходов и мусора.

— Мог бы его и использовать,— укоризненно покачал головой Зиновий Исаакович.

— Писать некому, босс.

— Я имею в виду повторно, через неделю...

С того дня Фред ходит в передовиках. Изредка получает денежные премии, часто — дешевый армянский коньяк, а в прейскуранте — коктейль «Огни Кавказа», основным ингредиентом которого является марочный «Армения». Пред-

[illegible] в спортбар и еще реже [illegible] коктейлей фирменного приготовления. А уж когда и появляются, он встречает их на пороге с открытой улыбкой и просьбой посидеть вечерок, дабы провести время в веселой компании легкоатлетов, употребляющих грейпфруты и сок марочного алиготе для детского питания, со льдом...

В приготовлении же коктейлей равных ему на земле грешной нет и не было никогда. Волшебным движениям его рук завидовали бы всемирно известные Арутюн Акопян с сыном, Иво Иван из Франции и даже братья Кио, покорившие магов Индии. Они были бы тронуты мастерством исполнителя, сбивавшего коктейль «Казбеги» на марочном «Енисели» и разливавшего по бокалам на банальном, ко всему еще и разведенном до крайней черты «спиритус вини», украденном с близлежащей фабрики офсетной печати, где снабженцем еще когда-то работал папа Фреда — Григорий Берман, истинный друг и наставник молодого жулика.

— Ромик! Не воруй много! Это говорю тебе я, папа, ветеран труда и сбыта,— поучал сына Берман-старший в редкие минуты откровения.

— Лучше чаще, чем никогда,— смеялся Фред, решивший не работать «за так».

Встроенная в тумбу под телевизором канистра со спиртом никогда не просыхала, так же, как и бутыль с разведенной лимонной кислотой, вмонтированная в одну из восьмидесятиваттных стереоколонок «Пионер», что вместе со стационарным магнитофоном «Окайя» составляли наибольшую ценность в баре.

— Молодцы япошки! Такие маленькие, а так много места оставили,— удивлялся он, закрепляя десятилитровый штоф-штанглаз в одной из колонок.— И главное, вроде и звук улучшается,— констатировал он по мере опустошения штофа и наполнения своего кармана. Литр подкисленной воды стоил в баре в десять раз дороже литра бензина «экстра», которым баловали его «жигуль» на близлежащей автозаправке три дельца «от бензина» — любители спорта, завсегдатаи бара и ценители экстрамузыки рок-зверенышей «Энималс» Алана Прайса из далекой Америки. Сам Фред тоже был увлечен этой группой. Ему импонировало в Эль-Бимбо все: и то, что группа называется «Животные», и умопомрачительные бит-пассажи, извлекаемые Прайсом из синтезатора, и, наконец, сам Прайс, поскольку у него,

наверное, много денег, если он имеет бешеный успех в Голливуде...

Завидев своих давних знакомцев «от бензина», Фред отключал магнитофон, шумно приветствовал их и с благожелательной улыбкой вопрошал: «Как всегда?!» Ответа не требовалось...

Три коктейля «Огни Кавказа» на стойке; девять рублей чистого дохода в кармане; тонна бесплатного бензина в брюхе ненасытного «жигуленка» и фьюжн — «Мы — дети джунглей» — в ушах посетителей.

Кроме того, Фред с несгибаемым упорством боролся за трезвость, правда, насколько это позволяла его скромная профессия: третий коктейль в его офисе можно получить только с одним из многочисленных сандвичей с семгой, горбушей, икрой, салями, выставленных на витрине. Но если «бутылка на троих» — самое разумное в пустом времяпровождении у прилавка магазина «Оксамыт Украины», то он продавал три ломтика булки с двумя порциями зернистой икры, намазанной чуть менее толстым слоем, чем того требовали цена, правила торговли, а также Уголовный Кодекс.

«ОДНУ — НА ТРЕХ» — таким был его девиз! Но, помня завет папы, он не покорил данную головокружительную вершину, боясь свалиться в узкую, но глубоченную жизненную расселину «между желаемым и допустимым», по краю которой балансировал без спецобуви и коренного. Шеф с ним в одной упряжке не шел, ссылаясь на возраст и наследственное предрасположение к гипертонии.

— Я ничего не знаю! Надеюсь, ты понимаешь меня? В моей голове планы ремонтов, реконструкций и охватов близлежащих зеленых склонов нашими филиалами. Нужно расширять дело! — говорил он пристыженному Робику, попытавшемуся в один из зимних понедельников всучить боссу каких-то пятьдесят рублей «пошлины» вместе в жалобой на «с ума съехавшего» Деда-Мороза.

— Босс! Он режет меня без ножа,— кричал тогда вконец раздраженный Фред,— в Новосибирске — плюс один, а у нас — минус шестнадцать. Он что хочет, то и делает. Выдайте мне электрокамин, или я сопьюсь...

— Во-первых, мало данных! — прервал его Каган.— Во-вторых, «зашли полтинник». В-третьих, не усложняй мою жизнь. Я думаю о настоящем камине для твоего бара. Не хватает третьей фазы, э-э-э, несколько винтиков и колосников. Сам понимаешь... Зато дымоходов сколько угодно! Не вылететь бы тебе в какую-нибудь трубу однажды...

Фред лететь не хотел, а если уж лететь — то в Сочи. На худой конец, в московскую «Березку», переводить сертификаты в канадские дубленки. В крайнем случае — на десяток автостереопроигрывающих полуавтоматов, что также выгодно при условии получения премиальных в пропорции «один к десяти» и более того...

Один «Дельфин», презентованный шефу, на время избавил Фреда от боли в сердце, связанной с отрыванием от него кровных рублей. Причем это хирургическое вмешательство, как правило, производилось без наркоза и резало по живому. Правда, вылущенные кровавопотные дивиденды очень скоро воспроизводились знатоком основных экономических законов, бессовестно эксплуатирующим две мрачные колбы из пищевого алюминия и выдающим «на-гора» «ершики», от которых у некоторых претендентов на звание чемпиона с одновременной записью в знаменитой книге рекордов Гиннеса, употреблявших перорально все, что льется, включая мебельную палитуру, дезинсекталь и плодовоягодное на разлив, глаза на лоб лезли...

— Шеф ждет,— прикрывая за собою дверь кабинета, выдохнула томная Нинка, одаривая Фреда остатком бездонной улыбки, обещающей томление, пылкую страсть, гипертрофированную возможностью не позднее чем завтра сбежать на «совещание в главк», как именовались в последнее время два часа счастья.

— Ты уверена? — на всякий случай изображая на измятом лице неподдельное восхищение, что легко удается всякому желающему, если пробежать взглядом по объекту от лица вниз и назад три-четыре раза, перехватив дыхание и выпячивая широко раскрытые глаза по мере нехватки кислорода, спросил очарованный на всякий случай Фред.

— Он передал, чтоб я тебя пригласила.

— Спасибо! Кстати, как там наша подруга? Все еще девственница?

— Ну и хам же ты, Фред!

— Ну и что же?! Любознательный Хам, миледи, лучше дурачка Сима, не говоря уже об Иафете. Господь его проклял за один небрежный взгляд на пьяного папу. Папочка, видите ли, разоблачился, как член американского Богемского клуба перед экстренным совещанием. А эти два идиота накрыли его одеялом, пятясь задом. А если бы с головой — и алкаш задохнулся?!

— Белиберда какая-то,— Нинка решительным шагом вышла из приемной.

Фред, заливисто хохоча, проследовал в кабинет.

— Добрый день, босс! Прошу поставить свою волшебную подпись,— положил он перед Каганом отчет.

— Ты сегодня весел. Значит, излишков нет, слава Богу? — спросил шеф, взяв в правую руку вечное перо, а левой предусмотрительно открывая ящик стола, куда незамедлительно приящиковалась нежно-коричневая ассигнация.

— Недостачи тоже, босс.— Он опустился в кресло.

— Просьбы трудящихся в книге жалоб?

— Нет, босс, просьба есть у меня.

— Какая?

— Босс! Почему вы не даете мне возможности развернуться, прочувствовать себя гостеприимным хозяином и полностью раскрыть свое дарование?

— Это что-то новое... Выкладывай.

— Босс! — Фред уперся просветленным взглядом в морщинистый лоб шефа.— Моя мечта — это столы-фуршет, обнос, три красавицы-официантки с японскими столиками на колесиках, напитки и сандвичи моего приготовления, сто занятых умной беседой гостей и сыновнее спасибо после каждого приема.

— Заманчиво... Впрочем, я не уверен, сумеешь ли ты в полной мере оценить отцовские чувства, но попробую.

— Спасибо, босс! — Благодарственная улыбка, усиленная едким огнем пылающих жадностью глаз, обожгла Кагана полуденным тропическим ультрафиолетом в год наличия на солнце веснушек.— Моя благодарность — родная сестра вашего участия в моей расколотой семейной жизни.

— Что у тебя произошло?

— Босс! Говорю — и каюсь, и прошу прощения. Я развожусь и не позднее, чем после обеда, стану одиноким юношей, жаждущим ласки, несущим окружающим светлые чувства в душе и свидетельство о разводе в кармане.

— Ты хорошо подумал? — Каган прикурил сигарету, прошелся по кабинету.— У тебя неплохая жена и прекрасный ребенок. К тому же, ты далеко не ангел. Твои похождения не всякая выдержит. Зачем тебе развод? Если ты влюблен, во что я не верю, вспомни, глядя на новый объект, что когда-то ты уже это чувствовал. А в семейной жизни, поверь, все они одинаковы. Кроме того, на сколько мне известно, Грета из хорошей семьи.

— О, да! — воскликнул он, потеряв терпение.— Семья превосходная: торговка—мама, шлюха—дочь!

— Грета?

— Младшая,— нервно хихикнул он.— А что Грета? Она [illegible] не успела ею стать. Я слишком рано повел ее в загс. [illegible] ничего не успела: ни вырасти до среднего роста, ни выкормить грудью ребенка, ни запломбировать зубы, ни изменить, ни сдохнуть, в конце концов... Я устал ее умолять принять ванну, причесаться, бросить в сумочку «дезодор» и провести со мной ночь на лодке.

«Я не усну там, и Боря простудится!»

«Так оставь сына у мамы, и кто тебе предлагает спать? Я еще в состоянии бодрствовать!» Так, видите ли, у нее печень! У меня тоже печень. Печень найтральна в любви,— распалялся он все больше.— И вообще, вспомнить противно: «Спи, ты устал. Маленький, ребенка разбудишь! Котик, мама не спит! Родненький! Не подставляй свою голову — я боюсь!» Как-то я спросил: «А что подставлять, ноги? Так я же стану инвалидом!» А эта дура плачет: «Пусть лучше я буду жить с инвалидом, чем носить тебе передачи. Ребенку нужен отец...» Я тоже ребенок. И тоже без отца. И за три года от этого не умер.

— Как они там устроились?

— Вы же знаете, они были в Майами, но там бедная община. Сейчас живут в Нью-Йорке. Отец очень доволен. Работает экспедитором мяса. Весь день в трудах. Еще бы! Восемьдесят два маркета! Хозяин — еврей, какой-то Гофман. Очень уважаемый человек, но скряга жуткий. Платит семьсот долларов. Правда, с Нового года обещает прибавить. Мама работает полдня за двести пятьдесят. Варит каким-то выходцам из старой России. Они очень любят русскую кухню. Словом, пока нормально.

— Ну что же, это главное. Ты не собираешься к ним?

— Нет, босс. Не раньше, чем будет прямой вызов. А лучше всего — туристом, для сравнения.

— А я бы с тобой рискнул и на Восток! Представляешь, ресторан на бетонных сваях «Владимирская горка» — для русских евреев, омываемый прозрачной иорданской водой. Четыре зала, кегельбан, бары, сауна и номера с чернокафельными ванными комнатами. Архитектурный ансамбль достойно венчает копия памятника князю Владимиру. Только вместо креста у него в руке наш Могед-Дувед. Святой русских евреев, под распростертой священной дланью которого наши мальчики любят счастливых арабок. Над ним мигающая неоновая реклама, без устали стреляющая в черную ночь двумя словами на пяти языках: «Святой Вовик». Красота. Со временем я тоже куплю себе пару арабов — пусть на них дети в школу ездят. «Араб не

роскошь, а средство передвижения!» Но это не сразу. Пусть они упадут в цене. Главное, мы не пропадем, и знаем почему,— таинственно улыбнулся он.

— Почему? — прошептал находящийся во власти его слов Фред.

— Потому что мы, евреи, сильны, как никогда. И будем еще сильнее. За нами будущее планеты. Верь мне, и ты будешь счастливее.

— Мне некому больше верить, босс. Вы мне заменили отца.

— Молодец, Робик! Я тронут. У тебя все?

— Еще одна просьба.

— А именно?

— Мне нужно проконсультировать у Гельмана одну даму.

— Что, уже?!

— Что вы, босс! Я не настолько безнравственный! Заболела мать моей приятельницы. Я хочу выполнить ее просьбу, чтобы сделать ей приятное.

— Это не единственный способ, Робик.

— Я вас понимаю, но с чего-то нужно начинать.

— Что с матерью?

— Климакс, наверное. И попутные радости...

— Ну что ж,— Каган снял телефонную трубку.— Попробуем...

ГЛАВА 7

Тихим апрельским утром, в канун Первомая, у празднично оформленных зеркальных витрин салона «Улыбка» собрались ранние поклонницы красоты и моды, желающие поразить, а точнее — сразить наповал заранее намеченные жертвы. Чем их можно убить сегодня?! Ну конечно: новизной роскошной прически, смутой обворожительной улыбки, влажным блеском бездонных глаз, лебединой шеей, восхитительно очерченными ногами и тонкими, зовущими руками, коим могла бы позавидовать исполнительница одноименной песни в пору раскрытия своего вечного таланта и очарования.

«Женщина должна быть красивой!» — хочешь ты этого или не хочешь, можешь или не можешь. К сожалению, неизвестно, кому принадлежит эта крылатая фраза: то ли одной из последних представительниц умирающего матриархата, то ли одному из первых гурманов «от любви» вновь рожденного справедливостью патриархата.

А может быть, эта фраза принадлежит Господу-Богу, застывшему в немом восторге перед творением рук своих?..

[illegible] отделенная от тьмы заря осветила неверным утрен[illegible] светом Райские кущи, в которых блуждали, не ведаю[illegible] чем заняться, дети Божьи, и краснобокий, налитой [illegible]зными росами запретный плод, сорванный грехом, стал основным виновником прозрения, Адам, протягивая к Еве руки, воскликнул: «Милочка, то бишь, жена моя, а яблочко-то с червоточинкой!»

В сей благий миг оскверненное Божье ухо, воспринявшее междометия своих творений по-своему, заставило Господа прервать утренний сон и поспешить детям на помощь, в которой те отнюдь не нуждались. Тщетно употребив все свои способности и услышав в ответ «И без тебя знаем!», отвергнутый Господь предъявил молодоженам справки на право владения райской усадьбой и недвусмысленным жестом правой длани, увенчанной комбинацией из трех пальцев во главе с перстом указательным, выдворил счастливых в прозрении и неблагодарных к создателю «сеятелей» к чертовой матери, так же изгнанной из Эдема за первичную назойливость и вторичные упреки в мужской неполноценности.

Украшая себя в выходные дни фиговыми листочками, первые супруги прожили полную забот жизнь и вернулись к создателю, умиротворенные мирской любовью и вечностью. Умирая, бабушка Ева была интервьюирована своим многочисленным потомством и на вопрос правнучки Аврама: «Оправдано ли вкушение запретного плода?» — ответила: — «Ты еще спрашиваешь! Если бы меня только сейчас создал старый греховодник, я бы для познания человеческих радостей и счастья материнства съела бы все яблоки в мире».

В это время Адам, сидящий в головах отходящей в мир иной супруги, тихо плакал в белоснежную патриаршью бороду, искоса поглядывая на совершенные формы Исава, подарившего своему неблагодарному брату Иакову первородство и честь в обмен на миску жидкого чечевичного варева, поражаясь его красоте и новизне непонятного чувства, впервые щекотнувшего длани...

В бурной смене веков и поколений тихо зрело познание — добрая прабабка цивилизации, и вот уже охрипшая от просьб: «Господи! Сделай меня человеком!» — зачумленная человекообразная мирно спит у тлеющего костра, вокруг которого колечком расположились первые слушатели некраткосрочного дикфака по ликвидации обезьяньей членораздельщины.

— Ба-ба-ба,— громко выкрикивает самозваный учитель с дубиной красного дерева в огромной волосатой лапе.

— Бу-бу-бу,— вторят ему самые удачливые чистоплюйчики.

— Ба-бу-бы! — прорезает окрестности чей-то жалобный стон.

— А где ее взять? — горестно льется из темноты отчаяние.

Последняя реплика выталкивает обладателя того, что все ищут, из сладкого сна, заставляет мигом впрыгнуть в свою пещеру и привалить вход изнутри тяжелым куском гранита. В нежной постели из лепестков дикой розы и лотоса спит дикарка, негодующая правнучка которой через «тыщу лет» буквально съела свою соперницу и вышла в единоличные лидеры первенства за право возлежать на свежесодранной шкуре красавца леопарда с Зорким Глазом, сыном Дикого Буйвола — вождя и законодателя мод в лесной чаще.

Не успел закончиться медовый месяц, и брюхатая луна, оставив огненную дольку на бархатном небосводе, скатилась за ближайшую горку в вигвам Ночной Пантеры, как Зоркий Глаз собрал краснокожих по случаю удачной охоты. Он угощал их старинным деликатесом — жарким из свежезапеченных бизоньих ног, приготовленным в земляной жаровне под костром, вокруг которого в ритуальной пляске еще кружились натертые рыбьим жиром местные претендентки на брачное ложе. Глядя на наиболее откровенные и многообещающие па разукрашенных охрой и белой глиной красавиц, принц решительно заявил:

— Соплеменники! Тропа войны, на которую я встал сегодня, зовет нас разорить вигвам соседа. Нам нужны скальпы, прирученные мустанги и прозрачная вода Голубого озера, в которой купается красавица Лу, дочь Ночи и Быстрого Оленя. От взгляда на нее мутится рассудок, в этом я лично убедился намедни, наблюдая за ее омовением.

— Вождь! У тебя жена не хуже красавицы Лу. Краше нашей Фе нет дамочки на всем побережье, включая близлежащие вигвамы и неоткрытые материки под пятью Солнцами и восемью Лунами,— в один голос воскликнули краснокожие.

— Все, кому нравится моя жена,— нетерпеливо прервал их Зоркий Глаз, указывая на блюдо дымной говядины,— могут взять еще по кусочку от задней части. Я же с единомышленниками еще до рассвета брошу на загривок моего

3*

[мус]танга сорок скальпов и привезу красавицу Лу для продо[л]жения рода человеческого.

Выслушай меня, о Зоркий Глаз — поднялся убеленный сединой Мудрый Змей, дедушка Фе и старейшина рода [Белого] Буйвола.— Я не имею к тебе претензий. Ужин, [из] части моей вкусной внучки, удался на славу. Но поверь [мо]ему опыту — все дочери женщины, мать их так, красивы, коварны и одинаковы. Зачем ты призываешь нас пролить кровь в вигваме Ночной Пантеры? Посмотри на сопревших красавиц, танцующих танец любви. Ужель не восхищен твой взгляд и спят желания?

— О Мудрый Змей,— ответил Зоркий Глаз,— пойми, наконец, в вигваме Ночной Пантеры женщины давно прикрыли свое неглиже мягкими шкурами, названными одеждой, что больше соблазняет, чем нагота, с которой нечего снимать, кроме скальпа. А знаешь ли ты, что они что-то делают с волосами и называют это волшебным словом — прическа? Их груди украшают начищенные мелом ожерелья, сделанные из кариесных зубов наших воинов. Клянусь моим томагавком: завтра же выдам всем женщинам рода по челюсти наших врагов — пусть они украсят шеи красавиц.

Через минуту восемьдесят мустангов взорвали тишину ночи, и только красная пыль кружилась над угасающим костром и тихо ложилась на угли. Через тысячу лет она перемешалась с кровью потомков древних красавиц и брызнула кроваво-грязным обвинением в обветренные, пылающие садизмом лица конкистадоров Кортеса, принесших в Новый свет забытые каннибальские пиршества инквизиции. «Испанские сапоги», «обзорные дыбы» изломали сотни тысяч конечностей и веру в культуру и цивилизацию красиво одетых «Родригес».

Потомки смешанных браков и через пятьсот лет удивляли мир внешней красотой, полученной в наследство от матерей, и коварством, хитростью и иезуитством, переданными отцовскими генами. Воссоединяясь в единой законченной композиции под конкретным понятием «дьявол в юбке», этакий потомок преподносил Старому свету сюрпризы. Вспомните Мату Хари! Она перетанцевала вдруг всех парижских босоножек и вскружила головы петеновским царедворцам, а заодно руководителям служб безопасности и прочих разведорганов некоторых европейских держав, включая двадцатилетнего резидента кайзеровской морской разведки — Вильгельма Канариса, начинающего шпиона, законченного урода и в будущем одного из крупнейших подонков человечества.

История категорична, утверждая, что Мата Хари очень красиво смотрелась у эшафота, на который и взошла супер-звезда танца, моды и шпионажа. Она умерла под восторженные бабьи визги, скупые мужские слезы и тайное злорадство «первой босоножки Парижа» — Айсидоры Дункан, лишившейся конкурентки в борьбе за право обнять волшебного крестьянского сына из злато-белой Рязани — Сережу Есенина — и тем самым приобщиться накрепко к великой советской поэзии.

— «Цветы мне говорят прощай, головками склоняясь ниже...» — процитировал любитель и знаток поэзии Виктор Аронович Даль, задумчиво глядя на тюльпановый костер, ярко горящий под окнами салона, в ответ на ужасное сообщение, переданное радиостанцией «Одна баба сказала» усохшими устами Берты Львовны.

— Поздравьте меня и себя тоже,— расплакалась она, едва переступив порог.— Нас сносят.

— Куда сносят? Что ты болтаешь? — непонимающе воззрился на нее Вайнер.

— У Берты склероз,— заключила педикюрша,— она весь месяц живет первым апреля.

— У меня склероз и горе тоже. И Зелик, и Лиза, и внуки,— разрыдалась Берта Львовна.— Но и вам я не завидую. Нас всех разбросают по точкам. А здесь, на площади, построят станцию метро, чтоб она была проклята! Мне только что сказала об этом уборщица из Дома быта,— им уже пришла бумага.

— Борис Аркадьевич, это правда? — охнула еще не успевшая окупить затраты за место под люминисцентным солнцем салона маникюрша Света.— Вы же мне обещали!

— Что я обещал? Что? — повернулся к ней Вайнер.— Я обещал, что пока я есть...

— Ты, Светик, обеспечена неприятностями,— расхохотался Даль.— И вообще, кто знает древний гимн цирюльников — все ко мне. Наша песня — «Мы жертвою пали в борьбе за рубель».

— Немедленно прекратить! — разрубил железной рукой готовую подняться волну народного гнева возмущенный Вайнер.— Что мы имеем на сегодняшний день? Толпу за дверями и никакой бумаги от Метростроя. Кроме Бертиных сплетен. А кто ей сообщил? Уборщица из Дома быта. Тоже мне «директор Советской власти»! С ней советовались, где рыть!

— Могилу б лучше они мне вырыли! — всхлипывала Берта Львовна.

Берта! Прекрати нас хоронить! Успокойся немедленно. Все по местам! Работать с улыбкой и без брака. К обеду я все выясню. Уверен, что нас не снесут. Строить можно и на квартал ниже, тем более — под землей.

Последние слова шефа утонули в общем хохоте, а через минуту салон заполнили утренние посетительницы. Но к концу смены Вайнер испортил всем предпраздничное настроение, сообщив, что Берта Львовна была права: в соответствии с Генеральным планом строительства метрополитена на месте салона будет возведено ажурное здание станции метро. Строительство начнется не позже третьего квартала нынешнего года.

— Что будем делать, Борис Аркадьевич? — спросил Даль, плотно прикрывая двери директорского кабинета.

— Страшного ничего нет,— указал на стул Вайнер,— я был в управлении. Нам дадут помещение, и мы создадим новую «Улыбку».

— А если не дадут?

— Тогда вам дадут места в центре города. Тебе-то чего бояться? С твоими руками ты нигде не пропадешь. Вот что я буду делать — это вопрос.

— Жаль! Я хотел побыть здесь еще годик... Придется уезжать. А вы думаете? Я ж вам устроил вызов. По-моему, нужно оформлять документы и открывать новый салон в Восточном районе Старого города.

— Может, в Западном районе Нового города?

— К сожалению, не получится! Там сейчас открывают банки, министерства и ведомства. Один «МОССАД» займет гектаров двадцать, не говоря о вилле Бен Гуриона.

— Какой еще сад? — пожал плечами Вайнер.

— Ой, Борис Аркадьевич! Вы святы в своей невинности. Это не сад и не сквер. И даже не палисадник. Это израильская разведка, тюрьма и камеры с видом на домик, в котором приводят в исполнение «справедливые приговоры фатерлянда». В лучшем случае, оттуда видна пустыня Негев. Но в ней очень жарко и нет воды. Только у верблюдов! Но они ни с кем не делятся. Они горбоносые, как сабра. Так что воду лучше везти с собой. А самое лучшее — мини-объемное и макси-ценное.

— А как провезешь, если даже и есть пара копеек?

— Кое-что я могу подсказать. Только не сейчас и не здесь.

— Почему?

— Не верю никому. Даже этим стенам — они на редкость молчаливые. Нет чтобы поинтересоваться нежным, ласко-

вым голосом дежурного дяди из КГБ: «Что вы везете, камни?!» Я бы ему ответил: «Нет, что вы! Камни давно лежат в «Крокер Нейшенел бэнк», а здесь только горный хрусталь и прочие булыжники».

— Перестань паясничать,— возмутился Вайнер,— я серьезно интересуюсь.

— Если серьезно — поговорим в машине. Через десять минут возле комиссионки.

— К чему эти предосторожности?

— Мое дело. И вообще, дядя! Кто кого лечит? Жду на явке.— Он поднялся и ушел, хлопнув дверью.

С немецкой пунктуальностью сгорающий от нетерпения шеф занял удобное место рядом с победителем конкурса в кабине «жигуленка». Миновав Комсомольскую площадь, Даль свернул влево, спустился вниз и выехал на набережную. Проехав вдоль Днепра, он припарковался у древних стен Выдубецкого монастыря.

— Пойдемте, помочим ножки, Борис Аркадьевич,— улыбнулся он.— Внизу совершенно безветрено.

Вайнер молчаливо проследовал за ним.

— Так вот,— заговорил Даль, удобно усаживаясь у самой воды.— Мой тариф — «одно слово — десять копеек», и ни звука больше. Как я понимаю, вы всерьез решили отчалить и не знаете, с чего начинать и как это делается?!

— Как это не знаю? Как это? — присел Вайнер.— Нужно идти в ОВИР.

— А дальше?

— Показать вызов.

Даль расхохотался:

— Нет, вы просто святой человек в звездном сонме идиотов Вселенной. От кого у вас вызов?

— От Леи Шварц из Тель-Авива.

— Кем она вам доводится?

— Кем? Как это кем?

— Она ваша родственница?

— Нет.

— А вы ее родственник, да?

— Перестань же и, пожалуйста, не смейся! Как я могу быть ее родственником, если я ее даже не знаю.

— А она вас?

— Ты опять начинаешь?

— Нет, просто хочу знать, с чем вы пойдете в ОВИР. Думаете, там сидят дураки? Как бы не так! Слушайте и запоминайте: вам нужно немедленно связаться с адвокатом, занимающимся этим вопросом.

— Зачем?

— Он составит легенду, в которой расскажет о том, что Лея Шварц из Тель-Авива, в девичестве Шмурак, родом из... Откуда вы родом?

— Из Киева.

— А ваш папа?

— Папа? — оживился Вайнер.— Из Сквиры Киевской области. Знаешь? Это под Белой Церковью.

— Как его звали?

— Кадик.

— Отчество?

— Нафтулович.

— В каком году он имел несчастье родиться?

— В 1883.

— Прекрасно! — Даль окончательно вошел в роль, проявляя свои безусловные знания, почерпнутые из нескольких бесед с одним из престижных адвокатов, решающих подобные проблемы в приемные часы и не в ущерб валовому доходу юридической консультации, а равно и семейному бюджету.— Итак, я продолжаю. Да, у папы были братья?

— Были.

— Имена помните?

Вайнер замялся.

— Ну, хоть одного,— настаивал Даль.

— Одного помню. Конечно, помню! — всплеснул он руками.— Ну как же, Бронек. Он был немым.

— Превосходно! Немой — это находка. Он жив?

— Не знаю.

— Как это не знаете?! И вам не стыдно? Это же ваш дядя! Ну и племянники пошли... Никакого уважения. Ай-яй-яй,— возмущался он.

— Чему ты смеешься, чему? — взмолился Вайнер.— Он был старше отца. К тому же мама рассказывала, что он утонул.

— Утонул? — Даль в восторге вскочил.— Теперь слушайте: Лея Шварц, в девичестве Шмурак...

— А нельзя, чтобы не Шмурак? — поморщился Вайнер.

— А чем плохо Шмурак? — рассмеялся Даль.— Чем вам не нравится тетя Лея? Вы что, не любите родную тетю?! Впрочем, как хотите.

— Лучше Спектор,— умоляющим тоном предложил Вайнер.

— Спектор, так Спектор. Лишняя десятка — и можно даже Ротшильд. Не все ли равно? Договорились. Я продол-

жаю: Лея Шварц, в девичестве Спектор, родом из местечка Сквира Киевской области, дочь Нухема Спектора и Двойры Меламед[1] (еще десять рублей) — вышла замуж за аборигена того же еврейского поселения Бронека Нафтуловича Вайнера. Венчание происходило в нарядной белоцерковской синагоге, которая сорок раз горела в веселые времена переходных властей, в связи с чем все документы перешли в газообразное состояние. Ее молодой муж, не смирившись с собственной немотой, в один прекрасный день утопился, после чего тоскующая Леечка срочненько выбежала замуж за богатого еврея из Кракова, Хаима Бенцмана,— устраивает?!

— Хорошо, продолжай.

— ...который приезжал к ее деду по мамочке учиться украинской разговорной речи. После женитьбы молодожены отбыли в Варшаву, а затем, начитавшись пятикнижия Моисеева, махнули на перекладных в Палестину, где Хаим Бенцман умер от солнечного удара, не успев приобрести дефицитную в Вифлиеме льняную панамку. На восточном бреге мутного Иордана тетя с горя, по закону, отдалась какому-то сефарду. Все было бы хорошо, если бы у них были дети. Но в духоте синайского полуострова Шварц не желал размножаться (бедная тетя) и отошел в мир иной, не оставив наследника, что и заставило теперь уже Лею Шварц вспомнить о прошлом и обратиться к Советским властям с глубокой просьбой о воссоединении себя с любимым племянником Борисом Аркадьевичем Вайнером из Киева.

Даль перевел дыхание и с благожелательной улыбкой посмотрел на жующего неизвестные факты своей биографии Вайнера, который для лучшего запоминания прикрыл глаза, беззвучно повторяя жизненные факты и даты своей престарелой тети.

— Борис Аркадьевич! Ау, шеф! Вы здесь не один, спускайтесь на землю,— энергично притронулся Даль к плечу шефа.— Я рядом с вами, ну!

— Прекрасно! Это было прекрасно! Но, к сожалению, это не глазное. Меня мучают другие, не менее серьезные проблемы.

— А именно?

— А именно! — Вайнер встал, осмотрелся вокруг, подсел поближе.— А именно: с чем туда ехать?

— Вы мне задали очень серьезный вопрос. И очень обширный. Но я постараюсь дать вам исчерпывающий

---

[1] Меламед *(идиш)* — учитель.

ответ. Ну, во-первых, отсюда нужно постараться вывезти все, кроме неприятностей и болезней. Здесь нужно оставить почечную и печеночную колики, аппендикс и гнилые зубы. Подремонтировать себя основательно, так как здесь это ничего не стоит, а на Западе за камень, извлеченный из печени, нужно платить камнем, извлеченным с банковского счета. Второе: все наличные деньги нужно превратить в вещи.

— В джинсы,— просветлел Вайнер.

Лицо Даля застыло в мучительной судороге.

— Борис Аркадьевич, еще одно слово — и вы станете основным виновником моего самоубийства. Умоляю вас! Слушайте, или я сбегу.

— Говори, я больше не буду.

— Отлично. Запоминайте: для райской жизни в обетованных странах нужно приобрести советскую мебель, потому что у нас ее делают из дерева, а не из опилок, как в Америке, например, понятно? Пойдем дальше: закупить самые дешевые в мире советские бытовые електроприборы и постельные принадлежности из русского льна. Кофе, чай, икру — в максимально разумных количествах для продажи в Австрии или Италии. На карманные расходы. Я уже не упоминаю о коврах нашего производства — на Западе им вообще цены нет. Далее: палехские шкатулки, расписные поделки из дерева, матрешки и прочую дрянь. Гуцульские рубахи, блузы и юбки, расшитые руками украинских доярок. Старые эмигранты убиваются за этими штучками, не говоря о модницах Запада.

— Зачем они им нужны?

— Видите ли... они им напоминают их далекую родину, у них ностальгия — болезнь души. Они умильно льют слезы при взгляде на домотканое рядно, на котором спали в детстве и от которого бежали в юности, когда их менее угрюмые собратья строили новую жизнь, хоть я лично от нее ничего хорошего не имею. Вчера они начали призывать меня не брать чаевые, а завтра подарят фрезерный станок. «Работай и ни в чем себе не отказывай!» А как работать? Если я творец прекрасного и во мне нуждаются женщины.

— Не менее, чем ты в них,— вспомнил последние неприятности Вайнер.

— Да, нуждаюсь! Но жил ли на свете хоть один творец прекрасного без Музы, ради которой творил?! А поскольку я за один день творю не менее двадцати шедевров искусства, мне чаще требуется смена волшебных чувств, эмоций и настроений. Я хочу любить и страдать, жить острым моментом, и только. Я создаю шедевры парикмахерского Эрми-

тажа, а это зодчество в цене во всем мире. Конечно, я не писал Сикстинскую Мадонну, которую мы с вами увидим в Риме, но я и не реставратор, способный любить то, что было совершенным когда-то. Глядя на бабушку, лицо которой изъезжено всеми видами городского транспорта, а по последней в области лба морщине уже движется ее катафалк, вы лично сможете увидеть прошлую красу и распознать умершую добродетель?

— Я об этом никогда не думал.

— И напрасно. Вам уже пятьдесят. Женится ваш Додик — он вас мигом сделает дедушкой.

— Это не страшно, это даже...

— Конечно, не страшно,— прервал его Даль,— страшно жить с бабушкой и воспитывать внуков. А Додик в это время будет служить в армии. Скоро его призовут, вы и оглянуться не успеете.

— Ну, нет! В армию я его не отдам... А чего я хочу уехать? Я хочу уехать, чтобы Додик избежал ракетные войска. А с его головой, мы с Цилей не сомневаемся, он попадет только в Семипалатинск. Я не хочу быть отказником, а потом диссидентом. Этого ни мне, ни Циле не надо. Мы и так здесь всю кровь оставили... Представляешь, месяц назад приезжаю в синагогу, хочу взять мацу,— они там цех устроили, зарабатывают по тысяче рублей. А кто там работает? Родственники ребэ, чтоб он сгорел, и золовка, и дочка, и зять старосты...

— Какого еще старосты? — рассмеялся Даль.

— Ну, не старосты, так председателя общины. В общем, какого-то пурица [1]. Ты думаешь, я взял мацу? Ошибаешься. Там все расписано. Какая-то босячня заявляет, что они ульпаны. Учат иврит и лазят в американских шмотках. Им присылают посылки. А за что им присылают посылки? За то, что они учат язык. Я был дома у одного учителя. Там кофе в такой красивой банке, что и ты никогда не видел. А эти шубы! Пусть они искусственные, но сколько надо его жене шуб? Одну, две?! Открыл он шкаф, так я со счету сбился. «Вайнер,— сказал он мне,— соберетесь ехать твердо, так у вас тоже будут подъемные, и в синагоге с вами будут раскланиваться». Раскланиваться, ты ж понимаешь. В первом ряду у них раскуплено на пятьдесят лет вперед. Как будто у меня не такие деньги. Как-то мы с Цилей взяли Додика. Так он мне сказал: «Куда ты меня привел?» Я его понимаю, ему с балкона ничего не видно. А как он одет?

---

[1] Пуриц *(идиш)* — магнат.

Я [illegible], мне никто ничего не дает. Такой красивый ребенок... В общем, надо скорей уехать.

— Согласен и целиком одобряю ваши планы. Тем более, там вы его жените по своему усмотрению и тем самым постараетесь породниться с солидной семьей. А имея деньги и общие интересы, можно заиметь собственное дело, представляете?

— Это прекрасно, но как вывезти пару копеек?

— К этому мы еще придем, Борис Аркадьевич. Сначала нужно знать, сколько этих копеек. На все предметы, которые я затронул в своем обзоре, должно уйти тысяч десять. Попрошу их отминусовать. Ну, и еще тысяч пять на драгоценности. Теперь я подхожу к главному: сколько денег у вас остается? Да, еще отбросьте тысячи три на кораллы.

— Какие кораллы?

— Обычные речные кораллы. Те, что Дуньки в селах когда-то носили. Теперь их днем с огнем не сыскать. В Италии они цены не имеют. Крупные идут на украшения, меньшие скупает Ватикан для производства четок, а трубчатые «кукурузки» берут стоматологи — ими пломбируют зубы. Выгода огромная — один к трем. Могу достать сколько нужно.

— Я подумаю. А один к трем — это в какой валюте?

— В долларах, разумеется. Выгоднее не бывает. Вот если теперь у вас остаются деньги... да, отбросьте еще пару сотен на проводы и визы, то у нас состоится еще один разговор. Только для этого я должен знать: сколько денег вы должны вывезти?!

— Мне нужно все рассчитать.

— Оказывается, шеф, вы стоите больше, чем я думал. Это мне начинает нравиться. Вы молодчина!

— Ну, не совсем так... Видишь ли, у моей жены кое-что сохранилось от мамы. Сколько? Я не знаю.

— Странно...

— Я не интересовался. У моей Цили все будет на месте.

— За что и дорога... Ну что ж, если возникнут вопросы, я к вашим услугам. Пользуйтесь!

— Как только определюсь.

— Да-да! Только осторожно определяйтесь, чтобы вас не определили за нарушение закона о валютных операциях. И не попадите в руки аферистов. Таких бескорыстных людей, как я, нет. Мной руководит желание помочь еврею, если он приходит за советом и помощью. Я кое с кем о вас говорил. И этот кое-кто, как и наше управление быта, сразу определило в вас деловую жилку. Это качество — порука

вашей счастливой жизни в любых обетованных землях. Если я не ошибаюсь, ваша сестра уже на месте?!

— Да, устроились прекрасно. Они давно в Хайфе. Им дали однокомнатную квартиру, как у нас, в новом доме, только без балкона. Они ее обставили, купили машину, телевизор, большой холодильник — все в рассрочку, и знаешь, на сколько? На десять лет. Шурин, правда, не пишет. Он работает на военном заводе. Зато Элла пишет раз в месяц. Она просто в восторге. Так похудела... Они прислали цветные фотографии. К ним все относятся, как к родным. А о детях и говорить нечего. На каждом перекрестке надписи: «Дети — гордость и надежда Израиля!»

— Видите, красота какая? Конечно, ваш Додик покажет там, на что способен. Как он, кошек не мучает?

— Нет, что ты! Он очень любит животных. Помню, он болел ангиной. Это было лет пять назад. Я ему купил для развлечения живого кролика. Как он был счастлив! Ты себе представить не можешь. И что ты думаешь?! Циля не успела купить курицу и сварила ему бульон из этого кролика. Ты бы видел, что с ним творилось! Он так плакал, что я купил ему велосипед. А крольчатину он не ест до сих пор.

— Тогда не везите его в Австралию или, еще хуже, в Новую Зеландию. Там кролики — основная еда. На каждого жителя семьсот штук, не считая приплода. А они размножаются быстрее китайцев. Не говоря уже о саранче или тушканчиках. Так что на всякий случай учите Додика кушать белое мясо и делайте из него мужчину. Молодость Израиля ожидают огромные свершения. Евреи должны быть достойны памяти своих воинственных предков. Вспомните Иисуса Навина!

— Того, что остановил солнце?

— Вот именно! Я слышал, что уже родился еврей, который остановит Землю. Представляете? В тот момент, когда солнце будет греть вершину Синая. У всех ночь, а у нас день! Затем система гигантских отражателей, преобразователей — и мы торгуем светом. Вы стоите за прилавком. На весах — свет! Хочешь — купи! Не хочешь — учись в темноте играть по нотам на скрипке. В очередях тысячи, да что там тысячи, миллионы покупателей. Отдельно стоят китайцы. Им — как в магазине подарков: на каждый килограмм света — двести граммов риса. Над магазином солнечный лозунг: «Евреям свет не продается!» Все евреи и без того освещены божьей благодатью.

Это дополнительное проявление антисемитизма толкает остатки нашей смоковницы на переселение в священные

земли предков. Наконец все собрались, как одна большая семья. Последним эшелоном прибыли грузинские евреи. Им тяжело было в темноте спускаться с гор. К тому же, в пути половина ослепла от быстрой смены дня и ночи. Обмениваем свет на жадные глаза китайцев, умирающих с голода. В суперхолодильниках храним миллионы китайских донорских глаз и продаем их желающим. Представляете? Запасные глаза! Вы на работе — они у жены в спальне. И у каждой пары — косой взгляд Мао Цзедуна. Вдвойне прозревшая нация творит и строит. Атомные реакторы, дисплеи и мицубиси, роботы путаются под ногами. Изумленные инопланетяне умоляют о родстве, и вот уже первые еврейские пионеры брака, жертвуя собой, объевреивают Млечные Пути. Брачные конторы Сатурна, Меркурия и Венеры требуют все новых и новых представителей нации на брачное ложе с прекрасными девочками седьмых Галактик. По мере размножения заселяется вымершая земля, которой мы разрешаем вращаться в нужных нам оборотах. Представителями антимиров заселены северные широты. Все живут в счастье, кроме антисемитов, которые давно вымерли. Наступает новая эра — рай всеобщего благоденствия. Свершились все малости, не говоря о модификации человека, внешней и внутренней. Причем в процессе жизни мы модифицируем свое долголетие, постепенно достигая тысячелетнего предела.

— Тысячу лет жить! — очумел Вайнер.— Что б я делал? Боже мой, что б я делал?

— Как — что? На заслуженном у государства отдыхе вы бы обучали китайских детей правилам хорошего тона, на первый случай.

— Да, но я не знаю китайского языка,— с глубоким сожалением выдавил он.

— Тогда бы вы собирали еврейские анекдоты у жителей Восточной Европы в обмен на право купить кусочек яркого света вне очереди. И вообще... Спускаемся на землю. Вернее, поднимаемся к машине. Пора,— заключил Даль, в котором проснулись заботы сегодняшнего дня.

— Чтоб ты только был здоров! — Вайнер протянул руку и крепко пожал благосклонно поданную влажную пятерню творца парикмахерских шедевров.

ГЛАВА 8

Дождило. Низкие свинцовые тучи упали на город, обняли сырой свежестью Манхаттен, вобрали в себя пропахшие гарью и смрадом запахи лета, призадумались, двинулись

к Гудзону, наткнулись на островерхие небоскребы, попадались, раскололись, затуманили улицы пронизывающим до костей смогом, унеслись, опавшие, вдаль и растаяли над заливом...

«До чего тошно! — думал Берман-старший, всматриваясь в грязно-серую мглу с высоты Бруклинского моста.— Идиоты эмигранты! Везут чемоданы, набитые всякой дрянью, и никто, и я сам не додумался прихватить хотя бы один саженец нашего каштана»,— вспоминал он родной город, утопающий в зеленом разноцветье парков, аллей и садов.

«Чертова истуканша! — перевел он взгляд на залив.— Скольких ты встретила за годы своей молчаливой вахты и скольких, без вздоха и сожаления, отправила на дно?!»

«Выхода нет!» — какая жуткая надпись в подземке на станции «Бруклинский мост». Может, это последняя капля в горькой чаше страданий, выпавших на долю таких же выродков, как я!

Свобода!!! Кто купит — тот и ест! Кто не купит — голоден! А у кого не за что купить? Жрать-то всем хочется!

Как же реализовать свою свободу? С кем посоветоваться, если все эмигранты — звери?! А в синагоге только и ждут тебя...

«Счастье? Для личности? Блеф! Мы боремся за счастье нации! Нации! Понимаете? И вообще, Берман, зачем вы к нам приехали?Кто вас сюда звал? Где ваш дом? Где? Вы знаете?!»

«А в самом деле, где мой дом? — мучительно думал он в обшарпанном вагоне сибвея.— Здесь я его не нашел, там бросил... Может, наконец, решиться и выехать в Израиль? СОХНУТ должен помочь. К тому же я преступник — украл три килограмма мяса. Что поделаешь — привычка. А-а,— взмахнул он рукой,— придется начинать все сначала... В который раз?.. А как же Ромик? Сыночек мой дорогой... Он никогда на Восток не поедет. К тому же в Израиле его тотчас призовут в армию. А ведь это сущий ад! В лучшем случае — лагеря в пустыне и двадцать четыре часа муштры с «узи» наперевес. Говорят, после ранения из этого автомата умывают руки. Вход миллиметровый, а на выходе все кишки вываливаются. Покажи им, на что ты способен! Заслужи доверие нации! Разве чужой кровью можно заслужить доверие? Чушь какая-то. Зачем им чужие земли? А сколько врагов вокруг! Нет, я туда не поеду!» — твердо решил он, открывая дверь еврейского ресторана «Эсфирь», украшенного витринной рекламой: «Гранд фиш», «Песни Берри», «Русская кухня» — только у нас»...

— Вас ожидают? — на английском спросил швейцар, предупредительно подняв руку.

— Да, наверное,— ответил он на идиш, осматривая просторный холл с цветным панно «Бой Самсона с Давидом», глубокими низкими креслами, столами-пертунками с пепельницами в форме Звезды Давида.

— Проходите, пожалуйста! Вас ожидают? — подошел к нему метр в черной сюртучной паре.

— Да, Маковский.

— Вы — Берман? Прошу вас! Глен, возьмите у гостя шляпу! Вечно вы заняты воспоминаниями о своем Крыжополе...

Маковский потягивал сок, закусывая его крепкой сигарой. При появлении переселенца он посмотрел на часы, едва приподнялся в знак приветствия и жестом пригласил к столу.

— Здравствуйте, Берман! — И, не слушая ответа, продолжил: — Я заказал вам обед. Думаю, что вы не против. Кушайте и запоминайте. Точность — вежливость королей еврейского происхождения. Мне некогда. Вас я опекаю из жалости. Комиссионные не в счет. Нет, вы мне в самом деле нравитесь. Я говорил с вашим убийцей, старым Гофманом. Это — кровосос. Жаль, что вы — жулик. Зачем вы воровали мясо?! У вас плохая память, иначе б вы помнили библейские заповеди. Но устойчивые привычки — это нам подходит. Как вы понимаете, нужно начинать все сначала. Здесь вы испачканы, как и ваш «вид на жительство» со штампом «ганеф» [1] поперек фамилии. Я берусь все уладить. Вытрите руки, но не салфеткой, как у вас заведено, а полотенцем. Да-да! Ха-ха-ха! Я вмиг определяю «восточных беженцев»! На то я и Маковский. СОХНУТ берет все расходы на себя. Документ, переезд и карманные деньги. Долг большой, но с пятилетним кредитованием. Постоянное место жительства — солнечная Хайфа. Квартира, мебель, лимузин. Все в рассрочку на пятнадцать лет. Нам ничего не жалко. Работа — по специальности. Но так как вы — жулик, придется переквалифицироваться. Ознакомьтесь с бумагами и подпишите все, кроме долговой расписки. Деньги получите завтра в моем офисе.

— Да, но я не могу так сразу. Я должен посоветоваться с женой,— обескураженно заговорил Берман.— К тому же у меня сын. Мы хотели послать ему прямой вызов.

— Не смешите меня — я диабетик. Прямой вызов стоит дороже «паккарда». Вы за десять лет на него не заработаете.

---

[1] **Ганеф *(идиш)* — вор.**

Это королевское расточительство. Вот почему там, в России, все нищие: слишком любите своих детей, а нужны им, как здешнему Гарлему, считающему евреев одним из главных виновников безработицы, хоть лично я и не разделяю мнения чернокожих. Пять последних президентов решают их проблему и не могут решить. По ту сторону решения подобных дел стоят убеждения и требования общества, которые нередко заканчиваются перекрестным огнем по слишком горячей голове. Ха-ха-ха... Вызовем вашего сына в Израиль. Бесплатно. И не смотрите на меня, как русский царь на вашего папу. Ну! Я — Маковский!

Берман неуверенно взял бумаги. Перелистал их. Отыскал счет. Долго изучал его, нервно шевеля губами, прикидывая виды на новую жизнь.

— Что это за семнадцать долларов? — поднял глаза на «благодетеля», доставая ручку.

— О, вы мне напомнили о работе. Человек! — щелкнул тот пальцами.— Прошу. Это счет за ваш обед, Берман. Теперь я могу признаться, после того как вы его съели. Ха-ха-ха. На то я и Маковский.

— Прошу, сэр! — к столу подошел официант.— Шестнадцать десять, сэр.

— Ты, как всегда, молодец. Как дела, Эмик? Ты в голосе?

— Спасибо, сэр, вечерами пока пою...

— Почему «пока»?

— Думаю о переезде в Чикаго.

— Тебе здесь не нравится?

— Там обещают больше платить.

— Где тебе подыскали работу?

— На бойнях, обвальщиком мяса, сэр.

— Ну что ж, еще попрощаемся,— небрежно бросил на поднос деньги.

— Спасибо, сэр,— пятясь, проговорил официант.

— Не грустите, Берман. Вскоре перед вами откроются необъятные горизонты истинной родины. Здесь туго всем вашим — не вы первый! Вы не знали этого парня,— кивнул он в сторону официанта.— В прошлом певец. Говорят, был у вас довольно знаменитым. Поет неплохо, довольно сносно. Особенно мне импонирует это:...Идет по Нью-Йорку холодному в коротких штанишках Абрам... Ха-ха-ха... До встречи, Берман. Завтра в десять. И готовьтесь к отъезду.

Жарким июльским днем Фред сидел одиноко на сонной террасе бара, потягивая через соломинку охлажденный «пепси» и наблюдая за тренировкой юных пловчих в открытом

бассейне спортивного комплекса, в котором раз в неделю плавал и он при посещении сауны, имеющей выход в аквариум для охлаждения наиболее заядлых парильщиков.

«Нужно съездить в лес, нарезать веники,— лениво подумал он,— сейчас самое время. Но одному не хочется. А вдвоем — тошно. Да и с кем?.. Шеф в краткосрочной командировке. Решает проблему улучшения вкусовых качеств третьих блюд, калькулируя их с томной Ниной между первым и вторым в сухумском «Мерхеули». С Вандой? Не хочется. К ней попадешь, как в парфюмерный магазин, и балдеешь до одури от сладкой и приторной «Нефертити» и запахов женских дезодорантов, которые она принимает вместо душа... Может, наведаться к Грете? Взять Борьку и укатить дня на два? Здорово!.. А кто кушать приготовит? Нет, не пойдет, он еще маленький. Если б она отдала его, дура, навсегда — увез бы мальчишку с собой. Вырастил бы... В лучший колледж определил. Правда, говорят, у них ребенок до совершеннолетия стоит тысяч сто двадцать. Только медики берут тысяч десять. Вранье?.. А если правда?.. Нужно быть самоубийцей, чтобы позволить зарезать себя собственным сыном. Лучше вообще не иметь детей. А уж если и иметь, то здесь,— здесь они ничего не стоят, кроме удовольствия. А там...

Его глубокие раздумья были прерваны внезапным появлением официантки.

— Фред,— позвала она, едва ступив на террасу,— вас спрашивают.

— Кто?

— Девушка.

— Одна?

— Да.

— Симпатичная?

— Очень. Я ее раньше у нас не видела.

— Странно... И что она хочет?

— Откуда я знаю.

— Может, любви,— мечтательно улыбнулся он.— Неси ее ко мне!..

Фред принял прежнюю позу, взял бокал, лениво поймал губами соломинку, закрыл глаза. Вдруг какая-то внутренняя пружина выбросила его из кресла, заставила вытянуться во весь рост и даже смутиться от неожиданности. На террасу в сопровождении официантки вошла Майка.

— Здравствуй, Роман. Не ожидал? — приветствовала она его, застывшего в немом восхищении.

В следующее мгновение он уже решительно взял себя в руки, охватил ее цепким и преданным взглядом медного дога со своей «эспаньолы» и с деланым изумлением воскликнул:

— Ба! Кто к нам пришел! Здравствуйте, герл. Закуска стынет на плите. Водка в холодильнике. Я на минуту отлучусь. Располагайтесь. Машенька! Экстра-заказ. Водку только пшеничную.

— Я не пью, Роман, успокойся...

— Что? Не пьешь? Почему не пьешь? Никто не пьет, когда нечего. К тому же, герл, мы имели счастье наблюдать однажды. Сегодня, наверное, годовщина. Обязательно отметим.

— В таком случае, бокал шампанского, если можно.

— Конечно! Герл, и шампанское тоже!

— Спасибо, Роман. Присядь. Я по делу.

— Я весь внимание. Горю желанием помочь. Говори,— тараторил он без умолку.— Ты куришь?

— Еще не научилась.

— Тогда я закурю с твоего разрешения. Говори.

— Понимаешь, Роман, я жалею, что когда-то не воспользовалась твоим предложением проконсультировать маму. Неудобно было, да и чувствовала она себя гораздо лучше. А сейчас совсем плохо... Нина посоветовала мне обратиться к тебе. Помоги, если можешь!

— Все понял,— деловито заключил он.— Сейчас выясню. Бегу на полусогнутых. Посиди...

Через несколько минут он вернулся сияющий и полный энергии, отрапортовал:

— Полный порядок, герл! Рандеву состоится не позднее завтрашнего вечера. Красноармейская, а дальше — наше дело. Знаем — не проговоримся.

— Спасибо большое. Я очень благодарна тебе, Роман.

— Ерунда. Встречаемся завтра в десять утра.

— Не понимаю...

— И не поймешь! — засмеялся он.— В десять я везу тебя на природу. Никаких отговорок. Березовые рощи, вековые дубняки и гигантские муравейники. У тебя в руке палка. У меня тоже. Мы им портим жизнь и наблюдаем современные методы ликвидации последствий муравьиного землетрясения.

Вчера трясло Югославию. Мы над Скопле. Им песня строить — нам жить помогает.

— Тебе нравится разрушать?

— А, понимаю...— Он наполнил бокалы.— В тебе живет вечный лозунг: «Берегите муравьев — санитаров леса!»

А во мне вандал и разрушитель. С детских лет я уничтожаю все, что ломается. Начал свою деятельность в четырехлетнем возрасте с бабушкиного репродуктора. Мне хотелось извлечь из него слишком разговорчивого дядю, чтобы закрыть ему рот. После этой операции я до сего дня не могу остановиться. Недавно мной же была окончательно сломана семейная жизнь, в узкие границы которой я не смог уместить рвущуюся к жизни информацию, накопленную для меня неведомыми предками. Положа руку на сердце, должен признать, что они копили, в основном, жуткие отрицательные начала: сплошные желания и инстинкты. Да-да! Не смотри на меня так! Я страшен. До сих пор не понимаю, как я не стал убийцей? Ломать — не строить. Я вынужден себя сдерживать в страхе перед общественным мнением. Вижу, что тебе страшно. Давай выпьем за укрощение строптивых. К тому же вам, герл, ничего не угрожает. Я сделаю все, чтобы оказаться умным и вежливым собеседником.

— Ты уже начал?

— Не! Я продолжаю... Понимаешь? Я чувствую себя жутко умным. Но, к стыду, признаюсь, что постоянно лишен аудитории. Долгие годы решаю: где ее взять? Зеваки в зале суда на моем процессе явно не подходят. По достоинству не оценят, потому как я не умею укладываться в чужой регламент. Но с тобой я выговорюсь, если не будешь против, конечно. Соглашайся, или я сгорю еще до рассвета.

— Согласна, Роман, только давай договоримся...

— Герл! Клятвенно заверяю — о любви не слова.

— Чудной ты! — смутилась она. — У меня до двенадцати группа. В первом часу приезжай к «Интуристу». И еще: дай мне слово не пить за рулем.

— О, герл! За рулем пьют только самоубийцы... С завтрашнего дня я не пью вовсе. Но знайте: виноваты в этом только вы...

Задолго до назначенного часа Фред подъехал к «Интуристу». Припарковал машину, зашел в ресторан, сел за свободный столик. Долго изучал меню. Наконец отложил его в сторону.

— Ну что, выбрали? — подошла к столику официантка.

— Да... Впрочем, нет.

— Вам помочь?

— Если можете.

— Постараюсь.

— Но учтите, герл, я гурман.

— К сожалению, я не смогу предложить вам суп из лягушачьих филе.

— Нет, нет. Мне бы что-нибудь такое... домашнее.

— Не понимаю...

— Герл, я в командировке. Соскучился по домашней пище. Вы не можете мне принести печеный картофель «в мундирах», «дунаечку» и лук с подсолнечным маслом? — вспомнил он любимый воскресный завтрак в сверхэкономном родительском доме.— Или яйцо в смятку... А еще лучше, принесите мне кофе.

— Ну и подарочек! — процедила официантка, направляясь к кухне.

«Странно, очень странно! — осмысливал он свое новое состояние, вызванное ожиданием встречи.— Неужели я еще способен влюбиться в какую-то, пусть даже красивую, женщину? Собственно, что мне в ней нравится? Лицо? Фигура? Душа? Мысли? Так я ж ничего этого не запомнил... Недоступность? По-настоящему я не добивался ее любви. Она умна? А кто это знает? Но не настолько, чтобы нравиться дуракам. И не легкомысленная, чтобы нравиться мне, потому что я — умный... К тому же, она не модница: небесного цвета водолазка, плиссированная юбка... Плиссе-гофре-зиг-заг надежды! Да, с кем не живешь, того не знаешь»,— грустно заключил он, бросил на столик «дежурный» рубль и пошел к выходу.

Майка задержалась на десять минут и появилась в поле его зрения в синих джинсах и прозрачной вышиванке, подчеркивающей изящные в девичьем полете руки с утонченными запястьями и удлиненными чувствительными пальцами скрипачки, с гордой красотой открытой солнцу шеи, головкой с высоким, чуть скрытым легкой каштановой челкой лбом; чуть приподнятыми к вискам, резко очерченными бровями и добрыми темно-карими глазами. Красоту ее лица дополняли правильной формы нос, сочные, мягко рисованные, слегка пухлые губы и чуть капризный округлый подбородок.

Ее длинные, обутые в легкие сандалии ноги почти не касались асфальта, и создавалась видимость воздушного парения — так, во всяком случае, показалось восхищенному Фреду.

— Герл! Поздравьте меня, я счастлив,— бурно приветствовал он ее, распахивая дверцу машины.

— С чем, если не секрет?

— Ваша «пунктуальность» едва не отправила меня на тот свет,— ответил он, включая зажигание.— Полное

...ете, как мне кажется, я прочувствовал в момент нашего ...ения. Чем вас вознаградить? Музыку любите?

— Конечно.

— Утопите кассету,— показал он на «Дельфин».— Да, извините, я не знаю вашего вкуса...

— Это зависит от твоей фонотеки,— уклонилась она от ответа.

— У меня есть все: «Пинк флойд», «Дарк сайд он де мун». Подойдет?

— Сначала нужно настроиться.

— Тогда —«Энималс», «Ночные джунгли».

— Нет, Роман, это не для машины. Слишком много интеллекта и мало возможностей для размышления. И вообще, мне не нравятся «Животные».

— А что, вы не согласны с тем, что люди — животные: свиньи, собаки и прочие твари?

— Прости, но ты говоришь глупости...

— Звери вокруг нас, девочка. Главное, не попасть к ним в пасть раньше времени. А лучшее — проглотить их до того. Борьба и смерть, сплошные трупы. Вокруг зловонье и гробы... В каждом живет убийца, в худшем случае — трус... Ввиду отсутствия возможности угодить даме, начинаю ублажать свой слух музыкой рок-группы «Лица». Найди кассету,— предложил Фред, указывая на встроенный в приборную панель коллектор.

— Что это за группа? — спросила Майка, рассматривая рекламную заставку кассеты: «Род Стюарт». Блестящий костюм в огнях светомузыки, оскаленный рот, волосатая грудь с медальоном в форме восьмирукого Орфея...

— Это сказка, девочка! Помнишь «Сладкий ангел» Джимми Хендрикса, который отравился наркотиками? «Стиляга Род», как его нарекли нудисты Бенилюкса, поклонники негритянской музыки, покорил мир интерпретацией сладкого ангела, добавив в него кусок таланта, который вызвал чувственную оскомину у почитателей ритм-энд-блюза. Сейчас услышишь.

Щелкнул переключатель. Из динамиков потекли томные звуки, вмиг заполонившие душное пространство салона сладкой гаммой негритянского блюза.

Майка с удовольствием откинула голову, прикрыла глаза, расслабилась, отдавшись дороге и музыке.

— Очень хорошо, Роман, и напрасно ты опошляешь. Народная музыка всегда чувствительна, потому что напоминает о доме, о прошлом, о тех, кто остался на земле предков.

В ней ярко выражена боязнь за близких, родных и любимых... Я ее остро чувствую.

— А я,— посмотрел на нее Фред,— в отличие от тебя и от негров, остро чувствую боязнь не за дом, а за благополучие в первую очередь. И вообще: дом горит, но он застрахован ой-ой-ой на какую сумму! Или у меня есть другой дом из огнеупорного кирпича. Или горит дом соседа. Мой дом не может гореть, а впрочем... У меня вообще нет дома!

— Не понимаю тебя!

— А жаль... Все очень просто, герл. Ты еврейка?

— Да, ну и что?

— А то, что у нас с тобой здесь вообще нет дома. Здесь его нет. Наш дом в Израиле. С трудом, но я в это верю. Пока мы все туда не вернемся — будем оставаться бездомными. Кстати, почему ты не спрашиваешь, куда мы едем?

— Мне все равно. Кроме того, я знаю, что сейчас ты свернешь вправо к плотине у Киевского моря.

— Ты здесь бывала?

— Да. Этой дорогой мы возим туристов в Лютеж, на место боев за Киев. Что же касается Родины, то ты опять цитируешь чужие мысли. Сам ты не можешь так думать.

— Почему? — удивился он, сворачивая на лесную дорогу.

— Потому что Родина — это земля моих предков, земля моих дедов, в отличие от чужих земель. Потому что мои деды и прадеды лелеяли эту землю, поливали ее своим потом и кровью. Потому что дубы и сосны моей Родины вызывают слезы радости от слияния с родной природой.

— Кокосовые пальмы и кипарисы тоже могут вызвать слезы умиления.

— Но не больше! Они могут радовать взгляд, восхитить, умилить, и в тот же миг я непременно затоскую вот по этим елям и березам моего дома. Останови. Давай побродим.

— Одну минуточку, герл, вот здесь вам будет удобно,— сказал он, выезжая на лесную поляну.— Приехали. Временный лагерь борцов за здоровье. Дышите носом и как можно глубже. Желающие дышать все телом раздеваются, хоть это и неприлично. Как вы на это смотрите, герл?!

— Положительно,— ответила она, выходя из машины.— Но только у воды.

— Повернитесь, герл, вода у ваших ног,— показал он в противоположную сторону.

Майка осмотрелась и пошла туда, где сквозь густую листву чуть просвечивалась серебристая змейка воды. Стена изумрудной зелени неожиданно расступилась, обнаружив

[illegible] ...ине. Тихая гладь слегка колебалась. Нежно ... в свет... бездонную голубизну, и только лег... ветерок ласково шелестел листвой, накатывая кудрявые ...ки на низкую, вяло бегущую в лес песчаную отмель...

— Герл! Вы похожи на нью-Афродиту: модерны двадцатого века! Так мало пены и так много красоты! — вскрикнул Фред, доставая фотоаппарат.— Одну минуточку, герл, я запечатлю вас на фоне искусственного бассейна для строителей коммунизма. Не шевелитесь. В моем «Зените» цветная пленка. Смотрите вдаль и еще дальше. Чуть-чуть дальше! Это оно... Следующий кадр: ожидание. Рисуйте грусть, у меня дрожат руки в предвкушении сладкой встречи.

Он взобрался на багажник автомобиля. Установил фотоаппарат на крыше.

— Исключительно! В глазах — море грусти вперемешку с океаном вечности! Не дышать часто, не двигаться...

Оставив «Зенит» на крыше «жигуленка», Фред подбежал к Майке.

— Герл! У нас двадцать секунд времени. Глаза полны любви и счастья. Дайте скорее руку. Улыбка... Все! Мы запечатлены в память будущим потомкам вечных изгоев. Спасибо, герл. Снимки ваши, негативы — Музея всемирной истории. Теперь водные процедуры, чтобы не горячиться сверх меры. Шоу-стриптиз «фифти-фифти» под музыку души. Раз, два, три...

Оставив на песке джинсы и рубашку, в несколько шагов преодолел мель и, глубоко вдохнув, ушел под воду. Майка последовала его примеру...

День пролетел незаметно. В городе их ждала вечерняя прохлада.

— Подожди, я на минуту,— сказала Майка, открывая дверку машины.

— Не задерживайтесь, герл,— прошептал он ей вслед, затем окинул себя в зеркале придирчивым взглядом, причесался, и когда у подъезда показались Майка с матерью, Фред вышел из машины и решительным шагом направился им навстречу.

— Здравствуйте, Роман,— представился он.

— Мария Михайловна,— благожелательно посмотрев на него, ответила Майкина мать, моложавая брюнетка с легкой проседью на висках и теплым спокойным взглядом.— Извините, Роман, за беспокойство. Я всего лишь выполняю каприз этой девушки, которую очень люблю.

«Не вы одна»,— подумал он, приглашая их в машину.

— Пожалуйста, не беспокойтесь. Мне очень приятно быть вам полезным. К тому же я в некотором роде сирота и, как вы сами понимаете, переполнен сыновними чувствами, которые никак не могу реализовать и потому страдаю от внутренней дисгармонии. Я благодарен вам за предоставленную возможность избавиться от некоторой части накопленных мною душевных сокровищ.

— Да вы, оказывается, шутник! Вы женаты?

— Мама, о чем ты...

— Разве женатые шутят? Я одинок, и более того — холостяк.

— Почему — более того?

— Потому что одиноким я чувствовал себя когда-то, будучи скрепленным священными узами брака.

— Отдаю должное вашей откровенности. К сожалению, сейчас много неудачников. Но за одного битого двух небитых дают. Заходите к нам. Мы с Маечкой будем всегда вам рады.

— Спасибо! При первой же возможности...

Дверь им открыла Анна Петровна. Вежливо пригласила в прихожую. Они устроились в креслах у журнального столика, на котором лежали последние номера журналов, газет...

— Неплохо устроился гинеколог,— шепнул Майке Фред, окидывая взглядом прихожую.— Дверей, как в Облздравсанупре...

Гельман появился облаченный в строгий белый халат и шапочку.

— Здравствуйте. Больную прошу со мной,— указал на дверь кабинета.

— Роман, мне страшно,— проговорила Майка, провожая мать взглядом.

— Доктор чересчур официальный, поэтому ваши волнения понятны, но, к счастью, неоправданы,— подвинулся он к ней.— Я критически осмотрел вашу маму и определил ее физическое здоровье и активное долголетие.

— Не шути, прошу тебя. Я действительно боюсь за нее.

— Тогда помучайтесь минут десять и пригласите меня в театр. Сразу после того, как увидите мамину улыбку.

— Согласна,— улыбнулась Майка, упершись взглядом в закрытую дверь кабинета.

— Не волнуйтесь, герл, все будет в порядке. Я очень хочу посетить театр оперы и балета. Признаюсь, что в последний раз был там с экскурсией, организованной дирекцией

…ней школы в порядке стимулирования двоечников, к числу которых я принадлежал на протяжении десяти лет обучения,— тихо говорил он, меряя приглушенными тяжелым ковром шагами квадратуру прихожей.— И не навевайте на меня тоскливые раздумья, иначе я вынужден буду, пренебрегая нормами этикета, проникнуть без приглашения в кабинет и залиться краской стыда, что обусловлено моим отличным здоровьем... Но вы не слушаете меня, герл. Ну что ж — иду на приступ.

Он решительно шагнул к кабинету. Неизвестно, чем бы закончился его порыв, если бы в этот момент не открылась дверь.

— Проходите,— пригласил их Гельман.

Майка опередила посторонившегося Фреда, кинула тревожный взгляд на мать:

— Ну что, мамуля?

— Не волнуйся, доченька, все в порядке. Доктор сказал, нужно больше уделять себе внимания.

— Безусловно,— подтвердил Гельман.— Ваша мама нуждается в исследованиях, которые мы проведем в условиях стационара. Ну и, естественно, нужно будет принять лечение, рассчитанное на пару недель. Мы уже обо всем договорились. Встретимся утром у меня на работе.

— Большое спасибо, доктор,— Мария Михайловна раскрыла сумочку.

— Нет-нет,— предупредил ее действия Фред,— доктор, как и я, ваш друг. Подождите меня минутку в коридоре,— попросил он, пропуская их вперед.

Через минуту он появился в прихожей. Услужливая Анна Петровна предупредительно открыла им дверь, попрощалась и, едва они вышли за порог, усердно заработала пылесосом.

— Да прекрати ты, Нюра. Дай, я сам,— подошел к ней Гельман.— Уже вечер, а ты еще не присела.

— Ты меня не соблюдай,— отстранилась она,— себя побереги. Вечер, он вечер и есть, а ты еще не отдыхал ни минуты. Хочешь чаю с вареньем?

— Хочу, Нюра. Только, чур, я самовар поставлю.

— Ну поставь, он все равно электрический, а я пойду варенья насыплю. Твоего любимого. Не ешь совсем, оно уже сахариться начало...

Чай пили в гостиной за маленьким столиком. Нюра, давно желая продолжить начатый Сенечкой разговор после его возвращения из Одессы, решила, что такой момент наступил.

— Сенечка! Эта женщина, что была, не замужем?
— Не замужем, Нюра.
— А дети, гляди, какие взрослые. И красивые... особенно дочка.
— Не заметил я, не до них было. С матерью у них беда.
— А что с ней, Сенечка?.. Да ты персик возьми, ну хоть один скушай.
— Больна она, Нюра, очень больна,— ответил Гельман, разрезая янтарно-прозрачный плод.— Поздновато ко мне обратилась.
— Что, совсем поздно? — тревожно посмотрела на него.
— Не знаю, Нюра. Нужно ее исследовать.
— Такая молодая, страхи господние... Вот и ты себя не бережешь, день и ночь работаешь, не слушаешь никого,— запричитала Анна Петровна.— Дора-Тамара уже взрослые, и помощь твоя им не нужна, и дети скоро будут у них, как обещались. А о себе не подумаешь... Когда ж Ася-то приедет? Почему сам не привезешь ее?
— Нюра! — отодвинул чашку.— Я закурю, хорошо?
— Хорошо, хорошо, только кури до половины,— ворчливо добавила она, доставая из передника спички.
— Нюра, я давно хотел тебе сказать: у Аси есть дочка.
— Дочка?! Так ты же говорил, что она незамужняя.
— В том-то и дело.. Понимаешь, моя дочка.— И, чтоб облегчить душу до конца, добавил: — Ей шестой годик пошел.
— Как же это может быть? — оторопела она.— Ты ж не говорил никогда и не ездил к ней!
— Стыдно мне было, понимаешь, стыдно! Мы познакомились через год после смерти Женечки. Ну и я, конечно, не мог признаться тебе в своей слабости. Но все время мы с ней встречались. Я ездил к ним. Помнишь, командировки мои, симпозиумы?.. Я признаться не мог. Ты прости меня, Нюра. Сама понимаешь, девочки! Я и сейчас боюсь их травмировать.
— А чего бояться-то! Девчата у нас рассудительные. Поймут, небось! Сколько бобылем тебе жить?! Меня не станет, что делать будешь? Кто тебе чаю согреет? Об этом пусть подумают. Я с ними сама поговорю, если желаешь.
— Попробуй... Только осторожно, не ранить бы их ненароком.
— Не волнуйся, все сделаю, ты ж меня знаешь!..
— И верю, как себе, Нюрочка!
— Сенечка, дочечку-то как звать?
— Леркой...

— [illegible], — ласково повторила она.— Валерией, значит. Красивое имя. Очень красивое. Валерия Семеновна! Молодец, Сенечка.

— Спасибо тебе.— Он поднялся, подошел к ней, обнял, прижался к щеке, прослезился.

— Ну вот еще! Этого только не хватало. И когда я отучу тебя хныкать? Седой уже, а как дите! Ну, дите самое и есть, и все тут! А еще жениться хочешь. Сенечка! А она красивая?

— Лерка?

— Да нет! Лерка-то знаю, что красивая, раз наша. Я про Асю спрашиваю.

— Хорошая, Нюра, симпатичная.

— Вот и ладно. Молодец, Сенечка. Тебе чайку подлить?

— Спасибо, Нюра, не нужно. Пойду поработаю.

— Иди, родненький. Только не засиживайся... Когда внученьку-то ждать, скажешь?

— Вот с девочками поговорим...

— Ты ж только не оттягивай. Как с отпуска вернутся, сразу и поговорим, да?

— Обязательно, Нюрочка...

ГЛАВА 9

Отец Лерки, старший судовой механик сухогруза «Туапсе» Вадим Гуревич после разрыва с Асей две навигации бессменно провел в море, три зимы продежурил в сухом доке, руководил текущими ремонтами судна, три весны боролся с непреодолимым желанием сыпануть солью на сердечные раны, встретившись ненароком с той, что была когда-то единственной и непреложной в своем чувстве, святости и последующем святотатстве.

Они встретились на турбазе «Южный Буг», где Ася отдыхала в компании медиков, а Вадим, курсант мореходки, проводил свободное время в обществе будущих китобоев и романтиков до конца. Случилось это тихим летним вечером, когда местная деревянная танцплощадка, не справившись с критическими нагрузками, оборвалась и поплыла вниз по течению. Вмиг хохочущее корыто покинули все, кому жизнь дорога, кроме аккордеониста, с упоением исполнявшего «Танго смерти», размечтавшейся Аси и о чем-то задумавшегося будущего морехода. Оборвав «Сис-ко-кид» на полуноте, глядя на смеющиеся огни турбазы, местная музыкальная знаменитость, прошептав: «Кажется, я приехал!» — поставила на пол «Вельтмейстер» и с возгласом «Я сейчас!» — обращенным в критическое

мглистое пространство, отделяющее его от берега, плюхнулось «в темь речную», чтобы через час под веселые залпы ракетниц примчаться на глиссере спасательной службы за орудием своего производства, не умеющей плавать медичкой и несбывшимся Колумбом, волею случая отправившимся открывать Новые Земли в районе старого мыса Херсонес.

Именно тогда молодые люди открыли для себя полный радости, волшебный и захватывающий мир чувств, надежд и дерзаний: ласковый и всегда готовый к самопожертвованию мир первой любви. Будучи сиротами, они избежали формальных условностей и вскоре поселились в тихой квартирке Аси, зарегистрировав гражданский брак лишь после первой самостоятельной зарплаты.

Быстро освоившись с нелегкой долей «соломенной вдовы», исключив ненужные знакомства и поздние посещения кинотеатров, Ася обрела репутацию верной до гроба жены и счастливой женщины как в глазах блюстителей морали на Шестой Перевальной, так и у плавсостава «Туапсе», критически оценивающего встречающую сухогруз женскую половину человечества. И когда, вернувшись из далеких Салоник, Вадим с замиранием сердца принял из ласковых рук жены заветный сверток с розовой Леркой, экипаж судна навсегда зачислил Асю в свою дружную морскую семью.

Чистое небо супружеской жизни не омрачалось ни тучкой, ни градом, и ничто не предвещало близкой трагедии. Но однажды обычный телефонный звонок навсегда прервал нежную идиллию первой любви, развеял иллюзии и, как казалось участникам трагедии, навечно похоронил в их сердцах веру в непогрешимую добродетель.

Мягкий вкрадчивый голос настоятельно просил Вадима о встрече «у Дюка» между шестью и семью вечера.

— Кто вы? — в недоумении спросил он.

— Вы меня не знаете.

— Что вам угодно?

— Моя тайна нужна вам! — ответил незнакомец и повесил трубку.

Вадим не собирался идти к памятнику, но Ася просила встретить ее с работы, и любящий муж, нарядив Лерку и заботливо положив в розовую коляску бутылочку с водой и три пары запасных ползунков, вышел с коляской на Приморский бульвар. У памятника основателю Одессы он остановился просто из любопытства. К нему тут же подошел невзрачный мужчина, неухоженный и неопрятный.

Я вас помню, здравствуйте, — приветствовал он Вадима, обнажая в ухмылке желтые, изъеденные никотином, зубы.

— С чего начнем? — спросил Вадим, почему-то проникаясь брезгливостью и отвращением к незнакомцу.

— С того, что вы пожертвуете мне сто рублей за сногсшибательную новость.

— За которую можно вас сбить с ног?

— Мне все равно. Но если вы начнете торговаться или обещать, что принесете деньги завтра, я уйду. Только вам от этого лучше не станет.

В какой-то момент Вадим хотел послать его к черту, но что-то таинственное и уверенное в поведении вымогателя больно кольнуло в самое чувствительное, заныло под ложечкой и подкатило тугой комок к горлу. Чтобы рассеять неясные подозрения, он вынул портмоне.

— Говорите! — предложил Вадим, кладя деньги в жадную и липкую ладонь.

— Сведения, которые, я сейчас вам сообщу, могут изменить вашу жизнь, но в интересах истины я не могу и не буду молчать,— начал незнакомец, боязливо озираясь по сторонам.— К тому же, вы — еврей, и этим все сказано. Через несколько дней я покидаю эту страну, уезжаю в Израиль. Только поэтому и раскрываю карты. Я работал врачом-педиатром в восьмом роддоме, где родилась ваша дочь. Заполняя детскую карточку, я обратил внимание на то обстоятельство, что положительный резус-фактор отца и матери, удостоверенный родильной картой роженицы, обернулся отрицательным резусом у новорожденной, чего в природе не бывает. Данное отрицание ваша дочь могла унаследовать только от одного из родителей.

Дальше Вадим его уже не слушал. Сцепив зубы, он покатил коляску в сторону дома. «Врет он все, мразь, врет! — убеждал он себя.— Разве можно ему верить? Негодяй! Решил кутнуть напоследок... Зачем я пошел туда, зачем?!»

С трудом скрыв от Аси свою боль и сомнения, утром Вадим побывал с Леркой в детской консультации, где убедился в отрицательном резус-факторе крови дочери и поверил в измену своей жены.

Всепожирающий гнев помутил его разум, но в следующее мгновение он трезво оценил ситуацию.

«Наверняка она знает о том, что ребенок не мой, так как сама врач. Где-то рядом ходит отец девочки, и я своим присутствием мешаю их счастью,— рассуждал он, давясь

скупыми, горькими слезами.— Что ж, я уеду, не буду им мешать. Грязно все, подло. Жаль, что нельзя оставить Лерку одну, а значит, не избежать разговора. Благо, через неделю в плавание, а пока переберусь в гостиницу...»

Он наскоро бросил в чемодан белье, полотенце, бритву, подошел к кроватке, в которой, тихо посапывая и чему-то улыбаясь при этом, обнажая фамильную гордость, «целых четыре зуба», спала белокурая Лерка. Присел рядом и, не выдержав, разрыдался... После обеда пришла Ася. Посмотрела на него, обеспокоенно спросила:

— Что с тобой, Ваденька? Приболел, что ли? — и, не ожидая ответа, побежала за градусником.

— Нет-нет, присядь, пожалуйста,— предупредил он ее хлопоты.— Нужно поговорить... Впрочем, разговор недолог... Помнишь, как мы с тобой ожидали Лерку? Как я волновался за тебя, уходя в море, помнишь? Потом целых полгода я был в плавании. Но каждый день думал о нас, о будущем, о жизни вообще. Во сне я прикладывал ухо к твоему животу и слушал наше третье сердце...

— Ваденька, что произошло? — Ася попыталась взять его за руку.

— Не смей же! — брезгливо отодвинулся он.— Слышишь, не смей! — крикнул, уже багровея.— И слушай,— сжал он кулаки, борясь с чем-то неотступным и низким. «Нет, не посмею»,— подумал и выдавил вслух:

— Выслушай меня, и не перебивая: я знаю, что на протяжении трех лет ты бессовестно лжешь! Знаю, что все это время ты мне изменяешь. Я знаю, что Лерка не моя дочь! Я знаю все! В этой девочке нет ни капли моей крови... Ты... ты потаскуха,— удавил он себя гневом, хватаясь за чемодан.

Она стояла, оглушенная и беспомощная, не в силах собраться с мыслями и отыскать хоть какие-то, пусть никчемные, жалкие слова оправдания, беззвучно почти повторяя:

— Боже, несчастье какое, Ваденька!..

В это время проснулась Лерка и трезво, наверное, оценив проигрышную ситуацию, отчаянно заголосила. Ася подошла к кроватке, взяла дочь на руки, прижала к груди и, зарегистрировав многобалльный сейсмический взрыв входной двери, тоже разрыдалась...

Прошло долгих четыре года. Время залечивало раны. Лерка повышала свой общеобразовательный уровень в детском комбинате одесского горздравотдела. Вадим, умудренный опытом, познакомился с будущим педагогом из хорошей семьи, Леночкой Нилиной, в связи с чем последняя

получила в весеннюю сессию «неуд» по теории воспитания, Ася усиленно готовилась к отъезду: уволилась с работы, договорилась о продаже мебели и отослала первую после разрыва открытку Гуревичу, которую ему и вручили, как только «Туапсе» пришвартовался к пирсу.

Прочитал он ее без восторга, но тут же отложил все дела и проследовал туда, куда уже и не думал возвращаться, потому как «однажды был там счастлив».

Ася радушно встретила его, предложила вместе отобедать и, выслушав вежливый, но решительный отказ, отослала дочку на балкон и перешла к делу.

— Нам необходимо оформить развод,— сказала она без злости и сожаления,— поскольку наш брак уже стал нам в тягость, не так ли?

— Согласен,— ответил Вадим, с удовлетворением про себя отмечая, что избранница его юности, безусловно, красива своей мягкой, невольной женственностью, теплым взглядом черно-смарагдовых глаз с едва голубоватыми белками и пушистыми, не тронутыми косметикой, ресницами. Чуть смугловатая кожа на лице несла на себе легкую тень черных до синевы, тяжелых, бурно спадающих на плечи прядей волос, льющихся нежными завитками на лоб и маленькие ушки с розовыми мочками, пронзенными хвойными иглами сережек в форме восьмилепестковых рубинов, увенчанных изумрудными пестиками.

— И еще, Вадим: дай согласие на удочерение Леры. Ты же понимаешь, ребенок растет. Скоро пойдет в школу... В общем, я хочу избежать лишних расспросов.

— Если ты настаиваешь, пожалуйста.

— Ну вот и прекрасно,— оживилась она.— Ты — добрый человек. Я очень рада, что у нас с тобой все по-хорошему. Как ты живешь? Как твои успехи?

— Гордиться особенно нечем,— ответил Гуревич, скоро начиная тяготиться этой встречей.— Плаваю... Скоро женюсь.

— Ой! Хорошо, что напомнил. Напиши заявление о переводе на себя лицевого счета на квартиру. И можешь переезжать, как только я устрою свои дела.

— А как же ты? — не понял он.

— Я уезжаю из Одессы.

— Далеко?

— В Киев, к Леркиному отцу,— достойно парировала она его сообщение о женитьбе.

— Давно пора! — обозлился он.— Долго же вы тянули. Он что, сомневался четыре года?

Ася посмотрела на него долгим, участливым взглядом и голосом, полным сожаления и скрытой боли, ответила:

— Эх, Вадька! Как же я ошиблась в тебе... А было так светло и радостно... вдвоем... Пройдут годы, и ты будешь думать иначе. На все свое время, Вадим... Мы обязательно встретимся для такого разговора... Если даст бог... А пока будь счастлив...

Минуло два месяца, прежде чем впечатлительный Гельман решил сообщить дочерям о своей женитьбе. Глубокие раздумья были причиной данной неторопливости доктора, решающего проблему реализации своего плана и крайне неуверенного в успехе мероприятия, все более и более необходимого для спокойной, размеренной семейной жизни, на благих канонах которой он был воспитан. Этому он был обязан светлой памяти родителей, проживших красиво, дружно и любя настолько, что, не желая одиночества, Даниил Элевич едва успел привести дела в порядок, спешно приготовиться и, не приобщившись к вере предков на смертном одре, проследовать в рай, вслед за супругой, по безгрешности своей чтимой в мирской жизни и, наверное, поющей *«Возрадуйся, Израиль»* в хоре святых у патриаршего трона.

Был он от природы человеком добрым, но нерешительным, во всех его начинаниях чувствовалась тяга к раздумьям, омрачённая поисками прецедентов, имевших место в жизни близких, знакомых, друзей, любимых героев Бальзака, Стендаля, Джека Лондона, пестрые фолианты которых никогда не покрывались пылью времени в его отнюдь не сумбурной памяти, а гипертрофированная близостью победы мечтательность рождала идеальные, но, как часто бывает, ошибочные представления о конечной цели и лишенных жизненных колдобин путях свершений. Его уверенность, часто рожденная по-детски непреложным, но и безосновательным требованием «я хочу», рождала некритический торг между желаемым и действительным, что, в свою очередь, отщелкивало бездушным затвором времени черно-белые негативы «не могу», которые ретушировались жаждущим свершения сердцем и печатали разумом фотографии пораженца: «Так будет лучше».

В то воскресное утро только что проснувшийся доктор набросил на себя халат и вышел на кухню, где Нюра заканчивала колдовство над фаршированной яблоками уткой.

— Нюра,— мечтательно улыбаясь, начал он,— ты знаешь, что мне снилось?

Знаю, конечно,— ответила Анна Петровна, с любовью [illegible] на своего любимца, которому посвятила всю себя без остатка,— вода тебе снилась чистая, и молоко выпей — оно еще парное. Это к счастью и долгой жизни,— продолжала она, вручая ему чашку.

— Нет, Нюрочка! Мне Лерка снилась,— запротестовал Гельман, одним махом выпивая молоко (обязательная утренняя процедура, если хочешь, чтобы в доме было тихо).— Я ее всю ночь на руках носил. Ласковая до невозможности... А потом ко мне бросились два маленьких мальчика...

— И что дальше?

— Я их на руки взял, а Лерка куда-то исчезла...

— А ясно видел?

— Конечно!

— Хороший сон,— заключила Анна Петровна.— Девочки — к диву. Удивляться будешь, Сенечка. Мальчишки — к хлопотам. Слава богу, огорчений нет. Все будет хорошо. Только уж смотри, не оплошай! И в кого ты такой уродился? Ну до чего же нерешительный! Дай слово, что сегодня поговоришь с девочками.

— Даю, Нюрочка. Сегодня или никогда. Только ты начнешь, хорошо?!

— Ладно, чего уж там. Гляди только, будь взрослым, понял?

— Понял, Нюрочка.

— А вот я никак не пойму! — повернулась она к нему, выключая духовку.— Неужто ты и на работе такой? Просто диву даюсь! Приходят к тебе люди, согнутые в три погибели, а глядишь, через пару месяцев уже идут с букетами — вроде и не болели никогда. Чужих-то лечить можешь, а вот себе рады не дашь...

Лечить Гельман действительно умел...

Он рос единственным ребенком в семье известных медиков и, еще в детские годы навсегда полюбив медицину, сделал первые шаги в страшный, но захватывающий мир патологии мышц, сосудов и органов, с каждым днем познавая и все более увлекаясь таинством взаимодействия систем человеческого организма, механизмами их управления, законами, которым они подчинены, а также внезаконными болезненными ощущениями, нарушающими сон, уродующими тело, калечащими и даже убивающими самое дорогое и невозвратимое — человеческую Жизнь.

И если соседского Демика кормили «кашкой-манашкой» под приевшееся еще прабабушке: «Съешь ложечку за

маму!», с чем малыш, будучи от рождения добрым ребенком и не желая оставлять маму голодной, не хотел никак мириться, выплевывая «такую вкусную кашу» в потную бабушкину физиономию, то Сенечку папа садил за стол, нарезал ломтиками спелый ранет и каждый раз сочинял по этому поводу новую сказку.

— Значит, так,— усаживаясь рядом, начинал Даниил Элевич,— в некотором царстве, в некотором государстве жила-была яблонька, которая родила яблочко.

— Как это родила? — заполняя рот первым «солдатиком»,— спрашивал любознательный Сенечка.

— Даня! — откладывая в сторону «Патологию беременности», возмущалась Циля Моисеевна.— Он же еще ребенок!

— Ну и что? — начинал спор отец.— Родила яблочко. Не снесла же она его! Как родила?! Молча родила... Впрочем, это уже из другой оперы. Слушай дальше. Прикатилось яблочко к Сенечке и говорит: «Скушай меня, во мне много фитина. У тебя кровушка покраснеет и щечки станут румяными».

— А я какой? — с живостью спрашивал Сенечка.

— Ты анемичный.

— А что такое «амемичный»?

— Не амемичный, а анемичный — осенний ребенок.

— Ну и что, если осенний?

— У тебя зубки выросли только к следующему урожаю яблок.

— А почему я осенний?

— Потому, что так мамуля захотела.

— Опять неправда! — вскакивала Циля Моисеевна.— Это ты сам не хотел ждать!

— Папа! Почему мама ругается? — недоуменно моргая глазками, спрашивал Сенечка.

— Не знаю. И вообще... слушай дальше... Прикатилось яблочко в желудочек и говорит: «Желудочек, желудочек! Перетри меня на своей терочке».

— Как у Нюры?

— Как у Нюры... Желудочек проснулся, помылся своим соком и как закричит: «Печенка-девчонка! К нам яблочко прикатилось! А ну, запрягай коня вороного, того, что горькую желчь возит! Пусть он гостя встречает...»

В этот момент появлялась Нюра и со словами: «Ой Господи ж! Боже ж мой! Два ученых одного малого за день яблочком накормить не могут!» — хватала в охапку Сенечку и уносила его из гостиной. А в кухне давала ему целое яблоко и строго наказывала:

4*

— Демка уже на улице и, наверное, «красноармеец». Если ты сейчас не съешь яблука — «беляком» будешь, бо в тебе ни кровинки нема...

Сенечка «беляком» быть не хотел. Их в дворовом палисаднике «убивали» по три раза в день мальчишки, а потому живо съедал яблоко и бежал за стетоскопом — в каждодневных героических битвах он был «красным военврачом» и лечил раненых...

Папины сказки, с одной стороны, ничем не удовлетворенное, ненасытное любопытство, живая тяга к знаниям, настойчивость и природная одаренность, с другой, позволили ему в одиннадцать лет перечитать восьмитомник «Природа и человек», в семнадцать получить первую в жизни золотую медаль вместе с аттестатом зрелости, в том же году поступить в медицинский институт, окончить его с отличием, а через четыре года защитить диссертацию и получить звание кандидата медицинских наук. Если к этому добавить, что благодаря заботливой Нюре он пережил эвакуацию в далекой Бугульме, вдали от фронта и родителей — военврачей главного эвакогоспиталя Третьего Украинского фронта, то можно считать, что его судьба была к нему благосклонной...

Как только старый напольный «Павел Буре», облаченный в красного дерева мундир гренадера, пробил девять, вся семья доктора собралась в столовой за большим обеденным столом, сервированным на шесть персон, причем приборам девочек в скором времени должно было исполниться по двадцать четыре года, потому как сервиз для внучек был приобретен счастливым дедушкой сразу после разрешения от бремени невестки — Женечки, в роду которой, кстати, не было двойняшек, чем был введен в заблуждение Даниил Элевич, добросовестно заблуждаясь относительно количества внучек в материнском лоне будущего археолога.

Близняшки были похожи как две капли прозрачной воды из одного чистого родничка, а единственное различие — пикантная отметинка, не более горошины, цвета сочного топаза, цвела у Тамары слева под сердцем, в связи с чем сестры нередко путали и себя вслед за окружающими, которые никогда не общались с девочками порознь, что Дора-Тамара в семье были настолько неделимы, что на двойной свадьбе юных сестер чуть подвыпившие женихи были изрядно мистифицированы, что и заставило Дору снять прозрачную фату, для чего соответственно покинуть свадебный зал, на два часа раньше Тамары,

которая, напутствуя потенциальную грешницу, с хо... попросила:

— Не закрывай глаза, пока не убедишься в том, что у тебя нет родинки, потому как может случиться, что это не ты, а я, не желающая путать своего математика с твоим футболером...

Во главе стола, на месте покойного папы, сидел свежевыбритый радушный хозяин дома. Справа от него супруги под кодовым «шифром» — Дора, появившаяся на свет божий двумя часами раньше; против них соответственно — семья младших и Анна Петровна против Сенечки.

— Ну что ж, друзья, пора начинать,— призвал доктор, поднимая потную рюмку водки.— Выпьем за хозяйку дома и пожелаем ей здоровья и радостей.

— Нюрочка! Твое здоровье! — пригубили Дора-Тамара бокалы, наполненные смородиновой наливкой, искусно приготавливаемой Анной Петровной по собственному рецепту.

— Анна Петровна, ваше здоровье! — пожелал всегда улыбчивый Дмитрий.

— Баба Нюра, будь счастлива! — присоединился к нему Юрий Веригин, младший зять, но ужасно серьезный конструктор вычислительной техники.

— Спасибо, дорогие мои! Пейте-ешьте на здоровье,— поблагодарила Анна Петровна, поднимая бокал с «фричем» — выдержанный рислинг пополам с нарзаном, по рецепту Сенечки.

— Дамы ухаживают за мужчинами, мальчики — за Нюрой а я задаю вопросы,— провозгласил доктор, смакуя домашние салаты.— Нюра, у тебя золотые руки. Слава Нюре!

— Слава! Слава! Слава!

— Дмитрий, что нового на работе?

— Спасибо, отец, все в порядке. Но нам по-прежнему не дают нижнее поле для тренировок.

— Почему?

— Говорят, мы испортим газон.

— Разве дети могут испортить траву?! — поддержала мужа Дора.

— Кому подчинен комплекс?

— «Динамо», конечно. В этом все дело. Мы только арендаторы. Своих полей у нас мало, да и они забиты так, что моим мальчишкам на них нет места. А результаты требуют. Они постоянно забывают, что половина клубной команды вчера была нашими воспитанниками.

— Дима, не гори! Ты нам еще нужен,— улыбнулась Тамара,— и не сгущай краски, пожалуйста. Детки твои прекрасно тренируются в гороно и спортлагере. Вы же хотите первое поле республики — не слишком ли?

— Не слишком,— за мужа ответила Дора.— Не горюй, Димочка! Дадут они вам поле. Обязательно дадут. Скушай лучше пулочку, а то бегать не сможешь.

— И крылышко зацепи — летать будешь! — засмеялся Веригин.

— Как у тебя, Юра?

— Веду программу. Особых успехов нет, отец. Но, думаю, к осени дадим машину.

— А по плану?

— Второй квартал будущего года, но не это главное. Именно сейчас стране нужно много умных машин. Другое дело, если бы что-то не получалось, а здесь просто ведомственная волокита... Поэтому и обидно. Все командиры, исполнителей нет.

— Вот тебе еще! На полгода опережаешь график и обижаешься! Пусть бы все так работали,— прервала его Тамара.— Дома почти не бываешь. Только ночью и видимся. О семье не думаешь.

— В чем ты меня упрекаешь?

— Ни в чем...

— Нет, уж коль начала, говори.

— Ты представляешь, папа! Третий раз предлагают институт. Кафедра, студенты, огромные возможности. Через два года — кандидат, еще четыре — доктор.

— Ты и так докторша,— попытался разрядить обстановку Дмитрий.— Вам хорошо, вот мне-то как?.. Сто лет с мячом бегай, как был футболистом, так и умру им.

— А я так считаю,— перешел к десерту доктор,— все мы делаем нужное дело, на своем рабочем месте. И наша задача: завтра делать его лучше, чем сегодня, а для этого нужно всего себя отдавать делу. Не права ты, Тамара: если чувствует Юра, что нужен заводу, а «ВУМ» нужен ему,— то не может быть и речи об институте. Каждый должен оставаться там, где он нужнее людям и государству. Запомните: «Мое рабочее место — каждодневный передний край!» Твой же передний край — поликлиника. Отчитывайся,— строго предложил он.

— Одним словом можно?

— «Лакония — страна мудрецов!» Дерзай!

— Плохо!

— Что плохо? — опешил доктор.

— С диагностикой плохо, папочка, как в анекдоте: больной знает, где болит, я не знаю, что лечить. А если хочешь честно, то терапия вне кабинета функциональной диагностики — знахарство!

— Ну это ты слишком!..

— Нет, представь первичный прием: я, больной и фонендоскоп. И без анализов.

— Не лучше, если и с ними. Одного лечили от желтухи, а когда больной умер, обнаружили, что он китаец,— хохотнул представитель футбольного мира.

— Не нужно, Дмитрий,— не воспринял его шутку доктор.— В самом деле, первичная диагностика еще очень слаба, не к чести нашей. Думаю, что сегодня — это наш сложнейший участок. Одинаковые симптомы самых различных заболеваний, а нередко и их крайняя атипичность, побочные сопутствующие отложения, осложнения, привыкаемость к антибиотикам, самолечение, преступное нежелание посетить лечебное учреждение при первых признаках недуга... Всего и не перечислить. Но нужно работать. И в первую очередь над собой. Вы, девчоночки, на переднем рубеже обороны. Но не нужно обвязываться гранатами и ползти под танки — подорветесь. Что-то непонятно — не стесняйтесь, берите больного за руку и ведите к консультантам. У вас т м совсем неплохие силы: Мандрик, Полоцкевич...

— Мандрик,— улыбнулась Тамара.— Да ты знаешь, что он консультирует раз в неделю, и то в стационаре. А Полоцкевич вообще ничтожество.

— На каком основании ты оскорбляешь порядочного человека? — возмутился Гельман.

— Порядочного человека? Ты что, не знаешь, что Полоцкевич с дочерью и зятем уезжают в Америку?

— Как в Америку?

— Очень просто. Негодяй он. Представляешь, мы же с Леной и Игорем вместе в интернатуре были и никогда не замечали, что рядом с нами живут предатели.

— Да что ты говоришь? — прервала ее Дора.— Ты что, забыла, как они нас с тобой приглашали в кружок по изучению иврита? Пап, мы не рассказывали тебе. Представляешь?! Мы пришли к ним как-то, ради интереса. Хорошая квартира, мебель, хрусталь... Короче, квартира Полоцкевича. Кроме нас было еще человек шесть, может, семь. В основном парни. Но какие-то странные, бородатые, угрюмые, неприятные, в общем. Был там один, кажется, Соломон или Саул... Это не столь важно.

— Наоборот, все важно,— перебила ее Тамара.— Слушай, папа, выступал этот Саул с речью в защиту еврейской культуры и языка. Говорил минут сорок. Мне надоело. Я встала и заявила: «Люди, зачем мы тут собрались? От чьих посягательств мы должны защищать иврит и почему вы вводите нас в заблуждение, утверждая, что у евреев нет своей культуры? Во-первых, в России евреи никогда не говорили на иврите, но всегда говорили на идиш. А после революции для всех народов, больших и малых, основным языком общения стал русский. Потому что все народы сблизились. Правильно, папа?!

— А я добавила,— встала Дора,— что на идиш у нас в стране созданы и литература, и еврейский театр... Кроме того, получается, если я еврейка, так у меня дома должна быть еврейская литература на идиш? А евреи — писатели и поэты, которые пишут на русском? Я что, не должна их читать? В общем, поднимается этот Саул, я точно вспомнила: Саул. Короче, покраснел он, как рак, и спрашивает у Игоря, зачем он нас привел и на кого мы работаем. Ну, Игорю стало неудобно. Все-таки мы шесть лет в одном институте. Он предложил нам посмотреть видео в соседней комнате. Мы вежливо откланялись и ушли. А недели три назад узнаем, что они всей семьей катят в Штаты. Им там обещают золотые горы.

— Просто обидно, отец,— подошел к Гельману Дмитрий.— Я не знаю, почему они едут. И не одобряю, даже если какой-то идиот их оскорбил, как это часто, к сожалению, бывает. Все равно эти люди грабят наши моральные ценности, а самое главное — убивают веру в нас. Понимаете, веру в евреев! Ведь бежит от нас какая-то часть, а тень падает на всю нацию. Если б вы знали, отец, как мне порой хочется крикнуть, чтобы слышали все: «Люди, я никогда никуда не уеду! Как бы ни было тяжело. С родины не бегут...»

После завтрака, когда спокойная математика начала в очередной раз убивать экспансивный спорт за шахматным столиком, отважившийся на подвиг доктор пригласил дочерей в кабинет, куда Нюра принесла непременные детские лакомства — заварные пирожные домашнего приготовления и конфеты.

— Ликера хотите? — поинтересовался он.

— Нет, папа, очень жарко,— за обеих ответила Дора.

— Тогда слушайте, что папка скажет,— решительно посмотрела Нюра на Сенечку, который с целью унять волнение вдруг поднялся, подошел к столу и начал

бесцельно перебирать листки календаря.— Говори, Сенечка!

— Девочки мои дорогие, я хочу сообщить вам о принятом мной решении. Нюра уже знает...— сделал он повторную паузу, за время которой успел мысленно отругать себя за малодушие.— Все не так! — выкрикнул он.— Короче, я женюсь...

— Как? — с усилием проглотив конфету, воскликнула Дора.

— А так! — в тон ей ответила Нюра.— Очень просто, как все! Как ты с Тамаркой. Небось, и забыли, что папка у вас молодой, да, Сенечка? Папке всего сорок четыре! Раньше в его годы первый раз женились. А он во каких дылд повырастил...

— Папка, а кто она?

— Врач... дерматолог...

— Мы ее знаем?

— Нет, она одесситка.

— Сколько ей лет?

— Двадцать девять.

— На пятнадцать лет моложе?! — расширила глаза от удивления Тамара.

— Ну и что? Папка у вас молодой! Зачем ему старуха с тремя детьми?

— Она была замужем, пап? — спросила более ласковая к отцу Тамара.

— Нет,— покраснел он.

— Папуля, мы согласны,— одобрительно заключила Дора.

— И пожалуйста,— обняла смущенного родителя Тамара,— осчастливь нас братиком. А то может случиться, что племянник будет старше дяди... Я за себя не ручаюсь. Натерпелась, хватит,— смеялась она, целуя отца.

А он стоял, растерянно улыбающийся, и вопросительно поглядывал на «старшую», которая никак не могла справиться с волнением и поздравить взбунтовавшегося родителя. Наконец решилась, подняла на него слегка затуманенные глаза, подошла, нежно прижалась к щеке:

— Пап! А просьбу выполнишь?!

— А он уже выполнил, чего уж там... Сестренке вашей пять лет и зовут ее Валерией, Леркой, значит...

Краска вмиг отхлынула от лица доктора, невзирая на усиленное употребление им яблок в детском возрасте. Дочери застыли на мгновение, разом посмотрели на беспомощного отца, в позе провинившегося школьника

отыскивающего незаметные соринки в затейливом орнаменте персидского ковра. В комнате воцарилось молчание. Первым нарушил его доктор:

— Нюра, пойдем. Пусть девочки еще раз все обдумают, а потом продолжим разговор. Хорошо, дети?

Так и не дождавшись ответа, он вышел из кабинета.

В гостиной продолжался острый шахматный поединок, причем представитель большого спорта явно отставал в физической подготовке перед своим флегматичным соперником.

— Отец, присоединяйтесь,— пригласил его Дмитрий.— Кажется, я нуждаюсь в квалифицированной помощи.

— Ну, не прибедняйся,— поднял голову Юрий,— тебе не так уж и плохо.

— Мне-то хорошо, им плохо. Да и цейтнот у ног моей королевы. Папа, что с вами? — повернулся он к безучастно глядящему в окно доктору.

— Ничего, ребята. Все в порядке. Ликер пить будете?..

В комнату вошли дочери. Заплаканная Тамара подошла к столику, смела с него фигуры, вызвав крайнее смятение мужчин, и коротко бросила:

— Собирайтесь!

Дора, плотно сжав губы, сделала несколько шагов к отцу, тяжело вздохнула и, резанув быстро рукой потяжелевший вдруг чистый воздух гостиной, отчеканила:

— Отец, мы все обдумали. Ты лицемер и обманщик.

— Как ты смеешь? — выкрикнул Веригин, вскакивая и снимая очки.

— Что ты говоришь? Опомнись! — опешила Анна Петровна.

— Бабуля, не вмешивайся,— захлебываясь слезами, тихо проговорила Тамара.— Она права. Отец! Когда погибла наша мама, ты поклялся над ее гробом никогда не привести в дом мачеху. Спасибо, ты сдержал слово. Много лет мы все вместе поливали слезами цветы на ее могиле. Ты свято хранил мораль нашей семьи. Мы гордились тобой. Ты не был похож на других. Ты вырастил нас, помог во всем... Но ты бессовестно лгал!.. Мамина могила еще не успела расцвести первыми астрами, а ты уже обнимал чужую женщину и ждал вместе с ней ребенка. Одним носовым платком ты утирал наши сиротские слезы и смахивал слезы радости при встрече с любимой. Мы никогда не простим тебе этого, никогда!

— Постыдись! — крикнула ей Нюра.— Отец отдал вам жизнь. Он вас вынянчил, выпестовал. Когда Женя была

жива, она за работой и дома не знала. Отец сделал вас людьми. Он выучил вас и...

— Нас Родина выучила. Понимаешь, Родина! Научила быть честными и добрыми. И бесчестья мы не заслужили. Ни у тебя, ни у него,— гневно посмотрела она на жалкого, растоптанного родителя.— Прощайте и помните: мы никогда не вернемся...

Уходящий последним Веригин тихо прикрыл входную дверь.

— Сенечка, родненький! — запричитала Нюра, подбегая к буквально на глазах постаревшему доктору.— Миленький мой, успокойся. Они сами не знают, что с ними гнев творит. Вот увидишь, все обойдется. Месяца не пройдет, как прибегут извиняться. А ты им не прощай, нехай помучаются. Только не переживай, лакомка моя, Сенечка...

Не сомкнув глаз, прошагал он всю ночь враз ставшей неуютной квартирой, натыкаясь на мебель, цепляясь за ковры и паласы, кусая пересохшие губы, проклиная свою неосмотрительность и самонадеянность. Дочерей он не винил, а скорее даже оправдывал, восторгаясь их прямотой, честностью и высокой моралью. Нельзя винить девочек за чистую, святую любовь к матери. Так и должно было случиться...

Будущее конкретизировал всеобъемлющей формулой пораженца: «Так будет лучше», особенно в первое время. Пока Ася с Леркой освоятся... А время примирит всех.

Утром, наскоро выпив молоко, он уехал на работу. Черные мысли не покидали его. Заставляли снова и снова возвращаться во вчерашнее утро, заново переживать случившееся, корить себя за просчеты и промахи и, наконец, гасить невольные сомнения по поводу несколько затянувшегося переезда Аси в Киев. Но позвонить в Одессу, нарушить слово считал недостойным мужчины.

Влившись, как обычно, в четко спланированный ритм институтской жизни, он с головой окунулся в работу, лишь однажды вернувшись в прошлое, когда после обхода в ординаторской внимательный к сотрудникам профессор Богородов, задумчиво глядя на него, спросил:

— Что с вами, коллега? Вы выглядите уставшим. Печень, сердце, батенька? Зайдите ко мне, я вас послушаю...

После сложной трехчасовой операции, выйдя в коридор, Гельман сорвал респиратор, вдохнул полной грудью свежий воздух и вдруг увидел тысячи бегущих «мушек» перед глазами, почувствовал острую боль в затылке; превозмогая головокружение, подошел к окну, безучастно посмотрел

[illegible]. В сквере у отделения на многочисленных лавочках сидели выздоравливающие с родственниками, которые закармливали их сочными дарами лета. По липовой аллее чинно, с достоинством прогуливались больные, принимая воздушные ванны. Куда-то спешили накрахмаленные медсестры, бежали по своим делам молоденькие лаборантки... Институт жил обычной жизнью.

«Доцент Гельман! — сухо прозвучал в динамике голос дежурного диспетчера.— Вас вызывают в приемный покой. Повторяю...»

«Странно,— подумал он, направляясь к лифту.— Поздняя госпитализация?! А может, девочки пришли?» — надеждой наполнилось сердце.

— Что случилось, Зина? — спросил дежурного врача приемного отделения.

— Вас ожидают,— безучастно ответила та, заполняя лечебные карты на вновь поступивших.

«Родственники оперированной»,— решил Гельман, входя в светлый холл приемного покоя. Внезапно остановился у двери. В двух шагах от него, на мягкой кушетке сидела «настоящая» и донельзя необходимая в этот тяжелый, исторический момент, «самая красивая», так решил он, Ася. От разбитого у дальней стены дендрария, роняя на ходу сачок и детское ведерко, со звонким криком: «Папочка! Любенький мой!» — к нему бежала его дочь — Валерия Семеновна.

ГЛАВА 10

К сентябрю огромную, четко спланированную площадь имени великого русского классика изуродовали ржавой охрой двухметровых деревянных щитов и узкими бревенчатыми дорожками для переходов строители метрополитена, желающие во исполнение чаяний жителей солнечной столицы соединить выставку передовых достижений народного хозяйства с центром города.

Оскорбленный Вайнер обегал все инстанции в целях спасения концерна красоты и моды, а равно своей кормушки — и наконец решился на последний, опрометчивый шаг — приступом взять Главное архитектурное управление. Обвязавшись связками гранат со взрывоопасным содержимым фирмы «Арарат», он зажал в левой руке «дипломат», начиненный не менее необходимыми для победы пластиковыми бомбами из шоколада, и, произведя должное впечатление на бдительного вахтера, удачно проследовал

в кабинет главного архитектора. Увы, тот оказался и ги тоником, к тому же с непонятными для шефа «Улыбки» моральными принципами. В итоге Вайнеру сначала показали генплан, а затем указали на дверь, каковую незадачливый взяткодатель преодолел, матерно чертыхаясь, проклиная заодно всех трезвенников на свете... Компромиссный девиз «Ройте с другой стороны» вызвал у работников управления метрополитена понимающую улыбку и ответное дельное предложение обратиться по данному поводу к психиатру по месту жительства. Борис Аркадьевич воспользовался их советом и по рекомендации Даля посетил доктора, немедленно заполучив диагноз «депрессивное состояние», пачку рецептов с латинскими прописями нейролептиков и транквиллизаторов, а также настойчивую просьбу в корне изменить свой образ жизни, для чего начать принимать на ночь барбитураты и холодное обтирание по утрам, что, в свою очередь, вызвало у жены сомнительные улыбки, восклицания типа: «Ты на себя не похож!» — по субботам и необоснованные упреки: «Кто она?» — по воскресеньям, вместо традиционной чашечки кофе и двух поцелуев, «как мама учила», выделяемых авансом, вместо назидательного «будь умницей», на протяжении двадцатилетнего семейно-супружеского марафона.

Жизненные ломки, приведшие к столь острому возбуждению подкорковой области головного мозга, вызвали в нем необратимые, по его мнению, реакции других, не менее важных систем организма, фиксирующих потери в виде преждевременного старения, слезливости, повышенной раздражительности, потливости, а также настоятельные советы жизненных утопистов изменить в критически сжатые сроки климат, для чего он вынул из заветной шкатулки вызов «тети Лен», долго вчитывался в русский текст и едва тут же не умер, посмотрев на дату документа, враз перечеркнувшую надежду на близкое воссоединение лжеродственников.

— Циля! Он же весь просрочен! — фальцетом прокричал Вайнер, падая на тахту.

После этого он дважды открытым текстом призывал шурина из далекой Хайфы проявить свои родственные чувства и прислать новую индульгенцию с красным шнурком из витого шелка у печати и подписью местного раввина или нотариуса, именующуюся «вызовом для воссоединения с родственниками» в дутых рамках законных, а точнее, незаконно захваченных территорий, очерченных кровавым пулеметным пунктиром границ агрессивной державы. Но

[illegible], погрязший в любви к ближнему, работал в качестве инструментальщика в ИМИ [1] и в силу своего профессионализма, помноженного на необъятный патриотизм к новой родине, производил рассчитанные на пулю-централь легендарные «узи» и «галиль» [2], в связи с чем начисто позабыл семейные обязательства, разорвал родственные узы с этим «красным» Вайнером, потому и не удосужился передать его слезные просьбы в местное отделение СОХНУТ. Потеряв всякую надежду, депрессивный шеф устроил грандиозный семейный скандал, во время которого с присущим ему темпераментом крыл на чем свет стоит неблагодарных родственников, жалуясь на боли в правом подреберье, брызгаясь слюной, чертыхаясь и перемежая свою образную речь идиш-афоризмами, где преобладали: «ныкейва» [3] — касательно сестры, «ганеф» — в адрес шурина и совсем похабным — «байстрюки» — в отношении их темно-карего потомства.

Неизвестно, куда бы увезла нелегкая Вайнера, если бы во время транспортировки салонного инвентаря в близлежащую баню, где рядом с отделением финской сауны выделили помещение для экс-«Улыбки», в мрачную шутку переименованной сотрудниками в «Слезинку», Борис Аркадьевич в который раз не воспользовался услугами Даля.

Последний с пониманием выслушал шефа, подумал, улыбнулся волшебной улыбкой и прошептал ему на ухо:

— Дядя, это непросто делается, но для вас я не пожалею ни сил, ни времени. Вызов стоит триста с одного романтика. С вас — девятьсот. Оплата после получения документа. В настоящий смутный отрезок времени, который кое-кто предпочитает переждать где угодно, даже в тюрьме, предоплату выставляют лишь олигофрены и аферюги «от комля». И последнее: вы определили свои парнусы? [4]

— Как это, как это? Конечно, обсчитал! — напыжился Вайнер.— У меня к вывозу десять тысяч.

— Это уже кое-что. Встретимся в шесть часов в тринадцатом номере сауны. Пусть вас не смущает число. Там лучший камин и просторные апартаменты. Вы любите парную?

— Кто не любит парить кости? — уклонился он от прямого ответа.

---

[1] ИМИ — «Исроель милитари индастрикс» — военный концерн.
[2] «Узи» и «галиль» — марки автомата и винтовки.
[3] Ныкейва *(идиш)* — проститутка.
[4] Парнус *(идиш)* —доходы *(сленг)*.

Борис Аркадьевич! Вы знаете первый пункт устава вооруженных сил Израиля? Нет? Тогда слушайте и запоминайте: «Не отвечай вопросом на вопрос». Понятно?

— А почему я не должен отвечать вопросом на вопрос? — засуетился Вайнер.

— Потому что второй пункт гласит: «Не разговаривай руками вместо языка».

— Пусть бы они смотрели за своими руками,— начал наливаться присущей его заболеванию злостью шеф.

— Успокойтесь, дядя... И не давайте советов главнокомандующему во время ведения военных действий — кстати, это третий пункт устава... Теперь последнее: к встрече приобретите мужские трусы пятьдесят второго размера. Найдите булавку и бритвочку.

— Трусы зачем? У меня ж есть...

— Новые?

— Стираные, но чистые. Я лишь сегодня надел.

— Не годится! Моя фирма, дядя, использует только неиспользованные трусики, ясно?

— Ясно.

— Тогда до встречи. Жду вас. Готовьтесь усиленно дышать в тяжелых условиях. Духота Синайского полуострова в банном тренажере. Специально для вас,— хлопнул он по плечу обескураженного шефа.

Оставшись наедине с мыслями, Вайнер надолго задумался. Время текло сомнительно медленно. Липкие, словно чем-то озадаченные минуты с легким шорохом выползали из укромных уголков тихого уютного кабинета, стекали мутными каплями по стенам, туманили легким смогом увядшее зеркало паркета и, охлаждая конечности Бориса Аркадьевича, заставляли его поеживаться и часто посматривать на оправленную в резной хрусталь мордочку наручного «Ориента»: она как будто, с чисто самурайским злорадством, смеялась над не привыкшим к долгим раздумьям романтиком-утопистом. Наконец он решился, снял трубку телефона, набрал номер:

— Алло, Циля?! Это я. Ты одна?

— Да, потому что я дура,— с болью ответила трубка.— С кем мне быть?

— Прошу тебя не отвечать вопросом на вопрос,— предупредительно повысил голос Вайнер.

— А почему я не должна отвечать вопросом на вопрос? — непонимающе взвизгнула трубка.

— А потому что не разговаривай руками вместо языка,— наставительно продолжил он.

— Чем тогда я держу трубку, как ты думаешь? — прохрипела трубка.

— Ну хорошо,— примирился он.— Циля, ты одна?

— Еще раз, и я не выдержу! — начала угрожать трубка.

— Ты только не пугай, и слушай меня внимательно, и, главное, ничего не советуй... Сядь на метро и привези мне пару новых трусов, я не хочу тратить деньги.

— Боже мой, а где твои?!

— Как это где, как это?! Мои на мне, но мне нужны еще одни, понимаешь?

— Боренька, что случилось?.. На работе все в порядке?

— Цилечка... ой, не волнуйся... В общем, это не телефонный разговор, но, кажется, будет вызов... Оттуда, понимаешь? Хорошо, идьет, так идьет. Жду, и не вздумай меня подвести. Это очень серьезно...

Вайнер повесил раскаленную трубку. Достал носовой платок. Вытер со лба обильный пот — болезнь есть болезнь. Расслабился и закрыл глаза...

Без двух минут шесть, проявив крайнюю вежливость и пропустив вперед целеустремленного Даля с двумя предварительно запаренными вялыми березовыми вениками, он с достоинством постучал в дверь тринадцатого номера.

— Прошу! — гостеприимно пригласил Даль, представший перед шефом в крайнем «налегке», то есть совершенно голым, лишь на голове у него было что-то среднее между допотопной ермолкой и видавшей виды старой фетровой шляпой со срезанными полями и линялым верхом.— Раздеться, под душ и в парилку! Голову не мочить! — скороговоркой выпалил он и убежал в парную.

Осмотревшись, Вайнер был приятно поражен просторным холлом, холодильником, весами, мягкими диванами и огромным зеркалом в тисках из неструганой молодой березы. «Монтана! — промурлыкал он, окидывая себя томным взглядом.— Не совсем, правда. Даже отвратительно,— брезгливо притронулся он к обвисшему животу.— Нужно заняться утренней гимнастикой, а велосипед куплю уже там, дома. Главное — получить вызов. Остальное — дело техники...»

Взяв с собой полотенце, он прошмыгнул в моечную. Наскоро обмылся под душем. Открыл тяжелую дверь, пригнулся и нырнул в пропаренное пространство, безропотно принявшее его в свое млеющее тепло. Прямо перед собой он увидел пятиступенчатый трап, слева он него — камин, увенчанный подсвеченным изнутри пепельно-диким камнем, бочонок с вениками, пузырек с эвкалиптовой

настойкой и двух исходящих потом парильщиков на верхнем полке.

— Борис Аркадьевич! Скорее к нам,— освобождая место посредине, пригласил Даль.

Вайнер не преминул тут же воспользоваться приглашением, пренебрегая мудрым советом Цили: «Посидишь на нижней ступеньке и помни, что тебе уже ой-йой-йой!»

— Жаль, что вы без шляпы, шеф,— продолжал Даль, повязывая вокруг его головы полотенце.— Боже мой! Я могу перепутать вас с арабским феллахом и начну душить!

— Зачем? — подыграл ему третий парильщик, с интересом рассматривая Вайнера.

— На всякий случай! Тем более, что рано или поздно нужно будет что-то бросить на священный алтарь отечества. Труп неверного — лучшее жертвоприношение. Знакомьтесь, Зиновий Исаакович! Мой шеф — Вайнер Борис Аркадьевич.

— Очень приятно. Виктор много о вас рассказывал.

— И мне тоже приятно,— ответил Вайнер, удобнее усаживаясь, закрывая от удовольствия глаза и почесываясь обеими руками.

— Возьмите мыльницу и поработайте ею, как скребком. Только дождитесь начала потоотделения. А мы пойдем — для первого раза хватит...

Оставшись наедине с жарой Борис Аркадьевич ощутил вначале фантомное чувство холода и даже узрел «гусиную кожу» на своих конечностях, но через две-три минуты, по мере прогревания и привыкания, смирившееся с пыткой тело расслабилось, раскрыло поры и шлаковыми солеными слезами, сливающимися в веселые ручейки, текущие в махровые джунгли груди, отблагодарило его за жизненно необходимую «блажь». Еще через пять минут изнывающий от жары, помидорного цвета шеф смывал душистым мылом первые плоды оздоровительной процедуры.

— Готовьтесь, дядя,— призвал его Даль,— сейчас я продемонстрирую перед вами высший пилотаж в условиях нехватки кислорода. Через пять минут ваше тело прочувствует «такого отлетного кайфа», что вы забудете не только всемирный «подкоп», но и Цилины упреки в дождливый судный день. Повяжите голову, жду...

Лежа на сухих простынях, вдыхая магические эвкалиптовые ароматы, Вайнер окончательно расслабился и закрыл глаза. Даль, энергично работая двумя руками, пробежался по его телу, легко массируя ноги, руки, спину. Затем непринужденно пустил веники вдоль спины, припечатывая пятки, вызывая этим расслабленность и истому. Переместив

веники на бока, он по нескольку раз взмахнул ими, нагоняя горячий воздух, равномерно прогревая туловище, и, наконец, сконцентрировал свои усилия на пояснице и выше, поднимая орудие производства высоко над собой и утюжа, и лаская лопатки. Несколько активных взмахов — и вот уже ягодицы шефа испытывают горящее, проникающее в преющие мозги удовольствие, истекающее наружу протяжно-мычащим: «Ма-ма-а!» С трудом перевернувшись на спину, Вайнер прочувствовал нежные руки Мастера, а затем и веники на своей шерстяной груди, горячие припарки плечей, шеи, лица. Умело отыскивая пар высоко над собой, в уголках парилки, Мастер грациозно направлял его к телу и с осторожностью бабки-повитухи отдавал стонущему пациенту. Наконец, заставив шефа прижать согнутые в коленях ноги к животу, он десятью компрессами, следующими со все возрастающей силой в область промежности, вернул ему утраченную веру в вечную молодость и свел его, еле способного к ходьбе, вниз, в комнату отдыха, где уложил на диван...

— Вы знаете, мне кажется, будто я был в раю,— откровенничал Вайнер, потягивая из запотевшей бутылки «Праздрой» вперемежку с перламутровой спинкой воблы, услужливо разделанной Далем.

— Это не рай, Вайнер. Скорее, это агитпункт рая,— снисходительно выговорил Каган.— Там, куда вы стремитесь, купите себе дом с сауной и продлите жизнь лет на двадцать. Ну, а теперь перейдем к главному. Виктор, займись делом.

— Вы купили трусики? — спросил Даль, вынимая из «дипломата» лезвие.

— Как это, как это? Конечно, купил. Вот они.

— Дайте сюда. Операция начинается. Вы ассистируете. Прекратите дрожать, мне самому страшно.— Он надпорол швов, достал резинку, вытащил ее на свет божий и растянул на столе.— Зиновий Исаакович, ручку! Дядя! Усильте наркоз. Продолжаем, пациент мертв! Приступаем к реанимации: мертвый, ваши имена, даты рождения и адрес...

Через пять минут резинка благополучно вернулась в трусы, которые по совету Кагана, работающего по принципу: «Береженого бог бережет!» — Вайнер надел на свои.

— Сейчас мы поедем к приятелю Зиновия Исааковича,— развеял неясные сомнения шефа Даль.— Он завтра покидает эту прекрасную страну. Вы подарите счастливому переселенцу трусики, которые тот, в свою очередь, пере-

дает представителю ХИАЗа в Вене, откуда вы и получите вызов.

— Как, из Вены?

— А вы что, думали, из Тель-Авива?! Конечно, из Вены. В ХИАЗе их тысячи, заверенных. Вписываются фамилии — и вперед! Ясно? Вам должно быть все равно, дядя. Важен результат. Зиновий Исаакович все сделает в лучшем виде и только для вас. Его вы и отблагодарите! Помните: я за вас поручился.

— Как это, как это? Какие могут быть разговоры! Конечно. Можете спать спокойно. Будьте уверены, за мной не пропадет.

— Не сомневаюсь в вашей порядочности. Нас же известят о направлении вам вызова, но по другому каналу. Так что не ждите меня!

— Как только, так и сразу, понятно? — расшифровал Даль.

— Ну, я же сказал...

— Переходим к следующему вопросу: вам нужно легализовать десять тысяч — правильно меня информировали?

— Да, если возможно,— заискивающе улыбнулся Вайпер.

— Мы все можем... На следующих условиях: при оплате вами десяти процентов от суммы в качестве комиссионных, мы переводим деньги согласно вашему желанию в один из солидных банков Италии или Израиля, откуда вы и получите подтверждение о вкладе на ваше имя, после чего деньги, заложенные здесь, у посредника, переходят в нашу собственность. Таким образом, ваши десять тысяч рублей легализуются в три тысячи долларов, а этой суммы достаточно для спокойного начала, не так ли?

— Как это, как это? Конечно, достаточно! Но как я узнаю, что мои деньги доехали?

— К этому мы и подходим... У вас есть родственники на Западе?

— Моя сестра в Хайфе, слава богу.

— Дядя, а вы, оказывается, двоечник!

— Не мешай, Виктор! Дай ему возможность понять суть... Борис Аркадьевич, вместе с деньгами вы передадите посреднику письмо для сестры. Ее официально известят о вкладе на ваше имя, после чего она напишет вам о том, что выбросила холодильник «Днепр» в связи с приобретением магнитофона «Грюндик», или купила дом за три тысячи, или еще какую-нибудь сказку — в общем, как посчитаете нужным. После получения подтверждения вы

ставите посредника в известность о том, что сделка реализована. Мы же узнаем об этом из своих источников информации...

Слушая спокойную размеренную речь Кагана, Вайнер все больше и глубже проникался уважением к собеседнику, держащему себя сверхдостойно, без лишнего апломба и пренебрежения. «К тому же,— думал он,— и коню понятно, что этот Каган — птица высокого полета, он знает, что делает».

— Я согласен,— решительно заявил Борис Аркадьевич.— Кто посредник?

— Дядя! Он весь перед вами,— привстал в простынной тоге Даль.— И заметьте: я не способен на подлость, потому как рожден в семье верующих иудеев, в чем вы можете визуально убедиться. Не подумайте только, что я призываю к расправе над присутствующим здесь сыном еретика и атеиста, что суть едино. Короче: я вам не угрожаю, но и не завидую, если вы хотя бы на миг усомнитесь в моей честности. Но для того, чтобы вы до конца поняли, с кем имеете дело, деньги положите на предъявителя в двух сберкассах — чтоб не бросалось в глаза. Книжки себе, талоны — мне, понятно? Чтоб мы не смогли воспользоваться деньгами без согласованности действий. Но главное: мы бережем ваши нервы. Спокойный сон — залог здоровья, дядя! Лечитесь на здоровье!

Вайнер прослезился:

— Дорогие мои! — воскликнул он, срывая с себя простыню.— Я ваш до гроба. Только евреи могут быть такими порядочными! Я искренне...

— Успокойтесь,— прервал его излияния Каган,— главное в том, что вы все понимаете. Можете одеваться,— улыбнулся он,— действуйте. Виктора подождете в салоне. Нам нужно обсудить еще пару вопросов...

— Неплохой маланчик [1],— констатировал он, когда за Вайнером закрылась дверь.— Но наша задача — вывезти всех, решившихся выехать. Израилю нужны рабочие руки. Необходимо сделать все, чтобы облегчить им выезд. Без них не построить великий Израиль в завтрашних огромных границах.

— Такие, как он, вам такого понастроят!

— А мы, думаешь, не понимаем этого? Но строить будут потомки этих болванов. Каждый из них, кроме своей глупости, везет на родину руки своих детей!

---

[1] Маланчик *(жарг.)* — еврей.

— Меня это все как-то не волнует, тем более, я не каменщик и не убийца. Я, как вы знаете, свободный художник и еду, в первую очередь, для ознакомления с художественным наследием прошлого. Эпоха Возрождения меня манит в чертоги. Там столько голых женщин,— рассмеялся он,— аж стихи писать хочется. Вообще-то, мне все равно, чем наслаждаться: ранним Ренессансом или поздним соцреализмом. Дорога — это Рай! Я ведь в душе турист, склонный к мелодраме. Благодарно разревусь на плече хорошенькой стюардессы, которая вырвет у меня из рук чемодан. Еще мне одинаково, где это произойдет: во Внуково или Швехате... Но, к сожалению, до сих пор меня лишь критически осматривали, вернее, презрительно окидывали буравящим душу взглядом сверху вниз и требовали посадочный талон. Я всегда боялся его потерять и сжимал в кулаке, как покойная бабушка брильянтовую брошку, которую вместе с рукой втоптал в жмеринский чернозем есаул казачьей сотни в восемнадцатом году... Мне надоело крутиться в «самых лучших», брать чаевые и писать обязательства. Хочу пожить для себя. Сколько нам осталось той «селявишки»? В своем салоне, обслужив десять девочек, я с одиннадцатой нырну в бассейн. А здесь работаешь, как папа Карло из детской сказки, с восьми до трех и с трех до «пока стою на ногах», без перерыва. Чтобы истратить какую-то несчастную сотню рублей в воскресенье, всю неделю вкалываешь, как при закладке Днепрогеса. Где уж тут творить? «Один трафарет и под гребенку!» — вот мое кредо.

— Ну, что ж, ценю твою откровенность. Один вопрос — когда ты едешь?

— Полгода, думаю, крайний срок.

— Маму уговорил?

— Нет,— вздохнул Даль,— ни в какую. Она глуха к советам и просьбам. И слушать не хочет. «Я живу,— говорит,— на своей земле. Здесь,— говорит,— умерли мой дед, отец и мать. И меня похоронят рядом с моими на Байковом кладбище. Тебе не понять слова Родина. Жаль, что ты не застал войну. Пожить бы тебе той жизнью». Но, знаете, я ни секунды не хочу жить их жизнью. Я им за все благодарен, но жизнь у меня своя. Правда, старушка это понимает и не препятствует. Фиму же она пустила! С ней все в порядке, тем более, что оттуда мы всегда ей поможем.

— Значит, ты, как я понимаю, свободен?

— Как аист для полета.

— Тогда перейдем к следующему вопросу. Как ты смотришь на женитьбу? В плане выезда из Союза с молодой женой.

— А, свободный еврей — раб собственного кармана! Думаю — можно!.. Хорошенькая невеста? — Глаза Даля загорелись мартовскими огнями.

— Неплохая,— заметил его реакцию Каган.— Но отбрось дурные мысли. За дело платят деньгами. Ты ведь, насколько я знаю,— а мы с Фимой дружили, когда ты был еще котенком,— коммерсант, не так ли?

Даль молчаливо согласился.

— А поскольку это так, то я позволю себе огласить условия: вывоз этого сокровища в свободную Европу стоит пять тысяч рублей, ну и, естественно, тебя не волнуют ее гешефты.

— Сколько ей лет?

— Двадцать шесть.

— Кто она?

— Это несолидно, мой друг.

— Я должен подумать.

— Время?

— Через двое суток, ровно в двенадцать, я у вас на ковре, в ресторане.

— Договорились, мой друг,— ответил Каган и подал ему руку...

Выйдя из бани, он строевым шагом пересек по диагонали парк великого Кобзаря и, минуя справа Театр оперы и балета, вошел в один из подъездов дома артистов, преданно глядящего на старые Золотые ворота. Поднявшись на третий этаж, своими ключами отпер дверь, неслышно прикрыл ее за собой, миновав небольшой затененный холл, очутился в комнате, откинул полог, скрывающий низкую угловую софу, и попал в нежные, тоскующие объятия сумасбродной Нинки.

— Земка, рыбина! Где же ты пропадаешь? Больше часа заставил меня скучать. Ну, не барахтайся, дай понюхаю. О! Да ты из парной! Вкусный какой,— прошептала она, запечатлевая слишком усердный поцелуй на несгибаемой шее патрона.

— А-а-а! — простонал он, пытаясь выскользнуть из ее цепких объятий.— Ласточка! Ты становишься мазохисткой. Больно же, слышишь?! А-а-а...

— Первый раз всегда больно,— прошептала она, пытаясь вторично дотянуться к прикушенной мочке уха своего шефа.— Обними меня скорее и слушай: до тебя я не знала

ни Захир Мазоха, ни маркиза де Сад. Но, преклоняясь пред всеми носителями сильного чувства, даже при слишком идеальных выражениях, настойчиво заверяю тебя в рабской преданности. Если бы ты пришел не в мокасинах, я б расшнуровала обувь твою и наперекор Христу омыла твои ноги, забыв на минуту, что ты Бог мой! Поцелуй свою девочку! Ну, быстренько...

Через час Каган в позе а ля паша сидел на краю постели, старательно пережевывая нарезанный ломтиками пятислойный бутерброд (батон, масло, рокфор, лимон, любовь), запивая его соком манго из широкой пиалы. У его ног, на морде белого медведя Бима, удобно устроилась Нинка в роли педикюрши, заканчивающей обработку величественных стоп шефа. Умасленные женьшеневым кремом ножки возлюбленного весело подмигивали перламутровыми глазками ногтей, легко дышали раскрытыми порами и своими розовыми младенческими пятками пробуждали в ней все возрастающее материнское чувство.

— Земонька,— мурлыкала она, восхищаясь своей работой,— какое счастье, что ты не торопишься. Скажи, «наша жена» долго пробудет в Цхалтубо?!

— Котенок, ты же знаешь, еще семнадцать дней.

— Как мало... Я согласна выслать ей деньги, только чтоб она задержалась ну хоть на месяц... Скажи, она не может утонуть?!

— Может, но не хочет. Она не любит делать подарки... И в Цхалтубо, к сожалению, нет моря. Море камней из печени не в счет. Но не все потеряно. Кое-что в этом направлении я предпринимаю. Быть может, она утонет в Средиземном или Красном. Скоро мы ей предоставим такую возможность, не так ли, дорогая?! Кстати, ты помнишь своего парикмахера?

— Виктора? — удивленно подняла она брови.— А что, он уехал?

— Нет-нет! Какого ты о нем мнения?

— Идеальный мастер, душевный парень, очень обаятельный, но, думаю, пустозвон.

— И я так думаю,— удовлетворенно хмыкнул Каган.— Так вот, он хочет на тебе жениться.

— Что?! А больше он ничего не хочет?

— Хочет, но ты не позволишь... Даже находясь с ним в законном браке.

— Зиновий, не шути,— повысила она голос.— Ты мне делаешь больно.

— Потерпи, радость, первый раз всегда больно,— погладил он свое укушенное ухо.— Я продолжаю: как ты понимаешь, разводиться с «нашей женой» я не намерен, потому что она никогда не даст разрешения на мой выезд из Союза. Кроме того, я не смогу жить без сына. Да и уезжаю я в первую очередь ради него. Мне достаточно того, что я всю жизнь хожу голыми пятками по лезвию бритвы и слышу за спиной стук колес столыпинского вагона. Если когда-нибудь он сядет — я умру. Не воровать — нельзя! Ты это знаешь не хуже меня, если не лучше. Официантка с чаевых живет лучше, чем я с зарплаты. Шеф-повару выдай телятину — он отпустит в зал индюшачьи котлеты. А не дай — скажет, что я убийца. Пресеки выдачу второй категории мяса вместо первой — кладовщик повесится. Так я кто? Белая ворона?! Нет, я такой же, как они... Не хуже, во всяком случае...

— Зема, зачем ты? Не расстраивайся... Я и так все понимаю...

— Нет-нет, слушай, сегодня вечер признаний. Налей мне чего-нибудь и не перебивай.

— Коньяк, водку?

— Джин с тоником...

Ника с проворством официантки, выполняющей вдвойне оплаченный экстра-заказ, наполнила бокалы.

— Будь умницей,— напутствовал он.— Продолжаю, котенок: я родился в семье набожной и богобоязненной. Каган и Левит — первосвященники древности. Как ты знаешь, мой дядя провел жизнь в синагоге, хоть он у них и не главный. Мой древний род уходит могучими корнями в седую глубину древней Вифсаиды. Память моих предков навсегда осела в крови, плоти и генах. Она свято хранит не только историю моего рода, но и всего сорокадвухколенного ствола суровой иудейской истории. От Авраама до царя Давида четырнадцать колен, и от Давида до переселения в Вавилон четырнадцать колен, и от Вавилона до Иисуса Христа, кстати, и вашего, и нашего, четырнадцать колен,— так утверждают евангелисты. А от него до меня еще колен сорок, если бы каждый мой предок прожил не менее пятидесяти лет. Но беда в том, что нам не давали прожить отпущенных богом лет, даже этих пятидесяти. Вспомни историю: нас убивали древние греки, вырезали не менее кровожадные римляне, душили средневековые испанцы, вешали на заре столетия палачи России, расстреливали бандиты Деникина, Врангеля и Махно.

Если собрать пух еврейских перин, распоротых при-ним ножом погромщиков, можно было бы подарить по своей подушке каждому воинствующему китайцу. Вспомни гонку: с чем можно сравнить ужас гибели нации? С чем? Нас убивали за то, что мы хотим и умеем жить. За веру в закон древних, за разум, за деньги... Нет на земле народа, не перенявшего у нас хозяйскую хватку, самопожертвование ради ближнего, вечную тягу к знаниям, умение любить и почитать своих отцов. Посети еврейское кладбище. Ты удивишься грандиозности и монументальности обелисков, воздвигнутых нами в память об отцах и матерях наших...

Но страхи, засевшие в моей голове, слезы и кровь моих предков не дают мне покоя. Осенившись верой, я вдруг понял: для того, чтобы быть сильными, нужно собраться воедино — в семью, в нацию, в государство. Построить его в географических пределах древней Палестины: от Нила до Евфрата! Это — не прихоть, мы должны быть сильными. Нас должно быть много. Мы все должны объединиться во имя цели, во имя единого чувства и заветной мечты. Всего этого у нас в избытке. У нас есть присущее всему живому самое глубокое, непреодолимое и основательное чувство страха за себя, за детей, за жизнь. Мы боягузы!!! Потому что помним всех вешателей и палачей нации от Рамзесов до Гитлера. Нас боятся, потому что там, где мы есть,— есть свобода, идеи и деньги. Мы — проныры до мозга костей, потому что деды наши были самыми угнетаемыми. Наш Иисус — первый борец за нас! Наш Иуда — самый верный в учении и в любви! «Если не мне — пусть никому не достанется!» Вспомни, и ты однажды сказала мне это! Тогда я думал, что ты затащила меня в черный омут. Я был хлюпиком и болваном. Я люблю тебя горячо и проникновенно! Потерять тебя или потерять жизнь — для меня едино! Поэтому я решил: ты выйдешь замуж за Даля, он брат моего друга детства, и уедешь с ним на Запад. Там я потеряю «нашу жену», предварительно забрав у нее сына. Слава богу, там воспитание ребенка доверяют отцу и государству, а не матери, которая после новой брачной ночи начисто забывает о ребенке от первого брака, поощряет издевательства, унижения, и, в лучшем случае, он становится нянькой у щенков от второй любви. После этого мы поженимся и будем счастливы, как сегодня...

— Ну, что ты молчишь? — он долгим, сверлящим, проникающим в самое сердце взглядом посмотрел в застланные дымной поволокой глаза возлюбленной.— Тебе что-то не подходит? Говори! — схватил он ее за руку.

— Мне больно, Земик, слышишь, пусти,— проговорила она, вставая. — Ты же знаешь, я раба твоя верная! До смерти, запомни! Все будет так, как ты хочешь. Потому что я люблю тебя — впервые, преданно и навсегда. Спасибо тебе!..

— За что?

— За то, что покажешь мне мир.

— Не мир, а миры, дорогая,— набычился он, привлекая ее к своей груди.— У меня две просьбы: во-первых, не увлекайся Виктором.

— Земик, я оскорблюсь!

— Не торопись, выслушай: он начнет читать стихи. Расскажет, что Пушкин — тоже еврей, потому что арап Петра Великого — это аид[1] Пейсаха Большого, так как на северо-востоке Африки, в древней Эритрее, жили сплошные маланцы, а в Лагоне, откуда родом Ибрагим Ганнибал, особенно. Он увлечет тебя рассказом о крещении в Вильно в 1705 году Ибрагима Ганнибала и о наречении этой жидовской морды Абрамом. А следом пойдут дед, Иосиф Абрамович, мать и сам Пушкин... Но самое страшное не в этом... В процессе разговора он попробует убедить тебя в том, в чем к этому моменту будет крайне убежден сам,— в том, что от вашей любви может народиться новый Пушкин, которого ждут все евреи Вселенной, и он им нужнее первого... Умоляю, не верь ему. И второе: немедленно договорись с Майкой и начни брать у нее уроки английского языка.

— К сожалению, не получится, она сейчас сама не своя.

— Что с ней?

— У нее большое горе. Мария Михайловна у Гельмана. Рак, понимаешь?

— Да,— задумчиво протянул Каган,— новость препаршивая. Вспоминаю... Я по просьбе Фреда договаривался о консультации... Ну и как она?

— Плохо, без операции, очевидно, не обойтись. Ну, а пока она принимает лечение.

— Это все ерунда. Единственная страна, где излечивают рак,— Израиль! — с гордостью изрек он.— Здесь даже Сеня не поможет. Это, к сожалению, не аборт. Бедная женщина...

— Земка, скажи, почему они не откроют миру секреты лечения?

— Не такие мы идиоты... Пусть гибнут антисемиты! Мы своих вылечим...

---

[1] *Аид (идиш)* — еврей.

Медленно передвигая ноги, осторожно ступая, будто по тонкому льду, бродит зеленой аллеей клиники, закутавшись в теплый халат, Мария Михайловна в ожидании Майки, взявшей отпуск в связи с болезнью матери. Два больничных месяца начисто перевернули ее жизнь, заставили вновь вспомнить все пережитое однажды, прочувствовать мельчайшие ошибки прошлого, не однажды взгрустнуть по безвозвратно утраченной молодости, схватиться за ускользающие надежды на счастье выздоровления.

«Я госпитализирую вас невзирая на то обстоятельство, что вы непрофилированная для нашего учреждения больная,— ответил Гельман на ее полный страха, засевший в еще недавно веселых карих глазах извечный вопрос пациентки, нуждающейся в неотложной помощи.— Мной руководит желание вылечить вас в условиях стационара, так как вы не желали лечиться амбулаторно. Меня просят об этом друзья — мои и ваши. Через два-три месяца вы будете здоровы... обещаю вам...»

Слова доктора успокоили ее, но, к сожалению, ненадолго; в первые же часы с момента госпитализации обитатели четвертой палаты в пух и прах развеяли воздушный замок сладкой лжи, построенной милосердием, не оставив от него и легкой дымки.

— Мне тоже так говорили вначале,— с трудом выдавила из себя певица из Джанкоя,— но я здесь уже в четвертый раз за два года. И, наверное, в последний,— всхлипнула она, отворачиваясь.

— Лучше умереть дома,— поддержала ее попадья из Гродно,— чем жить в таком страхе. Господи! Боже мой! Отец небесный! И за что ж такие муки, господи?!

— Перестаньте, наконец! Сил больше нету,— вмешалась двадцатилетняя Дина, студентка местного театрального института.— Страхов нагоняете, аж тошно становится. Сколько вам объяснять: глупость это! Всех непрофилированных помещают в одной палате, понятно? Вы это и без меня знаете. Рак за год съедает жизнь. А вы живете и три, и пять лет,— убежденно продолжала она, переходя от одной кровати к другой.— Этот паразит, мои дорогие, живет за счет тела. Чаще смотрите на себя в зеркало, чтобы дурные мысли в голову не лезли. Краснощекие, упитанные! Вместо того, чтобы о смерти думать, лучше вес посгоняйте. Ишь, обабились,— звонко рассмеялась она.— И не стыдно? На меня посмотрите,— распахнула халат, поднимая сорочку,—

красота, да и только! Только выпишут — замуж выйду. Детей нарожаю. Самую младшую на актрису выучу и приду с цветами на ее бенефис по случаю присвоения ей звания народной артистки. Что, не верите? — с вызовом посмотрела она на новенькую.— Думаете, умру? — покраснела, распаляясь все больше.— Нет, не умру. Слышите, не сдохну! Не хороните меня! Слышите: не хороните! — сквозь рыдания натужно прокричала девушка, падая на кровать...

Мария Михайловна выбежала на балкон. Обеими руками ухватилась за перила. В отчаянье до крови прикусила губы. С невыносимой тоской взглянула в жаркую голубизну неба. Судорожно закрыла глаза, пытаясь отогнать противное, мерзкое, до липкого холодного пота покрывшее ее чудище страха. Наконец овладела собой и вернулась в палату. Присела на постель Дины. Нежно притронулась к ее все еще подрагивающим плечам. Провела рукой по золотистым бархатным кудрям. Тихо заговорила:

— Доченька! Слышите, успокойтесь! Пожалуйста... Вы будете жить долго! Очень долго. Я это знаю наверняка. И дети ваши будут счастливы оттого, что у них есть мама. Слышите? Ну, пожалуйста, успокойтесь! Вы слишком молоды, чтобы думать о плохом, понимаете?

— Понимаю, все понимаю,— ответила та, силясь перебороть рыдания.— Это вы не понимаете... и не знаете ничего... Я в шестнадцать уже любила. За год трижды матерью могла стать... а в восемнадцать...— Судороги снова сдавили ей грудь.— У меня эрозия была, размером в три копейки. Нелеченная, понимаете?!.. На прошлой неделе здесь умерла девочка. Ей был годик, всего годик, понимаете?! — Обхватив двумя руками подушку, она вновь зарыдала...

Душной бессонной ночью Мария Михайловна, всматриваясь широко открытыми воспаленными глазами в высокое звездное небо, попыталась еще раз проанализировать свои ощущения и опровергнуть, наконец, страхи.

«Болезнь коварна, а страх — союзник любого заболевания. Нужно изжить в себе гадкое чувство, и обязательно наступит выздоровление. Если я тяжело больна, так почему не худею, а поправляюсь?.. Так зачем же я здесь? Этот доктор, что так добр ко мне, предложил госпитализацию только после тщательных амбулаторных исследований... Значит, я их больная?.. Он лжет, отдает дань врачебной этике! Тогда это конец... Так рано! И всего пятьдесят... Боже, а как же Майенька? Она этого не перенесет... Стоп, хватит! Гельман при первой встрече сказал, что нужно

подлечиться в условиях стационара, без всяких анализов, после поверхностного осмотра. Я и сегодня не чувствую себя больной! Тем более — тяжело... Врачи вообще склонны к преувеличению... Лучше ошибиться, чем проморгать...»

На балкон вышла Дина. Села рядом в кресло-качалку.

— Вам тоже не спится? — спросила она, доставая сигареты.

— Так всегда бывает на новом месте. Не могу к постели привыкнуть. Слишком мягко,— улыбнулась Мария Михайловна.— Да и расстроена я сегодня. Никак от дома не отойду...

— Вы, наверное, благодаря мне расстроились?

— Пустяки, Диночка.

— Извините, я не хотела. Просто так получилось... сорвалась. Не думайте обо мне плохо. И, пожалуйста, не верьте моим бредням,— смяла неприкуренную сигарету.

— Я не сержусь и понимаю вас... Знаете, Диночка, у меня дочь такого возраста, как вы. Может, чуть старше. Очень эмоциональная девочка. Правда, не актриса, а переводчица. Вы чем-то похожи даже...

— Все люди похожи, наверное.

— Чем же?

— В первую очередь, жизненной необходимостью в любой ситуации оставаться самим собой, ну, а потом... войти в роль, заставить поверить в себя,— улыбнулась она,— срывать аплодисменты на своем тернистом пути... Я и вчера утром в другой аудитории сорвала бы бурю аплодисментов. Рак — не мое приобретение. Я почти здорова. Закончится курс лечения — и я уйду. И навсегда забуду эту клинику с гигантским вареным раком на панно торцевой стены — не лучший символ, правда! Коль я не больна, значит, вошла в роль, прочувствовала характер своей героини, умирающей где-то в такой же палате... И если она не умрет, аплодисменты сорвет тот, кто играет роль ее спасителя. Он ее разучивал по другому сценарию, да и только. Жизнеппа роль врача, но, к сожалению, сценарий пишет болезнь или дьявол. Мы же не более чем декорация, в лучшем случае — статисты, но отнюдь не актеры. Они приходят проведать, вселяют в нас страх своей бездарной игрой и убегают отсюда еще более испуганными, чем мы,— всхлипнула Дина.— Самое страшное здесь — это жалость и ложь...

— Диночка, прекратите расстраиваться. Или я вас покину. А жаль, вы очень интересно рассказываете.

— Значит, вы согласны со мной? — оживилась девушка.— Значит, моя теория не мертва?.. Согласитесь — вот

вы тоже в роли... Чувствуете себя хорошо, а играете роль больной. До этого исполняли роли там,— она взмахнула рукой,— на работе — одну, дома — другую...

— По-вашему получается, что вся жизнь — это огромный спектакль!

— Конечно! На работе вы требовательны к себе и к подчиненным; дома внимательны и заботливы, порой и ласковы вопреки... Вы любили когда-нибудь, даже если и не желали?

— Не понимаю...

— Ну, в угоду близкому, любящему... мужчине?

— Это было очень давно,— смутилась Мария Михайловна.

— Вот видите: значит, любили... Любая ситуация в жизни — это сцена из спектакля. Все кажутся разными, потому что по-разному воплощают свое актерское мастерство. Даже приговоренный к смерти, надеясь на чудо, играет роль смертника... А здесь, надеясь на мастерство, ошибку в диагнозе или чудо, доктор выступает в роли постановщика... Ну, а мучаюсь я потому, что артисты бывают плохими и хорошими. Да и зрители менее требовательными и более легковерными. Чувствуя фальшь, а она нетерпима в искусстве,— я нередко хочу спеть свою лебединую песню,— согласитесь, это мечта любой актрисы,— бросившись в небо вот с этого балкона.— Она резко поднялась и, не простившись, ушла в палату...

Привыкая к новой жизни, Мария Михайловна утром следующего дня произвела глобальное обследование своего отделения и сделала обнадеживающие выводы. После врачебного обхода она заглянула во все палаты и, к радости, ни в одной не обнаружила умирающих. Смехом и шутками встречали ее временные хозяева отделения, скорее напоминающего дом отдыха, чем передовую, где не бывает затишья. Познакомилась она с пациентками, оперированными в этих стенах год, три и пять лет назад и прибывшими на профилактическую проверку.

— Как вы себя чувствуете? — спросила Мария Михайловна одну из них, прогуливаясь после ужина институтским парком.

— Ну, как вам сказать? — улыбнулась та. — Чтоб вы поняли и, главное, поверили, посмотрите на эти деревья,— показала на два зеленых красавца осокора.— Если б они стояли поближе один к другому, я бы обняла их и заставила расцеловаться! Главное — это вера в выздоровление, и оно обязательно наступит!.. Вы себя хорошо чувствуете, а меня три года назад сюда внесли на носилках. Заболела же

я из-за собственной беспечности. За двадцать лет супружеской жизни ни разу не была на профилактическом осмотре в женской консультации. Домашние недавно признались, что считали меня безнадежной, теперь они с улыбкой вспоминают те страшные дни. А тогда только врачебное искусство спасло меня. Но и вера в жизнь так же помогла мне, как таблетки и процедуры, если не больше! Верьте в жизнь! — призвала она, направляясь к родственникам, показавшимся у центрального входа...

Дни летели незаметно, до отказа заполненные беседами, лечебными процедурами и пятиразовым, обязательным для всех, приемом пищи.

В один из солнечных дней счастливая Дина закончила курс лечения, что и решила отметить накануне выписки полудюжиной бутылок шампанского и коробкой грильяжа, доставленных институтскими друзьями. Вечер прошел весело и беззаботно. Актриса раскрыла свой сценический дар, играя перед восторженными зрительницами шекспировскую Офелию, толстовскую Анну Каренину, но наибольший восторг вызвали у публики монологи Бесприданницы и Катерины, блестяще исполненные героиней вечера. До поздней ночи не спали обитатели четвертой палаты, даже дежурный врач сквозь пальцы смотрел на веселье, не смущаясь запахов винных паров, забившихся в темные углы и не желавших покидать приятное общество. Под утро Дине стало плохо, и она исчезла в операционном блоке...

Вернулась она через десять дней, чуть живая, бескровная и вкрай обессиленная.

— Ну, вот,— с трудом выговорила Дина,— мы снова вместе. Как же вы без меня жили-то? Небось, скучали?

И, услышав утвердительные ответы, вздохнула:

— Я тоже. Всех вспоминала. Позавчера особенно: лежу я, бабоньки, в реабилитации и думаю: «Конец пришел!» Вдруг приходит Семен Даниилович, улыбается... Ну, настоящий именинник! «Диночка,— говорит,— у меня сегодня новость, стоящая всех твоих операций и болей вместе взятых!» И дает мне результат цитологического исследования. А в нем черным по белому: опухоль была доброкачественной, и называется она, бабоньки, кистой. И жить я буду сто лет! — заключила она, падая на подушки.

— Какое счастье! Поздравляю тебя! — подсела к ней Марья Михайловна.— Надеюсь, ты хорошо справишься с ролью выздоравливающей?!

— Постараюсь, но это уже сложнее.

— Не сложнее, чем в операционной,— вмешалась попадья.

— Нет, там легче. Гораздо легче. Представляете, два укола — и спишь. Ни мыслей, ни сновидений. Я впервые так крепко спала. Очнулась уже в реанимации. Потом укол — и снова сон. Даже не помню, как и дни пролетели. Я б сейчас тоже согласилась уснуть до выписки.

— А кто тебе мешает? Ешь и спи,— повернулась к ним певица.— Глядишь, в одно прекрасное утро очутишься дома. Детей рожать будешь...

— Буду, конечно, а что? Думаете, не смогу? Может, решили, что мне все удалили? — приподнялась Дина на подушках, с тревогой всматриваясь в лица больных, застывших в недоумении и не осмысливших еще ужасного смысла страшной догадки, осенившей ее.

Гнетущую тишину палаты первой нарушила попадья, оторвавшись от затертого, в черном переплете Евангелия:

— Господи, боже мой! — запричитала она.— И чего же это на свете деется? А такая ж молодая! А такая ж красивая!

— Что вы мелете? — прикрикнула на нее певица.— Совсем из ума выжили! Слышали, что в заключении написано? Или вам легче похоронить, чем успокоить? Диночка! Да как же вам не стыдно? Зачем вы на себя такую напраслину возводите? Меня два года лечат и не оперируют. Я сегодня согласна лечь под нож — только бы выздороветь. Миленькая! Вот увидите: через десять дней вы будете дома и забудете все, как кошмарный сон, слышите?!

Но Дина никого не слушала. Страшная, пусть и ложная суть болезненного воображения непомерным грузом легла на сердце, сдавила дыхание и пролилась на разум жутким прозрением...

Поздней ночью обитатели четвертой палаты были разбужены нянечкой, спешно собирающей ее вещи.

— Где Дина? — с тревогой спросила Мария Михайловна.

— Сердце у нее зашалило,— невозмутимо ответила та,— она в интенсивной терапии. Спите, миленькая.

— Не могу что-то...

— Позвать медсестру?

— Спасибо, не нужно.

После ухода нянечки Мария Михайловна вышла на балкон, осмотрелась в раздумье.

Пробуждался день. Едва выделяясь в фиолетовой тьме, неуверенная серо-голубая полоска света струилась сиреневым горизонтом. Вот-вот покажется солнце. Его ласковые

ами нежно обнимут земные дали, и прозрачное чистое утро бодрым, радостным звоном ударит медными копьями в угасающую стынь ночи.

Внизу, под балконом, копошились какие-то люди. Садовник ни свет ни заря стоял уже со шлангом в руках, готовый к работе. Заурчал, отъехал автомобиль. Резвая струя воды с шумом пролилась на асфальт и жадным ручьем потекла по дороге.

Вставало солнце. Пушистое, перистое облако плыло серебряным лебедем по пробужденному, но безмолвному небосводу...

Майка, привыкшая за время болезни матери к ранним визитам Фреда и воспринимающая их не так, как прежде, не с безразличием или раздражением, а скорее со все возрастающим удивлением, интересом и признательностью за безвозмездную помощь, оказываемую ненавязчиво, легко, с достоинством и пониманием,— проснулась, как всегда, рано, приготовила легкий завтрак и встретила его доброй улыбкой, доверчивым взглядом и бодрящим запахом свежезаваренной «арабики», млеющей в туго спеленатом махровым полотенцем кофейнике.

— Здравствуйте, герл,— приветствовал ее Фред, пробегая на кухню.— Сегодня наша мама будет кушать цыплячий бульон. Цыпленки — на рупь ведро, с колхозной машины и с единственным брачком-с: они живые. Я взял два штуки, прошу взглянуть,— предложил он, разгружая хозяйственную сумку.

— Ой, какие красивые!

— И не менее живые.

— Давай их выпустим на балкон.

— Нет, герл, я их зарежу. Вернее, принесу в жертву над местным унитазом. Не смотрите на меня с упреком, на сей раз я не опошляю мероприятие. Просто у меня под рукой нет Ковчега завета. Он, как вам известно, хранится под недремлющим оком Господа-Бога и старого раввина в местной синагоге. К тому же седые фарисеи, саддукеи и прочие книжники давно вымерли, а те, что остались, сподобились духу времени, стали выхрестами, затем атеистами и заседают в свободное время в товарищеских судах соседних жеков. Богоугодная работа праотцов у священных жертвенников забыта и монополизирована Министерством мясомолочной промышленности в убойных цехах, оборудованных энергосистемами для производства массовых казней. Причем плата за голову трансформировалась в плату

за поголовье и вросла в тарифную ставку с учетом премиальных и вычетов за бездетность.

Работники боен не хотят размножаться, свирепым взглядом смотрят в будущее, помноженное на покоренные ими моральные вершины,— никто не хочет рождать себе подобных, убийц божьих тварей, чьей кровью, превращенной в кровянку, цивилизация подогревает замерзающие обменные процессы акселерированного в тяжелой воде грешного человеческого организма... Я же, герл, как учил Моисей, принесу сейчас скромную, за неимением горлиц, из двух петушков-бройлеров жертву Саваофу, для чего возьму их по очереди левой рукой нежно под крылышками, перегну тонкие шейки в противоправную сторону и, высвободив от пуха подкадычную область правой каиновой дланью, снабженной синеглазым стилетом, с жалостью резану по разу, шепча из-за пробелов в воспитании православную молитву во исцеление вашей мамы. Затем съем омлет, заметьте, опять-таки куриный,— как-никак, нужно отдавать дань национальной еде, и выкурю под кофе сигарету. Договорились?

— Хорошо! Только разреши мне не присутствовать при жертвоприношении.

— О чем вы, герл! Я покидаю вас и следую траурным кортежем (я и жертвы!) в зал для производства казней, куда вы принесете кастрюлю кипятка, как только услышите музыкальный привет чугунной эврики. Благо, в новых домах перегородки позволяют слышать подобную музыку,— донесся его голос из туалета.

Следом за экзекуцией Фред с завидным профессионализмом окунул убиенных птичек божьих в кипяток, энергично струсил их и принялся очищать от перьев.

— Смотрите, герл,— ликовал он,— они раздеваются быстрее, чем ожидалось. Прошу приступить к анатомическому исследованию. Вы знаете, с чего начинать?

— Разумеется,— ответила она, зажигая газовую горелку.

— «Спалился кондитер», как говорят французы. Конец венчает дело. Разрешите их обжечь над огнем. Отлично... держите...

Майка принялась потрошить тушки с безусловным знанием предмета, вызвав незамедлительный восторг Фреда.

— Герл,— молвил он,— перемывая эти останки, я думаю о бренности бытия и скоротечности активной жизни, обусловленной энергетическим кризисом клетки и издержками сверхактивной деятельности вегетативной нервной системы, вызванными сытыми снами, женской логикой

и новейшими достижениями Министерства торговли в области легкового автомобилестроения. Я за красоту и комфорт! Мне снятся цветные сны на иностранных языках, но в моей постели нет переводчицы...

— Роман, прекрати немедленно!

— Ай эм сорри! [1] Вы забыли удалить из копчиков основные петушиные достоинства, в которых мертвые отнюдь не нуждаются. Вот так... Не забудьте морковку, петрушку и лук. Соль в канун кипения... Пройдемся в столовую. Омлет, наверное, давно уже «сел», как мой бывший сменщик Нолик, который сел три года назад и скоро поднимется вновь. Ну и, кроме того, нас ожидает серьезный разговор.

— Если на предмет отдыха в прибрежном лесопарке, то это безнадежно. Пока мама у Гельмана, всякие развлечения — предательство. Я не позволю себе этого. Ни желания, ни настроения — пустота в душе смертная. Поговорить бы. с доктором, Роман. Хоть что-то новое услышать...

— Герл! Вы плохо обо мне думаете,— гордо заявил он, расправляясь с омлетом.— С доктором я беседовал не однажды. Очень приятный собеседник, но только в нейтральных темах. Что касается частностей, то здесь за него говорит болезнь, по поводу которой он сообщает, что в недуге нашей мамы наметились обнадеживающие, в лучшую сторону сдвиги. Ну а благодарить нужно за «ето» только его одного, что я и сделал, презентовав доктору сто рублей в одной купюре. Обожаю все крупное, от денег до тела: всего любимого должно быть много.

— Что же ты молчал, Ромка?

— Я бы кричал, но меня не пустят на радио. Ну, а преступление с доктором мы совершили только вчера.

— Спасибо тебе. В среду я отдам деньги.

— Что, деньги! Какие деньги? Я вам, герл, ничего не должен. А кому должен — всем прощаю! Это я чувствую себя вашим должником за оказанные мне честь и доверие, за возможность, ставшую для меня необходимостью, помогать вам. Ну, а если честно, быть рядом с вами, дышать одним воздухом. Мне так нравится запах свежих шпалер в вашей квартире! А если серьезно,— отодвинул он в сторону чашку,— я люблю вас, герл. Я не могу жить без вас, мисс! Ай лав ю, девушка. Все. Теперь можете приказать мне покинуть данное помещение — я останусь. Вот к чему

---

[1] Ай эм сорри (*англ.*) — извините.

5*

[illegible]... Я [illegible], [illegible]. Только [illegible], я [illegible] по-своему.

— [illegible] отвеча,— задумчиво повторила Май[illegible].

— Я [illegible] тебе. Когда-то давно, еще в детстве, мы с [illegible] мечтали о своих царевичах — единственных и [illegible]. Мы искали их повсюду: в классе, в школе, [illegible] на стадионе и танцплощадке. Они появлялись в [illegible] фильмах и в нашем драматическом театре. В тринадцать я влюбилась впервые и, как считала, навсегда. Моим кумиром стал Жан Маре. Помнишь Монте-Кристо? Он ослепил меня своей красотой, героизмом, пленил детское воображение благородством самопожертвования и наполнил содержанием сладкие сны. В своем чувстве я призналась школьной подруге, Нине... Она только посмеялась над моими переживаниями, а через неделю, под огромным секретом, сообщила, что мой кумир, безусловно, изменщик и любовь он крутит с кем попало: от Николь Курсель до Милен Деманжо! «Недаром он с ней снимается!» — издевалась она надо мной. После ее откровений я не спала ночей двадцать, не пошла в кино на «Трех мушкетеров» и до сих пор испытываю горечь, когда вижу на экране моих соперниц. Правда, на Нинке я тоже отыгралась, когда узнала, что ее кумир, Рокко, сверхблагородный рыцарь ринга из многодетной семьи, замешан в уголовном преступлении, связанном с каким-то убийством, и ожидает решения своей участи в банальной следственной тюрьме!..

А вокруг бродили влюбленные...

Моим соседом был один из известных у нас футболистов. У нашего подъезда не прекращались дежурства его нескромных поклонниц. А он был таким культурным и вежливым! Здороваясь со мной, опускал глаза и смущался больше меня, наверное. В душе я ответила на его чувство. Я восхищалась его игрой и рыцарской сдержанностью. Его убивали в каждом матче. Я проклинала судей, мягко обходившихся с хулиганами на футбольном поле. Потом он попал в больницу. Я решила навестить его и признаться наконец в своей любви, но вовремя узнала, что болен он грязной болезнью, за что отчислен из команды...

После третьего курса мы поехали в Тюмень, на третий семестр. Там я влюбилась в очередной раз. Он был нашим комсоргом и только моим избранником. При свете костра я заслушивалась его рассказами и приходила в себя на рассвете, когда гасли звезды, бледнело небо и прекращали тлеть угли. Я не реагировала на слова подруг, призывающих меня подумать о его семье. Да-да, он был женатым.

Я пришла к нему на свидание. К его палатке. Он там жил один, понимаешь? Впервые в жизни я слушала заветные слова любви и всем естеством своим молила: «Пусть ночь не кончится никогда!» Ну, а в палатке... Он обнял меня крепко... ну совсем не по-дружески, и вдруг шепнул: «Только учти, я ничего не обещаю!..»

Он был нашим комиссаром и думал о будущем, о котором вспомнила я и ушла не прощаясь. А потом,— задумалась она,— потом ничего не было... Кроме разочарований и пустоты... И заболела мама... И появился ты... Если бы не ты, мне было бы еще тяжелее. Спасибо тебе, Роман! Только, пожалуйста, не желай, чтобы я осталась одна. А когда выздоровеет мама, мы обязательно поедем на Днепр, хорошо?!

— Конечно, герл,— ответил Фред, с трудом переводя дух и как-то по-новому, серьезно и без смешинок, глядя на собеседницу.— Мы обязательно поедем, поскольку теперь — это единственная тема моей жизни... Откровенность за откровенность. Я начинаю осмысливать свои поступки и критически оценивать будущее. Вы наполнили новым смыслом мое бренное существование. Спасибо вам! Собирайтесь! Мама снова глядит на дорогу...

Мария Михайловна увидела их в дверях сторожки и неторопливо пошла навстречу. Майка ускорила шаг. Подбежала, обняла мать:

— Здравствуй, мамуля! Как ты?

— Здравствуйте, милые! Не волнуйтесь, все хорошо... А Романа мы, наверное, вкрай замучили,— перевела взгляд на заботливо держащего в правой руке набитую продуктами сумку Фреда.— Благо, всему приходит конец, меня выписали.

— Как выписали?

— Мамуля, счастье какое!

— Час назад меня осмотрел Семен Даниилович. Он сказал, что лечение закончено. Сделал кое-какие назначения для дома. Но с больницей, слава богу, кончено.

— Ну что же, в добрый час! Я все-таки схожу на аудиенцию к доктору. А вы покушайте. Мы сварили цыпленка. Майя, ну что же ты? Покорми маму. Здесь вам будет удобно,— Фред подвел их к стоящей в тени раскидистой акации лавочке.— Располагайтесь, я мигом...

Он прошел в приемный покой. Уверенно снял трубку телефона, набрал номер.

— Алло, доцента Гельмана, пожалуйста... Семен Даниилович?.. Здравствуйте... Спортивный мир благодарствует и жаждет встречи... Я внизу. Спасибо.

Гельман не заставил себя ждать и через минуту был уже в вестибюле.

— Здравствуйте, Фред. Вы по поводу Бергман?

— Да, доктор,— ответил он, энергично потрясая протянутую руку.— Только что я узнал приятную новость — состояние моей будущей тещи вне опасении, меня правильно информировали?

— Не совсем так, Фред, присаживайтесь. Дело в том, что в палате, в которой она наблюдалась, создалась нервная обстановка, обусловленная неправильным поведением одной больной. В связи с этим мы вынуждены выписать всех больных этой палаты. Пусть успокоятся. И главное, не внесут смуту в жизнь отделения, а это неминуемо произойдет, если мы их расселим. Депрессия — самый страшный враг лечения. Да и состояние Бергман не внушает никаких опасений сегодня. Наша задача — вселить в нее уверенность в успехе лечения. Мне ее покажете через четыре-шесть месяцев. Без наличия медпоказаний, разумеется. Установка на ближайшее будущее следующая: не менять привычные жизненные ритмы, обстановку и климат. Исключаю солнечные ванны и физическую нагрузку. Я ей все объяснил...

— Какие прогнозы, доктор?

— Прогнозы? Никаких. Хочу обойтись без операции. Сейчас для нее нет показаний, а успех лечения подтвердит время. Количество рентгенов, полученных ею за время лечения, на грани критических... Будем ждать с уверенностью в успехе.

— И все-таки, какие прогнозы?

— Вы слишком настойчивы, Фред. Поверьте, я сказал вам все, что знаю сам. Бергман поздновато к нам поступила со злокачественной опухолью гениталий. На сегодняшний день мы не располагаем возможностью критического определения пределов ни видимых поражений тканей, ни путей проникновения инфекции. Сегодня я со всей ответственностью утверждаю, что опухоль локализована и регрессная. А это уже счастье для вашей будущей тещи. Я твердо убежден в том, что вторичных поражений нет. Но болезнь, друг мой, очень коварна. Насколько мы смогли пресечь ее активность, покажет время.

— Но, доктор...

— Никаких «но». Поймите, Фред, что небольшая колония клеток, отторженных от основной опухоли, часто незаметно уносится и оседает далеко от первичного поражения. Тогда страшно. Не допустить этого — основная задача включен-

ных сегодня иммунных систем ее организма... Больше сказать, к сожалению, ничего не могу.

— Ну что же, спасибо, доктор. Как я понимаю, наша с вами совесть сегодня чиста. И вы, и мы сделали все возможное. И все-таки,— Фред пронзительно посмотрел в спокойные глаза доктора,— она будет жить?

— Безусловно! Но вы невыносимы, Фред! Жаль, что вы не мой коллега.

— Почему?

— Слишком много проблем. Решения, к стыду нашему, еще неоднозначны, и в каждом предполагается альтернатива. Вы неистовы в решении одной проблемы. Ваше упорство, возможно, вознаградилось бы жизненным прозрением в решении глобальных проблем, стоящих перед мировой онкологией. До встречи, мой друг! Я рад знакомству с вами...

По-дружески попрощавшись, доктор направился к лифту.

«Еще бы не рад! Сорвал двести пятьдесят — и ни за что не отвечает,— провожая его недобрым взглядом, подумал Фред.— Везет же людям! Так и бабушка разбогатеет! Ни налогов, ни издержек, ни даже ночных страхов! Стук в дверь и телеграмма из трех слов: «Участковый, опер и понятые». За вами пришли! Как для меня, так этот текст стоит лет пяти. Для него же, в худшем случае, такси в оба конца и хрустящий червонец в кармане за то, что с умным видом пульс нащупает... Красота! Но все равно, жизнь прекрасна... Мечтал ли я, развратник и «деловар», последний из могикан, Фенимор Купер, россомаха преступного мира, о собственной переводчице, которая подарит мне наследника на пятый день пребывания в Юнайтед Стейтс для входа в гражданство. У нас родится маленький, розовенький, может, даже красный, а сразу «американец», не нужно ждать пятилетку. И, кроме всего, она знает язык! Зачем скакать через языковые барьеры и получать урезанную зарплату! В день регистрации брака запрещу русский в своем доме. Инглиш, только инглиш. Не тратьте время — нету сдачи! Деньги текут ис ривер[1], или фор ривер, или фром ривер — все равно как, но рекой, а это главное...»

Со счастливой улыбкой он пересек аллею.

— Дорогие дамы, все в полном порядке! Доктор санкционировал активный отдых с включенными фарами на скоростном шоссе. Задержка за отраслевыми профсоюзами. Думаю, путевка в соматический санаторий маме обеспечена. Прошу в машину. Больничный халат вернется обратным

---

[1] Ривер (*англ.*) — река.

[illegible] Ура!. А если серьезно,— продолжил он, удобно расположившись за рулем «жигуленка»,— Мария Михайловна [illegible] должна отдохнуть для закрепления лечения в одной из местных здравниц, дабы не менять климат. А я, с вашего разрешения, в районе ресторана «Эшера», который находится в далеко не девственной скале между таинственными пещерами Нового Афона и асиендой Сан-Беридзе, с видом на море и Воркуту — зав. производством вышеназванной кормокухни, где меня ожидают удобная комната, цитрусовый сад со стационарным мангалом и собственным горячим источником, «ОФ-1»,[1] что расшифровке не подлежит. Но если Майечка будет меня сопровождать, я откажусь от компрессов и ванн. Майечка, ну пожалуйста! Тем более — «скоро осень, за окнами август». Предчувствую контраргументы и защищаюсь: больничный лист на время отпуска обеспечен! Ну, как?

— Заманчиво...

— В самом деле, почему бы тебе не поехать? Я с прошлого года задолжала тебе поездку на юг.

— Мария Михайловна! Вы золотой человек, я восхищаюсь вами! Вы осчастливите вашего зятя.

— Ну, это вы, Рома, слишком...

— Нет-нет,— запротестовал он,— подумайте сами, мир несправедлив: кому-то — все, а мне — ничего! Одному жена — алмаз, теща — бриллиант в оправе из сплошных добродетелей. Другому — жена-неряха, теща — дочь Кощея Бессмертного. О Господи! Где сходятся пути неисповедимые, уже стоит сержант госавтоинспекции с жезлом в левой руке и компостером в правом кармане. Куды укажет — туды и повернешь! Воспротивишься — просечка в талоне жизненных предупреждений. У меня уже есть одна,— похвастался он.— Жалейте меня! Майечка, ну пожалуйста...

ГЛАВА 12

Исчерпав лимит из трех тщетных попыток примирения с дочерьми, не желающими видеть и слышать некогда любимого отца, доктор решился на отчаянный и бескомпромиссный поступок, прибыв всей семьей в годовщину смерти Женечки на Центральное городское кладбище.

Стояло безветренное тихое утро. Уставшее за лето солнце мерно плыло чуть охлажденным небосводом, сменившим

[1] «ОФ-1» (*жаргон*) — официантка.

бездонную голубизну на крытую едва уловимой сизой дымкой сталь, щедро разливая на своей палитре березовую медь, кленовую бронзу, калиновую гарь, рябиновую кровь и, будто забавляясь, брызгая в леса и рощи, сады и парки горьким этим соцветием, степенно катило красавицу землю в осень.

Легким шелестом встретила их притихшая тополиная аллея, убеленная искрящейся негой бабьего лета,— траурная и тревожная. В суровом, немом параде замерли серебристые ели, скорбно зашелестела вечная спутница горя человеческого — плакучая ива.

— Вот мы и пришли,— открывая калитку массивной решетчатой ограды, проговорил доктор.— Здравствуйте, дорогие мои...

Он подошел к памятнику, смахнул носовым платком пыль с мраморных барельефов родителей, бюста Женечки. Тщательно протер белую в розовых прожилках, роняющую на лету лепестки розу, прижался головой к холодному граниту, прошептал:

— Женечка, прости, если неправ.— И заплакал.

— Папка, любенький, что с тобой? — подбежала к нему Лерка, которая всего минуту назад с затаенным дыханием и чисто детским любопытством рассматривала памятники.— Папочка!

— Не тронь отца,— подошла к ней Ася.— Пойдем по воду. Помнишь, что ты мне обещала?

— А что я сделала? Почему папка плачет? — упиралась Лерка, не желая отойти в сторону.

— Идем, я объясню тебе. Бери лейку,— непререкаемым тоном скомандовала Ася, подталкивая ее к выходу.— Папа плачет, потому что пришел к дедушке и бабушке, понимаешь?

— А где они?

— Они умерли и спят.

— Где спят?

— В земле.

— А когда спят, умирают, да?!

— Нет. Они умерли и лежат в земле.

— А почему они в земле?

— Их закопали.

— Зачем их закопали?

— Так положено. Вот и вода. Подставляй лейку.

— Мамка, а почему папка возле тети плакал?

— Потому что тетя тоже папкина родственница,— смутилась Ася,— и вообще, хватит этих «почему?». Невозможно с тобой. Идем цветы поливать.

Мамка, а тетя и моя родственница, да?

Потом узнаешь! — в сердцах выкрикнула Ася, жалея о том, что повезла дочку на кладбище и сама согласилась на это необдуманное, в угоду мужу, мероприятие.

У памятника тихо плакала Нюра. Рядом, на гранитной скамье, понурив голову, сидел Гельман. Ася подошла. Присела. Тяжело вздохнула. Взяла его за руку. Лерка принялась поливать цветы. Появился певчий из синагоги, благообразный сухонький старичок в талесе и ермолке.

— Вы заказывали амулэ?[1] — склонив набок голову, нараспев спросил он.

— Да, пожалуй,— ответил доктор, вставая и выходя из ограды,— Лера, Асенька, выходите. Нюра! Ну что же ты? Закрывай калитку.

— По ком служить вначале?

— Сегодня годовщина смерти моей жены,— почти шепотом проговорил Гельман, передавая ему поминальник.— За нее просим бога я, Нюра и дети, Дора и Тамара. Потом за родителей,— повысил он голос.— Внесите в поминальник мою жену Асю и дочку Леру, Валерию Семеновну.

— Вы могли и сами вписать их. Дайте мне ручку.

— Да, но я не знаю идиш, к сожалению. Впишите пожалуйста, мою жену Ассоль Леонидовну.

— Ассоль? Красиво! — улыбнулся старик.— Все, можно начинать.

— Одну минуту, подождите,— попросил Гельман, увидев в глубине аллеи дочерей, которые молча приближались, расцеловались с Нюрой, открыли калитку, поставили в цветочные вазы свежие каллы и, не проронив ни слова, вышли из ограды, остановились, отвернулись отчужденно и зло.

Певчий откашлялся. Начал молиться. Вначале на идиш, затем на русском, наконец, прочитал кадыш и замолк. Вопросительно посмотрел на присутствующих и, получив обязательную плату от всех, включая Лерку, которой отец дал три рубля, шепнув: «Отдай дедушке»,— чинно и не спеша удалился.

Над могилой повисла тяжелая, одинаково томящая всех гнетущая тишина. Дора-Тамара прошли к памятнику, прислонились к бюсту матери, прослезились. Доктор и Нюра молчаливо ждали развития событий. Ася в упор посмотрела на девушек и, преодолевая неловкость, тихо заговорила:

— Девочки! Я вместе с вами искренне скорблю о смерти вашей матери. Я, как и вы, когда-то пережила смерть моей

---

[1] Амулэ (*идиш*) — поминальная молитва.

мамы. Умоляю вас — будьте снисходительны. И, в свою очередь, к отцу. Он вас очень любит... и очень страдает. Пожалейте его... Подумайте обо мне, ведь и вы женщины... И о моей... о нашей дочери, вашей сестре. Она ведь ни в чем не виновата, как и я...

— Не виноваты? — резко повернулась Дора, гневным, пронзительным взглядом окидывая всю ее, безпомощную и застывшую.— И он тоже не виноват?! Лгун и лицемер! Теперь он привел вас! Для насмешки... для надругательства над могилой, над прахом нашей матери,— зазвенели в ее голосе слезы.— И вы... вы посмели сюда прийти... Как вы смогли?! Как? Мамочка! — кинулась она к бюсту матери и, обхватив его двумя руками, разрыдалась.

— Уйдите, уходите немедленно! — повернулась к ним Тамара.

— Эх, девчата-девчата,— не поднимая глаз, тихо проговорила Нюра, поправила выбившиеся из-под косынки густые седые пряди волос, тяжело вздохнула, повернулась к ним, взглянула укоризненно и виновато.— Не так мы вас воспитывали, не так... До чего же вы несправедливые! А я-то думала... Все сердце вам отдала. Пойдем, Сенечка...

Втянув голову в плечи, неровной разбитой походкой Гельман вышел на аллею. За ним семенила Нюра. Ася на минуту замешкалась. Повернулась к падчерицам, внимательно посмотрела на них, будто прощаясь и пытаясь запомнить их лица, затем взяла за руку притихшую Лерку и тихо направилась вслед.

— Ну, что ж, бог им судья,— горько заключил доктор.— Прости меня, Ася. Я не знал, что унижу тебя. Прости!

— Ой Семен, Семен... Где я только взялась на твою голову?.. Как все нехорошо получилось...

— Папка, а кто эти тети?

— Не вмешивайся, когда взрослые говорят. Будет тебе! — оборвала ее Нюра.— Сам ты виноват, Сенечка. Больше трепки им задавать нужно было. Где отца боятся — там не блудят. Да что теперь поделаешь? Прав ты, Сенечка, бог им судья.

— Знаете,— оживился Гельман,— сейчас самое время помянуть Женечку по-христиански...

— А что? Как у нас принято, так оно и лучше. У евреев плачут, волосы на себе рвут, а с кладбища приедут да руки омоют — все по домам растекаются. А что вдове бедной да с детками обиженными делать? Хоть в петлю лезь!.. А у нас с кладбища приехали — поминки собирай. Зубы сцепи, а с ухватом к печке беги. Стряпай да о злых языках думай.

[illegible] было... Только поминки справ[illegible] дней минули. А за ними сорок[illegible]. Так от горя бабы в жизнь воз[illegible]ся, и всегда так было, есть и будет! Так что в четыре часа прошу на поминальные... [illegible] вас с Лерунькой [illegible]. Ей кушать пора, да, [illegible]?

— Пора, бабуля,— прижалась к ней Лерка.

— Ну [illegible] останавливай, Сенечка. Мы пешочком пройдем, [illegible] аппетит нагуляем. А вы не опаздывайте.

— Хорошо, Нюра. Я подскочу на работу и в горздрав.

— И я с тобой. Подожду тебя в машине. Вместе домой вернемся, хорошо?

— Правильно, Асенька. Собирайся, Лерушка. Лейку не утеряла?

— Не, бабуля.

— Тогда выходи... помаши папке ручкой!

— Папка, приезжайте скорее. Не опаздывайте.

— Не опоздаем, котеночек! Кушай хорошо...

— Плохо все, да, Гельман? — спросила Ася, когда они отъехали от дома.

— Несладко, Асенька,— в раздумье ответил он.— Но знаешь, у нас говорят: «У житті, як на довгій ниві!» Всего пополам: и дней солнечных, и ночей темных, и трав зеленых, и мурав кошеных. Но верю я в то, что если половина ночей в месяце темные, то вторая половина — лунные и звездные... Наладится все. Девчонки у меня преданные. И Лерочка такой вырастет. Они сами воспитают ее в преданности к тебе.

Сейчас не может быть иначе. Душа у них болит. И нет здесь моей вины, понимаешь? Я же никогда их не обманул, никогда!

— Я все понимаю, Сеня. Не знаю, рассчитаюсь ли за жизнь с тобой? Да и возможно ли это! Не хватит мне одной жизни, родной мой. Но поверь навсегда — и я, и Лерка, мы за тебя жизни отдадим не задумываясь... Как переехали к тебе, гляжусь в зеркало и диву даюсь — глаза у меня стали по-собачьи преданными. Жизнью своей рассчитаюсь за твое самопожертвование ради Лерки...

— Но, Асенька...

— Не говори мне ничего, умоляю. И знай: до последнего вздоха ты будешь во мне, любимый. Умирая, имя твое прошепчу, и оно на губах моих останется по край жизни, по последний вздох. Все, что скажешь, сделаю в любой час и в любое время...

— Спасибо, родная! Сегодня попрошу,— улыбнулся он,— чтоб ты разрешила мне спать в твоей спальне!

— Ни за что! — покраснела она.— Никогда не позволю. Не привыкнешь ко мне до старости глубокой. Когда тебе будет семьдесят, спасибо мне скажешь в день серебряной свадьбы.

— А в ночь двери выломаю.

— Сама открою... Всегда, слышишь?! — Она обняла его за плечи.

— Асюня, я же за рулем!

— С тобой и погибнуть счастье!

— Прости, но у меня нет такого желания... И вообще не хочу ехать на работу!

— А в горздрав?

— Завтра. Сейчас поедем пить кофе у Кагана.

— Ну, прямо как в старой Одессе у Фанкони,— улыбнулась она.

— Как у нас в «Старте», у моего друга детства, директора ресторана. Я тебя с ним познакомлю.

— Согласна...

Несмотря на ранний час, посетителей в ресторане было довольно много, что вполне естественно для города с двухмиллионным населением и трехсоттысячным потоком туристов, жаждущих воочию убедиться в красоте киевских каштанов, ласковости Днепра и доброте хлебосольного народа, с открытой душой встречающего гостей.

Вежливый метрдотель провел их на увитую диким виноградом террасу, предложил уютный столик.

— Мы позавтракаем,— ответил Гельман на вопрос официанта.

— Что именно? — приготовился записывать тот.

— Завтрак для моего возраста, если можно.

— И моей талии,— в тон супругу добавила Ася.

— Тогда овощи, кефир, две икры, одно масло, одно яйцо, сваренное вкрутую, и кофе без сахара,— тоном врача, прописывающего слабительное, продиктовал себе официант.

— Позвольте, почему одно яйцо? — удивился доктор.

— Вам придется его разыграть. Ну и, естественно, попереживать, понервничать, кому из вас оно достанется. За это время сгорят калории, полученные от икры. Масло примирит вас, так как вы им поделитесь. А кофеин убьет жиры, но придаст бодрости.

— Тогда, пожалуй, кофе по-турецки. Сахар также необходим для покрытия энергетических затрат.

— Этого я не учел, извините,— сохраняя крайнюю невозмутимость, ответил официант и пошел выполнять заказ.

— Совершенно выпустил из виду,— смутился доктор,— мы не заказали спиртное.

— Я знала это, но не вмешивалась в мужской разговор.

— Что заказать?

— Конечно, водку. Только она, наверное, смывает горечь с души.

— Я оставлю тебя на минуту и заодно забегу к Кагану.

— Хорошо, милый...

«Это небо послало мне тебя!» — шепнула она ему вслед. Смутилась, покраснела и опустила глаза.

— Вам записка,— подошел к ней официант и положил на стол листок из записной книжки.

— От кого? — недоуменно спросила она, растерянным взглядом окидывая террасу.

— Этого человека здесь нет. Он просил написать ответ.

Ася пробежала глазами бумажку. Судорожно скомкала ее. На миг закрыла глаза.

— Вам плохо? — участливо спросил официант.

— Нет-нет, что вы! — пытаясь овладеть собой, ответила она.— Налейте мне воды.

— Прошу вас... Вы будете писать ответ?

— Да... то есть нет. Передайте, что я согласна.

— Хорошо...

На террасе показались Гельман с Каганом. Ася неловко улыбнулась мужу.

— Что с тобой, дорогая? — спросил он, с тревогой всматриваясь в ее обескровленное лицо.

— Абсолютно ничего. Тебя долго не было, я уже начала волноваться.

— Всему виной я, извините,— вмешался Каган.— Что сделаешь, работа... Сеня, но ты меня не представил даме. Слава богу, что я еврей, а не англичанин.

— Извини, пожалуйста. Прошу: мой друг Зиновий Каган; моя жена Ася.

— Очень приятно! — Каган притронулся губами к протянутой руке.— О! Жэ о'зэ! Вы смелая женщина, с прекрасным вкусом!

— У вас не менее развито обоняние.

— Что при твоей носовой перегородке прямо подразумевается,— не преминул поиздеваться над классическим носом Кагана — а-ля Гобсек — доктор.

— Да, друзья, форма носа у меня, к сожалению, неудачна,— рассмеялся тот,— скорее, даже отвратительна. Фантастически уродливая. Но вспомните Талейрана! На его нос даже я не позавидую. Но скольких графинь де ля Х проводил в спальню Наполеона этот урод через свой будуар! Так-то. Уродство Квазимодо не остановило Эсмеральду, а «красавéц» Канарис обладал самой красивой женщиной третьего рейха. Но, извините меня, я совершенно заболтался и забыл о своих прямых обязанностях... Асенька, прошу вас. Возьмите меня об руку под укоризненный взгляд супруга и пройдемте в кабинет, где нас ожидает легкий завтрак. Прошу вас...

Глядя на обилие холодных закусок на столе, сервированном в уютном банкетном зале, доктор сконфуженно произнес:

— Зиновий, тебе не кажется, что пока мы шли, легкий завтрак трансформировался в тяжелый ужин?

— «Щедрость хозяина — память гостя!» Этот девиз я запомнил еще лед двадцать назад, работая зав. складом диетической столовой. Ну и ко всему я не был на вашей свадьбе. Вас в моих глазах оправдывает только то обстоятельство, что ее вовсе не было. Иначе бы я обиделся. Асенька, вам удобно?

— Да, спасибо!

— Сережа,— обратился он к официанту,— наполните рюмки. Мне коньяк, гостям водку. Впрочем, и мне водку. Спасибо. Идите. Без вызова не входить. Я в главке. Пригласите Фреда.

— Хорошо, Зиновий Исаакович.

— Выполняйте... К стыду, признаюсь, что я никогда не был на гоише [1] поминках. Будем считать их продолжением гражданской панихиды. Слово предоставляется... тьфу ты, не с того начал! Значит так, траурный митинг считаю открытым. Слово предоставляется моему другу и человеку с большой буквы Гельману Семену Даниилович. Прошу!

— Друзья мои! — начал доктор, вставая из-за стола и одергивая пиджак.— Семь лет назад при исполнении служебных обязанностей в горах Тибета погибла мать моих детей, женщина, которой я восхищался долгие годы, та, которую всегда буду помнить и почитать как мать, отца и Нюру — моя жена Женечка. Горячо влюбленная в археологию, она отдала свою жизнь во славу советской науки, и светлая память о ней навсегда сохранится в сердцах род-

[1] «Гоише» *(идиш)* — не еврейских.

[и]ных, близких и товарищей по работе... Спи спокойно, дорогая Женечка,— дрогнул его голос,— пусть тебе земля будет пухом... Предлагаю выпить, не чокаясь... Остатки из рюмок вылить через левое плечо... как Нюра учила...

— А теперь, друзья,— поспешил Каган скрасить неловкость момента,— когда наш стихийно организованный митинг подошел к концу, я предлагаю тост, после которого можно ударить в бокалы, а именно: выпьем за прекрасную даму, украсившую собой этот зал и наше общество, за женщину, чья любовь вернула улыбку и радостный смех блестящему хирургу и человеку, моему другу и брату — Гельману Семену Даниловичу! Выпьем за мать Валерии Семеновны Гельман, готеню [1], я до сих пор не держал ее на руках, выпьем за Асеньку и пожелаем ей счастья в семейной жизни, любви и совета, пожелаем отпраздновать золотую свадьбу торжественней, чем сегодня, но вместе с нами, хай!

— За тебя, дорогая, будь счастлива!

— Спасибо, пейте на здоровье!

В дверь постучали.

— Войдите,— разрешил Каган.

На пороге показался Фред.

— Вы меня вызывали, босс?

— Да, Робик! У меня к тебе просьба. Вызови такси. На пятнадцать часов. Мои гости уедут домой. Ты отгонишь в гараж их машину. Вернешься на такси, понятно?

— Разумеется, босс.

— Выполняй! Да, кажется, вы знакомы?

— Да, босс. Здравствуйте, доктор. Мои подопечные шлют вам наилучшие пожелания и выздоравливают заодно.

— Приятно слышать, Фред, присаживайтесь.

— Если босс разрешит.

— Только на пять минут.

— О'кей! Так за что в этом доме пьют?! За желанную встречу с Сионом? — поинтересовался он, наливая себе коньяк.

— Нет, Ромик, мы пьем за семейное счастье доктора,— резанул Каган.— Налей себе пепси,— забирая у него рюмку,— Охамел совсем или память растерял?

— О, простите, босс! Просто я считал, что за семейное счастье доктора нельзя не выпить. Я счастлив, что узнал вас, Семен Данилович. Обещаю выпить за вас сегодня же. Как только вернусь с задания...

---

[1] Готеню *(идиш)* — Боже мой.

А сейчас, друзья мои, я предлагаю тост, за который нельзя не выпить. Когда-то он звучал так: «За тех, кто в море!», потом — «За тех, кто там!», но среди самых близких он звучит: «Выпьем за священный Израиль!» Выпьем за родину праотцов, выпьем за подлинное счастье тех, кто презрел насмешки, переступил через память и уехал строить великое еврейское государство, у священных стен которого соберутся все, кому дорога нация, память по близким и судьбы детей наших! Выпьем же за то, чтобы скорее и навсегда вечно гонимый и презираемый Жид обрел свободу и родину! Хай!!!

— Браво, босс! — подобострастно откликнулся на его призыв Фред.— Убегаю выполнять задание.

— Тост не совсем понятен,— смутился Гельман.— Ты что, в самом деле так думаешь?

— Конечно, Семен,— обволакивая солью лимонную дольку, проворчал Каган,— и тебе советую. Да-да, настоятельно рекомендую. Знаешь ли ты, чего стоит престижный врач там? Он цены не имеет. Все блага у его ног. Не говоря уже о радости творческого труда. Аппаратура с биркой «Мэйд ин Джапан»[1] доставляется тебе по первому требованию. И никого не интересует, что ты съел на обед и откуда взял деньги на «Волгу».

— А кого это интересует?..

— Ты чудак! Я всегда это утверждал. Мне кажется, что ты вообще с другой планеты. Так почему, если все хорошо, люди едут туда?

— Не знаю. Я не задумывался.

— А ты задумайся. Пока не поздно. Например, для Америки ты уже стар. Они принимают, в основном, молодых и здоровых. Но для Израиля даже глубокий старик, если он еврей,— кровный ребенок. Задумайся, Семен! Представь: клиника Гельмана в Тель-Авиве. Ты, Дора-Тамара, Асенька,— вы тоже врач?

— Я дерматолог.

— Кожник. Это же миллионное дело. Какую пользу от своего труда вы можете получить здесь, где так и не научились лечить псориаз и экзему?

— Излечение от многих болезней — проблема медиков всего мира.

— Но согласитесь! Там лечат за деньги, а не за двести рублей в месяц. В Израиле эти деньги вы получите с одного больного. Чтобы так дешево продавать свои знания, нужно перестать уважать себя. Вы любите свою профессию?

[1] «Мэйд ин Джапан» *(англ.)* — «сделано в Японии».

Безусловно! Нет, пожалуй, врача, который не любит свою профессию, к которой идешь долгие годы. Ее нельзя не любить. Есть ли труд полезней и благородней? Вернуть здоровье, радость, улыбку... Что может быть полезнее нашему обществу? Ну, а насчет продажи знаний, здесь вы совсем не правы: мы не продаем знания, Зиновий Исаакович. Мы отдаем их тем, кто их нам дал. Взамен мы получаем продукты труда наших пациентов, таких же, как мы, людей. Я, как врач, не могу приглашать к себе на прием — к сожалению, это не в театр. Но если возникнет необходимость — милости прошу.

— О, теперь буду знать, где лечат болезни любви. Вы будете их лечить, Асенька.

— Долг врача лечить все, даже болезни человеческой распущенности. Правда, институт, в котором я буду работать, занят другими проблемами.

— Куда вас направляют, если не секрет?

— Конечно, к нам,— целуя руку жене с гордостью ответил Гельман.

— Но это не помешает вам принять дома больного по моей просьбе, Асенька?

— Если мне не изменяет память, в моем доме тебе еще никогда и ни в чем не отказывали. Неужто ты бережешь тылы, Зиновий?

— А что? На то я и мужчина, простите меня, Асенька. Но в разговоре с врачом и адвокатом не лицемерят! Кроме того, мои друзья живут полнокровной жизнью. Как говорится: ни монахов, ни схимников! Ну, а сегодняшние монашки уподобились Магдалине до ее встречи с Христом. Так что никто не гарантирован. Даже страховой полис не дает гарантий. Никаких: горит мамино серебро, а возвращают изделиями марки «нерж», взглянув на которые, мама умерла бы вторично от горя. Фражетовые столовые наборы с глиняными кофейниками в нагрузку. Готенью! Когда уже меня среди здесь не будет?!

— Ты серьезно решил ехать?

— Дорогой Сенечка! Я патриот нации в отличие, не хочу тебя обидеть, от приспособленцев. Пока им хорошо, они кричат: «Во-истину воскрес!» Но как только первое испытание шлепнет их по макушке, бегут ко мне выяснять условия отъезда. И бегут, заметь, не деляги. Бегут врачи, актеры, режиссеры, крупные инженеры, ученые... Все те, кому наконец сказали в лоб: «Жидяра несчастный...» Вот тогда они вспоминают о том, что евреи. Почитайте гонцие Евангелие: четыре евангелиста сто пятьдесят тысяч раз ошибались,

[illegible] жизнь Иисуса Христа, но в одном их мнения однозначны и непререкаемы,— остаток иудейской смоковницы соберется у горы Синай и спасется, даже если будет то, что они делают всю жизнь нам, обещая себе второе пришествие их сына Божьего. Пока не поздно, уезжайте!

— Ты нас гонишь?

— Поверь, Сенечка. Рано или поздно вы будете бежать отсюда, как все нормальные люди. Чем раньше — тем лучше! А посему я предлагаю тост за клинику Гельмана в землях Давида!..

Утром следующего дня Ася получила направление на работу, оформила необходимые документы и впервые переступила порог клиники, где была представлена руководству и новым сослуживцам.

— Мы будем рады работать с вами, коллега,— доброжелательно встретил ее начмед.— Единственная просьба: немедленно получить направление на курсы усовершенствования при институте. У нас здесь своя специфика, как вы понимаете. К работе приступите с четверга. И последнее: у доктора Гельмана прекрасный вкус. Будьте счастливы!

Находясь в стенах института, Ася впервые после переезда ощутила полноту жизни и счастье полнокровного бытия. Но как только за нею закрылись двери центрального входа, чувство страха кинжалом ворвалось в душу и заполонило ее предчувствием новой беды.

К бедам и горю она была подготовлена жизнью давно и прочно... и навсегда, как думалось ей после разрыва с Вадимом. Чистая доброта, ласковость детства и безмятежная солнечная юность вместе с надеждами, дерзаниями и мечтами — все ушло безвозвратно в один миг нелепый...

Родители с младшим братом решили отдохнуть в «Затоке», на Каролине, и отправились туда солнечным летним утром на только что приобретенном автомобиле. Накануне лил дождь, шоссе было мокрым. От них осталась братская могила на кладбище — да горькая память в сердце... Вадим растопил лед в ее душе, только лучше б его и не было. Этот растопленный холод сковал ее намертво от корней волос до пяток, и, если б не Гельман, не Лерка, не жить бы ей на свете...

За институтским порогом Ася в нерешительности остановилась, оглянулась беспомощно, остановила такси:

— В гостиницу «Октябрьская».

— Пожалуйста. Но туда приятнее пройти, чем проехать. Вправо, через фруктовый сад.

— Нет-нет, я тороплюсь.

— Ну, что же, пожалуйста...

Через несколько минут она вошла в тихий холл. Подошла к телефонам. С трудом отыскала в сумочке скомканный листок. Набрала номер.

— Алло, это Ассоль,— прикрыв ладонью микрофон, проговорила она.— Я внизу, в холле... Зачем?.. А впрочем, хорошо. Сейчас поднимусь...

Повесила трубку, испуганно осмотрелась по сторонам и направилась к лифтам. Дверь в семнадцатый номер была приоткрыта.

— Здравствуйте, Ассоль,— поднялся ей навстречу мужчина средних лет с болезненным, одутловатым, не по возрасту иссеченным вертикальными морщинами,—глубокими метками зла и порока, лицом, бесцветными глазами алкоголика, крупным мясистым носом, пересохшими губами и нервно дрожащими неврастеническими руками.— Почему вы не пришли с ребенком, как я просил? — бросил он, обнажая в ухмылке изъеденные никотином зубы.

— Потому что ребенок вас никогда не интересовал. И сейчас вам нужны только деньги, как я понимаю.

— Приятно иметь дело с умным человеком, вернее, с практичной женщиной. Прошу садиться.

— Спасибо, я постою.

— Ну, что ж, как хотите.— Уселся в кресло, закинув ногу за ногу.— На чем мы остановились? Ах, да! Мне нужны деньги?! Да, нужны. И за мою воспитанность тоже: я ж не приперся к вам домой, даже имея адрес, благосклонно подаренный мне вашей соседкой. И за мою ненавязчивость: согласитесь — в последний раз мы общались год назад в нашей милой Одессе. С вас причитается шестьсот рублей за истекшее время, плюс пятнадцать — за вчерашнюю поездку на кладбище. Кстати, горжусь вами! У вас такой красавец муж. Конечно, я и он — две большие разницы. Бог свидетель — я ни на что не претендую.

— Прекратите паясничать,— прервала она, открывая сумочку и выкладывая на стол заранее приготовленный сверток.— Пятнадцати рублей у меня с собой нет. Отдам их через год.

— Ну что же, согласен. Только не пятнадцать, а тридцать. Это естественный прирост. Не забудьте, пожалуйста. Как-никак, а это мое кровное, не будем мелочными.

— Послушайте,— посмотрела она на него в упор, пытаясь выбрать место погаже, но, бросив эту напрасную затею, перевела взгляд на стену и, переборов отвращение,

продолжила; — Сколько вы будете меня мучать? Где, наконец, ваша совесть?

— Совесть? — хохотнул он.— Вы ищите совесть там, где потерян стыд. У меня нет ни того, ни другого. Но, согласитесь, у меня есть сдержанность! Я не бросился ни разу к ребенку ни на Потемкинском бульваре, ни вчера, у кладбищенской колонки. А девочка золотая и единственная у нас с вами! Так неужели такой ребенок не стоит пятидесяти рублей в месяц?! Я понимаю — вы не желаете меня видеть! Предлагаю вариант: плату за десять лет вперед, и я исчезаю навеки. Если я появлюсь, вы плюете мне в глаза. И всем остальным тоже.

— Кто, кроме вас, может ко мне прийти? — спросила она бледнея.

— Моя жена, например, и положение не меняет то обстоятельство, что она уже бывшая. Но если вы рассчитаетесь...

— Умоляю вас, не издевайтесь надо мной. У меня больше нет сил, поверьте,— опустилась она в кресло, в изнеможении уронила голову на грудь,— ни сил, ни возможностей вам платить. Я взываю уже ни к вашей чести, а к справедливости, ведь это же правда! Я вышла замуж, мой муж удочерил Леру. Как я сумею прятать от него деньги? Как?

— Это ваше личное дело. Это ваш гешефтик, Ассоль, вам и выпутываться.

— Боже, как вы жестоки! Боже...

— Это вам только кажется. Дайте мне шесть тысяч, и мы станем самыми близкими друзьями.

— У меня нет такой суммы. Я бы дала, но где мне ее взять, где?

— Не смешите меня, вы жена богатого человека, который, к счастью, почти старик. Пусть платит за любовь, и мы рассчитаемся, если вы не желаете меня видеть. А может, вы заигрываете?!

— Какое хамство! — воскликнула она, но тут же овладела собой.— Поверьте, я не смогу прятать от мужа деньги. Я очень люблю его. Я не хочу, чтобы...

— Охотно верю всему без остатка. Но сумма, назначенная мной, окончательная и обжалованию не подлежит, как приговор Верховного Суда. Вы лишитесь только денег, я же теряю любовь и преданность. Неужели те чувства, которыми вы живете, не стоят такой мизерной суммы?! И, кроме всего прочего, вы — венеролог. Стоит ли грустить по несчастным копейкам, которые согреют мою старость? Да если вы в течение года будете лечить паршивый трип-

нер, то заработаете в три раза большую сумму. У вас впереди триста шестьдесят пять дней, а гонококки убивают за три. Веселее смотрите на жизнь, и за три месяца вы соберете эти копейки. А когда прокрутите этот гешефт, телеграфируйте мне, с разрывом в неделю, чтобы я смог подготовиться.

— Но, послушайте...

— Никаких возражений, дорогая, за любовь нужно платить. Дорого платить! Но это лучше бесплатного чувства, уверяю вас. Всему нужно знать цену. Так что жду телеграмму или приеду через год за очередным взносом. А может, и вовсе откажусь от денег, куплю букет цветов и провожу малышку «первый раз в первый класс»... А теперь до свиданья, Ассоль! Боже, как я влюблен в ваше нежное имя! Вы мне так нравитесь! Еще сильней, чем когда-то...

Ася молча вышла из номера. Спустилась вниз. С трудом преодолела полсотни метров до троллейбусной остановки и разрыдалась.

— Простите, вы нуждаетесь в помощи? — подошел к ней молодой человек в форме летчика гражданской авиации.— Может, я могу быть вам полезным? Я с машиной, подвезти вас?

— Нет-нет, спасибо. Я сама,— сквозь слезы проговорила она, отворачиваясь в сторону.

ГЛАВА 13

Союз двух сердец! Пшеничные колосья, скрепленные серпом и молотом, кроткое сердце невесты в невинной флердоранжевой корзинке, бережно поддерживаемой крепкими, мускулистыми, но нежными, растущими из бодрой сердечномышечной ткани руками жениха в центре и радостная Фемида с мечом в правой руке и сбереженным младенцем в левой, чистое голубое небо над ними — таков проект всемирного герба молодой семьи, предложенный для общенародного обсуждения.

Любовь, труд и ребенок под охраной справедливости и закона. Право на лишенные любых античеловеческих теорий и маразматических концепций светлые чувства, раскованный, свободный труд во имя будущего и дите человеческое, оберегаемое моралью и законом от любого посягательства, прозрачная небесная лазурь, как символ мира и благоденствия — это светлый герб человеческого общества будущего — Общества солнечной справедливости и вечного мира.

Всемирный институт брака своими могучими корнями уходит в глубокое таинство веков, откуда и просматривается семья под умудренным взглядом сегодняшнего старого холостяка, не имеющего больше никакой жизненной возможности заявить о себе звонко, во весь голос и навсегда.

В первую очередь, правом на утверждение: «Это моя жена, и прошу не путать!» — рассеянное человечество обязано возникновению письменности, изобретя каковую оно срочно начало приводить дела в порядок.

И пусть где-то еще не до конца продуманы вопросы создания праздничной атмосферы и на невзрачной двери бюро записей актов гражданского состояния висят потертые объявления:

«Регистрация брака с 12.00 до 14.00»,

«Выдача свидетельств о разводе с 14.00 до 16.00»,

«Свидетельства о смерти выдаются по понедельникам»,

«Новорожденные регистрируются круглый день»,

«Спасибо, что посетили нас!».

— Ничто не омрачит нашего счастья,— воскликнул Виктор Аронович Даль, пропуская внутрь храма молодой семьи не менее счастливую невесту Нину Андреевну Семину, срочно пожелавшую изменить свою фамилию на «Даль», в которую она безмерно рвется всем сердцем.

— Прошу, дорогая, здесь вам будем удобно,— показал он на кресла у окна.— Я пойду за анкетами.

В комнате, куда он проник, молоденькая делопроизводительница встретила его категоричным вопросом:

— Что вы хотите?

— Жениться, естественно,— ответил он, широко улыбаясь и ревностно осматривая регистратора.— Вы не заняты?

— В каком смысле?

— В смысле замужества.

— Спасибо, я уже раз сходила.

— Тогда я вынужден буду жениться на своей невесте. Учтите, я вам не угрожаю, но этот мой опрометчивый шаг лежит целиком и полностью на вашей совести.

— Хватит шутить, товарищ, давайте паспорта.

— Прошу вас.

— Где невеста?

— Там! — кивнул он на дверь.— Если еще не сбежала.

— Пригласите!

— Ниночка, прошу! — позвал он, открывая дверь.

Она вошла, осмотрелась, подошла к столу.

— Садитесь, пожалуйста,— пригласила делопроизводитель.— Вы серьезно решили вступить в брак?

— Конечно! —выкрикнул жених.

— Я спрашиваю невесту.

— За меня ответил муж.

— Жених, вы хотели сказать?

— Невеста отвечает за свои слова,— пришел на помощь Нинке Даль,— можете ей верить. Да, дорогая?

— Не волнуйся, милый,— нежно дотронулась она к его плечу.

— Вы впервые вступаете в брак?

— Разумеется.

— Почему вы решили зарегистрировать его у нас, а не во Дворце бракосочетания? Там гораздо торжественнее.

— Мы решили пожениться инкогнито и отпраздновать медовый месяц в путешествии по Европе. На свадьбу не хватает сбережений,— объяснил Даль.— Кстати, выдайте нам талоны в салон молодоженов для приобретения пляжных бикини, а также в ювелирторг, где мы хотим обзавестись оковами любви со скидкой. Моя жена не хуже других, как вы успели заметить, не так ли?!

— Даже лучше! С вас один рубль восемьдесят копеек: тридцать копеек на анкету, остальные за свидетельство о браке.

— Боже, как дешево! — возмутилась Нинка.— Наш брак не стоит и двух рублей.

— Они удивительно дальнозоркие,— шепнул ей в холле жених, заполняя анкеты.

— Регистрация брака назначается через два месяца,— заключила делопроизводитель, просмотрев анкеты.

— Нельзя ли пораньше? Так сказать, в виде исключения? — спросил жених, вынимая портмоне.

— Из этого правила нет исключений. Лучше лишний раз подумать. Взвесить все «за» и «против», чтобы не раскаяться в будущем.

— Да, но у нас маленький нюанс, так сказать. Мы уже все обдумали. Прочтите, пожалуйста,— положил он на стол справку за подписью доцента Гельмана, из которой следовало, что гражданка Семина обследована по поводу раннего токсикоза беременности, в связи с чем ей назначено лечение.— Как видите, мы все решили и обдумали. Я не хочу, чтобы наш ребенок мучался еще до рождения вопросом, будет ли у него отец. Согласитесь — он же не никуба-торный.

— Ну что же, подождите минутку. Я доложу заведующей...

— Кажется, еще до ночи вы будете моей, сударыня,— шепнул жених, не примиглядя вслед делопроизводителю, шепнул жених, не примивув щекотнуть носом суперароматное ушко невесты.

— Не здесь, дорогой, хорошо? — отстранилась она.— И никогда, поверь, и не рви сердце. Ты же умница?

— Конечно,— согласился он.— Настолько, чтобы не поверить. Впрочем, я шучу. Но если верить классикам, то...

Это жизнь, потом или сейчас
Ты обязана себя отдать,
Это будет с каждою из вас!..

И, принципиально не замечая холодных молний в ее глазах продолжил:

...Милая, ну что же ты молчишь?
Почему не поднимаешь глаз?
Ты ведь хочешь, ты же вся дрожишь...

— Ну, скоро вы уже, голубки? — просунул голову в дверь кабинета Каган.

— Земик, иди скорее! Он невыносим,— встрепенулась невеста.

— Что случилось?

— Зема, его одолели сомнения: распишут, не распишут. Принеси ему пару ромашек. Пусть погадает и успокоится.

— Не нужно нервничать, хавер [1],— Каган участливо погладил буйную голову жениха.— Справка железная и на фирменном бланке.

В кабинет вошла делопроизводитель.

— Ваш вопрос решен,— объяснила она, пробираясь к столу меж гигантских фикусов, обязательных и безмолвных сотрудников бюро.— На когда вам назначить?

— Немедленно! — в один голос воскликнула вся троица.

— Свидетели у вас есть?

— Конечно! — ответил Каган.— Я опекун невесты, а свидетель жениха караулит машину.

— Как вы невесту,— уточнил жених.

— Пригласите второго свидетеля...

Через несколько минут посвящение в брак было достойно завершено заведующей загса, призвавшей молодоженов в заключение торжественной процедуры поздравить друг друга.

— Любимый, поздравляю тебя! — проворковала молодая.

— Мы будем счастливы, верь мне! — трагедийно удостоверил молодой.— Нервных попрошу отвернуться,— выска-

[1] Хавер (идиш) — друг.

зал он свою последнюю просьбу и под укоризненный взгляд ревнивого свидетеля запечатлел свинцовый засос на трепетных кораллах Нинкиных губ.

— Ну, паскуда! — прошептал Каган, улыбаясь заведующей.

— Подвезите меня домой,— заявила Нинка, едва они сели в машину.— Я устала от семейной жизни.

— Да-да, отдохни. Я буду через час,— согласился Каган.— К одиннадцати стекаемся в банкетный зал и празднуем свадьбу с коллективом. Прошу вас быть достойными учениками вечной школы Станиславского и Немировича-Данченко. Как я успел заметить, Виктор уже в роли. По нем давно плачет Большой театр. Нет-нет, я не упрекаю,— но поцелуй мог быть более театрализованным и менее жизненным.

— Дядя! Я же без тренировки,— попытался оправдаться новобрачный,— к тому же, я играл перед критически настроенным зрителем. Как мне кажется, я заработал аплодисменты, поэтому попрошу приготовить мне пижаму и полиэтиленовое ведро, так как согласно договора с шести до половины седьмого я усердно таскаю мусор из квартиры моей жены под осуждающими взглядами соседей-актеров, которые в силу своего интеллекта заставляют заниматься грязной работой безразличных к заслуженным званиям жен. Ниночка, твои родители были актерами?

— Нет, они были спортсменами. Просто одна балерина входила в брак, когда моя мама выходила из этого тупика. Нам с ней по обменному ордеру досталась квартира девочки из кордебалета. Она же стала моей мачехой. Больше я с ними не виделась. А мама погибла на гастролях, в цирке. Она была воздушной гимнасткой. Это случилось в шестьдесят третьем.

— Таким образом, никто и ничто не омрачит нашего счастья!

— Зяблик! — скрежетнул зубами Каган.— Кажется, я тебя удавлю.

— О дядя! Вы невыносимы и кроме всего неграмотны. Отелло всех времен душили Дездемону. Прошу не путать и помнить вечные строки: «Вы на ночь мыли ноги, Дездемона?»

— Зема, он невыносим! — взмолилась молодая.

— Условиями договора не регламентировано мое молчание. Если хотите, чтоб я онемел... две тысячи рублей,— сторговал он внутренние разлады.

— После поговорим, вымогатель,— осквернился Каган.— Останови, Нина выйдет.

— Приезжай скорее,— нежно взглянула она на опекуна.— Мусор я приготовлю, зяблик, не сомневайся. Пижаму тоже. Адье! Да! Ко мне подъедешь в половине одиннадцатого. В квартиру не входить!

— Почему я не имею права войти к тебе?

— Еще успеешь надоесть,— под одобряющий взгляд ревнивца свидетеля ответила она, с силой захлопывая дверцу автомобиля.

— Вот-вот! Не успела стать женой, как начала грубить и ломать недвижимость. Но я знал и раньше, что такое семейная жизнь. Куда ехать, дядя? — повернулся Даль к Кагану, развалившемуся на заднем сиденьи, в отличие от Вайнера, угрюмо вколотившегося в угол и накрепко придавленного непосильными хлопотами и невзгодами последних дней.

— Мы с Борисом Аркадьевичем заедем на часок ко мне, а ты отдохни, прими ванну и приготовься к свадьбе. Как-никак, а для всех сегодня твой день. Хоть праздник я делю с вами поровну. В отличие от отошедшего в мир коммерции твоего мудрого шефа... Вайнер! О чем вы думаете? Если я вас опекаю, так это не значит, что вы должны умно молчать. Ну!

— Извините, друзья мои. Но, глядя на сегодняшнее хупэ, я подумал о том, что однажды и мой Додик, мой единственный Додик, без благословения папы вот так же женится и уйдет из дому. И еще неизвестно, в какие руки он попадет и что с ним будет.

— Нашли, о чем думать! — перебил его новобрачный.— У вас, по-моему, на сегодняшний день другие заботы? Вы поделились с Зиновием Исааковичем вчерашней радостью?

— Как это, как это! Нет, еще не успел. Так голова забита...

— А в чем дело?

— Борис Аркадьевич получил мехово-синтетический привет из ХИАЗа — две шубки под разводную мерлушку. Это тоже рублей восемьсот подъемных для переезда с Дальнего Востока на Ближний.

— Поздравляю,— хлопнул в ладоши Каган.— Еще несколько дней — и первую Голланскую высотку вы оккупируете. Сегодня обязательно отметим вашу удачу.

— Мне немножко неудобно, но я хочу спросить, можно прийти на торжество с Цилей? Она с ума сойдет, если я пойду на свадьбу один.

— Конечно,— расхохотался новобрачный.— Циля, да еще сумасшедшая! Нет — это не для вашей печени. Ко мне на свадьбу можете прийти даже с Додиком. Я приглашаю.

— Тем более, что за стол плачу я, — не скрывая сожаления, добавил Каган.

— Не [illegible], [illegible] тот, кто покупает, даже если [illegible]. И вообще бизнес ваш, я же только подручный, не больше. Зная вас, я уверен: вы не прогадаете. Глядя на конечную цель, я оправдываю любые затраты и капиталовложения...

Сумасшедшее время! Все хотят быть богатыми до не[illegible]. Мой папа, мои дорогие, делал все наоборот: он хотел быть бедным, и если бы вовремя не умер, мы б с мамой сдохли с голода. Наша мать по тем временам была дочерью большого человека. Мой дед служил техноруком в [illegible] артели. И если в городе было два автомобиля, то один возил начальника финотдела, а второй — моего деда. Раз в день старик приносил в дом свежую индейку и чемодан денег,— жизнь его ласкала и щекотала под мышками, но, было дело, дважды стукнула по башке: первый раз — в мамино замужество, а второй — в девальвацию...

Папа был творцом лошадиного хобби. Он слыл игроком с большой буквы. Умирая, дед говорил: «Роник! Оставить мою Бетю без денег — невозможно! Нужно родиться гением!»

На нашем ипподроме не было жокея, который при виде папы не снимал шапку, и не было лошади, не ржавшей при его появлении. За четыре года после смерти деда он спустил все, что мама выделила на его шалости, и однажды, вернувшись с игры, папа не обнаружил на столе ни крошки хлеба, а в графине — ни капли для юмора.

«Где еда, хайес?» [1] — спросил он маму.

«Ты скормил ее ипподромовским лошадям»,— ответила мама, крепко ухватив правой рукой пятнадцатилетнего Фиму, а левой прижимая к груди меня, тогда еще несмышленыша.

«Фима, дети мои! Никогда не верьте лошадям и женщинам. Они одинаково ржут и скачут всегда не туда!..» — резюмировал папа.

И ушел... Навсегда. Правда, через пару недель он забежал за вещами и здесь, наконец, поимел счастье: в ожидании мамы он прилег на диван, уснул и больше не проснулся. Обширный инфаркт...

«На весь диван!» — шутила мама после похорон, устроенных [illegible] по [illegible], потому что деньги были — папа оказался прав... Но мы приехали. Мсье! Приходите вовремя. Моло-

---

[1] [illegible] (идиш) — счастье.

жены могут обидеться, а это скажется на их потомстве. И не вздумайте преподнести пустой конверт. Станется, что мы не окупим затраты за мою поруганную честь.

— Не станется, зяблик, не нервничай. Будь чистым на руку... сын игрока с большого подъезда,— сквозь зубы процедил Каган и смачно плюнул вслед удаляющемуся автомобилю.

Поднявшись к себе, он пригласил Вайнера в кухню, куда через несколько минут принес объемистый целлофановый пакет.

— Вы извините, что не приглашаю вас в гостиную, но, сами понимаете, жена, дети — они только мешают делам. Старики говорят, что чем меньше она знает, тем меньше сможет рассказать любовнику или гражданину прокурору при случае... Прошу вас осмотреть товар,— предложил он, вынимая из пакета низки кораллов и раскладывая их на кухонном столе, как на лотке коробейника.— Вот эти,— показал на самые крупные,— стоят три тысячи, остальные подешевле. «Кукурузка» — по шестьсот.

— Это на пломбы,— проявил свою осведомленность Вайнер.— Ну и дупло, я вам скажу, нужно иметь для такой пломбы! Может, они лошадям зубы пломбируют? Я слышал, там они с жиру бесятся...

— Что вы, Борис Аркадьевич! Стоматологи их мелют в муку, а затем уже пломбируют зубы.

— Как это, как это! Так они же уходят в пыль! Кто мне заплатит за пыль?

— Никто, естественно. Поэтому «кукурузка» и стоит двести долларов, а вот эти — один к одному.

— Да, но и здесь,— он взял самые крупные,— один бочонок большой, остальные поменьше, как в матрешке.

— Молодцом! Вы очень догадливы, но кораллы такого размера, как этот бочонок, стоят пять тысяч за килограмм.

— Ужас какой!

— В Италии, друг мой, они стоят также пять тысяч.

У Вайнера перехватило дух. В неистовом порыве прижал он к груди кораллы, подбежал к окну, пронзил их огненным взглядом, от чего в тех загорелись еще более жадные кроваво-красные языки адского пламени, и застыл на месте, закрыв глаза, бессмысленно улыбаясь и шевеля пересохшими губами.

Каган неслышно исчез и через мгновение появился с туго перетянутым бечевкой бумажным пакетом.

— Вот,— елейным шепотом протянул он,— отрываю от сердца. Два килограмма экстракласса. Прима!

[illegible] Вайнера хватило лишь на секунду, в следую[illegible] уже схватил кухонный нож, дрожащей рукой перерезал веревку, запустил внутрь руку и вынул несколько одинаковых по форме камней цвета пьяной вишни.

— Господи, сколько здесь? Два кила, вы сказали? Беру. Я беру. Вы слышите? Я их купил!

— Согласен, друг мой. Но для этого их нужно взвесить. Или вы верите мне на слово?

— Как это, как это? Вам не верить?! Это преступление, вам не верить! Я вам верю. Еще как! Хорошенькое дело. Да я...

— Стоп, Вайнер! Будьте, наконец, деловым человеком. И не забывайте никогда, что гешефт есть гешефт! — поучал незадачливого коммерсанта Каган, доставая из пенала аптечные весы повышенной точности...

— Я же говорил, что не нужно взвешивать,— промурлыкал Вайнер, собирая богатство в пакет.

— Лишний раз убедиться в человеческой порядочности всегда приятно. Давайте деньги.

— Какие могут быть разговоры! Конечно, вот,— Вынул он тугой пакет, завернутый в носовой платок.— Здесь семь шестьсот. Семьдесят шесть по сто. Остальные дома... Пересчитайте.

— Зачем? — равнодушно спросил Каган.— Я сосчитаю, когда будут все.

— Зиновий Исаакович, умоляю,— вскричал он.— Едемте ко мне домой, всего на минутку! Возьмите их с собой, я не подведу, боже!

— Успокойтесь, мой друг. Я же вас опекаю. Я согласен.

— Почему вы их не берете? Вот деньги.

— Берите вы, а деньги отдадите дома. Пошли...

Пропустив вперед ошалелого от счастья переселенца, прижавшего к груди, как долгожданного младенца, бумажный пакет со штампом «Укргастрономторг» стоимостью в десять тысяч, Каган вышел из дома...

— Циля! Цилечка! — обняв жену, пропел Вайнер после ухода гостя.— Мы очень богатые люди. Один к одному! Десять тысяч долларов! Два кила кровавой бочки! Цилечка, вот! — высыпая на стол содержимое пакета, перешел на дискантики осчастливленный директор салона красоты и моды.— Полюбуйся!

— Что это за бусы? — разочарованно произнесла супруга.

— Ой, что ты понимаешь? Какие бусы! Кораллы! Пять тысяч — кило! Десять тысяч долларов. Газвагина, дача, прицеп! Лодка и черт знает что еще,— неистовствовал он.

— Не газвагина, а фольксваген, папа,— донесся из соседней комнаты голос «Надежды Израиля».— А в газвагине немцы дедушку задушили.

— Боже мой,— запричитала Циля.— Если бы моя бедная мама встала из гроба и посмотрела, на что этот идиот потратил десять тысяч, она бы умерла не от старости, а от инсульта.

— Я идиет?! — вскипел Вайнер.— Да, я идиет. Если б я был умным, так твоя мама одела бы тахрыхим [1] от механической травмы, она б умерла сладкой смертью под грузовиком с сахаром, она бы утонула от судороги на детском пляже, когда я, жертвуя собой, подал ей ногу.

— А руку ты ей подать не мог?

— Как же я мог подать ей руку, если я держал тебя, чтобы ты не попала в яму. Скажи еще спасибо, что так обошлось. Мы могли отправиться на дно вдвоем. Смерть в обнимку с твоей мамой! Этого еще не хватало! Что я — идиет?

— А ты сомневаешься!? Откуда известно, что эти паршивые бусы столько стоят? Да отъедь от города на сто километров, у любой бабки в хате под соломенной крышей ты за десятку купишь десять низок. Понимаешь?

— Понимаю! Тебе нужно, чтобы я уехал искать соломенную крышу! Чтоб меня не стало! Чтоб он мог приходить сюда, в мою ванну...

— Почему в ванну?

— А что, в мою постель ты его пускаешь немытым?

— А что с тебя толку, если ты даже чистенький?

— Циля! — вскочил он на ноги, наливаясь коралловой спелостью.— Не смей унижать... Не смей унижать мое... это вот... В общем...

— В общем, постыдись ребенка и прими элениум. Ты стал вообще ненормальный. Успокойся, хватит! Контуженный... Докажи мне лучше, что вот эти намыста стоят денег!

— Доказать? Пожалуйста! — ухмыльнулся он, вмиг перерождаясь в коммерсанта и переселенца.— Сейчас я тебе сделаю одно, как ты говоришь, намысто, и пойдем на свадьбу.

— На какую еще свадьбу? Нет, он таки да свихнулся!..

— Да, я свихнулся еще тогда, когда узнал вашу семью, но доказательство ты получишь сегодня ночью.

— Что? Додик, сыночка, иди к маме. Он начал угрожать...

---

[1] Тахрыхим (*идиш*) — саван.

— Мамочка, ну дай ему высказаться. Ты же его оглушила. Папа, говори!

— Я и говорю, что в одиннадцать ночи нас ждут в ресторане. Витя Даль женится.

— Почему так поздно? ,

— Какое поздно? Ему только тридцать.

— Я спрашиваю, почему ночью?

— Все культурные люди празднуют ночью. Понимаешь, меньше глаз и вообще...

— И вообще, пойди часик поспи. Тебе нужно отдохнуть. На тебе уже лица нет. Не сердись. На такое сердце, как у твоей Цилечки, любой может позавидовать. Оно,— взглянула она на вздымавшуюся на легких сердечных волнах в воздушных парусах батистовой блузы сочную грудь,— оно умеет любить. И выдерживает только одного моего глупенького котенка, Борика,— Циля приблизилась к нему вплотную.— Борика, понимаешь? Только тебя! Иди спать. Ты уже совсем распустился, слава богу. Быстренько...

К двадцати трем часам музыканты ресторанного оркестра в срочном порядке передислоцировались в Голубой банкетный зал, заставленный в форме буквы «П» столами, сервированными на добрую сотню гостей, со вкусом и щедростью, как и подобает свадебному застолью. Обилие цветов, удачно вписанных в интерьер, и гастрономический натюрморт стола создавали атмосферу праздничную и торжественную. Восемь лучших официантов и столько же стажеров бесшумно сновали вдоль и поперек трассой кухня — лифт — зал под неусыпным опытным взглядом босса, дающего последние наставления оркестрантам.

— Ребятки, внимание! — поднял он левую руку.— Каждую пару встречаем маршем. Играем, пока они преодолеют пространство между входом и новобрачными, ожидающими подарки в центре зала. Музыка прекращается. Гости поздравляют молодоженов и метр провожает их к столу. Ляля! Ты возле меня. Номерация от центра к периферии. Я командую. Усадила пару, возвращаешься ко мне. Ясно?

— Ясно, Зиновий Исаакович! — ответила метрдотель, знойная блондинка в строгой черной тройке.

— А вам? — повернулся он к музыкантам.

— Ясно, босс. Но что играть? — спросил руководитель ансамбля бас-гитарист Руднев, законченная одаренность с верхним образованием.

— Все, кроме марша конной милиции.

— Можно «Здравствуй, город»?
— Какой город?
— Ну помните: «Холодок бежит за ворот...»?
— Нет, не пойдет,— возмутился босс.— Холодок бежит за ворот! Что, ОБХСС на пороге? Не пойдет. Давайте лучше это: трам-там-там, та-та-там-тарам. Поняли?
— Поняли,— хором ответили музыканты.
— Прекрасно! Так... молодожены, подойдите ко мне.
Нинка в вихревом посылочном платье «Невеста», сбежавшем с цветастого «Неккермана», и новобрачный в велюровой цвета сочное маренго тройке, содранной со спортивной знаменитости в обмен на право посещения салона «Слезинка» женой футболиста до конца года, включая предновогодний вечер, грациозно подошли к боссу. Он окинул их придирчивым взглядом, улыбнулся и предложил молодой взять мужа под руку.
— Вот так, дорогая, прекрасно! Вы встречаете гостей в центре зала. Конверты с подарками Виктор кладет в карман пиджака, а по мере наполнения — в брючки.
— Что я с этого буду иметь, дядя?
— Заплачу, как кассиру, по тарифной ставке. Заявление подашь главбуху, понял, зяблик? Идем дальше. По моей команде вы исчезаете после встречи всех запланированных гостей. Появляетесь под «Пусть всегда буду Я!». Плывете к своим местам. На дистанции не барахтаться! Садитесь в центре. Я поднимаю бокал. На призывы «Горько!» зяблик слегка касается губками твоей щечки и, как подобает думающему о потомстве производителю, не пьет ни капли.
— Это еще почему?
— Я не хочу с тобой ругаться, зяблик, понял? Пьяный творец мне не нужен, а трезвых я ненавижу,— прекратила дальнейшие вопросы Нинка.
— Браво, Нинель, умница! — поддержал босс.— Я продолжаю: конвертики зашлете мне в первом перерыве. Чтоб я был спокоен. Кажется, все.
— Еще секундочку. Земик, я тебе нравлюсь сегодня?
— Утром скажу. Будь умницей. Сделай так, чтобы «наша жена» была довольна,— сказал он и пошел вдоль столов с последней инспекторской проверкой.
Оркестр грянул марш. Спектакль успешно начался, продолжаясь с короткими перерывами до первых солнечных бликов, разукрасивших хладной бронзой веселые окна, закончился бурной овацией оставшихся на ногах гостей, которые, будучи покорены актерским мастерством и совершенством исполнителей этой грандиозной мистерии-буфф

и не осознавая до конца своей жалкой роли статистов, никак не желали покинуть великосветскую сцену.

Фред к четвертому часу, став душой общества, не преминул станцевать танго с женой Вайнера, для чего испросил разрешения у Маньки, занятой беседой с подругой.

— Манечка,— шепнул он ей на ушко,— я потанцую вон с тем бюстом в панбархатной гардине?!

— В какой еще гардине, Ромка? — не поняла она.

— Ну вон с тем коралловым рифом, увенчанным бронзовым шиньоном.

— Не бронзовым, а каштановым. Пожалуйста, если это скрасит твою жизнь.

Небрежным бродвейским шагом Фред пересек зал и пригласил растаявшую Цилю на танец, каковой он с ней и исполнил, закрыв глаза и предавшись заслуженному отдыху от шумных битов и фрейлехсов на нежном и теплом плече.

— Вы прекрасно танцуете! — щебетнул он ей на прощанье.— И ко всему, у вас любящий муж.

— Откуда вы знаете? — наполняясь благодарностью к партнеру, проворковала Циля.

— Только любящий муж, мадам,— сжал он ее предплечье,— может подарить супруге, по моей скромной оценке, три тысячи в одном ожерелье.

— О-о-о! — успела выдохнуть Циля, но Фред уже скрылся из виду.— Борик! Борик! Иди сюда,— томно позвала она мужа, занятого деловой беседой с Каганом,— Боренька, присядь рядом.

— Что случилось, дорогая? Ты хочешь домой? — участливо спросил он.

— Ни за что! Шампанского! — провозгласила она.— Выпей со мной, любимый.

Услужливый официант вмиг наполнил бокалы.

— Борик! Как я люблю тебя, милый. Ты такая умница! — шепнула она, передавая беседу с Фредом.

Вайнер по-своему отметил прозрение супруги и успел за полчаса нализаться так, как не пивал с того злополучного дня, когда, впервые в жизни став руководителем, закусывал сырую водку пахнущей паленой соломой подчеревиной, после чего прочувствовал печень. Затем, по мере раздвоения кадров на непомерно широком экране зрительного зала, неверной походкой проследовал в туалет, где вынужден был принять успокоительное в виде указательного и среднего пальцев правой руки, сложенных «ложечкой» и просунутых далеко в глотку, в поисках давно вылущенных миндалин. После чего он еще несколько ответственных минут разгова-

ривал с унитазом на местные темы, а равно на предмет поиска своей бесчувственной супруги, едва успевая втискивать между позывами фразу: «Цилечка! Кто же мне держит голову?»

Глядя на приходящего в себя шефа, усиленно втягивающего ртом синюшную мглу ночи и хватающего банальные алкогольные дрожаки по ходу оздоровительной процедуры, совершающий с Каганом утренний променад новобрачный воскликнул:

— Посмотрите, дядя! Вот что значит: «В здоровом теле — здоровый дух!» Можно подумать, что не я, а он женился. Так хочет девочку, что весь дрожит. Хиппует, плесень!

— Что с вами, друг мой? — озаботился Каган.

— Как это, кто это, что со мной? Со мной все хорошо! Но сытый голодному не верит. Каган! У меня пустой желудок!

Рюмка водки, лимонная долька с солью и две ложки зернистой икры вернули Вайнера к жизни настолько прочно, что к пяти часам утра встревоженный повар впервые в ресторанной практике жарил увесистый кусок осетрины, перепутав муку с панировочными сухарями.

Проводив домой утомленную супругу, Каган получил помадно-ласковый поцелуй и срочно отправился в ресторан «командовать наведением порядка после банкета в связи с приездом утренней комиссии», для чего проследовал на третий этаж дома артистов в квартиру молодоженов, из которой сосредоточенный, облаченный в сатиновую пижаму новобрачный вытаскивал шестое ведро мусора к мусоросборнику, отстоящему от подъезда на семьдесят метров, под недремлющим оком Нинки, не пожелавшей снять прозрачную фату до прихода мучающегося неосознанными сомнениями возлюбленного.

— Ты свободен, пижам, то есть пижон,— презрительно протянул Каган.— До встречи завтра, в это же время. Да, кстати. Держи шестьдесят рублей: ставка кормящей матери в кассирном варианте при двухчасовом рабочем дне. Благодарю! Ты неплохо справился со своими обязанностями.

— Сорок рублей прошу набавить,— разбудил Даль в себе наглость, которая, возможно, никогда не засыпала, и деловую, вечно бодрствующую хватку.

— За что?

— Плата за спецпитание. Я работаю на пыльной работе.

— Тогда ты будешь мыть полы, зяблик,— заявила Нинка.

— Насчет пола вопрос остается открытым,— крикнул он из передней.— Может, и соглашусь. Подумаю. Чава!

6*

— Зяблик! Это тебе,— подошел к нему Каган с бумажным пакетом в руках.

— Что здесь?

— Свадебный подарок холостяку: виски, джин, тоник и последний номер «Плейбой»[1] с девочками. Не грусти и ни в чем себе не отказывай,— расхохотался он, помогая восхищенной Нинке лишиться прозрачной, как раннее утро, фаты.

ГЛАВА 14

Поместив мать в пригородный санаторий и убедившись в ее отличном здравии, Майка согласилась с предложением Фреда отдохнуть от дел насущных на черноморском побережье в течение одной, в крайнем случае — двух недель бархатного сезона, для чего в срочном порядке приобрела несколько пляжных ансамблей, вьетнамки, широкополую соломенную шляпу и волшебное средство от комаров известной фирмы «Алтай».

Правда, впоследствии она так и не сумела посетить таежный Алтай, чтобы убедиться в правдивости рекламки, гарантирующей комариную ненависть и связанную с этим сохранность кожных покровов, умасленных защитной жидкостью, но в любви и преданности нежному запаху фирменной вижетали комариных туч Черноморья она убедилась вполне, воочию и навсегда. Причем комариные иглы вонзались только в заранее обработанные «Алтаем» места, пренебрегая и брезгуя неподготовленными к столь чувствительному общению участками тела, и вызывали всякий раз зуд и прочие негативные реакции, вплоть до шлепков и вонзания собственных ногтей в свежие волдыри.

Перед отъездом они снова посетили доктора, встретив его у священных врат клиники. В двух словах, легко и непринужденно директор спортбара обрисовал ситуацию, заключив свой монолог презентованием Гельману нового немецкого конверта, в который идеально вписалась зеленая пятидесятирублевка в развернутом виде.

— Пройдемте со мной, Майечка,— мягко пригласил ее доктор в консультативную поликлинику.— Через десяток минут зайдите в седьмой кабинет...

И пока медсестра Лиля оформляла в регистратуре историю болезни, он бодро выяснил анемнез и создал заключение, из которого следовало, что больная Бергман Майя Вла-

---

[1] «Плейбой» *(англ.)* — «Повеса» — журнал для мужчин США.

[illegible] трех с половиной лет, [illegible]
[illegible] гормонального аппарата, [illegible] сопутствующими функци[illegible] более того, сопутствующими функци[illegible] расстр[illegible]ствами. Для немедленного излечения [illegible] писал инъекции «фибс», «алоэ», витаминов В, В, В, [illegible] прессы и прогревания.

На время лечения доктор настаивательно [illegible] морские ванны, отдых на сырой земле и прочие шалости, вызывающие излишний приток крови и ее застой в гениталиях.

— Вам все понятно? — строго взглянул он на вконец сконфуженную пациентку.

— Да, доктор, но я еще не замужем,— замялась она,— со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами...

— Ну, что же,— нисколько не смутился он,— лечение от этого только выиграет. За листком нетрудоспособности придете, когда выздоровеете окончательно. Сегодня я еще не могу сказать, как долго вы будете страдать этим недугом. Все зависит от вас. До свидания. Счастливо подлечиться!

— Спасибо,— поблагодарила она, с недобрым чувством покидая консультативный кабинет...

— Авантюра это, Роман,— сказала Майя Фреду, садясь в машину.— На работе будет стыдно в глаза людям смотреть. И зачем я только согласилась?..

Но Фред мигом развеял ее сомнения, создав праздничное настроение подготовки к встрече с югом, морем и зеленым Кавказским хребтом, переживающим пору экзотического расцвета и обновления.

— Герл! — вскричал он.— Вас ждет море песен, пейзажей и профилей ресторанных танцовщиц. Варьете сочинского «Цыганского табора» поет для вас «Чай о Рио», кричит: «Ромале!» и танцует «Курдские вихри» на персидском ковре, купленном еще у Алеши Демитровича, в день его отъезда из Большого Каретного переулка.

Заснеженная Нани Брегвадзе истомилась в ожидании желанной встречи. Но если женщина просит, даже небо не сможет ей отказать!

Директор Большого Ахуна бессменно стоит на смотровой площадке центральной башни с биноклем в руках, предвкушая радостную встречу, невзирая на то, что он потомок Великого Моурави, хоть я ему и не верю. Фотографы-профессионалы на Рице торжественно чистят аннасигматовские объективы повидавших жизнь «кодаков» и «фотокорров» с птичкой за шторкой затворов.

И даже мой друг. Важа Гогия, абхаз по рождению, шеф-повар по национальности, приготовил битые серебряные шампуры и ждет — не дождется, когда вы посетите вверенный ему «Феникс» и отведаете цыпленка на вертеле с чесночным соусом. В пацхе, примостившейся против «Эшера», на почти отвесном склоне абхазской горки, стынет мамалыга, слезится сулугуни и блеет прокопченный баран...

А Черное море, герл!.. Во-первых, оно не черное. Черным оно было, наверное, однажды за все существование, когда наши предки перешли его вброд, спасаясь от греческих колесниц. Сами понимаете — море евреев в море воды, и ни одного мытого! Неизвестно, чего было больше?! Сорок лет без баньки — это что-нибудь да значит. Говорят, после этого омовения оно сорок дней очищалось, как библейская роженица, и окрасилось наконец в свой единственный и неповторимый бледно-голубовато-лазурно-аквамариново-бирюзовый цвет с серебряными барашками на гребнях свободных от рабства волн.

О герл! И наконец я, вцепившись с присущей мне одному страстью и нетерпеливостью в золотую холку зари, на взмыленной спине нашей «коломбины» сливаюсь воедино с ветром и скачу хрустальным галопом навстречу солнцу, счастью и девственному снегу на знаменитой, отвоеванной у бога вершине Казбеги.

Вираж, вираж, язык длинней, чем тещин.
И солнцем светится Крестовый перевал...

Двадцать минут на сборы. Мы приехали,— облегченно вздохнул он, втискивая машину на асфальтированную дорожку у Майкиного подъезда.— Я с вами, герл.

— Зачем, Роман? Отдохни. У меня все готово.

— Нет, герл. Хочу посидеть перед дорогой в квартире. Как мама учила. Проверить форточки и отключить газ...

Поднявшись в квартиру, он обследовал комнаты с видом знатока уголовного сыска, чьи повадки остро врезались в его память еще с восьмилетнего возраста, когда лучшая в местном уголовном розыске знаменитость производила тщательный обыск в квартире Бермана-старшего на предмет обнаружения продуктов хищения социалистической собственности, которые так и не были найдены в силу того, что папа закопал их в двух трехкилограммовых банках из-под «душистого пряного посола на могиле своего папы, куда ходил ежедневно, проверяя сохранность личных сбережений, за вычетом шести лет, проведенных в местах не столь отдаленных, выделенных ему народным судом за врожденную, не

поддающуюся лечению клептоманию с деградацией личности по звериному, неизвестному психоанализу типу.

Удовлетворившись осмотром, Фред присел у обеденного стола, предложил Майке опуститься в кресло напротив.

— Минутку, Роман! — донесся из кухни ее голос.— Я готовлю кофе.

— Только не растворимый,— попросил он, проходя в кухню.— Герл! Зачем вы кипятите кастрюлю воды?

— В термос вмещается литр, а у меня нет такой большой «турчанки».

— О герл! Я покорен вашей заботой. Хотите, я заплáчу? Впрочем, нет. Но я тронут, в силу чего прошу сделать мне еще одно маленькое одолжение.

— Какое?

— Вы носили когда-нибудь серьги, герл?

— Нет, а что?

— Мне приятно констатировать девственность ваших ушек! Так вот, у меня к вам просьба: мы начнем наше путешествие с поездки к косметологу. Она вмиг исправит этот природный недостаток, а место временной травмы прекрасно завуалируют эти самоколки,— вынул он из портмоне бриллиантовые снежинки.— Здесь два карата графита. Это вам, герл, от меня и моей мамы, которая просила подарить их той, что не будет похожа на всех похожих друг на дружку, как эти сережки. Вы первая, герл! Я счастлив, что встретил вас.

Майка в нерешительности взяла сережки, рассмотрела их, положила на ладонь, будто взвешивая, перевела взгляд на Фреда, улыбающегося доброжелательно и нежно.

— Спасибо тебе, но...

— Никаких «но»,— прервал он.— Вас этот презент ни к чему не обяжет. Глядя на вас, я буду вспоминать мою маму и в силу памяти святой и неповторимой и в дальнейшем останусь вашим другом, братом и единоверцем. Прошу вас...

— Я согласна, Роман. Спасибо, они очень милые. Положи их к себе пока.

— Только до парикмахерской! Присядем, герл.

— Одну минутку. Я налью кофе.

— Сахар не клади.

— И я так считаю. Все. Бери суповый.

— Герл, зачем? У меня есть канистра...

— В дороге попьешь бульон с национальной куриной ножкой.

Не в силах выговорить ни слова, он промычал что-то восторженно-нечленораздельное, при этом взмахнул руками и,

издав гортанный воинственный клич команчей, [illegible] [illegible] хозяйственной сумкой повышенной вместимости...

[illegible] Майку в глубокое, мягкое кресло в просторном холле «Красы», Фред исчез и появился через минуту в сопровождении облаченной в розовый халат-пеньюар крашеной блондинки неопределенного возраста с жирными, оранжевого цвета пятнами крема под веселыми, источающими любовь и восхищение глазами, мраморным лицом и мулатной бронзой чрезмерно глубокого декольте, в манящий уголок которого нескромно проник маленький платиновый крестик на ажурной, под цвет загара, цепочке.

Мочки ее ушей явно тяготились непомерной ношей синих бериллов, охваченных византийскими крестами алмазных россыпей, в ансамбле с перстнем, венчающим третью фалангу указательного пальца правой руки, что прекрасно гармонировало с тяжеленным обручальным кольцом, надетым Инессой Фридриховной на безымянный палец левой кисти для зримого уравновешивания походки.

Глядя на хит-парад драгоценностей, Фред затаил дыхание, с трудом перемещая обреченный взгляд от серег к перстню и обратно, перехватив который, явно польщенная Инесса Фридриховна выдохнула глубоким меццо-сопрано:

— Блеск и нищета косметичек, Фредди. Приходится с этим мириться... А где же твоя грешница? Очевидно, эта? — увидев Майку, воскликнула она.

— Вы, как всегда, догадливы.

— Восторгаюсь твоим вкусом,— бесцеремонно рассматривая покрасневшую «грешницу», произнесла она.— Давай самоколки. Пойдемте, девушка. Ну-ну, не бойтесь, это совсем не больно. Правда, эти камушки стоят боли. Не волнуйтесь, милая,— ну какая же вы, право, волнительная...

Через несколько минут графитовые самоколки обрели уверенный приют на нежных розовых Майкиных мочках.

— Ну, вот и все,— окидывая самодовольным взглядом обошедшуюся без единой капли крови операцию, заключила Инесса Фридриховна.— Вы прекрасно смотритесь. Можешь войти,— разрешила она сгорающему от нетерпения Фреду.— Пунктирование благополучно закончено: можешь полюбоваться...

— Спасибо,— сунул он ей в руку десятку.

— Не за что, дорогой! Что передать Кларе Соломоновне?

— Мои соболезнования,— твердо заявил Фред, прощаясь...

В машине Майка положила руку на рычаг переключения передач.

— Подожди, Роман,— предупредила она его вопросы.— Скажи, ты покупаешь меня? Желаешь еще раз подтвердить свои прошлогодние взгляды?

— Вот что, герл,— начал он, закуривая, что разрешал себе в крайне редких случаях, приучившись не травиться сверх меры.— Ты опошляешь память моей матери, в то время как я всеми своими поступками доказываю уважение к твоей маме. Это первое. Второе. Если в тебе так живы сомнения, сними эти серьги и выбрось. Мне они ничего не стоят, серьги действительно родительские. И не унижай меня больше. Я могу расстроиться и, отъехав отсюда два квартала, сбить насмерть ни в чем не повинного ювелира, спешащего в собес за очередной пенсией, которой едва хватит на его пышные похороны, а значит, потребуются дополнительные субсидии от его несчастной жены с отрывом от рассчитанного на сто лет вперед скромного семейного бюджета. Наконец, я могу просто, без слез задушить тебя в угоду ненависти, до которой остался всего один шаг. Как видишь, три шанса — и ни одного выжить,— Фред посмотрел на нее долгим испепеляющим взглядом. И так как Майка молчала, не проявляя ни малейшего желания говорить, добавил: — Мириться будем?

— Прости меня, больше не буду, никогда!

— Верю, пока не убедишь меня в обратном,— улыбнулся он, включая зажигание.— Садись поудобнее и начинай привыкать к путешествию.

— Магнитофон включить?

— О, герл, какие могут быть разговоры? Конечно.

— Что ты хочешь послушать?

— «Дорогу» Поля Мориа, обожаю ее на трассе...

Промчав на полной скорости ночным Ростовом, Фред к полуночи выехал на краснодарскую трассу. Накрутив на спидометр еще километров семьдесят, он увел автомобиль на проселочную дорогу, резанувшую черной бритвой ковыльную тишь ночной степи. Обнаружив по только ему известным приметам спящие стога сена, свернул к ним, проковылял луговым бездорожьем к самому высокому и остановился.

— Все, герл, приехали. До зорьки мертвый час,— бодро выдохнул он, выскакивая из машины.— Сандвичи, кофе и сигарета под колыбельную.

— Сейчас приготовлю. Открой багажник,— устало проговорила Майка, с удовольствием потягиваясь и разминая затекшие ноги.

— Прошу вас, герл, а я пока займусь постелью. Кстати, где вы будете спать?

— Наверное, там, где будем ужинать,— вспоминая советы доктора, с улыбкой ответила она.

— Тогда на верхнем этаже дома из сена.

— А как мы туда взберемся? Стог очень высокий!

— Это ерунда, герл! Вы увлекались альпинизмом?

— Нет, Рома,— растерянно произнесла она.

— Я тоже нет. Но это не мешает мне спать там, где хочу...

Через минуту извлеченная из багажника веревочная лестница с крюками на концах нейлоновых строп раскрутилась над его головой и унеслась к звездам. Потянув за предварительно зажатый в левой руке стальной тросик, Фред опустил ее вниз, проверил силу натяжения, прикрепил к тросу сумку с надувным матрасом, пледом, продуктами, закрыл авто и полез вверх.

— Герл, здесь прекрасно. Ловите страховку. Нашли?

— Нашла.

— Отлично. На конце тросика петля с карабином. Наденьте ее на пояс. Натяните. Готовы?

— Готова.

— Ставьте ногу на первую ступеньку. Руки — на стропы. Порядок?

— Да!

— Тогда с богом,— натягивая тросик, запущенный вокруг спины, пожелал он.

— Ромка, только не быстро, я боюсь!..

— Я не тороплю, герл. Дерзайте медленно, но уверенно. Я чувствую вас совсем рядом. Ну, смелее. Не раскачивайте стремянку. Восхождение пятой сложности. О герл! Я счастлив приветствовать вас на первой жизненной Джомолунгме. Оставшиеся восьмитысячники уже чувствуют себя истоптанными вашей девственной ножкой. Несколько слов для прессы, прошу вас, герл!

— Ромка, а мы не слетим отсюда?

— Ну что вы, герл! Кроме дождя, нам не грозят никакие неприятности. Включите переноску. Достаньте «Соньку», пусть подышит воздухом.

— Не понимаю тебя.

— Транзистор, герл, дайте его мне. Одну секундочку, сейчас нас будут веселить румыны. Кофе под легкую музыку, герл...

Поужинав, Майка прилегла на мягкий матрас, закрыла глаза и полностью расслабилась. Ни с чем не сравнимый

[illegible] запахов лета окутал ее всю, поглотил, растворил [illegible] [illegible] ей и, даря горьковатую нежность, подкатил под сердце истому, смежил веки и увлек в сон. Фред примостился рядом, уничтожил три чашечки в меру горячей дымной «арабики» и вовсе не желал покоя.

— Герл,— тихо позвал он,— вы не спите?

— Нет, Рома, а что?

— Я вспомнил дурные строки:

> И паж к ботинкам дам[illegible].
> Как фокстерьер, прил[illegible].

— Вы не знаете, кому они принадлежат?

— Не знаю...

— А впрочем, мне все равно... Но знаю точно: никогда в жизни я не был слугой. Обычно прислуживали мне, и я считал это вполне закономерным. Мама, папа, соседская девочка Оля; потом институтская подруга, не помню уже, как ее звали,— ну вылитая курсисточка, заряженная дурной и неблагодарной идеей увести меня из хвостистов; затем Грета — ее сюсюканья мне хватит на всю оставшуюся жизнь... Я пресытился, герл, добрым к себе отношением. Потом появились вы! Что значит «появились»? Вначале где-то в глубине души, до которой не добралась, к счастью, еще ничья жизнечерпалка, я выдумал вас и схоронил до времени, а затем вы уже появились. Тихо и робко... Не врываясь ветром и не грохоча каблуками в плохо державшуюся на ржавых петлях дверь моего бездушного, как я считал, естества. Я принял вас без визга удивления и никому не нужных вопросов. С каждой встречей я проникался ими, но не искал ответов, отдавшись провидению, по воле которого никогда еще не был счастлив.

Герл! Прошло совсем немного времени, в течение которого я с каждым днем чувствую все более острую необходимость быть вам полезным и в этом нахожу высшее удовлетворение и наслаждение. Я хочу вам служить! Нет, неверно... Я, служа вам, чувствую ни с чем не сравнимую радость бытия. Я клянусь вам, верьте мне, никогда не погрешить против своих чувств и убеждений. Вы мне верите, герл? — Фред приблизился к ней.

— Конечно, верю! — ответила Майка, поворачиваясь к нему и разыскивая в темноте его руку.

— Тогда выполните мою просьбу, герл, и я усну с легким сердцем.

— Какую?

[illegible] спуститься к машине. Пока я вернусь, снимите [illegible] и наденьте мой халат. Он в сумке. Затем обвяжитесь тросом и подстрахуйте меня на подъеме.

— Хорошо, только постарайся побыстрее, потому что ты не отдохнешь...

Он спустился вниз, открыл дверцу машины, немного помедлил и, зацепив последнюю ступеньку лестницы за тросик, крикнул:

— Герл! Вы верите мне?

— Как себе, Роман!

— Тогда страхуйте жизнь на подъеме. Тяните, герл! Еще, еще, еще... Спокойной ночи,— довольно засмеялся он, укладываясь на теплых сиденьях.

Сочи встретил их солнечным утром, гордым маршем пирамидальных тополей, одобрительным говором кипарисов, добрым рокотом моря и щекочущим ноздри ароматным запахом чебуреков на электролотках утренних продавцов в Лоо. Еще накануне вечером небо над Краснодаром обещало дождь и ненастье, но, свернув со Старокавказской дороги на Джубгу и промчав новой равнинной трассой до Туапсе, Фред убедился в правильности вновь избранного маршрута и, предложив своей милой попутчице взглянуть на окрашенный медью восток, решительно заявил:

— Герл, благодарите меня!

— Спасибо, а за что?!

— За то, что я догнал солнце, которое обласкает вас, согреет, умиротворит, укроет загаром от моих нескромных взглядов и только белая полоска под сердцем, там, где закончится ультрафиолетовый асфальт, напомнит, какой бледной и малокровной вы были когда-то. Можете авансом выдать порцию благодарности за то, что мы нырнем сейчас вниз, взлетим вверх и направо, и я подарю вам море, в котором не позднее шести утра вы примете первую бодрящую процедуру под моим, разумеется, зримым контролем.

— Авансом не буду, но после купания обязательно.

— Я буду ждать, герл. И еще: вам не надоело называть меня Романом?! Зовите меня боем, герл. Мне нравится быть необходимым вам мальчиком. К тому же я мальчик, а не девочка, в чем человечество уже убеждено. Соглашайтесь, герл. Нам будут завидовать все, включая впечатлительных горцев. Представляете: дама с собачкой, или мадонна с небритым младенцем! Счастливое материнство: вы и я в коротких белых штанишках. У вас в руке зонт, у меня — рогатка, которой я отпугиваю наиболее впечатлительных и усатых. О мадонна...

— Ты знаешь, я заметила, что когда ты фантазируешь, то совершенно не смотришь на дорогу. А мне так хочется увидеть море!

— Герл, оно там, где я.

— Где? — не поняла Майка.

— Почти у ваших ног,— воскликнул Фред, останавливаясь.— Прошу вас...

Они спустились вниз зарослями густо поросшего папоротником дубняка, который внезапно врезался в песчаный, расцвёченный мелкой галькой берег. Необозримая водная гладь, подернутая белесой утренней дымкой, убегала к едва различимому горизонту, сливаясь с ним воедино в зовущий к мечте простор.

«Здравствуй, море! — ласково прошептала Майка, сбрасывая на ходу вьетнамки.— Черное море! Какое же ты неожиданное и огромное! И теплое, и свое, и совсем близкое...»

Она расстегнула блузку, но вспомнила, что не одета для купания, и в нерешительности остановилась.

— Герл! Не гасите в себе здоровые начала! В них жизнь и первозданное совершенство,— задорно прокричал Фред, с разбега прыгая в воду.

— А! — махнула она рукой, сняла джинсы и вошла в море, принявшее ее безропотно и нежно, как старую знакомую, омыло доброй волной, уложило себе на грудь, понесло к чайкам, кружившим у самой воды на заметном краю мелководья, а затем перевернуло на спину и, лелея и баюкая, подтолкнуло к берегу...

В ожидании далеко заплывшего Фреда, Майка осталась в воде у самого берега и, облокотившись на руки, отдалась раннему, благодатному солнцу. Он неслышно подплыл, не потревожив ее покоя, уселся рядом и тихо спросил:

— Майка, милая! Ну скажи: какое оно, море, а?

— Горькое, Ромка, и очень вкусное. Жаль расставаться с ним будет.

— Ну, вот еще! Не успела встретиться, прочувствовать, а уже мучаешься разлукой.

— Так острее воспринимаешь близкое, нужное и дорогое, Роман. Болью своей не ранишь другого, горечь не навяжешь. Знаешь, чему нужно научиться в первую очередь? — задумалась она на минуту.— Нам всем нужно научиться бояться потери! Не терять никогда ни покоя этого, ни дружбы человеческой, ни чистого неба над головой...

На площадке для автомобилей у гостиницы «Жемчуг» места для их «коломбины» не нашлось. Все сплошь было

заставлено автомобилями, причем преобладали разноцветные иномарки: небесно-перламутровые «паккарды» и «бьюики», горящие ультрафиолетом «форд-мустанги», черные презентабельные «мерседесы», бирюзовые «вольво» и даже две цвета восходящей зари «тойоты». Отечественные легковушки скромно прижимались к пешеходным дорожкам, ведущим от ажурного виадука через Мзытму к зоне отдыха.

Презрев запрещающий въезд знак, Фред лихо подкатил к центральному входу.

— Бери документы, девочка,— предупредил он,— атакуем твою фирму. Выражаем ей крайнюю любовь и почтение. Получаем два одноместных номера. Один продаем втридорога шахтеру из Заполярья. Заработанные «бешеные деньги» я плачу тебе за прикроватный коврик, за право лежать у твоих ног, изредка скулить, а по утрам стягивать одеяло.

— Это еще зачем?

— Чтобы ты выводила гулять своего барбосика в близлежащий палисадник, где я завладею территорией, отыщу «свое» дерево и получу необходимые преимущества.

— Какие, если не секрет?

— Лаять из ревности и лизать без разрешения,— рассмеялся он, пропуская ее в дверь, услужливо открытую ливрейным швейцаром.

Враз прочувствовав деловую атмосферу холла, Фред усадил Майку в кресло и исчез: через несколько минут он появился в сопровождении симпатичного молодого человека, и, хоть тот был одет в джинсы и легкий батник, Майка безошибочно определила в нем всемогущего бармена

— Гриша,— притронулся он губами к ее руке,— но здесь меня называют Годфри.

— Верь ему! Здесь он бог! — хлопнул его по спине Фред.— Сейчас он нам это докажет. Вперед, Годфри! Только не напролом, а то влепят года четыре с потерей места.

— Не боись! — ответил польщенный «божок».— Все хоккей! Поднимитесь ко мне, я распоряжусь,— пригласил он на ходу и исчез в кабине скоростного лифта.

— Пошли, девочка, и начнем дружно удивляться.

— Мне кажется, что к цели нашего путешествия мы приехали достаточно удивленными,— улыбнулась Майка.— А впрочем, я готова! Только скажи, чему?

— Ну, во-первых, сервису и неразведенному коньяку; во-вторых, тому, что мы вживаемся в лучший отель на побережье; а в-третьих, скорости, с которой Годик решит эти сложнейшие проблемы.

В баре молоденькая официантка провела их к сервированному столику. Коньяк, фрукты и шоколад мирно дремали, дружно ожидая своего часа.

Кофе по-турецки, поданный с холодной водой, дымился хозяйской щедростью и источал многообещающие надежды стать свидетелем интимного разговора, торговой сделки или, на худой конец, банального объяснения в любви красавца грузина из виноградного Очамчира и голубоглазой блондинки, сбежавшей из заснеженного Магадана от мечтателя мужа, решившего провести отпуск в красовьях Байкала, поясной надбавки и надоевших вишен «...в саду у дяди Вани», живущего рядом с Марчиканским кладбищем.

— Ну что ж, девочка, разреши произнести тост за наш заслуженный у государства отдых! За вас, за удачу, за жизнь!

— Разреши мне, Роман.

— Дерзай, девушка.

— Давай выпьем за наших матерей. За их здоровье и радости. За воплощение их надежд! Хорошо?

— Согласен, за матерей!

— Ромка, я только один глоток, если получится...

— Пей, сколько сможешь. Коньяк из лучших,— заявил он, надрезая персик.— Это тебе. Сделай один глоток и потяни в себя сквозь эту расселинку.

— Почему ты не закусываешь?

— Чтобы прочувствовать «букет» во всем его волшебном соцветии. Правда, в тебе еще не созрел собеседник для критического разговора на тему: дегустация и алкоголизм. Я, к сожалению, также не покорил головокружительные высоты в данной области, но некоторые успехи безусловно имеются: семь тысяч вкусовых рецепторов, заложенных в этом длинном, обрати внимание, языке, фальшивят при передаче моему гениальному черепу информации о фирме, возрасте и сорте винограда влитого в желудок напитка, но крепость, девочка,— это безусловный Пегас вашего боя. Сражаясь на своем боевом посту, я безусловно знаю октановое число разбавленного препарата для дубления артерий и мозговых извилин на фоне ранней возрастной гипертонии с явлениями склероза, деградацией миокарда, а также умственной деятельности пришельца в «царство Градуса». Давние связи с Менделеевым, Паскалем и не так с метром Максвеллом, как с его уравнением, дают возможность не зарываться: недоливая сто граммов коньяка «Украина», я непременно вколачиваю в колбу шестьдесят единиц лучшей на Украине киевской питьевой воды энд сорок — спирта. Таким обра-

зом, самые придирчивые длинноносые ревизоры с ареометром в каждой ноздре не могут быть недовольны уровнем профессиональной подготовки вашего боя при выдаче «кайфа» для выпивохи средней руки. Молодняк не в счет — тем взболтай любую бурду, но в высоком фужере и с розовой соломиной, это важно,— и ты обеспечиваешь их дурью на весь вечер, включая раннее утро, занятое этими бычками поиском средств на мое безбедное существование. Ну, а знатоки... те пьют неразбавленные напитки потому, что, как я, работают барменами. Вот один из них! Почему-то не цветет и не пахнет — нахмурился он, увидев измочаленного жизнью «божка».

— Ребята, провал,— плюхнулся тот в кресло.— Ну не совсем провал, но номеров нет. Я взял вам пропуска в гостиницу, на пляж и питание в ресторане на две недели. Поселю вас в «Москве», «Ленинграде» или в «Чайке». Это рядом.

— Годик! Любые деньги,— заупрямился Фред.

— Ну что я — тебя не знаю? Не получается, «Интурист», понимаешь? Прости, но не смогу. Кому-кому, а мне бы сделали.

— Гриша,— вмешалась Майка,— дайте мне документы и поскучайте пару минут.

— Что ты надумала? — недоуменно спросил Фред.

— Хочу поговорить с администратором.

— Это безнадежно, если Годик не смог.

— Попытка — не пытка, ребята...

Старшего администратора за стойкой не оказалось.

— Он в кабинете,— ответила на ее вопрос одна из паспортисток.— Пожалуйста, пройдите к нему.

В кабинете ее встретил мужчина средних лет, весь взъерошенный, грустный и потерянный. Он вяло ответил на приветствие, предложил присесть, с трудом оторвался от многочисленных, в беспорядке разбросанных по огромному столу телеграмм и отрешенно взглянул на очередную просительницу.

— Я из Киева,— чуть заискивающе начала Майка,— и понимаю, что напрасно отрываю вас от работы, потому что вы очень устали, а свободных номеров нет.

— Откуда вы знаете, что нет?! — подскочил он на стуле.— Номера есть. Есть! Но посмотрите на эту бронь: ВАО, ВАО, ВАО! Что мне делать? Скоро мяукать начну... уже начал... А тут приходят и лебезят с порога, не успевая меня рассмотреть по-человечески: «Как вы прекрасно выглядите! Где достаете женьшень? Вы с прошлого года помолодели

на десять лет!!» Кто-кто, а я-то знаю, что постарел на пятнадцать... Что вы хотите, что?!

— Я работаю переводчицей в киевском отделении. Вот мое удостоверение...

— Да? В самом деле «ВАО»! Родные звуки. В пятьдесят шестом я начинал в Киеве. «Спутник», восточная группа. О Киев! Это же мой Киев! Улица Короленко, за углом Золотые ворота... Проклятая астма... Если бы не астма!.. Десять суток. Умоляю, больше не могу. Пятое окно. Заходите ко мне в любой час. Лучше в воскресенье, после восьми. Михаил Яковлевич... Очень приятно в этом Содоме встретить родного человека. До встречи. Молчите! — прикрикнул он, предупреждая слова благодарности.

— Остальное дело техники,— промямлил низвергнутый Годфри.— На этаже мои люди. Фред спит в лоджии. На воздухе полезнее выветриваются мои приношения. Через день — я к вашим услугам. Завтра жарим поросят в «Красной поляне». В воскресенье бежим в горы. Вперед за вещами!

— Годик! Что делать с машиной?

— С машиной? С ней нужно кататься! Только не на лодке. Пока вы устроитесь, я возьму пропуск на спецстоянку...

Через час, оставив Майку на пляже, Фред отбыл с визитом дружбы в ресторан «Кавказский аул», посещение которого было строго запланировано в первый вечер активного отдыха. Перед уходом, удобно устроив свою госпожу у самой воды, он торжественно прописал ей первую лечебную процедуру:

— Двадцать минут солнца, герл, затем тоннель к лифту — и в постель. Отдохнете с дороги, ввиду грандиозности вечерних мероприятий. В «Ауле» в нашу честь не позднее двадцати одного часа будет зажжен грандиозный костер с ритуальными плясками вокруг него зажигательных мулаточек из варьете «Черноморочка». Они будут одеты в мини, сшитые из прокопченных солнцем тельняшек морских волков, страдающих крайней рассеянностью, а их танцы всегда полны таинственности и смутной неги, как и закулисная жизнь богемы. Расфранченные официанты обслужат и обсчитают нас с достоинством грандов, а затем согнутся в поклоне, с трудом удерживая увесистые чаевые. Покоренные легкостью и элегантностью грабежа «средь шумного бала», мы признаем в переросшей лобани юную форель, а в патиссонах — белые грибы и уйдем с глупой всепрощающей гримасой святого Стефана, умоляя Господа простить их, ибо они не ведают, что творят. Ну, а завтра побежим к ним же

с низкой мольбой выделить два места за столом перед эстрадой.

— Чтобы снова с молодецким задором аплодировать девочкам, уплетая за обе щеки лобань, и ждать своего часа, дабы с расточительностью креза блеснуть чаевыми?

— Нет, госпожа! Чтобы снова увидеть вашу радостную улыбку, прочувствовать, что угоден вам и жил не напрасно. Прощайте и помните: я люблю вас,— шепнул Фред, направляясь к тоннелю.

Заполучив входные билеты в «Аул», он нанес еще два-три визита старым друзьям и вернулся в отель, приятно ароматизированный пролитой мимо рюмки, пахнущей нежными эдельвейсами жидкостью некой заоблачной фирмы, и с легкостью спринтера на финишном рывке проследовал мимо лифтов на шестой этаж в заветный номер, дверь которого оставалась закрытой даже после нескольких энергичных толчков и встряхиваний за ручку.

— В номере никого нет,— помогла ему осмыслить ситуацию дежурная.— Ключ у меня.

— И не было?

— С того момента, как вы ушли, никого.

— Если она утонула, значит, я — сирота,— вскричал он, бросаясь к лифтам.

Майку он обнаружил, едва выбежал из тоннеля. Духота послеобеденного часа и солнце, стреляющее из зенита прямой наводкой в редких самоубийц, позволивших себе, прямо скажем, обреченное на провал, связанное с потерей, по меньшей мере, пяти слоев кожи, необдуманное мероприятие, заставило покинуть пляж даже самых заядлых купальщиков.

Стойкие деревянные цепи лежаков и кушеток потели в парадном строю, готовые по первой команде двинуться в море, чеканя шаг и захлебываясь от плавучего счастья, выпавшего, по мнению старца Архимеда, всему, что не тонет, не умея плавать...

И только третья в первом ряду кушетка исполняла свой долг, поддерживая девичье тело, впавшее в тяжелый сон, связанный с непривычностью к перегрузкам и тысячекилометровым марш-броскам без отдыха.

— Кажется, ее пора солить,— проговорил Фред, критически осматривая спину спящей.— Герл, проснитесь, мы приехали. Девушка, откройте глаза! Предъявите билеты и плацкарту тоже. Станция Евбаз Закавказской железной дороги. Слышите, безбилетная! С вас — штраф: семьсот триста керенскими. Где? В сейфе? Дайте ключи, герл...

Майка открыла глаза. Сонным взглядом охватила окрестности. Выделила из них единственно знакомую деталь — лицо Фреда. Улыбнулась, виновато вздохнула и произнесла:

— Кажется, я проспала все на свете! Который час, Ромка?

— Четыре, вставай скорее.

— А в воду можно?

— Можно, но только на минуту.

— Почему?

— Потому, что ты сгорела, притом окончательно.

— Тебе кажется.

— Дай бог! Но, насколько я разбираюсь в медицине, ожог второй степени гарантирован. Чем бы тебя намазать?

— Ерунда, все в порядке,— дотронувшись до плечей, улыбнулась она.

— Жаль, что под рукой нет грудного ребенка. Одолжить бы у кого на часок!

— Зачем?

— Я б напоил его виноградным соком и посадил тебе на спину — лучшее лекарство от ожогов...

В полночь, танцуя у ресторанной эстрады «Парижское танго», Майка убедилась в компетентности своего партнера, предложив ему переместить правую руку со спины на талию.

— Больно, Ромка,— передергивая плечами, шепнула она,— и знобит чего-то.

— Я же говорил вам, герл. Ну что же, придется достать дитенка. Впрочем, уже поздно. Вопрос решается иначе. Разрешите вас проводить к столу. Я покидаю вас и направлюсь за микстурами в местную галеновую лабораторию. Не волнуйтесь, она находится в районе пищеблока...

— Все в порядке,— заявил Фред, возвратившись.— Не позднее, чем через час, доктор вас вылечит...

Припарковав машину, он достал из багажника свою незаменимую сумку. С трудом взвалил ее на плечо.

— «Неотложка» прибыла,— пьяно пробормотал он,— больную попрошу раздеться и сесть в постели. Что? Ах, да! Доктор не вымыл руки. Прошу меня не учить! И вообще... Кто кого лечит? Попрошу родственников покинуть спальню. Вот так! Больная, как ваше ничего?

— Ромка, ты очень пьян! Помочь тебе нести сумку?

— Не берите в голову, герл! Трезвее не бывает. Прошу подтвердить. Я трезв. С кем поведешься... Я очень мужественный человек. После лечебных процедур позволяю себе расслабиться и выпить банку ликера с рюмочкой кофе.

Едва переступив порог номера, Майка схватила халат и закрылась в ванной. Включила холодный душ. Сняла вечернее платье и посмотрела на себя в зеркало. Спина, плечи и руки цвета созревающей вишни-лутовки неистово горели и коптили и без того черный кафель стен. Малейшее движение вызывало острую боль и озноб. Она стала под душ, мгновенно прочувствовала облегчение, но попытка приложить к плечам полотенце не увенчалась успехом. Накинув халат на мокрое тело, она вышла из ванной.

«Доктор» сидел на полу у расстеленной махровой простыни, залитой белой жидкостью. Вокруг него стояла батарея молочных бутылок, одну из которых он поднес ко рту.

— А, это вы, больная? Доктор ждет, а вы где-то развлекаетесь. Ложитесь срочно!

— Куда?

— В кефир, герл, и утром вы сможете загорать. Мы вам обещаем. Ну-ну, смелее. На живот, пожалуйста. Умница. Сейчас мы сварим кофе,— заливая прохладной жидкостью обожженную спину, продолжал он.— Кисельные реки, молочные берега! Мацеста в исполнении директора молокозавода! Вам хорошо, герл?

— Спасибо, доктор, лучше не бывает! Долго нужно лечиться?

— Долго! Вплоть до выздоровления...

Вскоре больная выпила рюмку целительного «Шартреза», чашечку кофе, приготовленного директором спортбара в электрокофеварке и, получив разрешение «доктора», занялась стиркой простыней, одна из которых источала запахи сочинского молока и моря даже через полгода после экзекуции, напоминая ей о лучшем препарате для лечения солнечных ожогов.

«Доктор», оголившись до пояса, сидел в кресле, в очередной раз заряжая кофеварку, и никак не хотел лечь спать в заботливо приготовленную для него постель на балконе. Зазвонил телефон. Резкий звонок вызвал смятение в Майкиной душе, подтверждая еще раз причины внезапного стресса у жителей телефонизированных квартир. Фред не спеша допил ликер, глотнул кофе и поднял трубку.

— Алло!.. Да!.. Давайте...

— Кто это, Ромка?

— Сюрприз вечера, герл! Алло, Мария Михайловна? Это Роман... Заявляем конкретно, во весь голос, что благополучно достигли цели путешествия. Далее, как вы себя чувствуете?.. Во всех отношениях?.. Это самое главное... Майечка рядом, даю трубку.

— Мамуля! Дорогая моя! Как ты? А температура? Ну, чудесно! Я так волновалась... Да, мы будем звонить... Конечно... Передам обязательно... Целую тебя... До свидания, береги себя...

Майка положила трубку. Подошла к Фреду. Обняла его, обожгла жаркими руками, поцеловала неловко и нежно.

— Спасибо тебе,— прошептала она,— я никогда не забуду сегодняшние сюрпризы.

— За ваш поцелуй, герл, я согласен побежать домой и принести вашу маму. Меня останавливает только нехватка спальных мест в нашем одноместном номере. Короче, я согласен на все... даже до свадьбы. Что? Нет? Вам виднее, но...

— Иди ложись,— перебила Майка,— тебе необходимо отдохнуть.

— Конечно, герл,— всматриваясь в бархатную темноту южной ночи, прошептал он.— После свадьбы — это интересно. Так еще не было... Спокойной ночи, герл!

— Спокойной, Ромка... Спи.

Он закрыл глаза, вслушался в ночь. Стрекот цикад, шепот листвы и чуть уловимый говор моря расслаблял, успокаивал, но не приносил сна.

«Да, мой Морфей пьянствует где-то,— сонно подумал Фред, нащупывая сигареты.— Покурю и послушаю «Соньку».

Он встал, включил транзистор, облокотился на перила. Глубоко вдохнул повеявшую с моря прохладу. Неожиданно пошел крупный дождь. Он протянул руки ему навстречу, подставил голову под свежие добрые струи.

На балкон вышла Майка.

— Ромка! Дождь! Слышишь?

— Слышу,— прошептал он, привлекая ее к себе.

— Пойдем, а то промокнешь.

— О нет, герл, я буду сухенький. Стоит только отодвинуть постель и...

— Нет-нет, он косой... Я не хочу... Ты простынешь... Иди скорее.

— Да! Он косой, очень косой! А я двоечник,— давясь ознобом, проговорил он, не пытаясь сопротивляться и не предупреждая неверное движение своей руки, потянувшейся к кнопке торшера...

ГЛАВА 15

Едва появившись на свет Божий и не осмыслив еще сути своего кратковременного грешного бытия, человечество начало усиленно веселиться. Без повода, а чаще по поводу...

дня постного, дня кошерного, луны ранней, луны поздней, начала лета и конца засухи; не говоря уже о чуде рождения, исцеления и попросту пьянок, связанных с удачной женитьбой, разводом, охотой, смертью любимой тещи, повышением по службе, отъездом на курорт мужа соседки Зины и даже введением Днепровским пароходством прогулочных маршрутов на сверхкомфортабельных теплоходах, оборудованных двухместными каютами «люкс» и буфетом от ресторана «Волна», на которой держится,— да что там держится! — плывет, не думая о крушении, не только буфетчица Клара Соломоновна Розенталь и две ее дочери, но и, слава богу, два зятя-студента, внучонок Боренька, тетка-приживалка от первого мужа, свекровь (мама по второму) и некий одаренный слесарь-сантехник из местного жэка, не ставший доктором наук только из-за дикой и необузданной привязанности к ярким представительницам прекрасного пола, переживающим временную ностальгию души, обусловленную переменой жизненных биоритмов и необходимостью откликаться на призыв: «Бабушка».

Но, как сказала однажды в минуту откровения Клара Соломоновна своему второму мужу, сидя у его могилы и критически осмысливая «себя и новое направление неоматериалистической школы нравственного прозрения «Веселой вдовы»: «Знаешь, дорогой! Память — хорошо, а жизнь берет за живое. Не сердись, мы видимся не столь часто... Он приходит только по вызову... Прости свою шалунью... Это неправда, что ты ворочаешься в гробу!..»

И все-таки лучше, наряднее, красивее и добрее новогоднего праздника человечество еще не придумало. Приготовления к праздничному застолью начинаются задолго до тридцать первого декабря во многих заинтересованных министерствах и ведомствах, причем чаще и дольше засе-дают ответственные службы аппарата Минместпрома и Минторга. Но если первые никак не могут решить, какую из представленных на комиссию кукол назвать Дедом Морозом, а какую Снегурочкой, то вторые, наверняка и безошибочно определив, что первый — с мешком, не знают, как реализовать их через торговую сеть. Но гениальное всегда легко и просто: яркие сверкающие снежинки гирлянд, пользующиеся повышенным спросом, продают с новогодним подарком — инфантильным, с личиком херувима, отроком, наряженным в грязно-красный с белыми отворотами жупан сторожа алданской лесопильни и в бесцветную, ниже пояса, моноволокнистую бороду, клееную на испанский манер. Его сказочная подруга, выдавившая из ватных нутрей мерзкую

улыбку отвергнутой мегеры, чуть прижмурила левый глаз, осенившись мечтой отравить в праздник переборчивого кабальеро, а широко раскрытым правым, холодным и безразличным, тупо уставилась на съежившуюся под ее рыбьим взглядом Лерку.

— Ну что, товарищ, выписывать? — решилась нарушить тягостное молчание покупателя продавщица.— Вы не смотрите, что они не слишком симпатичные, их же не на стену вешать! Не задерживайте очередь.

— Да-да, извините,— в раздумье проговорил доктор.— Маски действительно отвратительные. Других у вас нет?

— В полном наборе, с игрушками и гирляндой, если желаете.

— Желаешь, папка, желаешь! — взмолилась Лерка, дергая его за руку.

— Покажите, пожалуйста.

— Прошу вас...

Через несколько минут доктор с огромной картонной коробкой спускался вниз цумовским эскалатором. Лерка в предвкушении торжественной процедуры наряжания еще не купленной лесной красавицы без устали щебетала, рассматривая яркую крышку коробки.

— Папка! Мы за елкой поедем?

— Да, маленькая, сейчас же! — ласково посмотрел Гельман на румяное личико дочери.

— В лес, да?

— На елочный базар.

— А где это?

— Здесь, совсем рядом.

— Разве елки растут на базаре?

— Нет, ласточка, их привозят из лесу.

— А их уже привезли? — ознакомленная генной памятью с дефицитом, испуганно спросила она.

— Конечно! Сейчас сама увидишь,— успокоил он дочку, помещая коробку в багажник.

Вокруг елочного базара вытянулась молчаливая хмурая очередь озабоченных покупателей. Доктор подъехал к калитке, из которой ежеминутно выходили горожане с елями, соснами, пихтами разного возраста и достоинств. Наиболее практичные приобретали по две ели, окидывая их критическим взглядом.

— И где они только росли? — сокрушался один, осматривая застенчивую жительницу леса, явно не пожелавшую повернуться на корню к солнцу.— Такую и в угол не приспособишь.

— Вы еще одну возьмите,— порекомендовал продавец в лисьей, непомерной глубокой, пышной шапке и хромочах гармошкой.

— Елку надо? — раздался тихий говор над самым ухом доктора.

— Нужна елочка, очень! — подтвердил он, осматривая обладателя заячьей, сползшей на глаза шапки, серого в елочку демисезонного пальто и носа-морковки, словно одолженного у снеговика с ближайшей детской площадки.

— Подъедь за угол. Ель — равных нету! — буркнул продавец.

Свернув в боковую улицу, доктор вышел из машины и, никого не обнаружив, растерянно оглянулся по сторонам. Из ближайшего подъезда наконец вышел мужик с туго стянутой веревками елью в руке.

— Во, бери. Червонец с тебя.

— Развяжите ее.

— А кто мне её свяжет, если ты не возьмеш?

— Так же ее и скрутите веревкой.

— Да я ее нежнее, чем ты свою дочь пеленками пеленал, понял? — с горечью произнес алкаш, показывая товар лицом.

— Отличная елка! — с удовлетворением отметил доктор, придирчиво осматривая ее со всех сторон.— Берем, доня?

— Берем, папка. Красивая какая! — с неподдельным детским восторгом выкрикнула Лерка, подпрыгивая от нетерпения и радости.

— Я ж говорил! — обиженно промычал ханыга, пряча деньги.— Через год приходи тридцать первого. Это мое парадное. Я тут всегда бываю под Новый год.

— Скажите, а у вас еще есть?

— Чего?

— Ели, спрашиваю, есть еще у вас?

— Сколько тебе нужно?

— Две.

— Имеем. Две и имеем, последние...

Подъехав к дому дочерей, доктор бережно внес две елки на третий этаж, поставил их у дверей старшей дочери, надавил на кнопку звонка и, услышав торопливое: «Кто там? Иду!» — ступил в кабину лифта...

Вечером лесная красавица щедро расточала хвойные ароматы, слегка потела, еще не привыкнув к центральному отоплению, усиленному вниманию окружающих, и стойко выдерживала критические нагрузки в виде бус, шаров, конфет, яблок, крытых блестящей фольгой орехов, конфетти,

бертолетового пожароопасного снега. Гирлянды космических кораблей неслись в мироздание, устремившись к яркой пятиконечной звезде, венчающей елку, подмигивая и играя слезным хрусталем люстры, расцвечивая давно уже декоративную кафельную печь, зажигая солнцем медь подсвечников старого «Беккера», на котором в редкие часы мажора музицировал еще Даниил Элевич, утверждая в себе Исаака Дунаевского, писавшего музыку для веселых, счастливых ребят нового общества.

Разрумяненная Лерка, которой была доверена основная работа, с огромным наслаждением подавала отцу игрушки, извлекая их из трех объемистых чемоданов.

Сосредоточенно сопевшая Нюра, презрев успехи мировой офтальмологии, не пользовалась очками и подвязывала шары на суровую нитку, передавая их Сенечке, советующему супруге, куда водрузить очередную солнечную искорку.

Наконец Дед Мороз занял свое почетное место рядом с юной Снегурочкой и небезучастной ко всеобщему празднику Наной, переселенной из детской вместе с кроваткой под елку.

Изгнанные Нюрой из гостиной, отец с дочерью заперлись в спальне, где Лерка, заполучив обещание быть разбуженной «только честно и в срок», мгновенно уснула, после чего доктор, изрядно волнуясь, совершил террористический акт, негласно проникнув в гостиную, где, забравшись под елку, снабдил глядящего на него со старческой мудростью и хитринкой Дедушку Мороза подарками для женщин. Причем в каждом конкретном случае были учтены вкусы, пожелания и даже необходимость, как считал он, скрывая «под снегом» коньки для юной фигуристки, которые обязательно обеспечат ей грацию, длинные ноги, тонкую талию, а прежде всего гарантируют гармоничное развитие,— таковой дал себе слово вырастить Лерку любящий муж и отец.

Как только нарядный «Павел Буре», сверкая начищенным вицмундиром, торжественно пробил половину двенадцатого, семья доктора собралась за праздничным столом для проводов старого года, доброго, пусть немного и грустного, но изменившего к лучшему жизнь каждого из них. И если были какие-то недоразумения, сомнения, разочарования, все они останутся в прошлом, а Новый год принесет им полновесную и желанную радость, потому как человек живет один раз и непременно должен быть счастлив.

Приняв поздравления взрослых, Лерка, выступая посредницей между Дедом Морозом и присутствующими, одарила Нюру оренбургской шалью ажурной вязки, проверенной

тут же главой семейства благополучным протягиванием оной через обручальное кольцо; Асе досталась норковая «боярка» и стилизованный украинский платок; Сенечке — нескромные, вызывающе подмигивающие брильянтовые запонки (переведенная в ценность денежная благодарность Гуревича за подаренную изменщицей квартиру, склонившую к положительному финалу педагогическую поэму с Леночкой Нилиной), и если к этому добавить каждому любовно связанные Нюрой носки, то следует признать, что Дед Мороз прибыл в дом доктора вовремя и не напрасно.

Взлелеянная в душе тайная надежда на приход дочерей к двум часам угасла окончательно, но поздравительные телеграммы за подписями «Семья Лернер» и «Семья Веригиных», полученные накануне с добрыми словами пожеланий счастливого Нового года, обнадеживали и убеждали в том, что семейные связи не порваны окончательно, и, может быть...

— Даст Бог,— мечтательно произнесла Нюра, поднимая высокий бокал, наполненный «фричем»,— в следующем году и места за столом для семьи нашей не хватит!

— Даже не сомневайся, милый! — заверила мужа Ася.— Мы все обязательно будем счастливы! Прости меня... Одна я виновата в горестях, выпавших на твою долю, но, уверяю тебя, в наших сердцах всегда будет торжествовать любовь и разум! Спасибо тебе за все! Будь счастлив. Нюронька — здоровья вам и солнца! И неба чистого!

— Папка, миленький! — потянулась к Гельману Лерка.— Потанцуйте с мамуленькой.

Музыкальная трель дверного звонка, прервавшая вдруг веселье, преподнесла хозяевам сюрприз в лицах семей Кагана и Даля, расстрелявших прихожую двумя мортирами шампанского и наполнивших гостиную доктора излишним шумом и купеческим сумасбродством.

— Сеем, сеем, засеваем,— разбрасывая ханский рис по ковру прихожей, пьяно протянул Зема.

— С Новым годом поздравляем,— закончил за него Даль.

— Да разве ж рисом засевают, да еще в новогоднюю ночь? — рассмеялась Нюра.

— Кто что любит, милая Анна Петровна,— ответил Зема.— Я, например, обожаю плов.

— Зиновий Исаакович любит все, что едят руками,— добавила развеселая Ника.— Сегодня готовлю плов. Приглашаю всех присутствующих. Зяблик,— повернулась она к Далю,— ты знаешь о том, что у меня золотые руки?

— Да, дорогая! Особенно, когда мы ходим в гости и ты надеваешь кольца. Если говорить о драгметалле применительно к рукам, то в этом доме в настоящий ответственный момент времени присутствуют три пары голдовых рук: мои, доктора и Земика... Твои четвертые. Причем уточняю: проба рук доктора — четыре девятки — золото межгосударственных расчетов, так как он делает здоровье. Проба моих рук — девятьсот пятидесятая, потому как я творю красоту. У Земика — ручки «негде пробы ставить», он делает деньги, за которые красоту покупают, ну и, конечно, проба твоих шаловливеньких, дорогая, где-то пятьсот восемьдесят третья... Да-да,— посмотрел он на Нинку.— Восемнадцать каратиков в европейских мерках. Твои ручки умеют любить. Правда, любовь чревата синяками...

— Откуда ты знаешь, нахаленок? — процедил сквозь зубы взбешенный Каган, утащив насмешника в кухню.

— Дядя, успокойтесь и отойдите от набора кухонных ножей, или, может быть, мне станет плохо. Мы еженедельно ходим в сауну, дядя. А поверить в то, что ваша добропорядочная супруга столь неистово любит, я не могу. Вы же сами жаловались мне на ее гипертонию. При таком жарком чувстве она бы давно умерла от инсульта и, в конечном итоге, я бы стал холостым.

— Это меняет дело,— успокоился ревнивец,— а то я хотел уже откусить тебе ухо, чтобы все видели нарушителя данных им обязательств.

— Неэстетично,— захохотал Даль, направляясь в гостиную.— Впрочем, я знаю историю умирающего эгоиста, которую сейчас вам поведаю. Прочувствовав свою кончину, тот, вместо священника, пригласил к смертному одру любимую жену, которой на прощанье откусил нос и помер, бедняга, на зло врачам от натуги. Он считал, что на безносую вдову никто не позарится. Причем у него не хватило сил выплюнуть откушенный кончик. Из поколения в поколение пересказывают, что даже мертвый он с такой силой сжимал зубы, что вдовий нос пришлось похоронить вместе с ним. Безутешная вдова ходила на кладбище и справляла две заупокойные молитвы сразу: одну по носу, другую по носоглоту. Тогда-то и родилась поговорка «он остался с носом» и медицинский термин «носоглотка». Не верите?! Спросите у доктора...

— Друзья мои! — поднял рюмку Каган, к которому вернулись апломб и уверенность.— Выпьем за мужскую дружбу. Она-то и привела нас сегодня в дом человека, которого я люблю крепче, чем брата. Семен! Будь счастлив в Новом

году! Асенька! Я люблю вас братской любовью. Я счастлив взять на руки и прижать к груди вашу дорогую малышку. Готенью! Наконец-то я могу подержать ее на руках. Расти большая-большая,— поднял он над собой Лерку.— А теперь главный сюрприз вечера: через несколько минут к нам придет настоящий Дед Мороз с подарками, после вручения которых Лерочка пойдет спатки, а мы поедем в лес, где продолжим наш праздник...

Живой Дед Мороз вызвал искреннее восхищение присутствующих, и, в первую очередь, смутившейся Лерки, хоть был он, прямо скажем, рыжебородым студентом культпросветовского училища, изрядно навеселе, да и утомленным до крайности. Ко всему, он без устали грассировал артикулярные с чисто французским прононсом, мучал шипящие и картавил весь алфавит, за исключением мягкого знака.

Слушая его проникновенное поздравление, убившее наповал всех логопедов современности, никто из присутствующих не осмелился взять на себя обязанности переводчика ввиду крайнего непонимания речи. И все же хозяева были польщены и тронуты вниманием гостя. Даже Анна Петровна доброжелательно посмотрела на Кагана, которого всегда недолюбливала и не желала их дружбы с Сенечкой.

По призыву Деда Мороза хозяева и гости, дружно взявшись за руки, пробежали веселым хороводом вокруг сияющего чуда с песней «В лесу родилась елочка», которую затянул студент-дипломник после выпитой рюмки, попросивший присутствующих не называть его дедушкой, потому как он просто Гоша. При этом он порывался снять с себя красный, в синих звездах маскхалат, ссылаясь на духоту и невозможность проявить в нем свои познания в твисте и рок-н-ролле.

Ну, а на что в «весы годивась евоска», никто из присутствующих не узнал, потому что Гоша вдруг сослался на уплотненный до крайности производственный процесс и, воскликнув фальцетом, которому могла б позавидовать Има Сумак в пору восхождения на звездный пьедестал: «Швушпа пшеште вшево», сбежал, забыв не только щедрые чаевые, но и, что наиболее важно, мешок с подарками.

— Дедушка! Куда же вы? — призывно вопил отяжеленный подарками делатель красоты Даль.— Дядя! Прекратите немедленно! Остановитесь! Мешок, прогрессивка, слышите!

Автомобиль службы быта стоял у дома. Проснувшийся от крика дежурный водитель, не осмыслив вполне ситуации,

схватил монтировку, и неизвестно чем бы все это закончилось, если бы предусмотрительный Даль не бросил мешок и не умчался мерным галопом в спасительную тень подъезда.

— Меня никто не хочет понять,— жаловался он, упав в кресло.— Я же всем желаю добра.

Я бедный инок на чужой дороге,
Скрывает грязь во тьме мои шаги...

— Такое твое еврейское счастье,— засмеялась Нинка, увлекая Кагана в вальс.

— Молчи, грабительница,— огрызнулся Даль.— Ты лишила меня желанной свободы и жарких муз современности. Может, я убью тебя по неосторожности или в состоянии сильного душевного волнения. Только скажи, где ты изменишь мне, с кем и когда?!

— Влюбленные ссорятся, значит, драться будут,— ударился в народную мудрость Каган.— Пора, друзья! Машины у подъезда...

В тихом заснеженном лесу они облюбовали раскидистую ель, очистили от снега заиндевелые ветви, нарядили ее бенгальскими огнями, серпантином и, разогрев на сухом спирте охотничьи колбаски, пустили по кругу витой рожок, наполненный доброй пшеничной водкой.

— Хавейрым! — подняв рог высоко над собой, начал Каган.— За скорый отъезд!

— Вы, как всегда, правы, дядя.

— Откуда ты знаешь, что я в отпуске? — удивился доктор.

— Сенечка! Ты не понял. Я пью за отъезд домой.

— За Европу! За миры! — улетел в снега Нинкин восторг.

— Земик, я за тебя боюсь,— взвизгнула «наша жена».

— Я тоже боюсь... простудиться,— ответил тот, закусывая хрустящей колбаской.

— Ну что же, счастливой дороги,— пожелал доктор, пригубив рог.— Приедем к вам на проводы.

— Или мы к вам,— попытался злословить Даль.— Впрочем, нет. Вам нас уже не догнать. Через месяц получаем вызов — и «привет родителям».

— Сенечка, не расстраивайся,— обнял его Каган.— Я налажу почтовый мост Тель-Авив — Киев и регулярно буду тебе присылать «Вестник онкологии» и «Новинки медицинской аппаратуры». А вам, Асенька, патентные японские препараты для лечения псориаза и экземы в короткие сроки, без осложнений.

— От меня, дядя, вы получите все остальное... Только верните письма...

— Кстати, Асенька, я предлагаю совершить прогулку заснеженным лесом. Сенечка не возражает. Возьмите меня под руку,— предложил Каган.

— Земик, я ревную! — вскрикнула «наша жена».

— Женщина! Я чувствую, что напрасно увлекался с вами Талмудом и внушал правила хорошего тона в высшем еврейском свете. Мы удаляемся для обмена мнениями по назревшим политическим вопросам.

— А мы с Сенечкой пойдем в другую сторону.

— Попрошу не путать разврат с политикой.

— Асенька! Если он будет назойлив — зови,— посоветовала она, крепко прижимаясь к доктору.— Сенечка, с ним так трудно! Он на редкость сумасброден, и, если когда-то я мучалась его тягой к шестнадцатилетним девочкам, так теперь он весь в работе. Я его почти не вижу: работа, работа, работа. Вразуми его, Сенечка.

— Вы не должны жаловаться на супруга,— тихо проговорила Нинка, провожая горестным взглядом своего господина.— Ваш муж — победитель социалистического соревнования по итогам года и ударник коммунистического труда.

— А если он во что-то ударится, то это надолго,— дополнил одинокий Даль.— Вот я ударился в искусство и творю красоту. А он эту красоту ударяет и разрушает. Ваш муж, мадам, объявил красоте войну не на жизнь, а на живот.

— А что в этом плохого? — встала на защиту своего кумира Нинка.— Я считаю, что красоту убить невозможно, и тот, кто ее не щадит, лишний раз убеждается в ее бессмертии.

— Убивать красоту — это пошло.

— Вы что, мадам, хотите оставить меня безработным? Земик уродует созданный мной шедевр, а вы спешите ко мне, и я творю новый. Пью за убийц, дающих мне работу!

— Может, хватит, зяблик?

— А вот за это вы мне еще не платили. Я сопьюсь по собственной инициативе и умру черным днем от белой горячки. Я чувствую свой конец! Я сделал бы это раньше, если бы знал, что проявляю крайнюю оригинальность. Но, к сожалению, до меня так уже поступали мои друзья Ленечка Барков, Сережа Есенин, мой папа, наконец, и соседский доморощенный поэт Левик Косоглядов, оставивший жене Нюсе вечные строки:

Я вас любил, чего же боле?
Как я могу еще ласкать?..

Он захлебнулся в малолитражной ванне, прочувствовав всем телом грандиозность темы и не смирившись с мыслью, что где-то эти строки уже читал. После его смерти Нюся сумела внушить окружающим, что была женой поэта, и вышла замуж за театрального пиротехника. Теперь она экономит на электроэнергии, потому что муж знает все... и даже секрет счетчика, с учетом блуждающих токов, Энергосбыта и внутренней электропроводки. Доктор, благодарите меня. Я скрасил вам муки ревности и горечь страданий. Они уже возвращаются,— показал он на дорогу, по которой неспешно прогуливались новогодние раскольники.

— Поймите наконец,— убеждал ее Каган, усиленно жестикулируя обеими руками,— такие варианты жизнь предлагает не всякий раз, и с соблюдением полнейшей тайны предприятия.

— Поэтому вы и не обратились к Сене?

— Я бы обратился к нему, будь он специалистом в данной области. Но в данном случае, как вы понимаете, он стал бы только посредником между нами. А я ненавижу посредников, они, как правило, не дают гарантий. Ну и, кроме того, на сегодняшний день три тысячи на дороге не валяются. Поверьте мне, Асенька, как деловому человеку: совсем неплохо иметь личные сбережения даже вам, жене богатого человека.

— А если кто-то узнает? Вы подумали о последствиях?

— Асенька, мне нравится ваш подход к делу. Вы практичный человек. Я забыл о плате за страх. Пять тысяч! Когда и куда ей прийти?.. Поверьте, я ж копейки с этого дела не имею. Мой долг — помочь ближнему, если он еврей. Тем более, женщина,— поднял он затуманенный взгляд к гаснущим звездам.— Три года назад я выдал ее замуж за перспективного геолога. Сейчас он в Монголии. Возвращается где-то через месяц. И нате вам — такое несчастье! Войдите в ее положение на секундочку.

— Не смогу.

— За такую сумму?!

— Не смогу войти в ее положение. При всем желании,— улыбнулась Ася, принимая решение.— Что же касается остального, то третьего утром я отправлю своих, ну а к двенадцати жду вас.

— Отлично,— оживился он,— будем ни минутой позже. Да, для любознательных мы говорили о проблемах отъезда. Вас еще не тянет в Израиль?

— Видите ли, Зиновий, порой у меня такое на душе бывает, что плюнула бы на все и уехала. Все равно куда, только бы

подальше. Но это лишь в дурные минуты. Ну, а у Сени... и дочери, и Нюра — он их никогда не оставит. Да и зачем? Думаю, рано или поздно, все в нашей семье наладится.

— Это не так просто, Асенька, вы не знаете его дочерей,— зло ухмыльнулся Каган.— Я вам не враг. А Сеня — друг моего детства. Но, откровенно говоря, я хочу, чтобы жизнь врезала ему по макушке, да побольнее. Только в таком случае я бы вывез отсюда близкого мне человека. На Западе вы бы ожили. Частная практика. Миллионные варианты. Жизнь для себя. Вам это необходимо.

— Вы так считаете?

— Убежден. Вам необходимо безраздельно владеть супругом и избавиться от всех негативных воздействий. А в том, что они существуют, мы с вами убеждены. Смотрите, они направляются к нам. Готовьтесь к бою. Встречаем врага ураганным заградительным огнем. Снежками по цели,— скомандовал Каган.

После двух неприятельских залпов, не выдержав натиска противника, идущего развернутым строем на верную смерть, Каган кинулся врассыпную и незамедлительно попал к Нинке в плен.

— Зема, рыбина,— шептала она,— прекрати сватовство или я вцеплюсь ей в волосы, а «наша жена» узнает тайну жизни. Через час мне зяблик передаст в ванную ночную сорочку...

— А через два я тебя зарежу. Брысь отсюда и не шали, киска,— успел проговорить он и прочувствовал ком хрустящего игольчатого холода на вспотевшей от злости спине.

— Остынь,— рассмеялась Нинка, убегая...

Простившись в аэропорту с мужем и дочерью, улетевшими на отдых в красочный зимний Домбай, Ася подвезла Нюру к дому падчериц, в глубоком раздумье вернулась к себе. Проблема врачебной этики встала перед ней во весь исполинский рост первой труднопреодолимой преградой на пути примирения с логикой, совестью и законом.

«Я — врач,— рассуждала она,— и поэтому наделена обществом исключительными полномочиями в бескомпромиссной схватке с недугом. Я обязана оказать помощь во всякое время тому, кто в ней нуждается. Я должна отдать больному свой опыт, знания — всю себя без остатка. В данном случае я уверена, что верну больной практическое здоровье... Да, но закон запрещает лечить эту болезнь вне стационара. Почему? Закон хочет оградить общество от проникновения инфекции и заражения. Но случай-то исключительный!!! Госпитализация в специализированный стацио-

тайну перед супругом — а это
зар не позволит соблюсти
трагедия, разрыв семьи. Двое детей без отца! Ради сохранения семьи, пусть даже чужой, нужно решиться. А главное,— призналась она себе в том, что знала с самого начала,— мне нужны деньги! Другой такой возможности не будет, и все равно страшно... Но это только несколько недель. На втором этапе ее можно будет госпитализировать к себе в отделение... с тяжелой экземой, наконец. А что делать? Помещу в изоляторе и доведу лечение до конца. Ну, а если узнают? Кто и каким образом? Проговорятся. Она? Никогда! Это ее жизнь. Каган?! Он уезжает. Источник?! В самом деле, а кто источник? Почему я не подумала об этом сразу и не спросила Кагана там, в лесу...»

Дверной звонок прервал ее размышления. Спутница Кагана, миловидная женщина лет тридцати, не в силах сдержать свои чувства, разрыдалась, как только они остались вдвоем.

— Пожалуйста, прекратите, не нужно расстраиваться. Этим вы себе сейчас не поможете. Как вас зовут?

— Светлана.

— Где ваши дети, Света?

— У мамы. Они зимуют на даче.

— Когда вы их посещали в последний раз?

— Два месяца назад.

— Ну, а когда вы встретились с виновником ваших несчастий?

— Сегодня пятьдесят шестой день.

— Так ведь это счастье! — улыбнулась Ася.

— В чем?

— В том, что ваши дети безусловно здоровы!

— Ах, да, конечно! Я как-то забыла...

— Почему вы считаете, что больны?

— Ну как вам сказать? У меня была язвочка на губе. Только вы не подумайте... Я с ним не была. Ну, как женщина. Можно мне закурить?

— Конечно, курите.

— Не знаю, с чего начать,— глубоко затянувшись табачным дымом, продолжала она.— Когда-то, еще в девичестве, я встречалась с хорошим парнем. Потом... потом ничего у нас не связалось, и мы расстались. Он — журналист. Часто, да что там, почти всегда в разъездах. В последние годы на Западе... В октябре мы случайно встретились в театре. Ну, и конечно... все вспомнилось. Он рассказал, что так и не смог создать семью... просил о встрече. Мне... я тоже хотела увидеться еще раз. Первая любовь живет, наверное,

всю жизнь где-то под сердцем. Нет-нет, да заносит... Короче, встретились в ресторане, ну... ужин с шампанским и поздними гвоздиками. «Хочу посмотреть, как ты живешь!» Поцелуи, а потом,— вздохнула она,— какая-то неестественность... Ну, в общем, то, к чему я была готова, он внезапно разрушил... сказал, что должен немедленно с кем-то увидеться и ушел... Я еще спросила: «Ты боишься меня?» Он ответил: «Боюсь! Но вернусь обязательно...» И больше не пришел... А неделю назад позвонил. Сказал, что всему конец, он в больнице. И просил меня обратиться к врачу... провериться. Ну, а что мне проверяться, если я вся в «розах»,— вновь разрыдалась она.

— Светлана! Еще раз прошу — успокойтесь. Слезами горю не поможешь. Раздевайтесь. Да, вот еще: горло болело?

— И сейчас болит. Чем только не полоскала...

Мельком взглянув на больную, Ася определила классическую форму второй начальной стадии.

«Очень уж быстро,— подумала она,— да и ангина еще не ко времени... Так, с чего же начать? Взять кровь и запустить схему... Немедленно».

— Света, о деньгах, предложенных мне Зиновием Исааковичем, кто-нибудь знает?

— Нет-нет! Пусть это вас не беспокоит. У меня ведь второй муж. С первым мы расстались накануне его отъезда в Израиль. Я не решилась уехать отсюда. Он заплатил мне за разрешение.

— Не понимаю?

— Ну как же! У нас общий ребенок, которого по закону он должен был содержать на иждивении до совершеннолетия. Ну, а в связи с отъездом он выплатил мне алименты на содержание ребенка, а я, в свою очередь, дала ему письменное разрешение на отъезд, в котором удостоверила, что мы не имеем материальных претензий и не возражаем против его отъезда. Тогда мне очень помог определиться Зема,— замялась она,— Каган, в общем. Об этих деньгах не знают ни родители, ни муж.

— Понятно! Давайте избавляться от Зиновия Исааковича. Скажите, вы верите в то, что ваша тайна останется таковой?

— У него?

— У него! — пристально посмотрела Ася на собеседницу.

— Не сомневайтесь, он очень порядочный человек! Притом... короче, он все равно, что я...

Через месяц вернулись домой обожженные жарким солнцем Домбая посвежевший доктор с бронзовой Валерией Семеновной, самостоятельно набегавшей быстрой кавказской лыжней сто километров и прибавившей три килограмма веса, два сантиметра роста и не поддающейся измерению бодрости. В ночь возвращения Ася впервые не напомнила ласковому супругу о том, что спать он должен в своей спальне. А может, соскучившийся доктор впервые бодрствовал, не думая о сне...

Среди прочих дел, совершенных им в первый рабочий день, была и госпитализация в кожное отделение Светланы Н., страдающей тяжелой формой мокнущей экземы. Прибывший через неделю из Монголии скиталец-геолог, мечтавший о долгожданной встрече с любимой, вместо супружеской постели попал в изолятор дерматологического отделения, где, едва узнав под бинтами свою многострадальную жену, горестно плакал навзрыд, размазывая соленые слезы по-детски кулаком, по озаренному высшим прозрением профилю.

— Доктор, миленькая, спасите ее! — умолял он, хватая за рукав Ассоль Леонидовну, пришедшую произвести банальный угол пролонгированного антибиотика в ягодицу страдалицы.

— Не волнуйтесь! Две-три недели — и ваша жена будет здорова. Обещаю вам,— отвечала доктор, выпроваживая впечатлительного и нервного посетителя...

ГЛАВА 16

В начале января озабоченный шеф салона «Слезинка» в последний раз обошел апартаменты, понежился в мягком управленческом кресле в тиши кабинета, нежно пожурил Берту Львовну за небрежно произведенную влажную уборку холла и уволился в связи с резко ухудшившимся состоянием здоровья.

Удрученные творцы красоты и моды со слезами на глазах пожимали мягкую, можно сказать, отеческую ладонь шефа, искренне желая Борису Аркадьевичу скорейшего выздоровления. И только Виктор Аронович не принимал участия в стихийно организованном траурном митинге, потому как знал правду. А она, простая и стыдная в откровенном неглиже, заключалась в получении Вайнером долгожданного дубликата просроченного вызова от Леи Шварц из Тель-Авива в заказном письме от сестры из Хайфы, определившем всему свое место строкой: «Богатый может все!

7*

Даже купить три холодильника за три тысячи», и в характеристике местного Горбыткомбината, выданной крайне влюбленному в тетю Лею племяннику для представления в отдел виз и регистрации выездов за границу при районном отделе внутренних дел, куда, преодолевая страх и неприязнь, обратился он в приемную среду. Роль моторизованного поводыря безропотно продолжал выполнять Даль, получивший накануне в знак особого расположения шефа две сберкнижки в счет уплаты предъявленных векселей.

— Ты знаешь, мне чего-то страшно,— глотая тошнотворный комок и с трудом преодолевая противную коленную слабость, пролепетал экс-шеф, открывая массивную дверь райотдела.

— Не волнуйтесь, дядя. Идите за мной и не обращайте внимания на запрещающие вход таблички.

— Если б они писали вместо «Вход воспрещен» — «Добро пожаловать», я бы к ним тоже не пошел,— скороговоркой выговорил Вайнер, едва поспевая за поводырем.

Преодолев трусцой четыре лестничных марша, они проникли в глубь коридора и остановились у нужного кабинета.

— Ну, с богом!.. Цилечка, держитесь, только не за супруга, потому что упадете вместе с ним. Главное — твердость духа и никаких волевых отступлений. Не соглашайтесь на улучшение жизненных благ. Вперед! — Даль постучал в дверь и слегка подтолкнул в нее перепуганного переселенца.

В кабинете учтивый майор вежливо поздоровался, предложил присесть и, заметив неподдельный ужас на лице Вайнера, сам почему-то смутился, затем улыбнулся, как старым знакомым, пожал в недоумении плечами и участливо спросил:

— Что вас привело к нам, товарищи?

— Мы хотим за границу! — опредила Циля восполняющего кислородный дефицит супруга.

— По турпутевке?

— Нет, по приглашению.

— В какую страну?

— В Израиль, для воссоединения,— нашелся наконец Вайнер.

— С кем же вы хотите воссоединиться? — помрачнел майор.

— С тетей и даже с шурином.

— У вас есть вызов?

— Как это, как это? Конечно, есть.

— Покажите, пожалуйста.

Он долго изучал анкеты, справки, характеристики. Затем посмотрел на смятенных супругов долгим, сочувствующим взглядом, от которого они сразу как-то съежились, вроде стали меньшими, покраснели и опустили глаза. Спросил:

— Вы обдумали свое решение?

— Как это, как это не обдумали! Еще как обдумали,— заерзал на стуле Вайнер.

— Мы решили. Раз и навсегда,— добавила Циля решительно и категорично.

— Скажите, Борис Аркадьевич, что вас привело к такому решению? Может быть, вы стоите перед неразрешимыми, на ваш взгляд, проблемами?

— У нас нет проблем,— ответила за мужа Циля.

— Да-да,— подтвердил тот.— Только просьба: воссоедините меня с тетей в рамках Израиля.

— Не своими словами говорите, товарищи... не своими. Подумайте о том, что вы теряете!.. Ваши родители живы?

— Слава богу, нет!— выпалил смятенный оратор.— Матери умерли, а отцы погибли.

— Где они погибли?

— Цилин на фронте, а мой в Бабьем Яру.

— Вы никогда не задумывались, за что они отдали свои жизни?! Они погибли за Родину, Борис Аркадьевич, за свободу, честь и независимость единственной нашей с вами Родины. И нигде и никогда, поверьте, вы не обретете того, что теряете. К тому же, вы вы уезжаете с несовершеннолетним сыном. Имеете ли право лишить своего ребенка Отечества?

— Послушайте,— оправилась от стыда, которого, возможно, и не испытывала, Циля,— мы все взвесили... Да, Боря?!

— Как это, как это, еще как взвесили. Раз и навсегда. Семь раз отмерь и посчитай деньги...

— Ну что ж, мы вас вызовем. Идите и подумайте над моими словами... И помните: остаться без Родины — самая страшная болезнь живущих! Передумаете, приходите в любое время. Ждем вас...

— Спасибо, но мы уже решили. Оформляйте поскорее. Тетя нас ждет! — убежденно закончила мадам Вайнер, полностью преодолевшая шок...

— Ну, как я? — с гордостью спросил Борис Аркадьевич вдруг обессиленную супругу.

— Сегодня я вспомнила, каким ты был когда-то,— проворковала она, крепче прижимаясь к ужниному боку.— Скорей бы уехать, Бебби!..

— Витя! Я ему закатил такую речь!.. Что тебе сказать? Цилечка может подтвердить,— самодовольно проговорил он, развалившись на заднем сиденье автомобиля.— Он агитировать меня хотел! Забрали такое место! Золотое дно! Им, видите ли, нужно метро... А мне — камни в почки! Пожалуйтесь!.. Что я ему скажу? Что у меня забрали кусок хлеба? А как это объяснить? Написать заявление и идти с повинной к прокурору, чтоб он сгорел?

— Да-да! Лучше уехать непонятым в международном вагоне, чем понятым в «столыпине». Тем более вам, богатому человеку. Да еще с такой женой!

— И с таким ребенком, как Додик,— добавила польщенная Циля.— Достигнет или не достигнет — это вопрос. Но женится, даст бог, на девочке, и только из хорошей семьи. Такой красивый мальчик! А манеры!

Даля не интересовали будущие достижения Додика, а равно его манеры. Потому он наскоро высадил готовящихся в переселенцы у антикварной комиссионки, которую они с некоторых времен регулярно посещали в поисках резных поделок по дереву, и умчался к дому актеров, опротивевшему за месяцы «супружеской жизни».

Нинку он застал, как всегда, в ванной. Столь удивительно неоригинальный метод пытки, изобретенный «супругой» в ответ на холод безразличия со стороны Даля в целях пресечения любых попыток, позволяющих нарушить данное им слово, культивировался на протяжении последних месяцев, невзирая на безразличие, порой на почти неприкрытую враждебность и все усиливающуюся тягу к безмолвному созерцанию «Дженессес» и датской «Кей холл» [1] в зримом присутствии естественного, заряженного солнечной энергией и почти неотразимого длинноногого раздражителя.

— Зяблик, ты? — донеслось из ванной, едва он вошел в прихожую.— Был Зема. Просил позвонить «нашей жене». Немедленно. Телефон у меня. Набираю номер. Держи...

Даль в нерешительности приоткрыл дверь. Просунул руку в щель. Взял трубку.

— Алло, Зиновий Исаакович? Это Виктор... Да, там порядок... Что?.. На сколько дней?.. Могу... А сколько это будет вам стоить? Опять неправ... Хорошо... Пошла в соседний дом, к Майке... Добре, пока. Держи чебурашку,— предложил он Нинке.

— Сам положи,— предложила она, задергивая полиэти-

[1] «Дженессес», «Кей холл» (англ.) — порножурналы.

леновую шторку.— Ну, не бойся, смелее! Ты видел Диану после удачной охоты?

— Это что-то новое.

— Безусловно,— отдернула она шторку.

— Ну, а где же колчан, стрелы и пара фазанов для юмора? — небрежно спросил он, глядя на укрытую пенным покрывалом богиню.

— Все это на другой картине. Я же тебе ясно сказала: Диана после охоты. Или ты считаешь, что она не принимала ванну?

— Я считаю, что ты не богиня,— проговорил он, оставляя ее одну.

— А я уверена, что ты не джентльмен... Чтобы не сказать большего,— повысила голос Нинка.

— Не кричи. Я слышу... К сожалению, это так. Я не джентльмен. Но, к стыду моему, я не смогу быть другим.

— Почему?

— Спроси у Земы.

— Он тут ни при чем,— с деланым сожалением сказала она, проходя в гостиную.

— Послушай, Нин, чего ты хочешь? Разоблачить меня перед Каганом? Так оговори, не все ли равно? Соблазнить? Зачем я тебе, ты ведь любишь другого. Просто для коллекции? Не стоит... Я же знаю, что ты любишь Кагана, и уверен, что он у тебя единственный и навсегда. Иначе к чему такие траты? Поэтому не стоит хлопотать. Я и сам коллекционер в некотором роде. Недавно прекратил собирать пряди волос возлюбленных, ибо мама донельзя растрогалась, решив, что ее сын фетишист... Ну, а главное — в первопричине: ты хочешь сделать меня участником нездоровой игры, в этом я тебя немного понимаю... Ты несколько своеобразно бежишь от одиночества и, мучаясь неуверенностью, хочешь заполучить ненадежную, кажущуюся опору. Но я, Нин, сам в ней нуждаюсь. Сегодня я, как и ты, одинок. Еду, потому что все едут. Такие же, как я и те, с кем общаюсь. Которым кажется, что они заслуживают у жизни большего. Я в этом не очень уверен, потому что не знаю, во что меня там оценят.

— Почему же ты в таком случае не останешься здесь? — спросила она, с трудом преодолевая крайнюю подавленность.

— Во мне звучит голос крови.

— Только не смеши меня.

— Я говорю то, что чувствую. Да-да,— перехватил он ее скептический взгляд.— Во мне говорит кровь. Но не путай ее с кровью иудеев вообще. Я на всех них плюю. Мой брат там, и я люблю его. Я же не виноват в том, что он ювелир и не

смог здесь развернуться так, как бы ему хотелось. Он также не виноват в том, что ему местами перекрывали кислород: и не тот, что питал февку, а тот, что наполнял карманы. Человек, который раз, всего один раз легко заработал, ни когда уже не преминет случаем. Когда-то я впервые причесал невесту перед свадьбой. Мне заплатили на радостях целых двадцать пять рублей, не говоря о такси в два конца. Когда я вошел к ним в квартиру, из двадцати глоток вырвался вздох облегчения, будто я, и только я должен и смогу оживить бабушку, которая не успела сказать любимой внучке, где лежат «рыжики»... А невеста была красивая и ни в чем, кроме любви, не нуждалась. Ей было лет двадцать. После моей прически ей стало тридцать, если не больше. Но, перехватив ее взгляд, я вдруг понял, что придал необходимую ей уверенность. Тогда-то я узнал, что обладаю бесценным даром, который соответственно и должен оплачиваться. Прошло несколько лет, я вознесся над толпой таких же бигудинников, как и сам, не более других преуспев в квалификации, но сумев прочувствовать суть. Только не думай, что я преувеличиваю. Ты немного знакома с моей клиентурой. Для меня не существует неразрешенных проблем. Я могу все. Где бы я не появлялся, меня ожидают с единственным желанием — ублажить. Но никто из клиенток, а их тысячи, не знает того, что знаю я сам — я просто банальный мелкий жулик! Вот от этого я и бегу. На Западе мне не нужно будет воровать. Там труд соответственно оплачивается. В отличие от местного колорита, понимаешь? В конечном итоге, я продаю уверенность: хочешь — купи, не хочешь — влачи свое жалкое существование и сомневайся! Во всем: в верности мужа, в чувствах любовника, в скромности дочерей... К тому же, я — поэт. Я чувствую, что смогу писать.

— Прости, у тебя голова не горячая?

— С чего это вдруг?

— Если ты не пишешь на родном языке, то что сможешь выразить на иврите?

— Не обязательно на иврите, можно и на русском. Мало ли издательств и эмигрантов? Некоторых печатают.

— Оригинальным ты не будешь, даже если и состряпаешь что-нибудь.

— Я и не претендую. Найду свою музу и посвящу ей тысячу сонетов.

— Почему ты ее не нашел здесь?

— Мои избранницы были слишком наивными и легкомысленными. А может быть, я был чересчур нетерпеливым... Но мы отвлеклись и упустили главное. Оно заключается

в том, что перед отъездом мне бы не хотелось обременять себя лишними заботами. Кроме того, я, как и всякий неженатый идиот, стремящийся на Клондайк, обольщаю себя сказочкой о правнучке барона Ротшильда, которая обязательно будет тонуть на моих глазах. Я не смогу, к сожалению, ей помочь ввиду наследственного комплекса водобоязни и сердечной боли за только что купленные модные шузы на высоком каблуке. Ну и ко всему, откуда мне знать, что тонет именно она, а не обманутая таким же, как я, скромником добродетель. Короче, женюсь там.

— Где, если не секрет?

— О, если бы я знал где! А у тебя был бы глобус. Я раскрутил бы его и ткнул пальцем, закрыв глаза. Да и вообще... Мадам, вы, наверное, забыли о том, что я женат и в течение полугода работаю на пыльных работах, не получая спецпитания!

— Это ты, зяблик, забыл о том, что у тебя есть жена, поскольку пренебрегаешь супружескими обязанностями. Придется обратиться в твой профсоюз. Ты платишь взносы, зяблик?

— Какие могут быть сомнения, конечно!

— Почему ж ты так плохо себя ведешь?

— Опять ты за свое.

— Знаешь, нет. После нашего разговора обещаю уважать твою неприкосновенность... Иди открой. Это Зема.

— Как ведет себя нахаленок? — спросил Каган, усиленно втягивая в легкие атмосферу гостиной.— За руки не хватает? Словами не нахальничает?

— Нет, дорогой. Он даже порядочнее, чем я предполагала вчера.

— Почему вчера и что сегодня?

— Потому что вчера его не было и, как всякая покинутая жена, я вынуждена была мучаться сомнениями, которые к ночи усилила свекровь. Она позвонила и спросила: «Где мой сын?» Я ответила: «В ванне!» — и повесила трубку. Не могу долго общаться, даже если свекровь ненастоящая. Ну, а сегодня он сидит дома, а значит, паинька!

— Понятненько. Урок английского брали?

— Обязательно. Правда, учительница обременена семьей, ее мать опять у Гельмана. Эти обстоятельства негативно отражаются на качестве преподавания.

— Да, но плачу я за час и всегда одинаково, без скидок. Ты должна об этом помнить!

— Не всерьез, Земик, или я скажу, что ты жмот.

— Попрошу без критических замечаний.

— Моя жена всегда права, дядя, прошу вас об этом помнить,— подал голос Даль.

— Ниннель, зяблик прогрессирует. Он становится человеком дела, о котором я забыл, увидев тебя.

— Старческий склероз, хоть я и не доктор.

— Слушай, плут, во-первых, я молодой. Ниночка!

— Самый-самый!

— Слышишь, что доктор говорит? А, во-вторых, я все-таки откушу тебе ухо. Пойдем, Магистр, приготовьте нам кофе.

— А нам творог со сметаной, если можно. И не забудьте сахар,— добавил Даль, закрываясь в спальне.

— Как я уже говорил, мой друг,— начал Каган, усаживаясь на морде Бима,— тебе необходимо посетить сердце нашей Родины, а точнее — бывшую синагогу Бродского. Прибудешь в субботу на моление, займешь двенадцатое место в двенадцатом платном ряду (оно для тебя куплено) и передашь обладателю такого колечка,— он достал из портмоне перстень-книгу,— этого близнеца. В обмен, конечно. Плачу я. Дорога, сотню на расходы и двести премиальных, понятно?

— Не совсем,— подбросил перстень, примерил его.— Топорная работа местной ювелирки. Что в книге?

— Список ожидающих вызов, не больше. Желаешь убедиться?

— Я и так верю. Много романтиков?

— Человек двадцать.

— Прошу удвоить премиальные из расчета: двадцатка с головы, которая ляжет в дзоты Синая.

— Ты режешь меня, нахаленок.

— И двести попрошу оплатить аккордным нарядом за родственников романтиков местному Али-Бабе, смиренно стоящему у ног джина.— Он скрестил на груди руки, прикрыл глаза, которые снова посмотрели на свет только под незамедлительный, многообещающий шелест купюр.

— Держи, грабитель! Но помни: этого я тебе никогда не прощу.

— Я знаю! Вы будете мне благодарны всю жизнь, дядя. Только не подходите близко, хоть мы и в спальне. Ваша избранница ревнивей бенгальской тигрицы, склонившейся над еще мокрым первенцем. К тому же, я не беру с вас денег за фамилии тех, которым вызов уже послан. Надеюсь, вторая книга тоже с сюрпризом?

Каган издал рычание тигра-папы, наблюдающего измену кормящей матери, и только появление Нинки спасло ухо Али-Бабы от неминуемой трепки.

— Я еще напьюсь твоей крови,— с деланой злостью кричал Каган вслед пораженцу, смакующему жирный базарный творог.— Сегодня ты меня сделал нищим, но придет время, и я уволю тебя, нахаленок, как пить дать, уволю.

— Земик, зачем? — смилостивилась Нинка.— Может, продлим с ним контракт — он мне нравится!

— Я куплю тебе его, дорогая!

— Зяблик! Хочешь быть моим камердинером или садовником? Будешь исполнять «сэссун» на газоне. Зарплата от количества кустов. Стрижка производится дважды в месяц.

— И никаких девчонок! — включился в игру Каган.

— Кроме меня, зяблик. Стрижка раз в неделю, укладка через день.

— Даже чаще, если смогу,— не желая понять юмора, крикнул Даль и ушел на английский манер.

Переночевав в ночном экспрессе, Даль субботним утром ступил под гулкие своды Киевского вокзала столицы и бодрым шагом продефилировал вправо от центрального входа к стоянке такси. В десять часов, с трудом пробираясь сквозь стойкие цепи верующих иудеев, он уже чертыхался, в душе проклиная утреннюю гимнастику, лишившую его столь необходимой четвертой пуговицы на дубленке в форме полусферы футбольного мячика югославского «Партизана». «Куда я, туда и все остальные,— бодро работая локтями, думал он.— Неужели здесь каждый зарабатывает «по паре копеек»? Сегодня же не Симхас-Тойра и не Пурим!»

— Дядя, пропустите меня,— вежливо попросил он дедушку в талесе и ермолке, усердно раскачивающегося в такт хронометра.— У меня двенадцатое место, с вашего позволения.

Обладатель перстня-книги сидел на тринадцатом. Даль заметил его перстень сразу и, не поднимая головы, опустился рядом, сдвинул свой с безымянного пальца, протянул вперед руку, чем сосед тут же воспользовался: в мгновение ока он произвел обмен перстнями и тихо добавил:

— С вами хотят пообщаться. Через час будьте на Неглинной 8, квартира 13.

«Ну и Каган, ну и устрица,— покачал головой Даль, пробираясь к выходу.— Зачем я писанулся в эту авантюру? Меньше видишь — меньше знаешь! Меньше знаешь — меньше влепят при случае или не влепят совсем! Это уж как повезет...»

На Неглинной его ожидали. Не успел Даль подойти к двери, как та отворилась, и он предстал перед заросшим

бородатым субъектом лет сорока, одетым в джинсы, яркий западный батник и «ни к селу, ни к городу» не менее крикливый галстук, повязанный большим узлом. На пышной донельзя смоляной шевелюре незнакомца красовалась ермолка, а на ногах, Витька даже языком прищелкнул от зависти,— великолепные кроссовки западного образца.

— Нравятся? — перехватил бородач его взгляд.— Это «Найк», двести сорок долларов по каталогу. Если желаете, могу посодействовать. Какой у вас размер?

— А стоимость, если не секрет? — улыбнулся Даль.

— Да какие уж тут секреты,— улыбнулся тот,— от людей, которых я приглашаю к себе, у меня нет секретов. Стоимость один к одному. Дороговато, как я понимаю. Тем более, мне кажется, сейчас вы, Виктор, в этом не нуждаетесь. Вы ведь скоро уезжаете, я правильно проинформирован?!

— У меня еще нет вызова. Но как только я его получу...

— Вы должны получить его днями, поэтому я и пригласил вас к себе. Ваш друг очень хорошо о вас отзывается, а мы считаемся с его мнением, поэтому я хочу вас просить об одном маленьком, но, естественно, оплачиваемом одолжении. Как я знаю, ваш бывший шеф скоро уезжает на родину.

— Да, это верно...

— А в Вене,— пропустив мимо ушей его реплику, продолжал бородач,— очень ждут мои статьи. Мы тут советовались и решили через вас решить этот вопрос. Кстати, ваш брат тоже утверждает, что на вас можно положиться.

— Вы знаете моего брата? — сконфуженно спросил Виктор.

— Мы знаем все, иначе, как вы понимаете, я бы с вами здесь не беседовал. Так что не волнуйтесь. Я понимаю, какие мысли рождаются в вашей голове. Все они абсурдны, не сомневайтесь. Вайнер не повезет информацию разведывательного характера. Всего несколько докладов по основам еврейской культуры в СССР, по ее состоянию и перспективам на завтрашний день, а также по проблеме приобщения евреев к национальной культуре. Одно рождает другое. Капсулу с микропленкой вплетите в шиньон госпоже Вайнер,— сделаете той прическу на прощанье. А в Вене ее будут ждать. И последнее: не нужно заставлять людей нервничать. Они вообще не должны знать о капсуле. Договорились?

— Если меня устроит стоимость услуги, дядя,— непринужденно ответил творец парикмахерских шедевров.

— Стоимость приемлемая. Из Вены вас повезут не в «Шенау», откуда дороги, кроме как в Израиль, нет. Вы же хотите ехать к брату, как я понимаю. Кроме того, в Вене вас не поселят в «Цум Тюркен» к воровке Бетине, а «Джойнт»[1] найдет человеческий отель. Короче, вы начнете жизнь на Западе, как и подобает приличным людям. Мы умеем ценить одолжения. Да, передайте вашему другу,— пусть полномочия передаст Косте, он знает, какому. Кассу тоже. Проинформирует преемника, кому чего и сколько. Кстати, нас интересует положение дел у доктора Гельмана. Вы с ним знакомы?

— Он друг Кагана.

— Не нужно имен,— оборвал он Даля.— Продолжайте.

— Насколько мне известно, они думают об отъезде.

— Что значит думают? Они просто обязаны уехать. Ваш друг сообщал, что разработанная им операция является для нас полностью выигрышной. Как мне помнится, у них в семье четыре врача. Для нас эта семья очень перспективная, так и передайте вашему другу. В первую очередь, мы боремся за нашу интеллигенцию. Остальной сброд — это потом.

— Простите, значит, и я представитель этого так называемого сброда? — Даль даже задрожал от негодования.

— О присутствующих не говорят. Так, кажется, заведено в этой диаспоре,— ехидно улыбнулся он.— Вы — художник, и этим все сказано. Американские модницы давно ожидают вас, Виктор. Поэтому не сердитесь. Лучше посмотрите фильм о встрече переселенцев в аэропорту «Кеннеди».— Он подошел к «Тошибе».— Впрочем...

Телефонный звонок прервал его на полуслове. Услышав голос абонента, незнакомец преобразился. Маска его лица вмиг изменилась: из величественной и неприступной она стала зависимой и подобострастной.

«Растет вниз на полусогнутых»,— отметил про себя Даль, критически осматривая японский телевизор, магнитофон, видео, внушительную дискотеку над ними. Сути разговора по ответам бородача он понять не смог ввиду употребления последним ограниченного лексикона: «да», «нет», «стараюсь», «большое спасибо» — и напоследок «привет от Марка».

— Извините, Запад задергал,— развел тот руками, расправляясь и принимая прежние очертания...

[1] Джойнт — сионистская организация, занимающаяся устройством евреев в США.

Выбравшись на улицу, Даль впрыгнул в такси и умчался на Калининский проспект, во Всесоюзный научно-исследовательский институт, запечатленный в памяти московских модниц под кодовым названием «Фея».

Сережа Нананян одиноко сидел за массивным столом в глубине уютного кабинета у стены, украшенной множеством дипломов, увековечивших его триумф во многих европейских столицах. Увидев полномочного посла солнечной Украины, он шариком выкатился из кресла, подбежал, хлопнул его по спине:

— Витька, ты? Вот это да! Ты еще здесь? Ау, Тамара! Я думал, что ты давно с арабами воюешь!

— Нет, еще не успел,— скромно подошел Даль к столу, на ходу вынимая из «дипломата» пресловутую «Горілку з перцем», голубую мечту любого официально настроенного руководителя средней полосы России.

— Тогда чем объяснить их блистательные победы последних месяцев?

— Я что-то не слышал!

— Ну как же! — вынимая из сейфа коньяк и рюмки, удивился Нананян.— Они бомбанули восемнадцать мирных деревушек и три города, сожгли кучу школ и изнасиловали всех, кто этого не хотел. А тебя с ними не было... В общем, за твою доблесть и ратные подвиги!

— Сергей, прекращай издеваться, или я уйду.

— Ну вот еще, обиделся. Ничего, я тебя и развеселю. Сейчас пойдем посмотришь, как я второй этаж отгрохал. Оборудование французское, мебель тоже. Интерьер украл у венгров — салон «Будапешт»! Теперь такого салона, как наш, в Европе нету. Только тебе открываюсь: такого нет даже в Ереване, это честно. Десять массажисток, двадцать косметологов в смену, два бара... Да что тебе говорить! А женские мастера! Средняя зарплата в салоне — четыреста тридцать, во как поднялись! Да ты пей-наливай! Я тебе суджук подрежу. Из дому прислали. Вкусный? Давай за дом!

— Будь здоров! Ты мне скажи,— с трудом нарезая зазяленное в камень остроперченное мясо, поинтересовался Даль.— Ты давно в Москве живешь?

— С пятьдесят второго, а что?

— Почему, когда говоришь о доме, Ереван вспоминаешь? Разве не здесь твой дом? И не вся страна твой дом?

— Чудак человек! Разве моя страна и мой дом — это одно и тоже? Мой дом — там, где я родился! Там, где впервые «мама» пролепетал! Ереван — мой дом! Моя

мама — армянка из Еревана! Папа — армянин! Могила его на Поросе, понимаешь? Я родился в Армяникенте, запомнишь? И где бы я ни был, громко скажу: «Мой дом — Ереван!» А страна моя — это дом твой, и мой, и друзей наших: братьев по труду и по крови, пролитой за дома наши и счастье детей наших. Где бы я ни был, где бы ни жил, к дому подъезжаю — плачу от счастья, танцую от счастья, и душа поет и кричит на семи ветрах: «Барев им тунес, Ребуни! Здравствуй, дом мой — Ереван!» А у тебя разве душа за Киевом не болит? Вот ты сейчас в Москве, о доме не грустишь?

— Не успел еще,— скрывая неловкость, ответил Даль,— с тобой не загрустишь.

— Молодец! Пошли! Сначала в женский зал, потом на второй этаж.

Женские парикмахеры, увидев гостя, оторвались от работы, обступили его, забросали вопросами.

— Ну как ты, Витек, к конкурсу готовишься? — спросила его соперница за парикмахерские лавры Мила Муллерман.— В Риге встретимся, в августе! Орган в Домском послушаем. В Юрмалу съездим. Часто тренируешься?

— Не совсем, но кое-что получается.

— Что, если не секрет?

— Гребенчатая феерия. «Сэссун» на продольной волне!

— То, что немцы показывали по обмену опытом?

— Я их не видел.

— Ах да, тебя не было. Почему ты не приехал? Мы посылали приглашения вашей фирме.

— Приболел немного, Милочка. Весна была, сама понимаешь.

— Может, ты женился и жена не пустила?

— Да, то есть нет,— смутился он.

— Странный ты сегодня. Прямо на себя не похож.

— Пошли, Виктор,— пришел ему на помощь Нананян,— доконает она тебя.

— Витька! Приходи в пересменку. Вместе пообедаем. Вечером в театр сходим!

— Спасибо, ребята, если смогу,— потерянно бросил он на ходу, едва успевая за Нананяном.

Вечером, лежа на мягком диване СВ «Славутича», он предался грустным размышлениям, рассеять которые не в силах была даже бутылка марочного «Еребуни», презентованная Нананяном и наполовину опорожненная к полуночи.

«Все чего-то хотят, куда-то стремятся, торопятся,— мучался он под мерный, успокаивающий перестук колес.—

Веселые, счастливые. Это оттого, что не догадываются о том, какие они несчастные. Она в Ригу едет орга́н слушать. Да я в Риме куплю орган и в туалете под эврику приспособлю. Буду сочетать полезное с приятным. Музыка, особенно органная, усиливает перистальтику нижнего кишечника, а может, и ослабляет. Кому что нужно. Дернул за цепочку раз — ослабилась, дернул два раза — усилилась. Сфотографируюсь на органе и ей фото пришлю. Знай наших! А еще еврейка...

А Нананян... Второй этаж построил и кичится! Что это, твое? Да после десяти вечера тебя из твоего салона твоя же сторожиха выгонит. И не пожалуйся! А что тебе там ночью делать? Любовь под государственной вывеской крутить, да? А там я под своей вывеской что хочу, то и устрою».

Он снова приложился к бутылке. В приоткрытой двери купе показалось симпатичное личико молоденькой проводницы.

— Не спится, молодой человек? — участливо спросила она.— Чайку хотите?

— Хочу... с вами выпить, если можно! Проходите,— встал он с дивана, открывая дверь.— Прошу вас.

— Вам не много будет? — глядя на бутылку, поинтересовалась проводница.— И не закусываете. Что с вами? Я сейчас шоколад принесу.

— Никогда!— патетически воскликнул он, вынимая из «дипломата» «Гвардейский».— У женщин я никогда не брал ничего, кроме любви. Сколько она стоит по железнодорожному прейскуранту с наценкой за сложность? Я плачу.

— Вы пьяны, товарищ! Вам не стыдно?

— Стыдно, даже очень стыдно,— опомнился Даль.— Просто я хам и, соответственно, везу себя домой. Простите меня. Я прошу не любви, а откровений. Вы любите мечтать?

— Без мечты жить нельзя.

— Ну и о чем же вы сейчас мечтаете?

— Сейчас? Ни о чем.

— А вообще?

— Вообще? — задумалась она.— Мечтаю институт закончить. Работать по специальности.

— Где вы занимаетесь?

— В пединституте, на историческом.

— Почему же вы здесь?

— Как почему? Работаю... и Родиной любуюсь! Разве есть лучшая возможность всю страну увидеть?

— Вот это да! — гордо хохотнул он после ее ухода.— С фонарем на полустанке Родиной любуется. И не лечится! Времени не хватает... И кто этим гриппом их всех заразил? Мечтатели... Я весь мир увижу: Австрия, Италия, ЮАР, если захочу. Говорят, там, если ты белый, то уже бог! И не просто бог, а супербог. Развлекайся и дави чернокожих. Или в ФРГ поеду. Они мне пенсию будут платить. И правильно! За что они убивали таких романтиков, как я? И теперь им стыдно. Деньгами откупаются и в глаза не смотрят. Короче... Весь мир подо мной,— пролепетал он заплетающимся языком, проваливаясь в глубокую пьяную пропасть...

С трудом попав ключом в замочную скважину, он проник в квартиру «супруги», проследовал прямиком в спальню, включил свет, отчеканил три шага по взъерошенному от злости Биму и выпалил:

— Докладывает шестой! Задание шефа выполнено!

— Вольно, зяблик,— промурлыкало одеяло.— Объясни, почему шестой?

— А что, следующий?

— Не... Просто ты не шестой и не следующий, а второй после Земы. Он звонил пять минут назад. Докладывал, что уехал от «нашей жены» в офис. Отвернись, я встану. Молодец! Сварить кофе?

— Дай чего-нибудь выпить!

— Ах, да! Впрочем, откуда ты знаешь, что сегодня нужно пить?

— Я ничего не знаю. Просто хочу чисто по-человечески опохмелиться.

— Только и того?! Идем в гостиную и торжественно пей, зяблик!

— По какому поводу?

— Вчера мы получили вызов!

— Где? Не может быть! Показывай! — вмиг оживился Даль.

— Прошу,— открыла Нинка секретер,— получите!

Он с благоговением взял лист мелованной бумаги, переплетенной красными шелковыми шнурами. Развернул его. Пробежал глазами по строкам.

— Фимуля, родненький! — благодарно шептал он.— Братишка любимый! И ничего выдумывать не нужно. Мадам! Наливайте, быстренько! За моего брата! Перед которым я буду краснеть и краснеть!

— Почему, зяблик?

— Потому что ты русачка, и к тому же жена-фикс. Хорошо, что Ватикан рядом. Упаду перед папой на коле-

ни и воскликну: «Ваше преосвященство! Умоляю, индульгенцию».

— А он тебе ответит: «Прочь отсюда, жидовская морда! У меня типография на ремонте!»

— Тогда я с горя отдамся первой монашке из его бункера, которая после рождения нашего сына потребует с него алименты. Причем суд присяжных ей поверит, зная папские повадки и трезво оценивая местную действительность.

О Вечный Рим! Любовь, постель и розы!
Ласкают, нежат, но шипы в крови...

— Кто это, Катулл?

— Ну, ты даешь! Это я, Катулл современности. Пей, Нинуля! За здоровье моего брата, Ефима Даля! Ты же любишь своего шурина?!

— Еще бы! А я что делаю? — хохотнула она, приближаясь к нему.— Ввиду невозможности выразить свои чувства шурину, я пью на брудершафт с тобой! — одарила она его сочным, чуть более долгим, чем приличествовало моменту, поцелуем.— Передашь его по назначению, разумеется. И не смей мне отвечать тем же... плевать, что так принято.

— Договорились. Вопрос номер два: сегодня же едь к шефу за характеристикой и увольняйся. В среду нас ждут в ОВИРе.

— Не ерзай, зяблик! К чему такие гонки? Зема ничего такого не говорил.

— Да? Сейчас я с ним пообщаюсь! — Он подошел к телефону.— Алло, Каган?.. Это мы... Вернулись уже? Конечно, вернулись... Вы что, дядя, радио не слушаете?.. Порядок... Так вот: моя жена больше на работу не выйдет! Сообщите об этом местным властям для устройства траурного митинга... Да, кстати, заготовьте характеристику. Не забудьте графы: замужняя и пока бездетная. Для исторической точности напишите: беременна минут двадцать-двадцать шесть... Что, нельзя?.. Это мы еще посмотрим, да, дорогая? — обратился он к Нинке, упавшей в кресло от хохота.— Конец, дядя, настает всему! Даже моей целомудренности... Никогда! Мои уши нужны потомству для того, чтобы сравнивать себя с папочкой, понятно? Я же каплоухий, и мое потомство будет мечено Господом подобным образом, что лично меня категорически устраивает. А ваше потомство, дядя, с красивыми маленькими ушками можно перепутать в вопросах отцовства и правонаследия. Вы своих детей будете узнавать по сгибанию коленок в ту же сторону...

Но не забудьте... Что?.. Это ваше дело... Ждем... Время используем для строительства баррикады... Да-да... Запремся в спальне... Но учтите, я не как, так сказать... Я дерусь не до первой, а до последней капли голубой крови... Адье...

ГЛАВА 17

Женитьба оказала благотворное влияние на директора спортбара, выступившего в новой для себя роли эксперта-аукциониста при значимой переоценке ценностей своей души. Он стал степенным, склонным к критическим размышлениям и внутренней мелодраме. Раз и навсегда покончил с сомнительными знакомствами, легким флиртом и тяжким похмельем. Вчитавшись в Уголовный Кодекс и сделав правильные выводы после штудирования комментария к статьям о хищении социалистической собственности, Фред в один прекрасный день с тихой болью в душе уничтожил лишние детали, изъяв их ночью из японских стереоколонок. Одновременно с этим героическим поступком он, проявляя крайнюю непунктуальность, игнорировал очередную встречу с «продавцом воздуха», как называл одного из нерассекреченных дельцов от спирта, оставленного папой перед броском «за океан».

Берман-старший, окончательно созревший для Израиля, благополучно переселился в штаб-квартиру европейских клептоманов, находящуюся на лучезарном взморье Хайфы, где трудился в поте лица в качестве экспедитора мяса в одном из маркетов. Узнав о перемене в жизни горячо любимого наследника и рассмотрев на фотографии черты лица очередной невестки, отец нарушил закон, употребив в шабыс на десерт к утренней молитве коньяк Шуста и, не в силах вынести раскаленный полдень, запил дубильное зелье охлажденной смирновской водкой, задернув шторы от любознательных соседских глаз, сопровождавших на каждом шагу подозрительными взглядами восточного беженца.

Срочно приобретенные в лавке Шерера уцененные вещи для невестки были отправлены в СССР в четырех не облагаемых таможенным сбором посылках. Джинсовые комбинезоны, костюмы, шуба, батнички и носочки были удачно реализованы новобрачными по базарным ценам «сестрам по труду» в течение одной напряженной рабочей смены...

Из Майки вышла заботливая и ласковая жена, балующая мужа вкусной домашней пищей. Она успевала в самые напряженные, загруженные работой дни выкроить время для

приготовления избирательных обедов, чему не в малой степени способствовал и супруг, заполняющий продуктами новый вместительный «Минск». Майка часто доставала билеты на театрально-зрелищные мероприятия и даже посетила новогоднее представление для детей с «сыном Боренькой», благосклонно отданным на праздники счастливой в текущем замужестве Гретой.

Если бы не болезнь тещи, семью Фреда можно было бы не рискуя назвать счастливой. Но в начале января по настоятельному совету Гельмана Марию Михайловну снова госпитализировали для проведения повторного курса лечения, основанного, к сожалению, на объективных показаниях, что заметили и новобрачные по ее бледности, обострившимся болям и чрезмерной потере веса.

У Майки не выходило из головы признание старшей подруги о том, что окончательно вылечить мать от страшной болезни можно лишь в единственной стране мира, «слишком умном» Израиле, и она решилась на откровенный разговор с доктором, чья расположенность к их семье, помноженная на щедрость Фреда, вылилась в особую заботу о больной. Гельман посещал ее по несколько раз в день, просиживая у ее постели считанные минуты, отведенные ему для отдыха.

«Откровенность» доцента, зажатая в глухие тиски врачебной этики, не позволила доценту открыть дочери больной всю правду в глаза. Он мучительно бродил словесными лабиринтами, пытаясь как-то намекнуть и одновременно не высказать ничего, что могло бы породить боязнь, страх и неверие.

— Ваша мама больна,— констатировал он,— и вы это знаете. Но она больна не настолько, чтобы сегодня думать о самом худшем исходе. Привыкнув к своему состоянию, которое мы обязательно улучшим и нормализуем, она проживет еще долгие годы. Болезнь... Болезнь действительно прогрессирует, но мы делаем все возможное. Потерпите пару месяцев, и мама снова вернется к вам.

— Доктор,— осмелилась она на самый мучительный вопрос,— скажите, она будет жить?

— Майечка! — удивленно. воскликнул Гельман.— Что с вами? Почему вы так пессимистично настроены?! У вас молодая мама. Естественно, в ее возрасте не думают о смерти... здоровые люди. Но клиника — это место, где каждого временами посещают неоправданный страх и сомнения. Повторяю — неоправданный. К весне Мария Михайловна будет дома. Вы должны вселить в нее уверенность, осталь-

ное сделаю я. Вы же знаете: кроме того, что я врач, я еще и ваш друг.

— Может, нужны какие-нибудь западные препараты? — спросил обеспокоенный Фред.— У нас есть возможность получить из Израиля любое лекарство.

— Нет, мой друг. Пока не надо. У нас имеются аналоги необходимых западных препаратов. А недостаток уверенности, я думаю, вы ей восполните своей жизнерадостностью и заботой...

Страх за жизнь матери и сомнения в успехе лечения привели к тому, что в крещенскую ночь Майка, по совету подруги, решилась погадать на зеркалах. Воспользовавшись отсутствием мужа, возвращающегося с работы очень поздно, она расположилась в полночь у стола в гостиной, на котором разместила зажженную свечу и два зеркала, поставленных одно против другого.

Отыскав и пересчитав тринадцать коридоров, она внимательно всматривалась вдаль в ожидании чуда, но, кроме убегающей в темноту дороги с невыразительными причудливыми тенями по краям, ничего не смогла разглядеть, несмотря на фантазию, большое желание и неопределенность. Об этом, смущаясь и краснея, она рассказала Фреду в темноте спальни.

— Любимая! — воскликнул он, перемещаясь в постель к супруге.— В вас живут ранние детские страхи, поздние суеверия и глубокая неуверенность в завтрашнем дне. Но только я один знаю, что будет! Я хотел повременить до утра со своей глобальной информацией, но, чувствуя вас на распутье, что поделаешь, придется доложить сейчас. Не позднее одного часа назад, открыв почтовый ящик, расположенный у двери моей холостяцкой квартиры, я обнаружил объемистый конверт, обнюхал его и прочувствовал запахи сорока почт, пяти вероисповеданий и трех, исключающих одна другую, политических доктрин. Вскрыв тот конверт, я убедился в крепости родительских чувств и печати тель-авивского нотариуса. Приглашение, полученное нами, исключает неуверенность, рождает светлые мысли в вопросе выздоровления мамы и дает нам возможность подать заявление об уходе с работы.

— Что ты надумал, Роман? — со страхом спросила Майка.

— Мы уезжаем к моим, дорогая!

— Никуда я не поеду,— ответила она, включая торшер.

— Попрошу не мчаться на полюс и выслушать представителя власти, вумен! Подумай в час венчанья Адольф Гит-

лер о несчастной лаборантке еврея Гофмана — он сначала исполнил бы супружеский долг в брачный вечер, а уж потом [illegible] б. Прошу не отодвигаться — я шучу. А если серьезно, то умоляю тебя взвесить мое предложение, хоть оно уже взвешено, и контрольные весы здесь ни при чем... В случае твоего отказа я снова начну травить общество всякой дрянью в целях личного обогащения, что впоследствии будет отражено в приговоре по моему делу. Когда тебе надоест возить мне в тюрьму передачи и ездить на случки, именующиеся длительными свиданиями с родственниками, ты выйдешь замуж за того, кто с сожалением будет отзываться о твоей горькой доле. Пожирая глазами твою задницу и ощущая на языке огонь твоих губ. Вспоминая в процессе совместной жизни о том, что в первые моменты чрезвычайной близости ты путала его нейм с моим, он станет называть тебя — «каторжанкой» и скрупулезно вычислять отца вашего первенца, доказывая, что если слониха, по тугодумию, «носит» своего год, то ты из хитрости могла бы и более... В твоем офисе найдется дура, которая назовет тебя женой жулика, что будет соответствовать реальной житейской мудрости, и так как правда глаза колет, ты уволишься с последующим оформлением в службу быта, особо нуждающуюся в твоих знаниях. Но когда твоей зарплаты не хватит на приобретение пианино для одаренного киндера, ты пойдешь в метрдотели профсоюзного кабака, где начнешь экономить на минеральной воде и входить в любовь с уголовным катехизисом.

— Роман, прекрати немедленно.

— О нет! Запасись терпением. Дважды обсуждать эту проблему мы не будем,— ответил он, вскакивая с кровати в поисках сигарет.— Мы договоримся сегодня и навсегда. Я только оденусь.

— Ты считаешь, что мы уже поговорили?

— Считаю, что ты сегодня примешь решение, оно будет однозначным и обязательным к исполнению. Я освободил постель, чтобы пресечь в себе душевные порывы и ненужные разочарования. Ты забыла сегодня о матери, а ее жизнь, поверь мне, находится в смертельной опасности. Помни об этом и знай, что вылечить ее может только медицина Израиля, и я повезу вас туда именно с этой благородной целью. Жить на Синае — удел непоправимых авантюристов. Мне среди них делать нечего. Моя цель — Америка, где свободно живут представители всех рас и национальностей. Негры не в счет! Индейцы тоже. Никто им не мешает сменить резервации на современные жилища. Пусть трудятся и

меньше торгуют марихуаной. На месте их гетто американцы построят все, что требует сегодняшний день. Работа по выбору и нормальная жизнь обеспечены сионизмом, с которым меня не роднит идея, но сближает возможность распорядиться своей судьбой по собственному усмотрению. И, предчувствуя контраргументы, скажу тебе последнее: ни ты, ни я никогда не предадим Родину, и никто нас к этому не склонит. Взвесь все и не предавай свою мать. Она у тебя одна! Ее смерть навсегда останется на твоей совести. Здесь же, я уверен, ее не смогут вылечить.

Я призываю тебя, не предавая Родины, уехать для спасения матери. Помни, что и своих родителей я люблю так же крепко, как все сыновья и дочери, вместе взятые. Не хорони своим отказом меня и мою мать! Не отвечай мне сейчас, не нужно. Обдумай все и взвесь. Чтобы не мешать тебе, я уезжаю, а завтра жди меня. Вечером я приду за ответом.

— Почему ты оставляешь меня одну?

— Не хочу своими мольбами навязывать тебе решение. Решай сама, чтобы не упрекала меня в психологическом нажиме...

Так и не уснув, она сотню раз измерила шагами полезную площадь ночной квартиры, выпила четыре чашки незапланированной «бодрости» и на нервной почве затеяла стирку постельного белья...

На работу приехала болезненно-бледная, уставшая и удрученная, это заметили сослуживцы, но отнесли за счет переживаний, связанных с болезнью матери.

Чартер-рейс из Голландии, которым должны были прибыть туристы Майкиной группы, задерживался на двое суток из-за непогоды в Роттердаме, и селекторный вызов к шефу, прозвучавший перед обеденным перерывом, мог означать только разрешение идти по своим делам, которых, кроме посещения матери, у нее сегодня и не было.

— Здравствуйте, Сергей Владимирович. Вы меня вызывали?

— Да-да, именно вас. Присаживайтесь,— пригласил шеф, не отрываясь от бумаг.

Она присела на краешке стула у длинного Т-образного стола, окинула взглядом кабинет, посмотрела на седую голову своего руководителя, на портрет Карла Маркса на стене за ним и внутренне содрогнулась от мысли, что когда-нибудь вот здесь этому доброму человеку, принявшему ее как дочь и с отеческой заботой направляющему по жизненному пути, ей придется заявить: «Я уезжаю в Израиль».

«Бред все это! Бред!.. Но как же спасти маму? Нинка не лжет. И Роман говорит правду. Она погибает. Может, все рассказать ему? Он поймет, посоветует. А если...»

— Ну, что же, Майя Владимировна, начнем, как говорится, все с начала. Только, пожалуйста, говорите правду.

— Я хотела вам сказать... в общем...

— Вы, наверное, решились наконец передать мне привет от Михаила Яковлевича?

— Какого Михаила Яковлевича? — Она непонимающе посмотрела на него.

— Администратора сочинского «Жемчуга», где вы отдыхали вопреки запрету врача, как я понимаю. Вот ваш листок нетрудоспособности,— шеф показал на стол.— По нему вы получили пособие, обманув всех и меня в первую очередь. Кстати я, в отличие от вас, выполняю поручения.— Он достал букетик мимозы.— Цветы от Михаила Яковлевича. И привет также... Мы с ним работали в этом здании двадцать лет назад.

Осмыслив слова начальника, Майка сжалась в комочек, краска отхлынула от ее лица, лоб покрылся испариной.

— Сергей Владимирович,— почти прошептала она,— простите, прошу вас.— И разрыдалась.

Он встал из-за стола. Налил из графина воду, подвинул к ней стакан. Произнес:

— Успокойтесь! — Переждав минуту, спросил.— Почему вы получили больничный лист в лечебном учреждении не по месту жительства?

— Потому что я не болела,— сквозь слезы ответила она.

— И что же? Достали освобождение у знакомого?

— Да...

— А профсоюзные деньги похитили?

— Я перечислила их в Фонд мира.

— В Фонд мира?! — взорвался Сергей Владимирович.— Фонд мира не нуждается в краденых деньгах. Труженики планеты порой отдают свои последние сбережения во имя мира на земле. Но это трудовые деньги. В отличие от похищенных вами. Почему вы не пришли ко мне сами и не рассказали правду?

— Мне было стыдно.

— Очень жаль. Возьмите бумагу и все опишите.

— Здесь?

— В приемной... а впрочем, здесь. Я вам не помешаю...

С работы она вышла, когда на город опустились крещенские морозные сумерки, и хоть звезды еще только зажигались, высокий, по-зимнему прозрачный небосвод вовсю

светился голубовато-сиреневым светом, разбрызгивая мириады снежинок, которые кружились веселыми вихрями вокруг включенных фонарей, тихо падали вниз и только у самой земли ускоряли движение, извивались у ног серебряной змейкой-поземкой и неслись широкой улицей вдаль, мимо днепровских склонов. Полная луна иконой повисла над городом, искристой голубизной залила белокаменные дома, зажгла лиловые фонари в высоких светлых окнах, укрыла теплой звездной шалью крыши и гордым стражем осталась над тихими украинскими просторами...

Едва сдерживая слезы от обиды, злости и безысходности, Майка брела куда глаза глядят, минуя центр города, заснеженный Первомайский парк, искусно рассвеченный прожекторами Мариинский дворец, спустилась к замерзшему Днепру, прошла мост метро и очнулась у двери холостяцкой квартиры мужа, на которой канцелярской кнопкой был приколот листок бумаги, исписанный быстрым почерком Фреда: «Ключ у тебя в пудренице, под запасным блоком. Тебя нигде нет. Поехал к маме. Сейчас вернусь. Сварил бульон и морс. Пообедай. Не уходи. Очень люблю. Роман».

Тепло записки согрело ее, успокоило. Вызвало легкую улыбку на замерзших губах. «Как хорошо, что я не одна,— подумала она раздеваясь.— Он защитит меня. Я виновата... Очень. Но что поделаешь? Стыдно и горько, и некого, кроме себя, винить. Не нужно было получать пособие. Воровать у самой себя... А как я распорядилась деньгами — к делу не относится. Если меня арестуют — мама умрет. Нужно что-то предпринять. Что? Уволиться?! Это не выход. К тому же я — молодой специалист... Работать?! Я не могу смотреть людям в глаза... Что же делать?..»

Фреда ее рассказ огорчил, но не настолько, чтобы растеряться и неверно оценить ситуацию.

— Давай на минуту забудем сегодняшние невзгоды и вернемся к ночи,— предложил он, удобно усаживаясь против Майки.— Вернее, не к ночи, а к ночной теме. Я разговаривал с твоей мамой о нашем отъезде. Как ты понимаешь, если раньше она решала вопросы болезни в общем, то сейчас ее занимает одно: «Сколько я проживу?» Об этом мы с ней и говорили сегодня. Я сделал то, что посчитал необходимым, применительно к ее состоянию: сказал ей, что решили уехать ради спасения ее жизни и что в Израиле ее вылечат; она сможет вернуться к нормальной жизни, воспитывать внуков — то есть свершатся все блага, ради которых живет на земле человек. Ты даже представить себе не можешь, насколько я улучшил ее состояние! Надеж-

да создаст у нее волевой запас жизнестойкости. Она на равных перенесет переезд, и когда ее вылечат, мы все будем счастливы. Если же ты откажешься ехать — она умрет. Теперь это случиться наверняка... Я не говорю сейчас о твоих бедах. Конечно, нужно обезопаситься со всех сторон и постараться не влипнуть в уголовное дело.

— Как это сделать, если я все написала?

— Ну и что? Это свидетельствует только о твоем чистосердечном признании и раскаянии. Сейчас же поедем к Гельману.

— Зачем?

— Нужно его предупредить о том, что он выдал тебе листок нетрудоспособности для того, чтобы ты провела время с больной матерью.

— Разве это снимает с него ответственность?

— Ну ты и ребенок! — рассмеялся он.— По уходу за больной матерью тебе выдал бы больничный лист любой терапевт по месту жительства, пусть и на две недели. В этом нет преступления. Оно возникает только в момент твоего отъезда на юг. А доктор Гельман не знал о том, что ты бросишь больную маму, и, так как лично не обогащался, значит, думал лишь о здоровье своей больной. Посему невиновен.

Ты сделала бяку, но плодами преступной деятельности не пожелала воспользоваться,— значит, и тебя нужно оправдать. Тем более, что ты уезжаешь не к мифической бабушке, а к родителям мужа, что и отразишь в заявлении об уходе с работы.

— Я хочу поговорить с мамой.

— Конечно, только уже завтра.

— Хорошо, перед работой.

— Решено. А теперь покушаем и поедем к Гельману.

Доктор молча выслушал Фреда, встал из-за стола, прошелся по кабинету и, с укоризной глядя на Майку, тихо спросил:

— Что же вы так неосторожно, а?

— Кто мог предвидеть, док? — пришел ей на помощь Фред.— Где имение, а где наводнение? Умным не будешь.

— Да! — протянул Гельман в раздумье.— Несладко. Впрочем, я думаю, выход есть. Диагноз в больничном листе у вас неоднозначный, как и все в медицине. Вы замужем. От работы я вас освободил, основываясь на объективных показаниях. А то, что вы лечились под южным солнцем, лишь благоприятствовало излечению при воспалительном процессе. Вы себя считали здоровой, а я установил болезнь

На то я и врач. А пришли вы ко мне по просьбе матери. Кстати, к середине февраля она будет дома.

— А потом снова к вам? — пронзительно посмотрела в его глаза Майка.

— Если появятся боли, то к нам,— с сожалением подтвердил он.— Тогда придется оперировать. Но наша задача — обойтись без скальпеля.

— Какие прогнозы, док? — съехидничал Фред.

— Думаю, в течение года все прояснится,— не заметив издевки, ответил Гельман.— Мы делаем все для выздоровления Марии Михайловны. Но порой болезнь бывает неумолимой.

— Это именно тот случай?

— Понимаете, вы поздновато ко мне обратились, но мне удалось локализовать опухоль и не допустить ее разрастания. А это в данном случае обнадеживает. Чем раньше мы закончим настоящий курс, тем лучше для больной. Положительные эмоции продлевают жизнь. Чаще улыбайтесь, Майечка...

В правоте последнего утверждения доктора Майка убедилась, переступив порог палаты и взглянув на мать. Привычная бледность на ее лице сменилась легким румянцем, взгляд отчужденных болезненных глаз стал живым, добрым, как раньше, но самым отрадным было то, что Мария Михайловна впервые поднялась за последний месяц на ноги и встретила дочь у окна, любуясь заснеженным зимним парком.

— Ну, что же ты? — улыбнулась она.— Вчера было много работы?! Ромик мне говорил. Да, скажи ему, что бульон был очень вкусным. Я сразу и не догадалась, что он его сам варил. У него действительно золотые руки. Он передал тебе, что я тоже согласна?

— О чем ты, мама?

— Как это о чем? Ну и скрытная ты! Он мне вчера все рассказал. Вы же решили ехать?

— Я еще не решила, мама. Да и как можно? — неловко выговорила Майка.— Это же на всю жизнь, понимаешь? Лишиться всего... Страшно мне, мама.

— Страшно? — удивилась Мария Михайловна.— Тебе страшно? Нет, девочка моя, не права ты. Ты, слава Богу, ничего не знаешь о страхе. И хорошо... Это очень хорошо, пусть тебе никогда не будет страшно. Страшно — это когда лежишь здесь,— показала она на кровать, стоявшую на высокой свинцовой подушке, с метровой толщины перегородками с трех сторон,— и думаешь, когда,— рыдания

сдавили ей грудь,— когда перестанет быть страшно?! Ты знаешь, зачем здесь так много свинца? Чтобы больные не торпедировали рентгенами друг друга... чтобы не умирали раньше времени... Прости меня! Я знаю, смерть — это избавление. Но у меня нет силы воли, чтобы прогнать смерть от себя... но нет и терпения, чтобы дождаться ее от болезни. Ромик сказал мне вчера всю правду. И я благодарна ему за это. Он сказал, что в гинекологию меня уже не берут, операция ничего не даст, а это отделение — последний приют перед Берковцами. Увези меня, доченька, умоляю! Может быть, там меня вылечат. Ромик так убедительно говорил. Майечка! Родная моя! Я так хочу жить!..— И, не в силах сдерживать слезы, она разрыдалась.

Майка беспомощно стояла рядом, обняла ее за плечи, усадила на кровать, прижала к груди непомерно поседевшую материнскую голову и чуть слышно сказала:

— Там тебя обязательно вылечат. Я читала,— солгала она,— врачи в Израиле творят чудеса. Ты будешь здорова, мамуля. Я спасу тебя...

Через несколько дней Майку вызвали в прокуратуру. С ней отправился туда и Фред. Он не мог остаться дома в ожидании «гражданки Берман», как называл ее впервые, вручая полученную накануне повестку.

— Гражданка Берман, возрадуйтесь! Потеряв единственное «г», которое резало впополам вашу прекрасную фамилию, вы обрели мужа и неоценимых родителей, проживающих в Израиле, а также не менее дорогую возможность посетить их, дабы поселиться с ними рядом, но на другом, более приемлемом для тихой семейной жизни континенте. Маленькое препятствие, уготованное вам судьбой-злодейкой в виде беседы с местным прокурором, легко преодолимо. Вчера он прислал свою визитную карточку. Я не хотел вас тревожить понапрасну и предъявляю только теперь — за час до аудиенции. Другими словами: пройдемте! И учтите, не делайте глупостей! Шаг влево, шаг вправо — считаю побегом!

— Ты, как всегда, беспечен! А если он меня арестует?

— Пусть только попробует! — рассвирепел Фред.— Пока на нас, к счастью, распространяются советские законы, и никто не может арестовать человека, имеющего постоянное место жительства и не продолжающего преступный промысел. А так как ты уже два дня не работаешь, то больничные листы будешь предъявлять мне. Я оплачу их по своему усмотрению, исходя из внутрисемейного бюджета. Если переплачу, то подашь на меня жалобу.

Но если ты их растранжиришь, я тебя... оставлю без новых колготок. В общем, я тебе не угрожаю... Но и не завидую!

Поднявшись на третий этаж, они подошли к тридцать четвертому кабинету и, удостоверившись в том, что именно здесь их ожидает следователь Ермоленко, тихо приоткрыли дверь.

— Можно? — просунул голову в кабинет Фред.

Следователь, пожилая седовласая женщина с уставшим лицом, оторвалась от бумаг, с интересом посмотрела на посетителя и добродушно ответила:

— Разумеется! Только супругу можно и вперед пропустить. Вы — Берман?

— Как вы узнали? — искренне удивился он.— Входи, Майечка.

— А вы подождите жену в коридоре, пожалуйста. Присаживайтесь, Майя.

— Спасибо,— тихо ответила она, глядя со страхом на строгий синий мундир собеседницы.

— Расскажите, Майя, как же вы смогли так легкомысленно поступить?

— А что говорить? — смутилась она.— Я все описала.

— Я хочу вас послушать, если вы не против, конечно. Можете повторить?

— Могу.

— Пожалуйста, я слушаю.

Майка вновь повторила все, что рассказала Сергею Владимировичу. Ермоленко отложила в сторону бумаги и ручку, и, как показалось подследственной, даже с сочувствием вслушивалась в ее нестройный рассказ, нервно постукивая пальцами по сероватой картонной папке. Дождавшись конца рассказа, она раскрыла эту папку, пересмотрела бумаги, выложила их на стол и спросила:

— Скажите, Майя, вы давно знаете доктора Гельмана?

— Месяцев восемь, десять... Наглядно,— добавила она из боязни навредить другу семьи.

— А ваш муж был с ним раньше знаком?

— Нет. Просто наш знакомый составил протекцию к доктору, и мы консультировали у него маму.

— Что с ней?

— Она очень больна.

— Чем?

— Она в онкологическом... уже второй раз...

— Только не расстраивайтесь. Скажите, доктор осматривал вас на приеме?

— Конечно! — солгала Майка, даже не удивляясь легкости, с которой произнесла заведомую ложь.

— В своем объяснении на имя руководства Интуриста вы написали о том, что были здоровы?

— Чувствовала я себя хорошо.

— Вы лечились в Сочи?

— Нет.

— Дома?

— Нет.

— Что же вы за собой не смотрите?

— Мама очень болеет. Сейчас у меня нет ни времени, ни желания лечиться.

— Вы не правы. Лечиться необходимо в любом возрасте. Вы должны быть здоровы хотя бы для того, чтобы иметь силы ухаживать за больной матерью. Ну добренько. Сейчас я все запишу с ваших слов. Посидите,— сказала она и быстрым размашистым и неразборчивым почерком стала заполнять типографский бланк...— Все,— передала его Майке,— прочтите и распишитесь вот здесь и внизу.

Майка взяла листок. Со страхом прочла: «Протокол допроса подозреваемого».

— В чем вы меня подозреваете? — побледнела она.— Я же все рассказала.

— Я знаю. Но такой порядок, понимаете? Посидите в коридоре. И не волнуйтесь. Вы же все правдиво рассказали. Я пойду посоветуюсь...

Через несколько минут молоденькая секретарша пригласила ее к прокурору, который сидел за большим столом в просторном, светлом кабинете. Слева от него, за маленьким приставным столиком, находилась Ермоленко.

«Молодой какой!» — отметила про себя Майя, глядя на голубоглазого симпатичного блондина с депутатским значком на лацкане мундира.

— Садитесь, Берман,— сухо предложил он, просматривая бумаги.

— Спасибо, я постою.

— Ну и постойте. Так оно лучше,— улыбнулся он.— Только вам следует стоять не здесь, а в углу на коленях. И чтобы мама ваша соль на пол насыпала. Самого крупного помола. Да-да. Меня так дед мой в детстве два раза наказывал. Как видите, до сих пор помню... Так, теперь по делу: мы тут посоветовались с вашим следователем и решили, учитывая вашу молодость и легкомыслие, а также то немаловажное обстоятельство, что вы не воспользовались похищенными общественными средствами в сумме восьми-

[illegible] двух рублей, в силу пункта второго статьи десятой Уголовно-Процессуального Кодекса Украинской ССР, передать вас на поруки коллективу трудящихся, где вы работаете и который ходатайствует и поручается за вас. Понятно?

— Да,— проговорила она.— Но я уже не работаю.

— Как не работаете?

— Я уволилась.

— Зачем?

— Я... мы уезжаем.

— Куда? — вмешалась Ермоленко.

— К родителям мужа, в Израиль,— ответила Майка упавшим голосом.

— Думайте, что говорите. Вы — советская женщина! — поднялся из-за стола прокурор.— Родина никогда не простит вам этого. Недостаточно вам одного дурного поступка? Немедленно измените свое решение. Ну, оступились вы, так что? Вы же признали свою вину. И люди поверили вам и простили. И просят за вас, понимаете? Вы только начинаете жить и еще тысячу раз искупите свою вину перед обществом, перед нашим обществом, советским... Идите и хорошо подумайте... пока не поздно. Без Родины вы погибнете, немедленно вернитесь на работу. Вашему руководству я позвоню. Жду через десять дней. Можете идти...

Но в прокуратуру она больше не явилась. За день до назначенной встречи ликующий Фред прочел ей письмо за подписью следователя Ермоленко, в котором та сообщала, что «в связи с амнистией Президиума Верховного Совета СССР в честь ознаменования Международного года матери и ребенка, дело по обвинению Берман Майи Владимировны по статье 82 части II Уголовного Кодекса УССР прекращено...»

ГЛАВА 18

Визит в прокуратуру, как и предполагал доктор, закончился доброжелательным разговором, мягким упреком, высказанным в весьма тактичной форме, и настоятельным пожеланием впредь не уступать благим порывам души, если это сопряжено с нарушением действующих норм и инструкций. Через десяток дней его вызвали «на ковер» к руководству, которое получило предписание прокурора по факту злоупотребления, проявленного старшим научным сотрудником при выдаче листков временной нетрудоспособности. Прочитав ему с легкой иронией мораль, дабы

не смутить хирурга перед предстоящей операцией, начмед высказал недвусмысленную уверенность в том, что бюджет социального обеспечения не пострадал от врачебной снисходительности, проявленной коллегой по отношению к дочери тяжелобольной, и отпустил доцента, умоляя не расстраиваться и не принимать всерьез нотацию, «каковую я должен был вам прочесть, пользуясь правом администратора, направленным на воспитание подчиненных по службе в рамках закона».

— Вы не в обиде, коллега? — спросил он, протягивая руку чуть смущенному доктору.

— Ни в коей мере,— ответил тот, энергично потрясая кисть патрона.

— Вот и отлично! Не смею вас больше задерживать. В добрый час...

Спустившись к себе, доктор позвонил домой и услышал в трубке сонный голос супруги:

— Алло.

— Ты, Асенька?

— Да, Семен.

— А где Лерка?

— Только что вернулась с тренировки. Я забыла переключить телефон на прихожую.

— Что она делает?

— Как всегда, не дает мне спать после дежурства. Хвалится, что одним коньком чертит параграф. Сейчас дам ей трубку.

Лерка защебетала на верхних нотках:

— Папка, это я! Я сегодня накатала левой ногой параграф. Тренер меня похвалила и сказала, что я уже научилась складываться. А правый конек уезжает... Подбинтовывала... Хорошо... А что такое параграф?... Она не хочет говорить... Я буду ждать... Приезжай скорее... Поцелую.

Она повесила трубку, прижалась к Асе и крепко поцеловала ее:

— Это тебе папка передал!..

В конце февраля Ася телеграфировала в Одессу просьбу о встрече. За два дня до Восьмого марта она обрела наконец долгожданный покой и уверенность в будущем. Документы, заверенные круглыми печатями серьезных организаций, были ею надежно спрятаны в обмен на пять с половиной тысяч рублей, после чего впервые за долгие годы она спокойно уснула на плече у любимого мужа.

Вечер накануне Международного женского дня не баловал вспотевшую в поисках подарков мужскую половину

человечества. С утра моросил мелкий дождь, к вечеру охлажденный в колючую ледяную крупку, покрывшую слегка промерзшие, еще заснеженные дороги тонкой корочкой тающего льда, перемешанного кое-где с песком и грязью и укатанного нескончаемыми потоками автомобилей, запрудивших центральные трассы шумного и веселого в преддверии весны города. Изрядно утомленный после напряженного трудового дня доктор возвращался домой, бросая довольный взгляд на гвоздики для Аси, подснежники для Лерки и мимозу для Нюры,— цветы, приобретенные в срок и почти без томления в длинных очередях. Миновав Октябрьский проспект, он притормозил на углу у светофора и, набирая скорость, увел машину в левый ряд, объезжая рейсовый автобус, стоящий на остановке у центрального входа в Парк культуры и отдыха. Не заметив, а скорее интуитивно прочувствовав опасность справа, он резко надавил на педаль тормоза, одновременно выворачивая руль влево, напрягаясь всем телом и даже зажмурившись в момент удара в правую заднюю дверку юзившего по кашеобразному снежному покрову дороги автомобиля. Остановившись в двадцати метрах впереди и еще вполне не осмыслив случившейся беды, он выскочил из автомобиля и подбежал к группе людей, окруживших жертву дорожно-транспортного происшествия. На проезжей части лежала молодая женщина в светлой цигейковой шубе, модных высоких сапожках на каблучке, без головного убора,— шапка отлетела в сторону при столкновении. В правой руке сжимала черную лаковую сумочку на длинном тонком ремешке, чудом удержавшемся на плече при падении.

— Что с вами? Где болит? — тревожно спросил Гельман, не замечая, что опустился на колени в грязь.— Вы слышите меня?

— Да,— прошептала пострадавшая.

— Где болит?

— Мне не больно. Я хочу встать.

— Не смейте,— запротестовал он, увидев подъезжающую машину «скорой помощи».

Он помог перенести потерпевшую на носилки, подошел к врачу, наскоро отрекомендовался, скороговоркой спросил:

— Куда вы ее повезете?

— В травматологический,— ответил тот, захлопывая дверку.

Прибывшие на место происшествия работники госавтоинспекции составили карту ДТП, опросили очевидцев и,

засвидетельствовав у водителя Гельмана отрицательную пробу Раппопорта, разрешили последнему покинуть место происшествия на своем автомобиле, но проследовать вслед за ними в ГАИ. Молоденький лейтенант-дознаватель просмотрел первичные документы, внимательно изучил схему наезда и перевел взгляд на нервно жующего верхнюю губу субъекта преступления по неосторожности.

— Вот значит, как бывает, товарищ,— проговорил он, доставая бланк допроса свидетеля.— Рассказывайте, как это произошло,— предложил он, закладывая в пишущую машинку бланк и отстукивая паспортные данные.

— Простите, а с чего начинать? — спросил доктор, поудобнее усаживаясь и пытаясь взять себя в руки.

— Значит, вы ехали по Октябрьскому проспекту?

— Да.

— Миновали перекресток с улицы Тельмана?

— Да. Перед этим я остановился перед перекрестком на запрещающий свет светофора.

— Мгу, ясно. Дальше, пожалуйста.

— Потом я объезжал автобус, стоящий на остановке.

— С какой скоростью вы вели машину?

— Километров сорок-пятьдесят.

— Почему вы так решили?

— От перекрестка до автобуса метров сто, ну, и очень скользко. В такую погоду не разгонишься... Когда я поравнялся приблизительно с серединой автобуса, то увидел справа какую-то неясную тень и применил экстренное торможение с маневром влево. В тот же момент я почувствовал удар и остановился.

— Ну а дальше?

— Подбежал к больной.

— К потерпевшей!

— Извините,— поправился Гельман,— к потерпевшей. Хотел оказать ей помощь. Но подъехала машина «скорой помощи», которая ее увезла... Вот, пожалуй, и все.

— Ясно. Скажите, отъезжая от перекрестка, вы видели стоящий автобус?

— Конечно, видел.

— Люди были на остановке?

— Были.

— Какие меры вы, как водитель, предприняли с целью избежать возможное столкновение и аварию?

— Ну как вам сказать?.. Я был внимателен. Вел машину с дозволенной скоростью. Но пешеход, пересекающий дорогу, в том месте совсем не предполагался.

— Почему?

— Потому что наезд произошел в зоне действия знака «Подземный переход». Как можно предположить появление пешехода при такой погоде? Впереди автобуса, да еще на высоких каблуках? — усмехнулся он.

— Все бывает, Семен Даниилович! Нужно было предвидеть. Хорошо, что женщина не погибла. Ей еще и тридцати нет. А бдительность водителя, управляющего транспортным средством,— это залог спасения жизни рассеянного пешехода, понимаете?!

— Как не понять! Я ведь хирург. Только сегодня три операции произвел.

— Вот оно как! Тогда не мне вас поучать. Ну, будем закругляться. Значит, потерпевшую я увижу позже. Завтра-послезавтра получу заключения Бюро судебно-медицинских и автотехнических экспертиз, ну, а тринадцатого-четырнадцатого приглашу вас.

— Скажите, я виновен? — краснея от нескромности, спросил доктор.

— По всей вероятности, нет,— улыбнулся дознаватель и, прочувствовав недоверие, добавил: — постараюсь объяснить вам суть. Пятеро опрошенных свидетелей подтверждают ваши показания; скорость автомобиля, определенная по тормозному пути вашего автомобиля, соответствует сорока пяти километрам в час. Теперь обратите внимание на схему: вот автобус, а вот ваш автомобиль. Длина автобуса Львовского автозавода равняется девяти метрам. Препятствие вы заметили, находясь посредине автобуса, примерно вот здесь. По показаниям очевидцев, потерпевшая выбежала на трассу на расстоянии 2—3 метров от переднего бампера автобуса. Таким образом, от вас до потерпевшей семь с половиной метров. Ну, а тормозной путь при скорости в сорок пять километров в час равняется двадцати шести с половиной метрам на данном дорожном покрытии. Поэтому вы не имели технической возможности для остановки транспортного средства. Ко всему, уточняю: для того, чтобы начать экстренное торможение, на реакцию водителя уходит 0,8 секунды. Столько же до начала торможения автомобиля. При этих условиях ваш автомобиль до начала торможения проходит,— он посмотрел в таблицу,— около двадцати метров. И если даже предположить, что потерпевшая в момент начала вами движения от светофора уже стояла на проезжей части в восьмидесяти метрах от автомобиля, пытаясь остановить встречную машину, то, обнаружив опасность, она могла уйти на тротуар, кото-

рый находился в трех с половиной метрах сзади нее, при средней скорости пешехода в 4—5 километров в час, за три секунды. Вы же пересекали точку контакта за шесть секунд. Как видите, и в этом случае вы невиновны.

Возвратившись домой, доктор отказался от обеда, увел жену в кабинет, где наскоро исповедался, проклиная и под, трассу и пешехода... пожелавшего по собственной инициативе лишить себя жизни.

— Поехали в больницу,— заключила Ася,— нужно с ней поговорить. Возьмем конфеты, апельсины...

— А это удобно?

— Необходимо. К тому же, ты причинил ей боль, даже если и не виновен...

В Институте травматологии они встретили дознавателя ГАИ, который проинформировал их о том, что потерпевшая подтвердила показания свидетелей происшествия. Специалисты обнаружили у нее телесные повреждения легкой степени с кратковременным расстройством здоровья, множественные ушибы правой ноги, обеих рук, но переломов нет, а снимки левого тазобедренного сустава еще не готовы.

— Сейчас у нее судмедэксперт, поэтому вас к ней не пустят. Да и ночь за окном. И вообще... Это, конечно, хорошо, что вы приехали, но закон не одобряет подобные посещения. Мой вам совет: до окончания расследования не приходите к ней. Порядочность — это хорошо, а возможные кривотолки — плохо. Преступник тоже ищет знакомства с потерпевшим в целях облегчения своей участи.

— Мы не подумали об этом, извините,— смутился доктор.— Апельсины ей можно передать?

— Раз уж привезли — передайте.

— Спасибо,— поблагодарил он и постучал в дверь приемного отделения.

Дежурная нянечка с неохотой согласилась передать плоды юга жертве собственной неосмотрительности, ссылаясь на позднее время, врачебный запрет и неотложность мытья полов в коридорах, но смилостивилась однако, прочувствовав внутреннюю культуру посетителя и хрустящий рубль в кармашке не совсем свежего халата.

— Передайте ей, что это от водителя. Я еще приду,— шепнул доктор, боясь, что его услышат...

Ознакомившись с постановлением от отказе в возбуждении против него уголовного дела, доктор снова обрел утраченную уверенность и вернулся домой в самом благом расположении духа. Но, как говорят в народе: «Пришла беда — отворяй ворота!» — даже если их не имеешь... Через

несколько дней, изучая корреспонденцию, извлеченную Нюрой из почтового ящика, доктор обнаружил повестку из прокуратуры с настоятельной просьбой следователя Ермоленко не позднее десяти явиться в вышеназванную организацию по известному адресу. Омраченная известием Ася, внимательно изучив повестку, вдруг воскликнула:

— Сеня, они вызывают меня.

— Как тебя? — не понял Гельман.

— Посмотри, «Гельман А. Л».

— Странно,— протянул он,— действительно, «А. Л.». Только в связи с чем?.. Не пойму!

— Даже не представляю себе,— задумалась она,— не понимаю...

В коридоре прокуратуры они встретились с Ермоленко.

— Семен Даниилович,— обратилась следователь к доктору,— вы оставьте нас и приезжайте к двенадцати. Проходите, Ассоль Леонидовна,— пригласила она Асю в свой кабинет.— Присаживайтесь, пожалуйства... Вы догадываетесь, по какому вопросу я вас вызвала?

— Нет, конечно.

— Ну что ж, я вам скажу.— Она достала из сейфа тонкую папку.— Скажите, у вас есть враги?

— Нет, наверное,— пожала плечами Ася.— Я недавно живу в Киеве.

— В общем, не обзавелись еще. Это хорошо. Скажите, вы давно знакомы со Светланой Н.?

— Не припоминаю,— стараясь сохранить внешнее спокойствие, ответила она.

— Не торопитесь и, пожалуйста, думайте над ответами. Я повторяю свой вопрос: знакомы ли вы со Светланой Н.?

— Да, вспомнила: это пациентка. Лечилась у нас в отделении.

— До ее болезни вы были знакомы?

— Нет, не были.

— При каких обстоятельствах вы с ней познакомились.

— В клинике, как со всеми пациентами.

— Ассоль Леонидовна! Это несерьезно. Я призываю вас говорить правду и прошу — думайте о последствиях лжи. Когда и кто познакомил вас со Светланой Н.?

Ася молчала, лихорадочно соображая, что может быть известно следователю. «Больная излечилась. Никто сегодня не определит у нее страшной болезни. И не в ее интересах говорить правду.»

— Светлана Н. пришла ко мне на прием в консультативную поликлинику, там мы с ней и познакомились,— не поднимая глаз, ответила она следователю.

— Ну, что ж, я очень сожалею,— вздохнула Ермоленко.— Так и запишем... Какое заболевание вы у нее определили?

— Одну из тяжелых форм мокнущей экземы.

— Это заболевание профилировано для вашего учреждения?

— Да.

— Прошу ознакомиться с ответом вашего руководства. В нем утверждается обратное.

Ася молча прочитала документ.

— Повторяю свой вопрос: профилировано ли это заболевание для лечения в вашем учреждении?

— Нет, не профилировано.

— Кто помог вам госпитализировать больную в отделение?

— Мне помог муж.

— Они были знакомы со Светланой Н.?

— Нет, он ее не знал.

— А она его?

— Нет, конечно.

— В чем заключалась его помощь?

— По моей просьбе он выписал ордер на госпитализацию.

— Как вы объяснили ему свою просьбу?

— Сказала, что больная — дочь моих одесских знакомых.

— Почему вы попросили мужа именно об этой больной?

— Мне было жаль ее. И, кроме того, я была уверена в излечении.

— А специализированные дерматологические стационары не справились бы с этой задачей?

— Не знаю! — окончательно теряя самообладание, выкрикнула она.— Чего вы от меня хотите? Кому хуже от того, что я вылечила человека?

— Я этого не утверждаю и прошу вас успокоиться. Ответьте на следующий вопрос, какой аллерген вы использовали с целью вызвать у Светланы экзему?

— Послушайте! — Ася сжала кулачки, напряглась всем телом, чтобы удержаться на стуле.— Вы не имеете права... Кто вам позволил издеваться надо мной?..

— Вы неправильно меня понимаете, Ассоль Леонидовна. Я — следователь. Моя задача заключается в установ-

лении истины. Прошу вас это понять, и не нужно амбиций. Отвечайте на поставленный вам вопрос.

— Я отказываюсь отвечать на подобные вопросы.

— Хорошо. Но, уверяю вас, ложь хитра до известного предела. Потом она становится смешной... Прошу вас изменить свое отношение к допросу. Это в ваших же интересах. Пожалуйста, ответьте на следующий вопрос: применяются ли соли тяжелых металлов для лечения экземы?

— Нет,— прошептала Ася, вникая в суть вопроса.

— Применяются ли эти препараты при лечении сифилиса?

— Да, применяются.

— Вы применяли их при лечении вашей пациентки?

— Я... Нет, я их не применяла...

— Прошу вас ознакомиться с заключением судебных медиков, которые освидетельствовали вашу пациентку в связи с наездом на нее, совершенным водителем Гельманом.

«Так вот почему в травматологии не смогли получить снимков тазобедренного сустава,— молнией пронеслось в ее сознании.— Препараты железа, висмута, бийохинол, бисмоверол — очень медленно рассасываются... Это конец».

— Будете знакомиться с заключением? — едва расслышала она повторный вопрос.

— Нет... слышите? Нет! Я ничего не хочу! Ничего! — повторила она, цепенея...

В это же время в соседнем кабинете вконец растерявшийся доктор никак не мог понять, чего от него добивается вежливый молодой человек в красивых очках, дотошный и близорукий.

— Ну так как, Семен Даниилович, узнали вы в потерпевшей недавнюю пациентку своей жены? — в десятый раз спрашивал юноша, наперед зная отрицательный ответ подозреваемого в тяжком преступлении.

— Поймите же наконец, молодой человек,— не понимая сути, пытался объяснить доктор.— Я видел ее только однажды, а в том болезненном состоянии даже родная мама не признала бы в ней дочку. Поэтому и я не узнал ее.

— Зачем вы выписали ордер на госпитализацию Светланы Н.?

— Я сделал это по просьбе жены.

— Вы не спросили супругу, зачем ей это нужно?

— Меня это не интересовало.

— Ну а сейчас, как вы думаете, зачем ей это нужно было?

— Очевидно, они были знакомы. Так я считаю.

— Зачем вы совершили наезд на знакомую своей жены?

— Я этого не хотел.

— Это мы еще установим, не сомневайтесь. Мы умеем находить истину. Посидите здесь,— предложил он и вышел к прокурору...

— Виталий Игоревич,— начал он с порога,— у меня вырисовывается очень сильная версия.

— Проходи, садись, рассказывай,— перевел прокурор взгляд на своего молодого коллегу.

— Представляете?!

— Представляю, говори.

— Значит, так: по просьбе жены Гельман госпитализирует больную с целью лечения ее от люэса, а затем, боясь разоблачения и используя автомобиль как орудие убийства, совершает автонаезд.

— И опять по просьбе жены,— рассмеялся прокурор.— У тебя что, еще остается время для чтения по ночам детективов?

— Нет, а что?

— А то, что в день ДТП хирург Гельман провел три операции. Из клиники уехал в девятнадцать часов. Цветы купил в девятнадцать пятнадцать. Потерпевшую сбил в девятнадцать тридцать три. В момент наезда выворачивал руль влево, избегая контакта потерпевшей с передней частью автомобиля, что позволило обойтись без бампер-переломов и тяжких последствий. Потерпевшая в тот день выписалась из клиники в десять утра. В восемнадцать решила съездить к детям на дачу. В девятнадцать вышла из дома. Села в маршрутный автобус. В пути решила изменить маршрут и вышла на остановке «Улица Тельмана», заметив за перекрестком свободное такси. Не учла коварности погоды, забыла элементарные требования правил дорожного движения и то немаловажное обстоятельство, что наряду с водителем является субъектом дорожного движения, поскользнулась и пала жертвой своей преступной самонадеянности...

В четыре часа вконец обессиленная Ася вышла из прокуратуры, с трудом добралась до машины, открыла дверцу, грузно упала на сидение, прижалась к супругу и, не скрывая слез, произнесла:

— Сенечка, прости, меня будут судить.

Он обнял ее, достал носовой платок, попытался утереть слезы, посмотрел затуманенным взглядом по сторонам и разрыдался, по-детски громко и безутешно...

Приятель детских лет покойного отца, семидесятилетний адвокат Ройтер, к которому они обратились в тот же вечер,

выслушал их молча, не прерывая, и, не пытаясь ослабить жесткость резюме, заявил:

— Обвинительный приговор вам обеспечен, несмотря на красивое имя и те душевные порывы, коими вы руководствовались. Но, учитывая то немаловажное обстоятельство, что на вашем иждивении находится ребенок в возрасте пяти лет, я склоняюсь к мысли, что приговор будет условным. Твою вину, Семен, суд не удостоверит и оправдает тебя. Да и до суда прокурор дело не допустит...

Предупрежденный о беде Каган пообщался со следователем Ермоленко и несколько часов подряд доказывал свою непричастность к преступлению, мотивируя алиби конкретно и убедительно: «Не знал и еще раз не догадывался. А составил протекцию своей давнишней знакомой опять-таки к знакомому врачу...» И убедил, наконец, следователя последним аргументом, для чего, понизив голос, проговорил:

— В деле должна быть анонимка.— И, не ожидая ответа, добавил: — Так это я ее написал, когда осмыслил суть.

— Простите, какую суть вы осмыслили?

— А такую! Когда мы шли со Светой к доктору, она говорила о какой-то сыпи, но, посетив клинику, я увидел ее лицо: оно напоминало мороженую клюкву,— расхохотался он.

— Скажите, Каган,— не скрывая отвращения, спросила Ермоленко,— вы давно подписываетесь таким банальным псевдонимом негодяя, как «Доброжелатель»?

— Впервые! — проглотив оскорбление, ответил он.— И только потому, что сообщил о преступлении, совершенном близкими знакомыми. Но, как каждый честный человек, я не мог молчать...

— Довольно! Можете идти. Повестку отметите у секретаря.

Старый Ройтер оказался прав: дело по обвинению доктора было прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления. Но постановление из прокуратуры для обсуждения в коллективе и принятия мер воспитательного характера к проштрафившемуся наставнику студенческой молоди институтом было получено. Решение было суровым и однозначным: строгий выговор с предупреждением и занесением в личное дело, а также отстранение доцента Гельмана от работы с «зеленой порослью». Это практически лишило его возможности заняться в ближайшее время докторской диссертацией, тема которой была уже одобрена научным советом. Изобразив на лице «оскорблен-

ную добродетель», Гельман написал заявление об уходе с работы. Приехав домой, он проследовал в спальню супруги и, присев на краешке постели, мягко, чтобы не разволновать ее накануне суда, сказал:

— Асенька, дорогая моя! Что ж ты наделала! Зачем же ты так?

— Я пришла к тебе, Семен, с ребенком и без копейки. Я хотела принести в дом деньги,— ответила она, пряча глаза.

— Деньги?! — изумился он.— Зачем нам твои деньги? У меня много денег!

— Это у тебя, понимаешь? А мои стали бы нашими.

Прочувствовав упрек в ее словах, он встал, подошел к секретеру, достал из кармана ключи, положил их на стол, показал на боковой ящик:

— Все, что лежит здесь, наше: Леркино, твое и Нюрино.

— И твое там, где наше, да, милый?!

— Мне ничего не нужно, только бы все хорошо закончилось у тебя,— прослезился он.

Через несколько дней в дом доктора пришла еще одна беда, окончательно лишившая покоя Асю, забывшуюся коротким, беспокойным сном в кабинете. Нюра была на базаре, доктор с Лерочкой на тренировке. Резкий, продолжительный звонок телефона ворвался к ней в душу криком виденного во сне мальчонки, скрежетом тормозов и воем клаксона летящего на жертву автомобиля, ревом пара из трубы последнего теплохода, отчалившего от взорванного свистящими бомбами берега...

— Алло! — мольбой о помощи прозвучал в трубке ее голос.

— Ответьте Одессе,— услышала она бодрое сообщение телефонистки.

— Алло, кто это?

— Ассоль, это вы?.. С вами говорит недавний мучитель. Я решил сообщить, что забыл передать вам еще один документ, но он очень важный. Так как моя теща — подопечная, то она также имеет право. Вы меня слышите?! Я приеду в августе, приготовьте пятьсот. Целую...

В трубке раздался щелчок, но она еще долго прижимала ее к уху, надломленная и опустошенная...

Старого Ройтера суд безусловно уважал: после его блистательной речи в защиту Ассоль Леонидовны Гельман народный заседатель, армейский отставник-полковник, принял валидол, а его коллега, молоденькая швея с фабрики имени Розы Люксембург, долго прикладывала к глазам

платок, предлагая оправдать подсудимую, воспринявшую чужую беду как свою личную и ради сохранения семейного счастья и благополучия пациентки преступившую закон, который пусть и имеет санкцию в виде лишения свободы.

— Но денег-то она не получала! Значит, не ради личной выгоды...

— Один год условно,— набатом ударил голос председательствующего.— Подсудимая, вам понятен приговор?

— Понятен,—сквозь слезы прошептала она.

— Можете идти, вы свободны. Копию приговора получите у секретаря судебного заседания...

— Ну что, Ася? — заглянул в дверь кабинета бледный как полотно доктор.

«Все хорошо, милый»,— хотела сказать она, но лишь посмотрела в его сторону и, теряя сознание, грузно осела на пол.

В себя она пришла, лежа на кушетке в совещательной комнате. Вокруг нее суетились два народных заседателя и секретарша. Председательствующий в оживлении осужденной участия не принимал, он выбежал из зала судебного заседания к телефону для вызова машины «скорой помощи».

В тиши коридора одиноко приютился старый Ройтер, в ожидании гонорара за выигранный процесс. Конверт с благодарностью он получил в машине доктора, на пути к дому.

Каган, решивший засвидетельствовать свои соболезнования другу детства, прибыл вечером после процесса с глиняной амфорой литровой вместимости, наполненной травяным бальзамом латвийского изготовления, предназначенным для лечения Аси, и с «фирменным брелком» — ягуар на цепи — для потерпевшего крах автолюбителя.

— Не надо огорчаться! — вскричал он, присаживаясь у постели осужденной.— Что бог дает — все в кошелку, вернее, в кошелек. Пройдет совсем немного времени — и все забудется. Пусть я не доктор, но, прописывая вам путешествие, знаю, что говорю. Скажите мне всего одно слово, и я положу к вашим ногам вызов на родину. Бесплатно, заметьте! Я умею ценить дружбу. Здесь, среди этих бандитов, вам уже не подняться, а там... Короче, клиника Гельмана ждет своего владельца. Соглашайтесь, пока я здесь. Скоро меня среди здесь не будет!..

Дочери встретили известие отца молча, всеми силами пытаясь скрыть за плотно сжатыми губами крик ужаса, вздох соболезнования или, на худой конец, смех издевки по поводу неверного выбора подруги жизни. Этот сверхназрев-

ший разговор произошел воскресным апрельским утром в гостиной старшей дочери, в отсутствие обоих зятей: Веригин форсировал выпуск новой машины, а Лернер увез юных футболеров на сборы в Сосновый Бор. Выслушав однозначную информацию критически настроенного родителя, старшая дочь бессмысленным взглядом уставилась в одну точку, не находя слов, теряя и мысли, и почву...

Младшая же посмотрела на его расплывчатое сквозь туманную призму слез лицо, протянула к нему, постаревшему за последние месяцы, обе руки и взмолилась:

— Папочка! Миленький! Не делайте этого, умоляю! Мы на все согласны, понимаешь? Мы были не правы. Нюра приводит к нам сестренку. Мы ее очень любим. Мы приедем к вам и помиримся с твоей женой. Только не уезжай, не нужно.

— Все будет как прежде, папа,— добавила старшая.— Обещаю тебе. Останьтесь. Мы снова заживем одной семьей, мы же...

— Не в этом уже дело,— прервал ее Гельман.— Поймите, мне нужно начинать все сначала. Но сегодня я уже не имею для этого ни сил, ни желания. На Западе все начинают с нуля. Там нам будет легче подняться с учетом врачебных специальностей. Представьте — семья врачей, работа в своей клинике, совсем иная оплата труда. Вы увидите мир.— Он сделал паузу.— А здесь... Я вырос в этом городе. Меня здесь знают... А теперь увидели, как я упал. Если они и сожалеют мне, то я думаю, что злорадствуют. Соглашайтесь, прошу вас.

— Никогда! Слышишь: никогда! — вскочила Дора.— Мы не поедем.

— Это предательство! — резанула Тамара.

— Кто вас призывает к предательству? — вскипел он.— Я вас призываю к предательству? Жить среди людей и лечить их — разве это предательство? Или, по-вашему, лечить одних — почетно, а других — мерзко?

— Жить среди волков мерзко! — повернулась к нему старшая.— И выть по-волчьи там, где человек — ноль, а деньги — все! Там, куда ты рвешься, вы погибнете чужими и непонятыми людьми.

— Отец, миленький,— подошла к нему Тамара,— ну, не нервничай. Успокойся и подумай: здесь все,— повернулась она к окну,— все, понимаешь, наше, земля, Днепр... Подумай, родненький: здесь лежат в земле твои отец и мать, и наша мама с ними похоронена. Пройдет время, и мы тоже ляжем рядом, будем, как при жизни, все вместе.

Не уезжай, папочка! Ты же знаешь — в твоих руках и знаниях нуждаются люди. Тебе предоставят работу в любой клинике, совсем немного времени нужно, чтобы восстановить твое доброе имя. Никто же не виноват, что вы так поступили. Мы вас не осуждаем. Все уладится, поверь!..

— Вы знаете, что такое стыд? — прервал ее отец.— Я не могу выйти из дому. А Ася? Она только хотела заработать деньги. Не забывайте, у нас растет ребенок. Даже ради Лерочки надо уехать.

— А ради нас? Мы же — дети твои, слышишь?

— Простите меня, девочки, но я уеду. Если вы не хотите ехать вместе с нами, приедете после, когда мы устроимся. Конечно, лучше не на голое место. Мы будем вас ждать. Только не подумайте,— в Израиль я не собираюсь, но в Америке мы хорошо устроимся, даже не сомневайтесь, а потом...

— Куда бы ты ни поехал, знай, ты потеряешь Родину и уже нигде ее не обретешь. Мы никогда не уедем отсюда, будет вам хорошо или плохо...

— Они не согласны,— с болью сказал он Асе, ожидающей его у подъезда.— И мне их не уговорить. Страшно подумать, но я теряю двух дочерей. Сегодня, во всяком случае.

— Ты не прав. Совершенно не прав! Подумай о крови — она их позовет к тебе. Где бы ты ни был, они приедут. Не поддавайся настроению, Семен, ты же сильный. Выдержи, умоляю тебя. Я отдам тебе жизнь! И Лерка тоже, ты же знаешь. Только увези нас отсюда, умоляю. Я не могу здесь жить. Я не выдержу этого позора. Ты знаешь,— Ася резко схватила его за руку,— мне все надоело, все. И жизнь тоже надоела. Я не хочу жить, не хочу!..

— Асенька, успокойся, прошу тебя. Вокруг люди, Асенька!

— Ну и что?! Они знают, что перед ними судимая! Я — арестантка, понимаешь! Боже мой! Петлю на шею — и все кончится,— зарыдала она.

— Что ты надумала? — возмутился он.— Ты хочешь меня совсем убить? Ты подумала обо мне? Ты подумала о том, что у нас растет ребенок и будет еще один?.. О них ты подумала?

— Сенечка, родной мой! — прижалась к нему Ася.— Представь: у нас будет мальчик. Сыночек — твой и мой! Наш! Весь, весь наш! Он, и Лерка, и мы рядом! И девочки к нам приедут. Мы построим дом. Большой дом для всех, понимаешь! И будем жить одной дружной семьей! Ну

представь себе это на минуточку! И скажи: «Уезжаем!» Любимый мой...

Нюра с обреченностью смертника выслушала приговор, до хруста сжала кулаки, пригладила выбившиеся из-под косынки густые седые пряди, тяжело вздохнула, посмотрела гневным испепеляющим взглядом на Асю и бросила ей больно и зло:

— Ты во всем виноватая! Не был он у меня таким. Я ж его крохоткой у своего сердца держала. Что же ты с ним сделала? Каким зельем опоила его? Сенечка! Куда же ты, миленький мой? Мы же с тобой столько здесь выстрадали!. За жизнь нашу свободную. Немец, падлюга, весь народ в Бабий Яр загнал. Вспомни! А мы с тобой выжили! Я же последним поездом тебя вывезла. Военный нас затолкал в вагон переполненный. «Люди,— говорит,— подмогните ей! У нее ребенок еврейский. Спасать надобно!» А ты к ним сам. Да еще с Лерочкой, с лакомкой махонькой! Что же ты делаешь? Мертвые из гробов повстают, бежать за тобой будут! Кричать вслед будут. Стоять в глазах твоих будут ночами бессонными! Куда ж ты, со здоровой-то головой да в постель тифозную?! Лучше б не дожила я до позора сегодняшнего. Я за тебя в ответе. К людям пойду! Упаду на колени перед ними и крикну:

«Людочки, дорогие мои! Виновата я! Судите меня...» Они простят меня, как тебя и жену простили. А там — запомни: как провина твоя, ну самая малая — так тебе кулаком и в морду. В морду, аж пока не захрипишь! Бо они ж враги человеческие,— гневно выдохнула она и вышла из столовой, с силой захлопнув дверь.

А они, растоптанные в своем жалком порыве, молча сидели за обеденным столом, не решаясь поднять глаза и взглянуть друг на друга. Наконец он с шумом отодвинул тарелку с остывшим бульоном, с трудом встал, подошел к телефону, неуверенной рукой набрал номер.

— Алло, Зиновий?.. Мы согласны... Через час будем...

ГЛАВА 19

Солнечным майским утром Вайнер встал, как обычно, в семь часов, единственная устойчивая привычка, оставшаяся при нем с тех далеких времен, когда он осуществлял административно-распорядительные функции в службе быта, и спустился в булочную за свежим калачиком. Но в магазин он так и не попал по вине рано проснувшегося любопытства, предложившего ему заглянуть в почтовый ящик.

«Вечером загляну»,— упирался он.

«Нет, ты сейчас посмотри»,— настаивало на своем любопытство.

А через минуту, не чуя под собой ног, возрастных изменений, забыв о существовании полускоростного лифта, с душераздирающим криком «Циля» он взлетел на седьмой этаж и с силой забарабанил в дерматиновый мундир двери.

«Не иначе, как в «Спортлото» выиграл»,— с завистью подумала встретившаяся на трассе скоростной гонки и едва увернувшаяся от столкновения с ним соседка по площадке.

— Что случилось? — спросила его взъерошенная, в ночной сорочке, супруга.

— Всему приходит конец,— вскричал Вайнер, захлопывая дверь.

«Наверняка с любовником застал!» — решили в квартире напротив.

— Цилечка! — кружился он лебедем по прихожей, держа высоко над головой конверт.

— Что случилось? Скажи наконец! — намертво приперла его к стене супруга.

— Вызов! Цилечка, вызов! За получением документов. Все!

— А как же Додик? — озадачилась она.— У него только в июне экзамены.

— Ой, о чем ты говоришь? Какие экзамены? Нужны ему те экзамены! Он уже жених, слава богу. Семнадцатый год. Это же мужчина.

— Да, но школу закончить нужно? — не унималась Циля.

— Зачем? Ты мне можешь объяснить, зачем? — убежал он в гостиную, заставленную нераспакованной мебелью, будто склад фирменного магазина «Новосел».— Он что там — заниматься русским языком будет?

— Пойми ты: физика, химия, математика — везде одинаковы!

— Можно подумать! Тебе это только кажется. Буди ребенка. В школу он сегодня не пойдет. К девяти едем в ОВИР. Сейчас я позвоню Далю,— побежал он к телефону.— Алло, Нина?.. Это Вайнер... А Витя есть? Через полчаса? Пусть срочно едет ко мне... Да, у меня новости. Короче, все... Спасибо, жду. Готовь завтрак,— повернулся он к Циле.— Можешь налить мне рюмку водки. Сегодня я заслужил.

— А как же твоя печень? Ты о ней подумал?

— А-а-а! Перестань! Трезвая печень, пьяная печень — все равно больная. Дома обследуюсь...

— Так кому нужен доктор? Вам, дядя? — спросил Даль, озаряя прихожую жемчужной улыбкой.— Где болит? Стул имели накануне?

— Какой стул? Циля, дай ему табуретку. Вся мебель сложена и распаковываться, слава богу, не будет. Вот, полюбуйся!

Даль прочитал повестку, торжественно повернулся к озаренным солнцем счастливцам:

— Да, это оно, дядя! Поздравляю вас, сэр!

— Как это, как это, почему «сэр»?

— Потому что гусь свинье не товарищ. Правда, я такой гусь, что мне любой сэр — товарищ. О присутствующих умалчиваю. Собирайтесь. Милиция любит точность. Особенно городская...

— Ну что же, прощайте, коль уж так суждено. Очень жаль, что вы не прислушались к голосу разума,— с искренней болью проговорил седовласый полковник, вручая им документы.— Только вот что я вам скажу: пересечете границу — поздно будет сожалеть. Граница Союза Советских Социалистических Республик открыта для вас до пятнадцатого июля. Ваш сын должен получить аттестат зрелости. Пусть сдает экзамены. А вы думайте.

— Не нужно нас агитировать. Мы давно все решили. Наша жизнь, слава богу, в наших руках,— с гордостью сжимая заграничные паспорта, заявил Вайнер.— Счастливо оставаться!

— Прощайте навсегда! — не поворачивая головы, буркнула Циля, пропуская вперед супруга...

— Граждане иудеи! — широко распахнул дверку автомобиля перед переселенцами моторизованный поводырь Даль.— Прошу садиться. Для прощания с городом остается скольки? — Он вопросительно посмотрел на парящего в облаках бывшего шефа.

— Как это, как это? Два месяца и неделя.

— Ого как много! Целых шестьдесят семь дней. Но что стоят шестьдесят семь дней по сравнению с вечностью, если сама вечность ни черта не стоит по сравнению с сокровищами, с которыми вы никак не можете расстаться и положить их Циле в сумочку. . .

— Дай сюда паспорта,— протянула руку Циля.

Вайнер нехотя повиновался.

— А теперь попрошу заслушаться гидом,— протяжно начал Даль, плавно выруливая на трассу.— Слева от вас,

боже упаси, Управление внутренних дел и Отдел борьбы с хищениями социалистической собственности, который находится на третьем этаже старинного желто-белого офиса. В крайнем окне справа вы можете увидеть сейф, в нижнем отделении которого хранятся новые папки-скоросшиватели. Две из них были предназначены для вашего покорного слуги и гражданина Вайнера Бориса Аркадьевича, потому как один из них — мелкомасштабный жулик, а другой — взяточник. Но потому как мы бежим поперек солнца, нас уже никому и никогды не спрятать меж двух грязно-серых, пахнущих буйным хвойным лесом обложек.

Господа иудеи, внимание! Окаменевший Богдан Хмельницкий на окаменевшем тяжеловозе-скакуне сверхпородного экстерьера. Причем: первый окаменел, узнав о побеге в Палестину одного из лучших атаманов по кличке Рабинович, а второй превратился в камень, чтобы выдержать вес первого.

Господа, сионисты, пристальнее, как можно пристальнее!!! Гиб а кик [1] в центр, не мешайте, не надо, не лезьте вперед! Золотые ворота... Крепостные стены есть, самих ворот, к сожалению, нету. Их растащили по кускам стоматологи-протезисты в тяжелые годы выбивания евреям коренных зубов царским самодержавием во главе с действительным членом Романовской Академии искусств, профессором центрального жандармско-охранного университета господином Столыпиным.

Господа, особое внимание! Оперный театр. Но я там не пою, зато я пою, местами, кварталом выше, в квартире моей жены и от любви к невстреченной иудейке. И наконец, товарищи евреи, с виду ничем не приметный дом. И никому пока не известно, что именно в этом доме, именно на седьмом этаже долгие годы вынашивал великую идею ни чем не приметный переселенец, он же премьер-министр государства Израиль, что на Востоке, Борис Аркадьевич Вайнер, человек настолько мудрый, что дальше некуда. И когда благодарные евреи приколотят на четвертом подъезде золотую мемориальную доску с барельефом этого выдающегося государственного деятеля, взгляд его будет устремлен на дом, в котором когда-то подметал полы ваш гид. А ночью,— сказал он, останавливая машину,— к этому мемориальному комплексу неполноценности придет нищий, по западным меркам, стоматолог, украдет барельеф Вайнера и сплавит его на вставные челюсти для тех, у кого

---

[1] Гиб а кик *(идиш)* — посмотрите сюда.

есть гешефт и виды на голгофские рассветы. Он же и заполнит собой наши папки в отделе борьбы с хищениями социалистической собственности. Мы приехали, сэр, адье!..

Вернувшись в квартиру «жены», Даль прошел в кухню, достал с антресолей набор инструментов для производства ювелирно-граверных работ и занялся повседневной работой последних месяцев. Практические навыки, приобретенные еще в далекие детские годы, когда, помогая Фиме в его нелегком, сопряженном со страхом частном промысле, он качал педаль февки, пригодились в период временного застоя и безделья, связанного с ожиданием документов, но они давали неплохой кусок хлеба, как говорил он маме, презентуя ей пачку масла и двухмесячного бройлера в усыпленном виде. Нинка, начав с реставрации собственных сережек, забросала его предложениями, а также кольцами, перстнями и браслетами своих презентабельных знакомых. Выполняя заказы непринужденно, легко и в срок, Даль всерьез подумывал о профессиональной переквалификации с нескромной мечтой в будущем вспыхнуть неоновыми огнями «Е. В. Даль и К°» над ювелирной суперфирмой у колонны Траяна в Вечном Риме.

— К тому же,— говорил он Нинке,— я буду богаче любого ювелира. Потому как ювелир — он ювелир и есть! А я смогу еще подрабатывать ножницами и расческой...

Каган вначале неодобрительно отнесся к увлечению «средства передвижения» своей возлюбленной, но глядя на галантность и уверенность, с которой Даль выполнял порой повышенной сложности заказы, он как-то вскользь заметил:

— Нахаленок! Один из самых преданных мне друзей просит выполнить небольшой заказ по твоей части. Сущая безделица, мелочь... Поэтому я все никак не решаюсь оторвать тебя от перстней «для царицы Тамары».

— Что он хочет? — спросил ювелир, увлеченно работая паяльной иглой.

— Слить в перстень пару обручальных колец.

— Не понял?

— Что ты не понял? Ему нужна обычная мужская печатка.

— Какой формы?

— Он хочет что-нибудь оригинальное. В форме гроба, например.

— И литой Могед-Довед на крышке?

— Неплохо,— задумался Каган.— Но крышка должна открываться. А под ней гравернешь скелет.

— Дядя, у вас неплохая фантазия.

— На скелет можно будет сыпануть два миллиметра земли совковой лопатой.

— Почему так мало? Я сделаю могилу более вместительной.

— Нет-нет, не нужно.

— Почему?

— Потому что это ложное захоронение.

— Как?

— А вот так! Мой друг изучал захоронение Ротшильда из династии Рамзесов, для чего перечитал Шлимана, Картера и Керама. Его восторгу не было предела... Все будет так же, но с единственной разницей: поскольку для сохранения тайны раба нельзя убить, то мы купим его память. Сколько ты возьмешь за работу?

— Триста.

— Ты скромничаешь, нахаленок. Я договорюсь за пятьсот.

— Полтинник я жертвую посреднику.

— Спасибо и на этом.

«Странно, почему он не дает мне колец? — подумал Даль, надевая приемную трубку февки на горелку газовой плиты.— Через пару недель нужно сворачивать производство. Еще месяц-полтора — и документы будут готовы... Моя бедная, любимая мама. Далась ей эта родина: базар, квартира и кладбище. К своему папе она ходит чаще, чем к моему, хоть они и лежат почти в одном секторе. А я не хожу вовсе... «Мертвые хоронят мертвых!» Очень сильная фраза. Она полна непонятного смысла... Живые же великодушно убивают друг друга. В последнее время чаще напалмом и кассетными бомбами... Да черт с ними... Мы ее с Фимой вызовем. Никуда она не денется, пусть отскучает, сколько положено».

Музыкальный звонок прервал его размышления.

— У тебя что, ключей нет? — недовольно спросил он, открывая дверь.

— Во-первых, нужно спрашивать: «Кто там?» — оттолкнула его в сторону хозяйка дома.

— А во-вторых, ты нюх потерял,— хохотнул Каган.

— В-третьих, вы мне пух обломили, я только начал работать.

— А в-четвертых, Зема с Ниной,— устремив вперед и вверх правую руку и гордо выпятив грудь, процитировал Каган,— отправляются в полет...

— И в квартире етой самой Нинка больше не живет,— проявило поэтический дар «средство передвижения».

— Правильно. А в-пятых, как тебе понравилось в-четвертых?

— Очень понравилось. Только ответьте: «Надолго ли?»

— Два-три дня, нахаленок. Распоряжайся, нас нет. Кстати, сворачивай производство. Этот заказ последний.

— Может быть, предпоследний?

— Ах, да, совсем забыл! Нужно будет к нему заехать. Но это после. Сейчас собирайся.

— Куда?

— На минуту ко мне и в аэропорт.

— Пятнадцать рублей, дядя.

— Нахаленок, не рви мне сердце! Самые наглые таксишники берут десятку.

— Но используют государственный транспорт. К тому же, я езжу без подсадки. Ну, а главное — моя бедная, старая лимузина просит любви. Скоро мы с ней расстаемся. В последнее время я не тяну из нее жилы. Пусть оценит в разлуке мою добрую душу. Ну, так как?

— Плачу! Ты пробудил во мне жалость и прочие добрые чувства.

— С чувством стоит дороже, дядя. Зарплату попрошу авансировать.

— Это еще почему?

— Не стоит омрачать любовь сомнениями...

Совершив две промежуточные посадки, серебряная «тушка» с комфортом доставила Виктора и Нину Даль в вечерний Тбилиси. Занятый работой ювелир не заметил исчезновение паспорта, как не обратили внимания уставшие работники «Аэрофлота» на чересчур солидный вид двадцатисемилетнего гражданина в добротном сером костюме, с коричневым, крокодиловой кожи «дипломатом» в левой руке.

Его прелестная спутница в строгом дорожном костюме и легкой кокетливой шляпке «насолилась» добытым в многоязычной пестрой толпе ростовского аэропорта жирнющим донским рыбцом, утолила жажду охлажденным боржоми в Минводах и по-детски нескромно просилась в гостиницу, так как ревнивый «муж» не желал отпустить ее от себя в общественный туалет, расположенный в подвальном помещении аэровокзала темпераментной столицы Грузии.

— Потерпи! Еще совсем немного,— сумел-таки уговорить он ее, подталкивая к выходу из аэропорта.

Взглянув с высоты пятнадцатого этажа «люкса» отеля «Иверия» на веселый хоровод вечерних огней, Нинка сразу же простила Кагану недавние капризы и восхищенно мяукнула:

— Земка, рыбина! Мне кажется, что я смотрю в воду, а в ней отражается небо...

А оно, иссиня-черное и по-особому твердое, замешенное господом на душевной чистоте, гордости и патриотизме горцев, дышало настоянными на алыче чинарами и несло в дальнюю, звонкую высь хрустальные, яркие блестки.

По-деловому озабоченный, Каган досадно хмыкнул, лишившись ненароком верхней пуговицы на рубашке, вынул из «дипломата» другую и начал переодеваться.

— Земка! — удивилась Нинка.— Такой объемный саквояж и на редкость невместительный. Две комбинашки, рубашка и мыльница. Они и в моей сумочке поместятся.

— Дань моде, дорогая, не больше,— заметил тот, повязывая галстук.— Пошли.

Совершив медленный променад, как и подобает на сердечной аорте Грузии — проспекте Руставели, он увлек ее в боковую кривую, мощенную вековым булыжником, бегущую змейкой вверх улицу и уверенным шагом аборигена Сабуртало повел вдаль. Через несколько минут они свернули за угол и подошли к старому, вросшему в отвесную скалу тифлисскому дому, который уцепился за нее всем своим обветренным телом, отраженным в желтой Куре древним взъерошенным колдуном.

— Старый знакомый,— тихо проговорил Каган, отыскивая по только ему известным приметам одну из многочисленных занавешенных чурчхелой веранду.

— Не поздно? — тревожно спросила Нинка.

— Да ну, о чем ты?! — удивился он, нащупывая звонок в густой, вьющейся вокруг двери виноградной лозе. Веранда ожила, залилась ярким светом. Кто-то раздвинул чурчхелу, растворил окно:

— Кто там?

— Кто ждет гостей? — с невесть откуда прорезавшимся кавказским акцентом весело спросил Каган.

— Грузия ждет гостей,— последовал немедленный ответ, и тут же щелкнул замок.— Вах! Дедико! Зема приехал! Софико, гости к нам!

— Проходите, дорогие! — встретил их на пороге мужчина средних лет с быстрым взглядом спокойных серых глаз, вьющейся копной цвета спелой ржи волос, ровным, красивым носом и медальным подбородком.

Жена его бросила на гостей пронзительный смоляной взгляд из-под строгой косынки, застенчиво улыбнулась, подошла, протянула руку:

— Софико! Проходите в дом наш...

Все вокруг ожило, во внутреннем дворике в старом, прокопченном мангале жарко пылали сухие дрова. Зема доказывал свое профессиональное мастерство в обращении с шампурами, женщины сервировали стол.

— Ты у нас впервые? — спрашивала быстроглазая Софико, раскладывая на блюде соленый перец, розовую пряную капусту, свежие бурые помидоры, кинзу, мяту, риган.

— Впервые,— отвечала Нинка, нарезая тонкими ломтиками сулугуни.— А ты была в Киеве?

— Что ты?! Нет, конечно... Из дома страшно уезжать. Я скучаю за Тбилисо очень. Прошлой осенью ездили с Отаром в Махиджаури — неделю выдержали и удрали домой. Лучше нашего дома в мире нет! Завтра на Мтацминду поднимешься, твои глаза рай увидят. Мать Грузию увидят. Потом в Пантеон пойдем. Там похоронены лучшие сыновья Кавказа.

— Кто, Софико?

— Чавчавадзе, Марджанишвили, Чиковани, Грибоедов. Знаешь, он на нашей княжне женат был. Это она ему написала: «...Только зачем пережила тебя любовь моя?..» Завтра сама прочтешь.

— Обязательно поедем!

— Что ты говоришь?! Мы в Пантеон пешком ходим,— это ж слава народная! К ней только ногами идут...

— Ну, как тут у вас, порядок?! — появился на пороге Отар с блюдом дымных, расточающих удивительный запах костра шашлыков.

— Все готово, Отар. Приглашай гостей к столу...

Застолье продолжалось до глубокой ночи; приехавший по вызову таксист без труда отыскал запоздалых пассажиров по льющейся с веселой веранды в сонную Куру нежной песне Отара.

— В десять встретимся в «Иверии», не проспите,— напутствовал он.— Завтра нас Мцхета ждет! Светицховели наш.

Весь день гости знакомились с достопримечательностями Грузии. Стоя на плитах храма, Нинка с интересом слушала рассказы Софико о жизни героев ее родной земли: Давида-Строителя, Горгасала, царя Ираклия...

— Знаешь,— с жаром рассказывала та,— Ираклий-царь был самым мудрым из всех. Он первый понял, что Грузия-Мать станет великой только в братстве священном с русским народом. Пойдем, я покажу тебе Джвари.

— Что это? — спросила Нинка, очарованная новой подругой.

— Это храм. Он виден отсюда. Под ним Арагви сливается с Курой. В Джвари жил Мцыри. Ты читала Лермонтова?

— Спрашиваешь! Конечно, я его очень люблю.

— И я тоже, это счастье, что он жил у нас.

— В чем счастье, Софико?

— Он рассказал нам о судьбе Мцыри. Знаешь, наша земля, природа, небо — все рождает песню и стих. В Грузии писал Пушкин, а потом Есенин. Мы гордимся ими, они и наши поэты... Смотри, Мать Грузия видна отсюда. Чаша — друзьям, меч — врагам!

— О, вспомнила! — всплеснула она руками.— Жену Грибоедова Ниной звали. У тебя прекрасное имя! Почему ты плачешь? — испугалась Софико, неожиданно взглянув на Нинку.

— А-а-а! — мотнула та головой.— Нашло на меня. Бывает, прости...

Невдалеке Каган, используя свой неразлучный «дипломат» в качестве стула, беседовал с расположившимся на траве Отаром, который, отчаянно жестикулируя, с чисто кавказским темпераментом что-то доказывал несговорчивому гостю.

— Пойми наконец! — убежденно говорил он, сопровождая свою речь живейшей мимикой.— Ему вообще цены нет. Кроме того, тебя не знает никто так же, как и ты знаком только со мною. В данном случае любая стоимость приемлема. Прибавь я еще тридцать тысяч, и покупатель согласится. Я не думаю, что у нас в частном владении есть что-либо подобное.

— Да, но...

— Не надо «но»! — прервал его Отар.— О нем знает весь мир, понимаешь? Он в каталоге уже больше сотни лет живет! Для всех — утерян, а для нас — живой! Торга нет. Все.

— Когда я смогу его увидеть?

— Когда захочешь!

— Сейчас хочу!

— Сам понимаешь — ерунду говоришь.

— Вечером можно?

— Хлебом клянусь — можно...

Вернувшись с Мтацминды, Зема закрывшись в кабинете Отара, вооружился лупой, протер очки, которые надевал только в исключительных случаях, и со священным благоговением принял из рук посредника сафьяновую коробочку. Раскрыв ее, он издал невольный возглас восхищения, любуясь совершенством огранки, чистотой и игрой света в живо-

трепещущем теле бриллиантового божества, лежавшего у него на ладони.

— О Отар! — только и смог произнести он, проверив прочность и вес камня.— Какая огранка! Ни скольчика! Мама дорогая!.. Дай мне воды. Боже! — воскликнул Каган, принимая дрожащей рукой стакан. Затем в мгновение ока бросил камень в рот и запил водой.

— Что ты надумал, кацо? — в ужасе кинулся к нему Отар, хватая гостя за лацканы пиджака.

— Рассчитаться! — презрительно бросил он, счищая с пиджака его руки.— Отойди, дай кошелек поднять,— наклонился он над «дипломатом».— И не меряй нас на ваш аршин...

Открыв «портмоне» и надавив на потайную пружинку, он вскрыл крышку второго дна и методично отсчитал «другу» сорок увесистых пачек, укомплектованных купюрами сторублевого достоинства.

— Считай, дорогой,— предложил он, подбросив в воздух последнюю пачку.— Твой гонорар — мое спасибо!

— Отойди в сторону,— жестом указал Отар на кресло. Каган со смехом плюхнулся на диван.

— Считай, дорогой! — блаженно повторил он, закрывая глаза в томной неге.

— Смейся, кацо. Деньги счет любят.

— Конечно, конечно любят,— вынул он из кармана металлический рубль.— Это за карманное зеркальце. Я разрезал его, не сердись.

— Куплю новое,— серьезно проговорил Отар, вытирая со лба обильный пот и разрывая первую пачку...

Утром счастливое семейство благополучно улетело домой. В самолете Зема с достоинством и со вкусом устроился в кресле, сложил молитвенно на груди руки и затих. Но не успело еще погаснуть табло над пилотской кабиной, а руки его уже устроили мерцательный вальс на сытой танцплощадке ухоженного, махрового живота.

— Животик болит? — с тревогой спросила Нинка, увидев его манипуляции.

— Нет,— улыбнулся Каган.

— А почему ты гладишь его по часовой стрелке, как учат японцы?

— А потому, котенок,— наклонился он к ней,— потому что мой живот... Если б ты знала, как он мне дорог...

Не надеясь обнаружить в обеденное время Даля, привыкшего не ущемлять аппетит и принимать по спецдиете

сациви из кур, проперченный суп-харчо и жаркое с сюрпризом в горшочке в кавказском зале ресторана «Эверест», Нинка своим ключом открыла входную дверь и прошла в прихожую.

Каган с шумом швырнул опустевший «кошелек» в угол, неверным шагом проследовал в затемненную гостиную, наталкиваясь на оставленные в беспорядке стулья, отдернул гардины из тяжелого репса, осмотрелся. Уставленный закусками стол, полупустые бутылки с горячительными напитками, раскрытый торшер-бар, два прибора, заполненная окурками пепельница, часть из которых была помечена дьявольской меткой помады № 25 фирмы «Радошть» Познаньского воеводства, в момент поведали им об ужасном падении Даля, соблазненного страстной брюнеткой (или блондинкой с испорченным вкусом), которая уже, счастье какое, научилась курить.

Нинка неслышно, на цыпочках, подошла к спальне, приоткрыла дверь, всмотрелась в многообещающий мглистый полумрак.

— Есть тут кто-нибудь? — тихо, чтоб не потревожить, позвала она.

— Витя, лапочка, проснись! —услышала она в ответ трагический женский шепот.— К нам пришли, слышишь?

— Кто пришел? Кто? — донеслось из-под одеяльной неги.

— Гости пришли,— язвительно бросил Каган через Нинкино плечо.

— Гости пришли,— прошелестела обладательница напомаженных губ.

— А-а-а! Гости пришли?! — осмысливая ситуацию, продублировал, окончательно вырываясь из цепких рук пьяного Морфея и пристреливаясь к кнопке торшера, Даль.— Да, действительно гости! Не волнуйся, малютка, это моя жена!

— Наконец-то вся семья в сборе,— ножом по сердцу резанул Нинку «откровенный до неглиже юмор».— Скажи, пусть она выйдет. Я должна одеться.

— Что значит — должна? Ты мне ничего не должна. И вообще, какой смысл? Мы изобличены.

— Одевайтесь, девушка, и не волнуйтесь,— сопровождая свою речь благородным выволакиванием Нинки из спальни предложил Каган.— Мы хорошо воспитаны.

«Выползший» на разведку Даль со страхом понюхал воздух, картинно упал на колени, бросил в потолок обе руки и взмолился:

— Побейте меня камнями, я потерял целомудрие!

— Давно? — больно уперся в него штык Нинкиного вопроса.

— Я страдаю по нем уже двое суток,— признался он.— Даже водка не в состоянии убить мое горе.

В дверях показалась юная брюнетка, что, безусловно, делало честь ее вкусу. Но движения ее были скованы, щеки разрумянены сверх меры, во взгляде чувствовалась отнюдь не неловкость, а истинное неведение штрихов хорошего тона в пикантных и экстремальных жизненных ситуациях.

— Простите, я пройду в ванную,— окрасив желание нескромной надеждой, неловко проговорила она.

— Прощаю, но не в мою! — окончательно вошла в роль обманутой жены Нинка.

— Тогда, если можно, в свою!

— В свою? Дерзайте!

Вместо ответа раздался шум с силой захлопнувшейся входной двери.

— Какая невоспитанная молодежь! — с сожалением произнес «муж-изменщик».— Ни мне спасибо, ни вам — до свиданья. Горе нам с ними...

— Ну, ты даешь, нахаленок! — хлопнул в ладоши Каган.— А я думал, ты джентльмен... Даже не поцеловал даме ручку. Нина, как тебе нравится это еврейское воспитание?!

— Ничего удивительного. Сняв голову, по волосам не плачут. Нашел, где сорить? В моей квартире!

— А что, нельзя? По-моему, вам так больше подходит. Я прав, дядя?

— Конечно, прав!

— И моя жена с вами полностью согласна. Ее это вообще как-то не касается. Ей моя личная жизнь, можно сказать, полностью безразлична, что делает честь нашей с ней целомудренности и сохраняет нервную клетчатку всех присутствующих индивидов, особенно тех, что в серых костюмах возвращаются с чужой женой, будто так и надо...

— Когда ты выпил последнюю рюмку? — пропуская справедливый упрек мимо ушей, озабоченно спросил индивидуум в сером костюме.

— Рабочую смену назад.

— Нормально. Беги в ванную, приведи себя в порядок. Да... И попрощайся с Ниной, она уезжает.

— Куда, Зема? — удивилась та.

— В Радомышль. Три часа дороги. Заедешь к моему человеку. Он директор ювелирного магазина. Неделю назад

он оставил для тебя сережки. Я только сейчас вспомнил об этом. Возьми три тысячи,— Каган достал из кармана туго набитый бумажник.— Я буду ожидать тебя здесь. Не задерживайся.

— Нельзя завтра, Земочка? Я очень устала с дороги.

— Красу ноги кормят! — врезал он по народной мудрости.— Нельзя. Да и мой «Чек» может не выдержать и продать их другому. Деньги на дорогу есть?

— Все, что ты мне дал на расходы. Я еще не тратила.

— Умница! Вызывай такси.

Проводив Нинку на вокзал, Каган заехал домой, наскоро чмокнул в щеку «нашу жену», порылся на антресолях, уточнил:

— Дела, дорогая! Как я скучаю по дому! Буду завтра,— и побежал к лифту.

Даля он застал готовым к трудовым свершениям, а порядок, наведенный последним в квартире, лучше всяких слов говорил о проснувшейся совести, желании восстановить поруганную честь и неисчерпаемых запасах кинетической энергии.

— Полюбуйтесь, дядя,— воскликнул он, показывая на горку свежевымытой посуды.— При моих-то золотых руках, за что Господь Бог меня так наказывает?!

— Чем ты недоволен?

— Ну как это? — всхлипнул он.— Жена с любовником раскатывают глобус, причем в неизвестную сторону, потом вообще куда-то в никуда... а я не успел сделать маленькую постирушку, бегу мыть посуду, заметаю, пылесосю... Вот что я вам скажу: пора ломать такие порядки.

— Еще слово — и я сломаю... Шею тебе сломаю, чтобы ты не палил за мной мосты, понял?.. Второй раз не прощу... И заставлю стирать постельное белье. А то,— он показал на двери спальни,— собери в узелок. Выбросишь по дороге. Ну, а теперь — за работу! —бросил он на стол обручальные кольца.

— Зачем так много?

— В них сорок грамм.

— И все на гробик?

— Если бы ты не был таким догадливым, я бы уже давно откусил тебе ухо. Бери бумагу и ручку.

— Никак расписку отберете в знак сохранения тайны предприятия?

— Не хохми! Черти гроб, рисуй перстень. Высота саркофага двадцать миллиметров.

— Не много, дядя?

— Так нужно.
— Кажется, я чего-то недопонимаю.
— Что именно тебя волнует?
— Что за фараончик ляжет в могилу?
— А говоришь: не понимаю! Фараончик — лучше не бывает! Короче — пять грамм.
— Сколько? — Даль аж присел от удивления.— Двадцать пять каратов? Дядя — вы же Крез. Откуда вы к нам прибыли? Где ваша Ява, Суматра? На острове Борнео? Да?
— Прекрати болтать, некогда. Я потомок великих людей. Может, Демидовых, может, Строгановых, может, Романовых! Мне все равно. Рисуй.
— Ваше величество,— упал он на колени,— разрешите обозреть!
— Успеется. Расскажи, как ты мыслишь вогнать его туда?
— Элементарно! Завариваю его в сейф, который помещается в саркофаг. Снизу и с боков — миллиметровая стена. Снаружи — камуфляж. Все.
— Нет, не все,— задумался Каган.— Камень обволакиваешь в свинцовую фольгу. Вот теперь все!..
Даль принялся за работу, и уже через стартовых полчаса «главный конструктор» одобрил чертеж межконтинентального супергроба класса «земля—воздух—земля», а к вечеру, когда возникла крайняя необходимость в боевой головке, он отправился в местный туалет, моментально превращенный в операционную. По забывчивости не подготовив руки к проведению операции, он старательно мыл их после, чертыхаясь и, более того, проклиная свою жизнь, вспоминая легкомысленных женщин, чужих родителей, почему-то преимущественно матерей, а затем передислоцировался в ванную, где со спокойствием Христа и достоинством йога влил в себя разведенную в пяти литрах воды столовую ложку двууглекислой соды и, упершись указательным и безымянным пальцами правой руки в выдерганные зубы мудрости, бодро флиртанул средним пальцем с крепкой луженой глоткой. Раздался мощный животный взрыв: его глаза, выброшенные на окололобную орбиту, впились в неэвакуированные в кишечник остатки грузинского гостеприимства, в мути которых блеснуло, озарившее все вокруг, «солнце его жизни». Охвативший его восторг слился воедино с чувством голода, но и они были убиты гамма-излучением пришельца вечности. Несколько косметических усилий, и благоухающий Крез предстал пред очи дерзающего фезеушника.

Восторгу не было предела!

Операция по вживлению «боеголовки», начатая незамедлительно, продолжалась с короткими коктейль-перерывами в течение двух часов бытия, слившихся в упорную вечность. Настал критический момент торжественного захоронения. Родственники «покойника», обещающего ко времени воскреснуть и блеснуть, как минимум, на лондонском аукционе «Сотби», встали со своих просиженных мест, опустили руки, расслабились.

— Говори! — великодушно разрешил отец супербомбы.

— Почту за счастье,— откашлялся Даль.— Сегодня мы провожаем в последний путь то, к чему вы, дядя, шли всю свою сознательную жизнь и после захоронения воскликнете: «Это было не напрасно!» Я же, нищий человек и ремесленник, буду с завистью смотреть на могилу, сопровождая вас в увеселительном турне по странам Западной Европы и Ближнего Востока. Пути господни,— показал он на своего единственного слушателя,— неисповедимы. А поэтому, опуская вашего, заметьте, страдальца, в уготованную ему могилу, мы со слезами жалости, радости и некоторым пренебрежением (мы тоже порядочные люди) говорим: «Спи спокойно, моя дорогая фамильная ценность, гордость, будущее и надежда всех надежд. Пусть тебе железная рука Земы будет пухом. Аминь!» Дядя, с вас пять тысяч рублей за рабскую преданность и немоту...

Каган, как и подобает родственнику усопшего, сохранял скорбное, приличествующее моменту выражение лица, но прочувствовав, что настало время прощания, с ловкостью каратиста, скрутил гробокопателя в три погибели, не забыв прикрыть кислородоприемники.

Не надеясь на оздоровление атмосферы, Даль обмяк моментально, что в немалой степени способствовало его возврату в вертикальное положение, приняв которое возвращенец «с того света» воскликнул:

— Миддл но! Третьего не дано! Поэтому не стоило начинать. Я буду жить долго. А посему прошу рассчитаться!

— Делай! — прохрипел Каган.— Рассчитаемся. Но помни! Вернее — забудь!

— Помни! Тоже мне еще Карл Пятый! Вот возьму и не забуду...

— Что ты бубнишь, грабитель? — хлопнул он его по плечу.— Не расстраивайся. Держи деньги...

Вернувшаяся к полуночи Нинка устало опустилась в кресло, молча вынула из сумочки деньги, в сердцах швырнула их на журнальный столик, зло чертыхнулась:

— Знаешь, куда посылать! — гневно посмотрела она на озаренного внутренним светом возлюбленного.

— А в чем дело?

— Он сегодня укатил в Киев.

— Когда я направлял тебя к нему, мне об этом не было известно. Не нервничай зря... Час назад он был у меня и привез серьги.

— Ну, Зиновий! Ну и скрытина...

Извлеченные из кармана серьги с тихим звоном упали ей на колени. Охваченные осколочным кольцом бриллиантового света, сочные изумруды дружески подмигнули неудачливой путешественнице, умиротворили и, получив ответную улыбку, заняли достойное место в мочках ее ушей.

— Ну как? — всматриваясь в усталое лицо своей избранницы, спросил Каган.

— Мне нравится,— признался Даль.

— И мне тоже,— застенчиво улыбнулась Нинка.

— Ревную! Они сговорились!

— Зиновий! — предупреждающе вспыхнула путешественница.

— Не сердись, котенок. Лучше посмотри на мою обновку.

— Ого! А почему гроб?

— Потому, что я схоронил в нем вот этого человечка.— Он открыл крышку.— А сверху подсыплю украинский чернозем. Родная земля, никуда не денешься. В малых дозах показана к путешествию по планете.

— Ну и выдумщик!

— За что и дорог! — просветлел Даль, нежно гладя вощеный купюровый пресс, уснувший в заднеджинсокарманной колыбели везучего, как думал о себе, в минуты, когда вообще думал, рыцарь пеньюара и бритвы, добавивший к фамильному гербу ремесленника золотую наковальню и серый тигль с бьющимся наружу огненным солнцеподобным джином...

ГЛАВА 20

В самый разгар подготовки к бойкой торговле, когда протяжный гудок судостроительного завода, известивший об окончании рабочей смены, слился воедино с боем склянок теплохода «Икар», доставившего к центральному причалу загорелых туристов, Клару Соломоновну кто-то, решительно барабаня в запертую дверь буфета, требовал на рандеву.

Она с гордостью окинула критическим взглядом парадный строй бутылок с марочным «Гратиешти», а если смотреть исторической правде прямо в глаза, то просто со столовым рислингом, но с переклеенной этикеткой, накрыла плотной бумагой Боренькину ванночку, в которой принимали водяную баню подготавливаемые «к перепечатке» бутылки, сверху водрузила на нее ящики с пустой тарой и, громыхнув дежурным басом: «Кого там несет?» — подошла к двери.

— Меня несет! Можно входить? — одарил ее улыбкой бывший зять.

— Входи! — разрешила она.— Но ты пришел слишком поздно. Как тебе известно, мои девочки замужем!

— Может, я пришел слишком рано, потому как мне известно, что они еще не развелись? Нет, Клара Соломоновна, я пришел для решения другого вопроса.

— Что тебя интересует? — спросила она, с сожалением рассматривая явно похорошевшего бывшего родственника.

— Как вы, наверное, догадываетесь, я отбываю к папе.

— Так тебе и надо.

— Естественно! Поэтому и пришел к вам за разрешением на отъезд моего сына.

— Что? Нет, он таки двинутый! Нет, мне таки сейчас станет плохо,— Клара Соломоновна присела на единственный стул, молчаливый свидетель ее трудовой деятельности.

— Мы не отдадим тебе ребенка, запомни! — протрубила она иерихонской трубой.

— Понял! — ответил Фред.— Только не смотрите на меня с любовью, мне страшно. Клара Соломоновна! Зачем вам нужен мой сын?

— А зачем тебе нужен мой внук?

— В нем запечатлены дорогие мне черты вашей дочери. Кроме того, я не могу разбрасываться своей кровью!

— Если бы ты был такого же мнения и о плоти, завтра вы уезжали бы вместе с Гретой!

— Ошибки юности! Что делать, все мы грешны!

— Меня в свою компанию не бери. Моя жизнь — это мое дело.

— А моя?

— Короче, о ребенке забудь!

— Ну и ну! Так у нас ничего не получится. Давайте серьезно.

— Я не мешаю. А тебе пора уходить, мне нужно думать о том, чем завтра кормить Борика.

— Ну, что ж, завтра ждите в гости.

— Не раньше двенадцати...

Но он пришел в десять, не надеясь в назначенный срок преодолеть препятствие в виде запертой двери, что, суммированное с отключенным дверным звонком, создавало, по его мнению, соседскую свидетельскую базу по делу о мелком хулиганстве.

Дверь ему открыла Ирина, она же Марлен в дни былой дружбы.

— О, Фреди,— растаяла она на пороге.— Я не одна...

— Ирина, кто там? — раздался голос главы семейства.

— Это Фреди, мама,— ответила Ирина, вздыхая на пороге гостиной...

Семейный совет начался незамедлительно, и к полудню появились первые наметки итогового документа. Причем, осмыслив наконец, чего от них хочет истец и начисто забыв об этической стороне вопроса, ответчицы занялись скромной бухгалтерской деятельностью, реализуя скрытые таланты, жадность и математические навыки в объеме таблицы умножения. К сожалению, они начисто забыли интересы гражданина Бориса Романовича Бермана, не желающего как раз в этот исторический момент доесть жирный наваристый борщ из рук уставшей нянечки Веры в средней группе детского комбината «Звездочка».

— Ну хорошо,— прикуривая очередную сигарету от предыдущей, примирительно говорил Фред,— начнем все с начала... В настоящее время я плачу Бореньке тридцать пять рублей в месяц, правильно?

— Правильно,— осмысливая очередной ход соперника, подтвердила Клара Соломоновна.

— И если бы я не уезжал, то до совершеннолетия Бореньки платил бы эту же сумму, правильно?

— Допустим,— неохотно согласилась бывшая жена.

— Почему — допустим?! — грохнула кулаком по столу мама.— А если бы он перешел на работу с большим окладом?

— А вы перейдете на работу с большим окладом? — парировал ее иезуитский выпад Фред.

— Допустим, нет!

— Значит и я «допустим, нет», согласны?

— Хорошо.

— Наконец-то усвоили. Пойдем вглубь: я уезжаю...

— Это твое дело.

— Ну не перебивайте же меня, Клара Соломоновна.

— Попробую.

— Повторяю, я уезжаю и, так как Бореньке три года и десять месяцев...

— Давай без месяцев!
— И так как Бореньке четыре года...
— Э, нет. И это отец!
— Ну хорошо... И так как Бореньке три года, я хочу выплатить алименты за пятнадцать лет вперед. Разумеется, оттуда я тоже буду ему помогать.
— Это еще вилами по воде писано! — засомневалась Грета.
— Даже если ты и захочешь, у тебя нечем будет помочь единственному ребенку,— проклятьем прозвучало напутствие тещи.
— Послушайте,— вмешалась экс-Марлен,— что вы его мучаете? Давайте подсчитаем сумму — и дело с концом.
— А ты не вмешивайся,— осадила ее Грета.— Добренькая нашлась. Это не твой ребенок, а мой.
— При чем тут это? Ты замужем, и мы претензий к Фреду не имеем.
— Особенно ты!
— Довольно! — прервала мать разгорающийся спор бывших соперниц.— Фред! Послушай сюда, ты нам платишь по пятьдесят рублей в месяц за пятнадцать лет. И мы даем разрешение.
— Это грабеж! — убежденно воскликнул он, согласившись в душе с такой суммой.— К тому же лично вам я ничего не плачу, деньги я даю сыну. Я открываю на его имя счет в центральной сберкассе с условием: распорядиться деньгами он сможет сам, став совершеннолетним.
— А вот этот номер уже не пройдет! — вскочила со стула Грета, мечтавшая о личном автотранспорте и уже видевшая себя за рулем «супер-жигуля»... Очки, джинсы, женские краги и «данхилл» в уголке рта...
— Фред прав! — безапелляционно заявила мать, представив картинку из жизни будущей гонщицы: ...груда железа, а вокруг... Очки, женские краги, джинсы... а в них то, что осталось от «моей бедной девочки», не говоря, естественно, о дымящейся сигарете на обочине...
К двум часам пополудни итоговый документ, удостоверенный печатью управдома, залег огненным камнем на груди Клары Соломоновны.
«Сумку он может вырвать»,— решила она.
А через несколько минут в центральной сберкассе состоялся обмен верительными грамотами.
— Давайте разрешение,— предложил Фред, заполняя приходный ордер.

— Вначале книжку,— запротестовала ответчица, реализуя вдруг право истицы.

— Да, но если я сдам деньги, то уже не смогу ими распорядиться...

Но, как всегда бывает в экстремальных жизненных ситуациях, выход был найден простой до невозможности... Зажав деньги в правой руке, Фред подошел к окошку кассира и в момент их передачи принял дрожащей левой рукой заветный итоговый документ.

— Разверните его! — предложил он взмыленной Кларе Соломоновне.— А то вы можете перепутать и выдать мне счет в уплату за унитаз.

— Гляди, хамина! — с отвращением воскликнула она.

К счастью, сделка реализовалась...

— Боже, как мне жалко с вами расставаться,— с нежностью глядя на бывшую тещу, проговорил Фред.

— Почему, Ромик? — ласково спросила она, промакивая сочную испарину на лице батистовым платочком без вензеля, но с каймой.

— Потому что вы прекрасны в спокойном состоянии, а оно у вас будет лишь однажды, и увидят его счастливцы!

— Жизнь тяжелая! — согласилась она.

— В гробу,— добавил он и, не прощаясь, двинулся к выходу...

За неимением личного автотранспорта, переправленного в Боренькину сберкнижку, Фред спустился на набережную, прошел к своему РОПу, отыскал «Вегу», легко впрыгнул на борт, подмигнул медному догу, завел движок и вывел лодку на фарватер.

Решив провести вынужденные каникулы с максимальной пользой для здоровья, они сняли тихую дачу на Десне и вдали от города нежились под ласковым солнцем, мечтая о новой жизни. Фред с успехом развеивал последние сомнения в душе супруги и у Марии Михайловны, получившей мобильный заряд бодрости для преодоления утомительного путешествия. И если вначале их беседы сопровождала часто легкая грусть, то с появлением семейства доктора, арендовавшего дачу совсем рядом, у края песчаной отмели, радость общения с себе подобными растворила щемящее чувство тоски и неизвестности. Майка сдружилась с Асей и помогала ей осваивать язык; Фред на зорьке будил доктора, и они отправлялись на рыбную ловлю; ну, а всеобщая любимица Лерка с достоинством несла на себе приятный груз ласки и довольно легко объяснялась на английском с будущей переводчицей по Европе в рамках узких житейских тем.

Мария Михайловна, видевшая в Гельмане если не спасителя, то друга, который не оставит в тяжелом положении, спокойно ждала своего звездного часа и излечения в библейском Назарете, истоптанном самим Иисусом Христом. «Если он поднял из гроба какого-то Лазаря,— думала она,— то богобоязненный Лазарь в белом халате спасет меня от смерти...»

Свежий целебный воздух, тихая живительная вода успокоили ее, вернули бодрость, и уже через несколько недель она заразительно смеялась, заучивая с Асей модальные глаголы, чему не в малой степени способствовало ее восхищение добротой, внутренней культурой, жизненной хваткой и практичностью зятя. Она всячески превозносила его достоинства, изредка по ночам молилась (сказалась дружба с попадьей) о счастье детей, а что не своему Богу, то это ладно... Потому как Бог — он для всех один, а в скольких он лицах и как его зовут — не так это важно: была бы вера чистая. Крестил же Иисус самаритянку, «собаку неверную», как сказал ей, когда пришел спасти детей дома Израилевого... А мне, иудейке, Бог продлит жизнь, потому что я пришла к нему в сердце своем и в чистых помыслах. «...И собака, когда кушает господин, получает кость со стола его» — в этом мое спасение,— прониклась она священным писанием христианским.

— Майя, а Бог есть? Как ты думаешь? — спросила она дочку, высматривающую мужа.

— Не знаю, мама, нет, наверное.

— Почему же ты отрицаешь, если не знаешь?

— А почему он не приснится мне и не скажет, правильно ли я поступаю, бросая все это?! — взмахнула она рукой.— Посмотри, какая красота!! И все это мое, понимаешь, мое!

Помню, как-то в детстве забрались мы с подружками в чужой сад за яблоками. В Боярке на даче это было. А выгонял нас оттуда песик, маленький такой, но заливистый, спасу нет! Бежали мы зарослями, и, знаешь, казалось, деревья расступались, чтобы вреда нам не причинить... А что будет там? Может, розой залюбуешься, а она тебе шипами грудь изорвет.

— Кажется тебе это, доченька! Привыкнешь, и еще посмеемся над твоими страхами.

— Дай-то бог!

— Вот видишь, а говоришь, что Бога нет,— рассмеялась Мария Михайловна.— Что-то твой ненаглядный запаздывает. Пойду я прилягу, устала немножко.

9*

— Иди, иди, мамуля! Ромка приедет, обедать будем...

Фред издали увидел ее одинокую фигурку на берегу, встал во весь рост на корме, приветливо помахал рукой и, заглушив двигатель, плюхнулся за борт. Майка вошла в воду и поплыла ему навстречу.

— Как дела? Где был? Чем занимался? — градом посыпались на него вопросы.

— Допрос в воде не предусмотрен нормами уголовно-процессуального права,— рассмеялся он, подталкивая к берегу «Вегу».— Дела у прокурора, где я был, там меня уже нет, а делал то, не знаю что. Ну, а если серьезно, то мое общение с представителями преступного мира закончилось вполне благополучно. Коммюнике передано заинтересованному офису. А что у вас? Где доктор?

— Мы приготовили тройную уху. Я поймала с берега двух подустов, Ася их зафаршировала. Лерка спит, а Гельман поехал за ордерами.

— Значит, обмен состоялся?

— Да, и очень удачный. Девочки получают по трехкомнатной квартире. Анна Петровна переходит в квартиру старшей дочери, потому что она угловая, с двумя балконами.

— Жалко ее,— проговорил Фред, доставая из каюты покупки.— Одинокую старость даже врагу не пожелаешь. Впрочем, она будет жить у дочерей Гельмана?

— Она сама захотела отдельную квартиру. Мне Ася рассказывала. «Хочу,— говорит,— иметь свой угол, раз уж так получилось!» Они ей почти все оставляют: мебель, ковры, хрусталь... Да и денег ей хватит до конца жизни. Девочки ее очень любят...

— Она же их вырастила! Но я бы на месте доктора без нее не уехал.

— Она об этом и слышать не хочет! — остановилась Майка.— Гельман пообещал ей вызов прислать, так знаешь, что она ему ответила? «Пришлешь,— говорит,— я с вызовом этим в редакцию пойду и все расскажу людям. И про то, как тебя нянчила, и про то, как ты меня бросил! Пусть люди рассудят...» Ну, он после этого больше не заикается.

У берега, стоя по колено в воде, загорелая до черноты Лерка сосредоточенно смотрела на слегка колеблющийся поплавок, сжимая обеими руками длинное складное удилище. Гостей она принципиально не желала замечать, и только когда они обошли косу и выросли у нее перед глазами, бросила ставшие вдруг ненужными снасти и во весь голос проявила свои знания: — Хеллоу, май дир тичер, май

фазер из ноу, май мазер из слип [1]. Я поймала двух красноперок, но они уплыли вместе с кульком.

— Здравствуй, маленькая! — поцеловала ее Майка.— Пойдем будить маму. Дядя Рома, помогите ребенку.

— Ну, быстренько,— протянул он к ней руки, чем она тут же воспользовалась, удобно устроившись у него на плечах.

— Фредик! Ты возьмешь меня на лодку?

— Возьму вечером.

— А сейчас?

— Сейчас будем обедать.

— Вы обедайте, а я буду папку встречать.

— Так вот зачем тебе лодка понадобилась? Подожди, вот маму разбудим, и «Вега» будет в твоем распоряжении.

— А бинокль?

— Ну что за штурман без бинокля! Конечно, возьмешь.

— А флажок, Фредик?

— И флажок тоже,— пообещал он.

Через неделю Фред обнаружил в почтовом ящике квартиры вызов в ОВИР, а посетив Анну Петровну, застал ее плачущей над повесткой о явке для прощания с Управлением внутренних дел доктора Гельмана...

— Ну, вот и все,— мрачно заключил он, потрясая заграничными паспортами.— Кто-то сказал: «Сбылась мечта идиота!» Пришла пора прощаться...

— С кем? — со страхом спросила Майка.

— И с кем, и с чем, милая моя Майка,— вздохнул он.— До первого августа мы должны пересечь границу... вернее, покинуть пределы. Поехали в город.

— Куда? — не в силах сдвинуться с места, спросила она.

— В какой школе ты училась?

— В тридцать четвертой.

— Поедем...

В коридоре школы их встретила сторожиха, приветливо посмотрела, спросила:

— Куда вы, молодые люди? Школьники на каникулах.

— Извините,— покраснела Майка,— это моя школа. Я здесь училась... А теперь уезжаю.

— Надолго?

— Очень! — прошептала она.— Хочу посидеть в моем классе. Первый «В», он был на втором этаже.

— Он и сейчас там. Проходите...

---

[1] Здравствуйте, мой дорогой учитель. Моего отца нет, моя мама спит *(англ.)*.

В светлом солнечном классе она села за парту и надолго задумалась. Фред молча ходил между рядами, наконец, опустился за учительский стол.

— Ну что ж,— пытаясь скрыть неловкость, проговорил он,— начнем наш урок. Разучиваем букву «М», Майечка, прекрати ковыряться в носу! Иди к доске. Пиши: «Мама моет Майю мылом...»

— Ромка, Ромка! — произнесла она сквозь слезы.— Что же мы с тобой делаем? В этом классе я действительно когда-то впервые написала «мама». Потом и второе слово — «Родина»! Тогда я была ребенком... А наш с тобой ребенок, Роман? Как я смогу научить любить его Родину, если по доброй воле потеряла свою?

Кем он вырастет? Человеком, Родина у которого там, где хорошо или лучше?! И как о нем будут говорить там... в его стране: «Берман, русского происхождения!» А мы с тобой люди без гражданства, оторванные от своей земли, от народа, от очага своего — что может быть хуже? Ответь мне, что?

Но он впервые не смог ей ничего ответить. Он сидел молча, уставившись в одну точку. Да и не было у него аргументов, способных унять или хотя бы смягчить ее да и свою боль. Призрачный мир счастья, к которому он стремился всю сознательную жизнь, втиснутый наконец в зеленую обложку новенького заграничного паспорта, предстал вдруг перед ним во всей своей непоправимой голой сути. Он вспомнил загубленное жуликом отцом детство, плачущую у высоких тюремных ворот мать, юношеские «ченчи» [1] с иностранцами в поисках «веселых картинок» и девочек; каждодневное, осевшее в плоти и крови хождение по проволоке, натянутой над пропастью тюремной отсидки в последние годы...

Он тяжело поднялся, глубоко вздохнул, пытаясь навсегда освободиться от воспоминаний...

У памятника жертвам Бабьего Яра, как всегда, было людно. Боль, горе и ненависть, слитые воедино на лицах падающих страдальцев, воздетые к небу руки матери, не спасшей свое летящее в пропасть дитя, немая, наверное, как сама смерть, скала, расстрелянная, как и люди,— все это, воссоединенное в едином монументальном ансамбле, стонало, крушилось, падало, и поднималось, и корчилось в судорогах, и, захлебываясь, плевало невинной человеческой кровью в злобные хари людоедов-нацистов, скосивших здесь свыше ста пятидесяти тысяч ни в чем неповинных людей.

---

[1] Ченч *(сленг)* — обмен. Правильно *(англ.)* — эксчейндж.

— Пойдем скорее, мне страшно здесь,— впервые признался Фред в своей человеческой слабости.

— Пошли,— согласилась Майка.— Только знаешь, о чем я сейчас думаю? Тем, кто шел к этой скале в сорок первом, гитлеровцы обещали райскую жизнь. Сионисты,— она взяла его под руку,— то же обещают и нам...

— У нас с ними ничего общего не было и не будет! Вылечим твою маму, и сбор у священных стен Сиона закончится. Мы будем жить только для себя.

— Я так не смогу.

— Почему?

— Потому что меня учили жить для людей.

— Сначала нужно их там найти. Мне кажется, это непосильное занятие. Но мы с тобой попытаемся. А не найдем — не обеднеем. У меня есть ты, а это главное,— привлек он ее к себе.

— Вы что, другого места не можете найти,— одернула их седая женщина.— Здесь не парк, а кладбище.

— Тогда мы пойдем в парк, извините,— пренебрежительно улыбнулся он.— А лучше давай махнем на недельку в Москву, затем в Ленинград и домой...

— И из дому,— закончила она,— в страну обетованную.

— А что? Это прекрасно. Увидеть древность, пощупать ее, понюхать, взглянуть на современное «нео» и заявить во весь голос: «Нет, товарищи евреи, фамилия неизвестного солдата не Рабинович. Тот, который «да» Рабинович, сгорел в воронке от снаряда на Принц-Альбрехтштрассе...» — «Он все врет,— закричит местный раввин,— не верьте ему. Это Иуда. Кстати, холостой. И приехал к нам с гулящей девкой...»

— Я что-то не поняла. Почему ты меня оскорбляешь?

— Потому что по законам Израиля мы не супруги. Там не верят гражданскому браку. Поэтому нас с тобой ждет приятный сюрприз: под балдахином на собственной свадьбе мы целуем свиток Торы. Ребэ в это время рассказывает нам «бонтон» в брачную ночь. Нравится? Как мне, так нравится,— ответил он вместо смутившейся супруги.— Только ты уж там не признавайся в том, что безбожница, хорошо?

— Обещаю.

— Ты у меня хорошая, да?!

— Я люблю тебя, Ромка...

Сотрудник посольства Голландии, представляющий интересы Израиля в СССР, был приветлив и крайне многословен. Он принял их в просторном кабинете с высокими

венецианскими окнами, плотно задернутыми тяжелыми, цвета густой бычьей крови гардинами, что удачно сочеталось со стенами колера пьяной вишни и розовым потолком, чуть рассвеченным шестью свечами массивной хрустальной люстры, создавая атмосферу нового Лобного места. И если бы на высоком столе вместо бронзовой Юноны стояла мини-плаха с неотмытым от крови топором — эффект мог быть и значительно большим...

— Что привело вас к нам, господа? — спросил он через переводчицу, пожилую даму в очках с тонкой оправой и в строгом темном деловом костюме.

— В связи с выездом на постоянное местожительство в Израиль, нам нужно легализовать документы,— ответила на английском Майка.

— О, приятная неожиданность! — перешел он на английский.— Я к вашим услугам. Правительство Голландии, которое я представляю, будет радо оказать вам всяческое содействие. К кому вы едете?

— К родителям.

— Мы приветствуем любые действия, вытекающие из заключительного акта Хельсинского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Как отец, я вдвойне понимаю, что воссоединение семей крайне необходимо. Какие документы вы легализуете?

— Дипломы об окончании университета и института народного хозяйства.

— Очень приятно встретиться с образованными людьми. Государство Израиль, интересы которого представляет в настоящее время моя страна, нуждается в высококвалифицированных кадрах. Вы изучали политическую экономию свободного делового мира? — обратился он к Фреду.

— В теории и на практике,— улыбнулся тот.

— Вы не лишены чувства юмора.

— В высших учебных заведениях СССР изучаются все экономические системы,— поправила мужа Майка.

— А вы, как я понимаю, лингвист? — продолжал он удовлетворять свою любознательность.

— Вы правы.

— Прекрасно. Оставьте документы и приезжайте семнадцатого в десять,— пометил он на календаре дату.— До встречи...

Неделя, проведенная в Ленинграде, пролетела одним сказочным мигом и на всю жизнь запечатлелась в сознании Майки красочными воспоминаниями, непреодолимым желанием снова вернуться сюда... Вернуться еще хоть раз...

— Ну что же ты! — нетерпеливо позвал ее Фред.— В Эрмитаж не попадем. Пошли скорее.

— Я ничего не запомнила,— жаловалась она после посещения Эрмитажа.— Здесь нужно месяц ходить, да и то, наверное, мало.

— Ну и напрасно,— проговорил он, с радостью всматриваясь в повеселевшие глаза жены.— А я полон впечатлений на всю жизнь. Во-первых, Петр Первый прекрасно выглядит на картинах, чего не скажешь о его вульгарной родственнице. Кстати, ты обратила внимание на его постельку? Вот тебе и «Ренессанс»! А вспомни обои и коврики... Людовик Четырнадцатый далеко не дурак, если купил Гобелена вместе с фабрикой. И вообще...

— Память у тебя идеальная,— раздраженным тоном сказала она.

— Что с тобой? — искренне удивился он.— Если бы я знал, что ты так болезненно воспринимаешь шутки, то превратился бы в умного гида и в течение двух часов рассказывал о том, почему люблю нежной любовью Растрелли и ненавижу Старова и Штакеншнейдера. Далее я бы рассказал тебе о том, что Монферран, строивший Исаакиевский собор, плагиатничал у Захарова, проколовшего небо адмиралтейским шпилем... Ты хочешь, чтобы я был ужасно умным?! Так с меня достаточно оставаться самим собой. Пойми, я хочу шутить и смеяться! Хочу видеть тебя радостной и безразличной ко всему, что нас сегодня уже не касается.

Я не заберу с собой Зимний и не подниму из могил тех, кто лежит на Пискаревке, понимаешь?! На Марсово поле молодые ходят объясняться в любви... А в Летнем саду нет-нет да играют в самую умную игру на свете, которая называется «подкидной дурак».

Конечно, все что мы увидели здесь, красиво, и очень красиво, и потрясающе! Но в одном только Риме нас ожидают, выпучив пустые глазницы, от мраморных Рэмика и Ромика, еврейских деток основавших Рим, до августейших владельцев папского соборчика святых Петра и Павла... Нас ждет целая армия богов, богинь и прочих сверхчеловеков. А мы, простые смертные, будем кричать: «Вери найс!» И радостно делиться впечатлениями. Ностальгия — не горечь и не тоска по шедеврам искусства и еврейским базарам — ими весь мир кишит. Болезнь эта даже не тяга к земле, которая на цвет, вкус и запах везде одинакова, это стремление дотянуться до невозможного, и именно тогда, когда ты уже пресытишься настоящим. Уверяю тебя: мы не заболеем ею

ни в период становления, ни во время ассимиляции, акклиматизации — нет! Но когда у нас все будет устроено: и дом, и в доме, и вокруг дома — мы взгрустнем оттого, что не с кем поделиться нашей радостью, некому показать наш достаток и некого прокатить местной скоростной трассой с искусственным подогревом на восьмиместной «тоете» с умным кондиционером, поддерживающим плюс восемнадцать при сорокаградусной жаре, от городской квартиры до пригородной виллы с фотосторожем у ворот. Я тоже, по-своему, правда, верю в эту заразу, потому как знаю, что вот этими руками и вот этой,— он погладил свои кудри,— головой заработаю все необходимое для райской жизни, а уже потом заражусь ностальгией. Но когда это случится, я поеду на Ниагару, подставлю свою разгоряченную идиотизмом голову под водную лавину стометровой высоты и крикну: «Оторви мне башку, потому как я болен оттого, что у меня все есть!» А если мне захочется, ну очень, очень,— поцеловал он ее,— принести моей единственной в мире богине мороженое с Невского, я вернусь через пять лет в город Ленинград, куплю несколько ящиков знаменитого «эскимо» и умчусь туда, где можно опять соскучиться...

Вернувшись домой, Фред посетил городской банк, где обменял бесполезные уже рубли на зеленую валюту, о которой мечтал и к которой стремился всю жизнь, после чего впервые после женитьбы вдрызг напился. Приняв в последний раз душ в холостяцкой квартире, матросской походкой проследовал в ЖЭК, где с глупой пьяной ухмылкой кинул на стол управляющему ключи от квартиры и плитку шоколада «Олеся».

— Это еще зачем? — спросил управдом.

— Признаюсь честно, коньяк я весь выпил,— силясь не размазываться по ветру, промычал он и, неудачно развернувшись, вышел вон...

ГЛАВА 21

В день отъезда на «родину» семья Вайнера сидела на одолженных у соседей стульях за импровизированным столом, составленным из покрытого никому не нужной гардиной старого, снятого с балкона фанерного щита с надписью «Все на субботник» и двух хромоногих козел, оставленных малярами в подвале после бесплатного текущего ремонта, проведенного жилищно-эксплуатационной конторой согласно плану подготовки к весне.

На цветастом ситчике были изображены автомобили всех времен и народов, которые в настоящий ответственный момент мчались с бешеной скоростью по столовому бездорожью, игнорируя правила уличного движения, с трудом избегая массовых столкновений с десятью банками бычков в томате, тремя заряженными, готовыми к взрыву сифонами и тринадцатью босголовками «зеленого змия», развернутого «свиньей».

Каждый миг могла произойти катастрофа! И все были к ней готовы: и глава семейства в новом клетчатом дакроновом, цвета маренго европейском костюме, кремовом батнике в цветочек, стянутом галстуком пастельных тонов, вязаным широким узлом с нескромной бриллиантовой заколкой на нем; и ультрамодная, в свободном, цвета «сочный персик» в жемчужных разводах бикини супруга, увенчавшая себя гнедым, до конца не объезженным шиньоном (дефицит, изъятый по ночи с хвоста тяжеловоза-скакуна на пригородной конеферме); и младой Юпитер — Додик, в джинсовом фирмы «Ли» костюме, легком батнике и модных парусиновых «шузах». Его девичья, туго перехваченная широким солдатским ремнем с пряжкой «Джеймс Бонд» талия тянулась ввысь к развернутым молодецким плечам спортсмена спартаковского яхтклуба, за членство в котором он не платил уже в течение полугода.

Шестерка запряженных цугом коричневых, стянутых двойными хрустящими вожжами чемоданов жарко дышала, груженная доверху всем, что страшно было отдать в багаж ввиду чрезвычайной ценности, актуальной необходимости, и ждала уверенной и властной команды.

Две свиньи, надсадно хрюкавшие, но загнанные в двести банок тушенки и переложенные для устрашения дубинами сырокопченого гематогена, должны были скрасить бренность существования и хлопоты туристской жизни на маршруте «СССР — Вена — Тель-Авив», а может быть, Хайфа, с единственной, но высокой целью, оглашенной президентом в «домашнем кнессете»: «Сохраним все, что имеем, до самого дома!»

— Ни одного доллара мы не имеем права тратить! — единолично постановил он, пользуясь правами «дуче» в своей авторитарной державе.— Ты можешь иметь свое мнение и даже можешь быть с ним не согласна,— объявил он бунтующей супруге,— но последнее слово за мной. Я двадцать лет терпел твои «умные» мысли и впредь буду к ним изредка прислушиваться, но решать намерен, как посчитаю нужным. Если ты возражаешь, дома я выделю тебе

ренту. И как тебе ни будет больно и обидно, придется жить одной.

И потому как Циля больше всего на свете боялась физической расправы, все проблемы решились разом и навсегда...

— Что касается Додика,— решил Дуче,— он может иметь карманные деньги, но не должен их тратить!

Желание Додика тотчас завладеть карманными деньгами президентом было попросту проигнорировано и только после убедительной слезной просьбы кнессет принял альтернативное решение, в описательной части которого поощрялось желание граждан иметь личные сбережения, а равно и карманные деньги, что отнюдь не обеспечивалось не только резолютивной частью, но и, что особенно важно, волевыми усилиями членов кабинета министров. Денег Додику не выдали за неимением мелких, а мелких не дали, потому как он их может потерять, и только щедрость сионистского эмиссара позволила ему избежать впоследствии страшной нищенской категории, моментально производящей его в лишнего жениха ближневосточного региона...

Употребление пищи также было строго регламентировано на западноевропейский манер: треть помидора, треть огурца, два ломтика белого хлеба, ломтик колбасы и чашечка кофе — одному европейцу на завтрак; банка свиной тушенки — троим европейцам в обед; бутерброд с куриным паштетом — не позднее восемнадцати часов; чай сладкий с лимоном (если они дешевые в Вене) — не более одного ломтика на один стакан — одному европейцу за час до отхода ко сну.

— Кроме того,— заявил глава службы безопасности, он же президент,— подъезжая к дому, мы должны избавиться от свинины в полном объеме и навсегда забыть, что держали ее в руках,— евреи нам этого не простят!

— Ввиду того, что в наличии свинины имеется больше, чем можно съесть, исходя из строгих переселенческих норм,— заявила Циля, смещенная с поста семейного министра финансов,— я предлагаю съедать в обед три банки свиной тушенки. Тем более, что отвыкать от вредных привычек нужно постепенно.

На это самозваный «президент», он же министр внешней торговли, заявил конкретно и зло:

— Излишки русской свинины, в соответствии с поясной наценкой и местными условиями, реализуем на «диком Западе» по пути домой. При торговых сделках стараемся избегать осевших в Вене спекулянтов еврейского происхождения, грабителей в масках и сотрудников полиции. Кроме

того: ни с кем ни чем не делимся, в гости никого не приглашаем и сами, естественно, ни к кому не идем.

— Почему «естественно, не идем»? — не поняла смещенная со всех постов, но еще не лишенная права голоса, Циля.

— Потому что там,— ткнул «дуче» пальцем в потолок,— дураков нет! Да-да.

— А где же те, которых мы ожидаем, папочка? — спросил возвратившийся с балкона Додик.— Машины прибудут через два часа, а гостей,— хихикнул он,— еще нет!

— Кто хочет, тот придет! — философски заметил президент.— А не придет — водку заберем с собой. Это тоже две тысячи шиллингов.

— Если мы ее не допьем! — заявил проникший без стука в гостиную Каган. За ним показалась «наша жена». Семья Даль замыкала траурную процессию.

— Гроб в могиле, а доступ к телу продолжается! — заключил Даль, обозревая равнину бешеных ралли.— Что это за вальдшнепы? — показал он на консервы.— Вы меня поражаете, дядя! Потрясающая бедность! Что я говорил? — повернулся он к Нинке.— Давай сумку и согласись: «Скорая» прибыла вовремя.

В мгновение ока стол преобразился! На него, приостановив движение, легли три зажаренные в станиоле куры, свежие овощи и восхитительные грозди янтарного «оджалеши».

— Господин президент,— поднимая зеленоватый граненый стакан, провозгласил Даль,— мы продолжаем траурный митинг. Когда в далеком Тель-Авиве вы займете красное кресло с резной спинкой «Моисей у скрижалей завета», помните, что когда-то ваш покорный слуга и взяткодатель принес на проводы ваше национальное блюдо, которое дымится огнем моего сердца и просит отведать его перед дальней дорогой. И когда, бросив слегка утомленный взгляд после напряженного дня в кнессете, вы узрите вашего покорного слугу с протянутой к вам рукой, умоляю: не киньте в руку просящего камень, так как последняя может и не выдержать сей незаслуженной обиды и тяжести и опустить его вам на голову, полную грандиозных планов о правовом переделе мира, исходящих из любви к огромным территориям, зависти к чужим нефтяным вышкам и честолюбия, порожденного кэмп-девидской сделкой. Ваш друг Садат, дядя...

— Послушай, нахаленок, может хватит?! Я устал,— заметил Каган,— и хочу чисто по-человечески пожелать Борису Аркадьевичу счастливого пути! Счастливой дороги, Вайнер! В добрый час, Циля! — перевел он взгляд на зар-

девшуюся супругу президента.— Ни пуха, ни пера, сыночек! — похлопал он по плечу Додика.— Лэ хаим! Хай!!!

— Скоро мы вас догоним, ждите! — пообещала «наша жена».

В ответном тосте «господин президент» выразил гостям крайнее удовлетворение за глубокое внимание к своей скромной, пока еще неизвестной миру персоне и потоком горячей, вылитой на друзей благодарности смыл с дороги Нинку с «нашей женой» и бросился на шею Кагану.

— Я никогда не забуду того, что вы сделали для меня и моей семьи, дорогой Зиновий Исаакович. Я буду вспоминать вас всю жизнь!

— В этом я ни минуты не сомневаюсь. Мне было очень приятно иметь дело с культурным, порядочным человеком...

Едва такси, заполненное из расчета один к двум семьей счастливых переселенцев (один счастливец — два чемодана), рванулось к вокзалу, в покинутую берлогу явилась дворник Катя с двумя девушками из ЖЭКа. Они наскоро вымыли полы, панели, окна и, оставив их открытыми на ночь, впустили свежий, здоровый воздух в застоявшийся гнилостный дух временного убежища параноика.

Утром в квартиру пришли новые хозяева: счастливчики,— молодожены из семейного общежития камвольного комбината. Они долго стояли на балконе, любуясь утренней панорамой города, по-настоящему счастливые, и повторяли слова летящей из репродуктора песни: «Як тебе не любити, Києве мій...»

Вайнер этих слов, естественно, не слышал. Он мирно дремал на мягком диване спального вагона, пересекающего советско-венгерскую границу. И если прощание с родиной он воспринял с дутой гримасой олигофрена на отмороженном лице, то триумфальный въезд в Австрию полностью игнорировал в отличие от супруги, впившейся широко раскрытыми глазами в незнакомый пейзаж в поисках пограничного столба.

— Додинька! — с непередаваемой радостью произнесла она.— Сейчас придут австрийцы!

— Ну и что, мама? — не понял тот.

— Как, «что»? — возмутилась она.— Они впервые в жизни назовут меня госпожой! Представляешь? Госпожа Вайнер!.. О, Додик! Ради этого стоило жить!

Только закончились таможенные формальности и тушкованные свиньи снова улеглись в тихом чемоданном стойле, как дверь купе широко отворилась и перед глазами возбуж-

денных переселенцев предстали два потных озабоченных господина, воскликнувших в один голос: «Вайнер?»

Лаем прозвучавшая фамилия, заставила вздрогнуть главу семейства, застегнуть верхнюю пуговицу излишне декольтированного халата новоявленную «госпожу» и оторваться от свеженького журнала с картинками сына Додика, с трудом отыскивающего знакомые буквы в незнакомом английском тексте, покоряемом им еще с тех далеких времен, когда, снедаемый «Эдиповым комплексом», он подолгу сидел на белом фарфоровом горшочке в объятиях мамы и на вопрос: «Кем ты будешь?» — отвечал: «Папой хочу!»

— Я Вайнер,— скромно ответил «дуче», вытягиваясь во фрунт, чему не в малой степени способствовала европейская, мучительно длящаяся уже вторые сутки голодовка, пустой желудок и приснившаяся при пересечении границы фаршированная манкой со шкварками бронзовая куриная шейка с крылышками, пролетевшая над самым носом и гордо удалившаяся в страну детства.

— Очень приятно,— утирая взмыленную физиономию, проговорил первый господин.— Моя фамилия — Флейшман. Я из СОХНУТ. Мой коллега Давид Вильк из ХИАЗ. Куда вы хотите ехать?

— Как это, как это? — не понял вопроса Вайнер.

— Вы едете, конечно, в Америку,— пришел ему на помощь Вильк.

— Нас ожидают в Израиле,— категорично ответил Додик.

— Я же говорил, коллега! — торжествующе произнес Флейшман.— Здесь вам нечего делать. Встретимся за ужином.

— В семь,— заключил Вильк.

— Я приветствую ваше желание возвратиться на родину и от имени правительства государства Израиль заверяю: мы сделаем все необходимое, чтобы создать вашей семье все условия для счастливой жизни. Документы, пожалуйста.

— Как это, как это? Пожалуйста.

— Отлично, ваша специальность?

— Парикмахер, заведующий... в общем, администратор.

— Парикмахер — это хорошо. Специальность мадам Вайнер?

— Домохозяйка.

— Как в солидной еврейской семье,— ухмыльнулся он.— Языки знаете?

— Как это, как это? Конечно, знаем. Какой? Идиш, сын — английский.

— Со словарем,— дополнил Додик.
— Дома вы быстро освоитесь. Лея Шварц ваша тетя?
— Нет, к сожалению.
— Так я и думал.
— Но у нас есть родственники в Израиле,— вмешалась госпожа Вайнер,— правда, они...
— Кто именно? — не позволил себе расслабиться Флейшман.
— Как это, как это, кто именно? Моя сестра живет в Хайфе.
— Фамилия, адрес?
— Элла Гендельман. Улица Бальфур, сто три.
— Вы хотите жить в одном городе?
— Да, если можно.
— Хорошо! Вы служили в армии?
— Нет.
— Почему, если не секрет?
— О чем вы говорите? Какие секреты? У меня было плоскостопие.
— Почему «было?» А сейчас?
— После этого я не проверялся,— вышел президент из затруднительного положения.
— Психическими заболеваниями не страдаете?
— Что вы, что вы!
— Сифилисом?
— Еще нет! — хохотнул Додик.
— Остроумный мальчик... крепкого телосложения, отлично!.. Ну что же... Для первого знакомства достаточно. Будьте внимательны — я разъясняю маршрут: в Вене, на привокзальной площади, вас ожидает автобус 423-20-17, серии ВЕИ. Серия расшифровывается так: восточные евреи, Израиль. Ваш гид — Иоганн Вагнер. Место жительства — отель «Аустрия». Весь штат знает русский язык. Неделя для знакомства с Веной. Воздушное путешествие в Тель-Авив и местный маршрут в Хайфу. Сестру мы предупредим. Транспорт оплачен. Деньги на расходы: сто шиллингов на человека, триста на семью в день. Недельное содержание — 2100. Прошу расписаться. Вот здесь,— указал он,— проставьте сумму прописью... Хорошо.
— Это в долг? — прочувствовал первый хомут на шее президент.
— Стоит ли говорить о каких-то копейках, Вайнер! А вот это,— он отсчитал двести шиллингов,— деньги на карманные расходы вашему юмористу. Без расписки. Такой славный мальчик! Будущее Израиля...

— Спасибо, дядя! — застеснялся Додик.
— Мистер Флейшман! — поправил сына отец.
— Спасибо, сударь! — проявило характер «будущее Израиля».
— Пожалуйста, пожалуйста. Знакомься с Европой на здоровье. Здесь есть на что смотреть. И, наконец, главное... Ой, извините. Мадам Вайнер, я совершенно забыл. Немедленно снимите этот конский хвост. Вы же в Европе. Не позорьте себя. Неужели вы хотите, чтобы все вокруг показывали на вас пальцем? — возмущался он, выкладывая на столик красивые каниколоновые парики.— Тут полдюжины. Наш презент. В одном из них вы будете еще очаровательнее. Прошу вас, не стесняйтесь.

Через минуту последний презент Даля скрылся в объемистом саквояже Флейшмана.

— Не нужно благодарностей, я тороплюсь,— пресек он неудавшуюся попытку переселенцев заговорить.— И, наконец, главное: как и все беженцы...
— Почему «беженцы?» — не поняла госпожа Вайнер.
— Потому что... Ну, тут вас все так называют... Да, значит, вы везете с собой для продажи русские дефициты. В связи с этим я прошу вас: в Австрии ничего не продавайте. Крайский орет, что закроет евреям дорогу из России через его страну, потому что они развели здесь один большой базар, понятно?
— Крайский... он из прокуратуры?! — вздрогнул президент.
— Нет, из парламента,— хмыкнул Флейшман.— Но дело не в нем одном. Здесь вас обчистят ваши же, русские евреи. Не попадайтесь им в руки. А не то — вилы в бок! — заключил он, проявляя свое знание устного народного творчества.
— Счастливого пути!..

В отеле, проклиная ранний склероз, президент открыл три банки свинины, чем вызвал усиленное слюнотечение у себя, выделение излишнего количества свободной соляной кислоты в излечившемся от немоты желудке супруги и довольную улыбку «надежды Израиля», согревающего в потной ладони хрустящие денежные банкноты и не менее липкие мечты на получение жизненных благ, о которых взахлеб рассказывал соседский Шурик, побывавший в Швеции на гребной регате.

Сытно пообедав, семейство переселенцев отправилось на прогулку по всемирно известному туристскому маршруту: прямо, никуда не сворачивая, держа путь на огромное колесо обозрения, и вскоре достигло цели, остановившись

у входа в щедро напоенный листвой и шашлычным дымом зеленый Пратер.

Додик моментально проникся мегафонным криком зазывалы в костюме арлекино, расцвеченном золототелесыми грешницами, призывающего посетить яркий шатер с пилонами и высокими колоннами у входа, увенчанного надувными сернами. Клоун приглашал желающих воочию убедиться в прелести секс-шоу из Парижа, откуда он и привез приглянувшуюся ему «на панели» золотокудрую Мадлен с непокоренным бюстом, удивленным взглядом серых спокойных глаз и мягкой грацией сытой рыси, идущей с водопоя к туше козленка, припрятанного на ужин в шалом лежбище.

Испросив родительское разрешение обозреть мотоциклетные гонки по вертикальной стене, Додик мужественно заплатил за вход и скрылся в шатре, где удобно устроился в надувном резиновом кресле первого ряда вместе с четырьмя усердно жующими подростками, оживленно беседующими на незнакомом языке. Но уже через минуту, обменяв динамовский значок на резинку-хлопушку, он с наслаждением жевал ее, не обращая внимания на зазывалу, жонглирующего булавами и кольцами.

Приковав таким образом внимание зрителей к сцене, клоун исчез, и волшебные звуки блюза ласковыми струями потекли вниз, обволакивая, расслабляя, обостряя чувства, усиливая нетерпение и восторг, который нескромным сопением выразил Додик, обнаружив на сцене присутствие заоблачной нимфы, поглотившей вмиг и растоптавшей в прах все его необузданное, где-то еще и не сложившееся естество.

О, как она танцевала! Как она танцевала!

Как естественно раздевалась, обнажаясь всякий миг сверх меры, и дальше, и ниже, до тех пор, пока у него не кончились эпитеты и не вспомнились тарабарщина и нечленораздельщина разбрызганных в вечности предков, лишний раз доказывающие и прославляющие теорию великого Дарвина о происхождении видов.

Но каких видов?! Таких видов Додик еще сроду не видывал.

— Слушай, э! — обратился он к одному из мальчишек, когда уставшая красавица удалилась промокнуться бумажным полотенцем разового пользования.— Почему ей не стыдно, а? — с трудом объяснил он «на мигах».

— Дурак! — расхохотался подросток.— Ей же за это платят. А ее муж — импрессарио. Понял?..

Додик брезгливо отвернулся и с горечью пошел прочь. Родителей он обнаружил за одним из многочисленных столиков в экзотической шашлычной кавказского стиля, мирно жующих шашлыки «по-карски». Жестоко зажаренные почки госпожа Вайнер безвозмездно отдавала супругу, забывшему о больной печени за умным разговором с владельцем заведения — черноглазым крутолобым брюнетом средних лет, гортанный говор которого выдавал в нем исконного жителя солнечной Самтредии.

— Я родился в Ткибули, дорогой,— рассказывал тот тщательно жующему президенту,— и полжизни прожил в Кутаиси, в двух шагах от старой синагоги, в которой молился еще мой дед, Шлоим Мордех Гагуа, охотник и сердцеед. Он расстрелял все, что шевелится, и испепелил огненным взглядом всех местных красавиц, после чего женился на моей бабке, уцелевшей от его орлиных когтей. Умер он в постели из медвежьих шкур, вычиненных лучшим шорником Кавказа — моим отцом. Я приумножил семейную славу и сохранил традиции, приспособив их к новым запросам дорогих моей душе горцев. Я посвятил себя заготовке крупного рогатого скота и за двадцать пять лет бессонной, творческой работы истоптал вдоль и поперек вверенный мне надел от Новороссийска до Баку и от Астрахани до Еревана. Я знаю все городские тропинки, ведущие мимо следственной тюрьмы в центральные сберкассы Баку, Тбилиси и Еревана — этих трех китов, на которых держится великий Кавказский хребет. О, кацо! О, дорогой! Если бы ты знал, как все было красиво! Но посмотри, что они позволили себе делать со мной в последние годы!

Они начали измерять мой священный путь, они стали считать не только живой вес коровки, но и кишки отдельно, они, скажу тебе все, начали взвешивать кишки на метры, а зеленую травку на гектары. Если раньше коровку взвешивали в час поступления на живодерню, то в последнее время ее взвешивали через сутки, а кое-кто из очень умных и дальнозорких людей, сказал мне, что слышал от одного умного человека очень большой секрет: коровку будут взвешивать через два часа после клизмы. Поэтому я здесь, кацо, сижу уже три года с хвостиком. Но это лучше, чем отсидеть там десять лет за коровий хвост, который даже моя собака не ела. Но, слава Богу, кацо, я ни в чем не нуждаюсь. Одно плохо: нет боржоми. Скажи, генацвале, у тебя не найдется бутылки боржоми?

— Как это, как это,— смутился Вайнер,— если бы я знал, я бы, конечно, привез водичку. Но я не знал,—

оправдывался он, с тревогой посматривая по сторонам в ожидании сына.

— Зачем же я тебе целый час объяснял, если ты не имеешь боржоми? Ты же мог сразу сказать, что у тебя есть!

— У меня есть тушенка,— оживился переселенец, увидев наконец своего ребенка.— Додик! Иди скорее к нам, сыночка! Как скачки?

— Кацо не лишен юмора, это действительно скачки! А лошадь! Вах, какой лошадь! За такой вся «Нахаловка» плачет. Авлабар бы за нее священную войну объявил,— хохотал хозяин шашлычной.

— Это не скачки, папа,— с некоторым сожалением произнес Додик.— Но лошадь в конюшне почти не стоит.

— Молодец, бичо! — вскричал горец.— Садись, мужчина, ты мой гость! Марика! — позвал он официантку.— Принеси молодому джигиту шашлык любительский с косточкой. Что пить будешь, бичо?

— Я не пью, дядя.

— Нет, нет, ему еще рано!

— Э! Что ты говоришь, кацо? Рано? Скачки можно, а холодную хванчкару нельзя? Ее все горцы пьют — не стареют! На меня гляди: я ее пью — молодею. Ты тоже пей — сильным будешь! Марика, ты знаешь, кого сейчас угощать будешь?! Этот бичо — молодец! Он моей крови, поняла? Бокал хванчкары бичо желает!.. Так что, генацвале, много тушенки привез?

— Хочу немного продать,— проявил осторожность Вайнер,— но не знаю местных цен.

— О, генацвале! Цены здесь очень низкие. Это ж капитализм... Тушенка в каждом магазине, особенно свиная и говяжья. Ешь — не хочу!

— Зачем же вы хотите купить?

— Чтобы сделать тебе одолжение, дорогой.

— Почем вы возьмете? — затаив внутреннюю дрожь, спросил глава семейства.

— Банки большие?

— Как это, как это? Конечно, большие. У нас других нет.

— Скажу тебе, чтобы не торговаться: по шесть шиллингов, дорогой.

— Это по одному доллару, папа,— проявил свои знания Додик.

— Тогда по тридцать шиллингов за банку,— предложил президент, после некоторой паузы, связанной с производством энных арифметических действий в уме.

— Я прощаю тебя, генацвале! Ты просто устал с дороги. По пятнадцать за банку, сколько их у тебя?

— Сто пятьдесят штук, но по двадцать.

— Нет, дорогой, нет. Оптовая цена — двенадцать шиллингов.

— По два доллара, правильно? — снова вмешался Додик.

— Молодец, бичо!

— Папа, дядя должен нам триста долларов.

— Что у вас еще есть, генацвале?

— У нас ничего нет! — остановила Циля супруга.

— Не вмешивайся! — отстранил он ее от коммерческой деятельности.— Что вас интересует?

— Я покупаю все, что продается,— сосредоточился кавказец.— Я поклялся могилой матери и вот этим куском хлеба, что буду помогать братьям по крови! Поэтому и живу здесь. Говори, генацвале!

— Я хочу продать кораллы,— вылилась наружу тайная мечта Вайнера, окрашенная нескромным желанием разбогатеть.

— Много?

— Два килограмма кровавика. Но оптовой цены здесь не будет.

— Как скажешь, генацвале. Ты мой гость. Опиши мне их!

— Вы мне скажите, сколько стоят самые лучшие?

— В долларах,— добавил Додик.

— Три тисячи, генацвале, и ни цента больше. Чтоб не было споров, дорогой.

— Не только споров, разговора не будет,— встал коммерсант.— Нас цена не устраивает.

— Ты думаешь, генацвале, что в Израиле дадут больше?

— Как это, как это, думаю?! Я знаю, чего они стоят! Будет время — продам! Но не подарю,— вжился он в гешефт.— Пошли, Циля.

— А консервы? Прошу в машину,— показал Гагуа на припаркованный у шашлычной «мерседес»...

В отеле сделка была достойно завершена распитием незапланированных ста граммов русской водки на двоих и, пока кельнер производил погрузочные работы, горец решил произвести вторую, более продуманную атаку на недвижимость переселенца.

— Скажи, генацвале,— мягко начал он устилать жесткое ложе сделки,— деньги тебе нужны?

— Как это, как это, конечно нужны! Деньги всем нужны.

— Особенно деловым людям, я правильно говорю? Но знаешь, что отличает их от дураков?

— Что?

— Они начинают торг, показывая товар лицом.

— Да, но судя по вашей цене, кораллы вам не нужны.

— Смотря какие кораллы.

— Кораллы прима,— вскричал президент.— Бочка, кровавик, можете сами убедиться,— побежал он в спальню.— Вот они,— положил он перед покупателем ожерелье, демонстрированное эмансипированной супругой в далеком теперь уже городе своей жизни.

— Вэ, они не так красивы, как я думал, но пойдут.

— Я же говорил! Я же знаю! Как это я брал не то, что нужно!

— Хорошо, генацвале, я куплю их за восемь тысяч. Только молчи... ты же хочешь, чтобы я заработал?

— Конечно, хочу, но не так много. Они стоят десять тысяч. Я это знаю от очень порядочного человека.

— Может, и больше десяти тысяч, дорогой. Но дам я тебе только восемь. Бери, пока я с тобой разговариваю, дорогой.

— Ни за что! Девять тысяч — и ни копейки меньше.

— Как хочешь, генацвале. Будь здоров. Как у нас говорят: будете проходить мимо — проходите. Ты просто не готов к хааваре,— небрежно выговорил он и направился к двери.

Вайнер мучительно переминался с ноги на ногу, терзаясь сомнениями и не желая признать поражения.

— Подождите, а что такое хаавара? Я же не могу быть готовым к тому, чего не знаю,— остановил он покупателя недозволенным приемом.

— Что я слышу, дорогой? — замешкался Гагуа.— Ты не знаешь, что такое хаавара? Какой же ты деловой человек? Хаавара — это сделка на языке Израиля.

— Как это, как это? Сделка — это гешефт.

— Гешефт — это на идиш, а хаавара — на иврите.

— А зачем, скажите, мне нужно на иврите?! Если и мама моя, и друзья наши говорили на идиш. И в синагоге тоже. Где бы вы ни встретили еврея — он говорит на идиш. В Израиле я тоже как-нибудь объяснюсь... И вообще, если б я, как вы, знал, что такое на самом деле хаавара, то как-нибудь я бы купил кровавик за девять тысяч...

Последние слова президент произнес с неподдельной укоризной, реализовав в душе сделку без излишних торгов с самим собой, как и подобает человеку, имеющему в кармане наличными почти кучу долларов...

«Восемь тысяч в кармане — это все-таки не два кила намыста в чемодане,— думал он.— А если в Израиле я их

не продам, что тогда? И вообще... Лучше курица в руке, чем индюшка в небе!»

— Берете за девять тысяч? Это мое последнее слово,— припугнул он горца.

Фраза о последнем слове только разозлила Гагуа! Она напомнила ему о несостоявшемся уголовном процессе.

— Э, дорогой,— сказал он, краснея от злости,— ты уже угрожать начал. Что я, перед судом стою, что ты последнее слово предлагаешь? Мы с тобой свободные люди! Бизнес делаем. Ты хочешь умней меня быть — я тебе этого не позволю. Что касается девяти тысяч — нет разговора. Если бы я девять тысяч платил — миллиона не заработал бы. А если б торговался и дешевил так, как ты, может, и сгнил бы давно в земле сырой. Меня убили бы здесь за такой невыносимый характер, как у тебя. Сколько коров, думаешь, я купил?! Миллион коров я купил! Миллион раз грузина обманул, понимаешь?! Когда грузин родился — еврей умер, понимаешь? А тебе я честный бизнес предлагаю — ты не понимаешь. Отдашь за восемь тысяч? — шагнул он к переселенцу.

— Отдаю за восемь тысяч,— попятился Вайнер.— Деньги у вас с собой?

— О, генацвале, ты шутник, оказывается, очень большой шутник! Неужели ты не помнишь рекламу, развешенную по всей России: «Храните деньги в сберегательной кассе!» Забыл?! Я свои в банке храню.

— Я с вами в банк поеду, можно? Вы при мне их получите, а потом заберете кораллы.

— Согласен, дорогой. Вниз спускайся. Меня жди. Ты мне горло пересушил,— сказал Гагуа, направляясь к двери.— Я в ресторан зайду, может, достану глоточек боржоми...

— Папа, я с тобой. На всякий случай,— объяснил Додик.

— Борик, будь осторожен!

— Хорошо, хорошо... спрячь доллары и никого не впускай. Если нас долго не будет... А! Мы скоро вернемся,— проглотил он готовую сорваться с языка фразу: «Позвони в милицию...»

«Боже мой! Никакой защиты. Некому пожаловаться. Слава богу, что кораллы дома. Потому что этот грузинский еврей... в общем, он не внушает мне доверия»,— мучался Вайнер неосознанными до конца страхами, садясь в машину.

— Деньги я оставил маме. Слышишь, Додик?! — произнес он вслух, искоса поглядывая на Гагуа.

— Я, генацвале,— ответил тот, сворачивая с Гюртеля на Кэптонштрассе,— грабить тебя не буду. Я всю жизнь преступничал по другой части. Сам знаешь...

Не выдержавшая одиночества госпожа Вайнер впустила в номер молодого шатена в черной лайковой куртке, в очках с тонкой золотой оправой. Возвращение супруга оторвало ее от содержательной беседы с Иоганном Вагнером, интересующимся жизнью в голодной, по его словам, России,— той России, в которой он бывал не раз, обжирался деликатесами, поражался дешевизне и никак не мог убедить свою богатую австрийскую маму в низкой стоимости русского жилищного фонда.

— Пойми, мамочка,— доказывал он,— русские ничего не делают. Они строят жилье и выступают на партсобраниях. Плата за квартиру у них такая... ну, как тебе сказать, чтобы ты поверила? В общем, жилплощадь, мамуля, у них не стоит ни черта!

Но неверующая мама соглашалась со всем... даже с «ни черта», но только не со стоимостью.

— Мой мальчик! — говорила она.— Если бы мой отец, и я, и ты «ни черта» не платили за квартиру этому кровососу Шумахеру — ты бы сегодня имел виллу в Ницце, свой вертолет и жену, внучку Фердинанда! Не убеждай меня в том, что в такой огромной стране нет деловых людей. Жилплощадь! Это же миллиардный бизнес...

За время отсутствия Вайнера Циля успела описать гиду с хорошими манерами свой квартал, оперный театр и даже новый днепровский мост, соединивший два юных города-спутника столицы Украины.

Вагнер был слегка разочарован тем, что болтливая дама из оборонных объектов в городе знает лишь мотоциклетный завод, «Арсенал» и швейную фабрику № 5.

— Ну, и,— загадочно взглянула она на собеседника,— у нас очень много самолетов... маленьких детей даже по воскресеньям катают над городом. Правда, Додинька очень плохо переносит полет. Нельзя ли в Тель-Авив поехать поездом?

— К сожалению, ваш маршрут разработан центральными службами. Вы не волнуйтесь: каких-то несколько часов, всего две посадки, и вы дома...

Осчастливленный коммерсант отказался от поездки в летнюю резиденцию монархов Австро-Венгрии, игнорируя единственную в жизни, по словам Вагнера, возможность собственными глазами осмотреть спальню императора Франца-Иосифа и свыше шестидесяти картин, писанных

с него ежегодно тремя придворными портретистами, сопровождающими кайзера в его тернистом жизненном марафоне.

— Как это, как это? Шестьдесят картин одного Бранденбурга? Нет, это очень утомительно!

— Причем первые три, папа, наверняка с голой попой,— добавил впечатлительный Додик.

— Но позвольте! — разгневался Вагнер,— На Айс-ревю вы согласны, в синагогу — тоже. А единственный в мире оперный театр вам не подходит. Резиденция королей вас не интересует. Как же вас понимать, сударь? Когда я был в Эрмитаже, мне, может, тоже не хотелось смотреть на вашу Екатерину.

— Одетую? — поинтересовался Додик.

— К сожалению! Но я умею сдерживать свои чувства. Но театр, наш театр! Венская опера!

— Венская опера! Большой город Васильков! Я не понимаю ее. Скажу вам даже больше: я ее никогда не понимал. Ее нельзя смотреть...

— Ее нужно слушать, закрыв глаза, и растворяться, понимаете? Вы растворитесь в Штраусе!

— Циля! Сделай нам растворимый кофе,— улетел в гастрономическую пропасть переселенец.

— Нет, вы подумайте! Штраус! Вечный Штраус! «Кавалер роз»! Либретто Гуго фон Гофмансталя. Какие чувства! Три акта, наполненных огненными красками священной эротики.

— Цилечка, мне нравится Вагнер! Симпатичный молодой человек. Дай ему десять долларов с тушенки. Здесь так принято. Чаевые — если ты порядочный человек. Берите, Вагнер! Не стесняйтесь. Возьмите три доллара, вы же не еврей. Вы — почти немец.

— Я немец?! — возмутился он, вскакивая со стула.— Я — австриец! Не смейте меня оскорблять! Боши в тридцать девятом ворвались в мой дом, они истоптали непорочную Вену, они...

— Знаю, знаю,— прервал его Вайнер,— Гитлер ворвался в Вену, чтобы забрать у Шушнига свою метрику. Вы ее не хотели отдавать без аншлюсса. А ваши непорочные девки... Ха-ха! Шикльгрубер, Гитлер...— сама невинность. Но в Бабий Яр он вас под пулеметы не гнал?

И когда Вагнер с перекошенным от злости лицом выскочил из номера, президент, вернув себе впервые за прошедший год давно забытый апломб, довольно расхохотался. Затем вынул из кармана пачку аккуратно спрессованных

зеленых ассигнаций, щелкнул ими, потряс перед собой и провозгласил:

— Придет время — я их всех куплю и продам, а они об этом и знать не будут. Дайте мне только встать на ноги,— крикнул он в глухой полумрак коридора, чем вызвал некоторое замешательство кельнера, со страхом просунувшего голову в отворенную дверь:

— Вам нужна помощь, сударь?

— Да! Необходима! Два виски и бокал шампанского. Скоренько!

— Сию минуту, сударь.

— Так-то, Цилечка, Додик! Ваш папа — не промах. Я бедным не буду.

— Мы рядом с тобой, Бебби!

— Не рядом, а вместе, папа!

— Правильно, выпьем!

— За тебя, папа!

— Сколько с меня, человек?

— Сорок шиллингов, сударь.

— Держите! — бросил он на поднос пятьдесят.— Плачу за сервис...

Хайфа встретила их жарким солнцем, бирюзовым небом, аквамариновым Средиземноморьем и жадными поцелуями Эллы Гендельман, соскучившейся по родной крови.

Еще в тель-авивском «Лод» Вайнеру вручили поздравительную телеграмму от сестры, обещающей долгожданную встречу в отсутствие шурина, который не разделял братских чувств супруги к представителю «мирового пролетариата».

Переселенцы прилетели ранним утренним рейсом. Встречающих было мало, и тоненькая фигурка сестры, прилипшая к колонне у выхода из тоннеля, притягивала взгляды пассажиров старого двухмоторного турбовинтового «Дугласа», доживающего свой удлиненный век на местной авиалинии. Переселенец не сразу опознал в маленькой стройной брюнетке, одетой в джинсы и легкую блузу, свою родную сестренку, страдающую всю жизнь излишней полнотой. К тому же ее лицо было частично прикрыто широкополой соломенной шляпой со спущенными полями и дымчатой «бабочкой», что не пробудило в нем родственных чувств и воспоминаний.

И только когда Додик, бросив чемоданы, побежал к тете Элле, глава семейства последовал его примеру. Слезы радости уже не смогли помешать процессу зримого опоз-

нания, и вскоре счастливые родственники рассматривали незнакомый город из окон «дакоты», уверенно управляемой Эллочкой.

— Кто бы мог подумать? Моя младшая сестричка! Боже мой! Ты сидишь за рулем и тебе не страшно? А помнишь, как ты боялась велосипеда? Циля! Нет, ты только посмотри,— не унимался Вайнер.— Моя Эллочка за рулем, и ей не страшно. Это же чудо!

— Цилька, не верь ему! Через год ты будешь водить все виды транспорта и трактор тоже. Смотря где вам дадут квартиру. Только б не загнали в поселение. Но это вряд ли. Борька же не умеет держать автомат. Через полгода, когда вы похудеете, никто не скажет, что вы из России. Только поскорее сгоняйте с себя жир — нас здесь ненавидят.

— Кто?

— Евреи, кто же еще!

— Мы тоже не приехали им в любви объясняться. У нас другие планы... Эллочка, ты получила уведомление из банка о вкладе на мое имя?

— Конечно, я же тебе писала,— ответила она, подъезжая к массивному трехэтажному зданию.— Твой банк, Боренька! Пошли. Я помню твое вечное нетерпение, поэтому захватила с собой бумаги. Ты, наверное, хочешь пол ить часть денег, вам же нужно устраиваться...

Банковский клерк долго изучал извещение, о чем-то беседовал с Эллочкой на иврите, она возмущалась, что-то ему доказывала, объясняла, наконец побледневшая повернулась к брату и со злостью произнесла:

— Подонки! Они обдурили тебя. Извещение сфабриковано. Ты нищий... Только не расстраивайся, Борис. Сейчас же поедем в общину. Все расскажешь раввину. Знать бы, кто этот негодяй?..

ГЛАВА 22

Пасмурным серым днем на обзорной площадке для пассажиров в бориспольском аэропорту, грузно облокотившись на перила, горько плакала пожилая женщина в черном платье и такого же траурного цвета косынке, завязанной тугим узлом на затылке. Ее седые пряди волос выбились на морщинистые виски, серебрились на ветру, кружили над лицом старческую стальную поземку. Она то и дело поправляла дрожащей рукой косынку, но они, непокорные, вновь и вновь выбивались наружу, тревожно спадали на плечи, и змеились, и тянулись туда, вперед, на летное поле, к гро-

мадной серебряной птице, совершающей пробный запуск двигателей перед полетом.

Игольчатая, строгих, законченных форм носовая часть фюзеляжа чуть потупилась, будто в горе, разделяя настроение плачущей старухи, но вдруг, восприняв команду пилота, резко вздрогнула. Женщина сдернула с головы черную косынку, и, будто крыло беспомощное птицы раненой, заструилась она на ветру. Самолет, набирая скорость, оторвался от земли, взмыл в бездонную высь и, не желая расставаться, совершил медленный полукруг над ближним лесом, развернулся и лег на курс.

А к старухе осторожной походкой подошла молодая женщина в легком просторном платье, скрывающем ее временную полноту и тайну, вернее, никакую уже ни для кого не тайну — просто время пришло ей стать матерью. Ее резко очерченные губы были плотно сжаты, в бессонных глазах затаились гнев и страдание. Беспомощный взгляд, ударившись в улетающий лайнер, больно резанул по скулам, она до хруста в руках сжала перила, так что побелели пальцы, вдохнула полной грудью и, выбросив из души стон, тихо произнесла:

— Пойдем, Нюра, пойдем...

Молча шли они по залу, а затем через огромную, открытую всем ветрам на свете площадь, и дальше, не разбирая дороги, думая каждая о своем: плачущая старуха и молодая, приготовившаяся стать матерью, женщина.

И если не было с ними третьей, то не потому, что та не разделяла общее горе,— просто двумя часами ранее Тамара, отмучившись и наголосившись, подарила стране первенца, дочку свою, названную в честь бабушки Евгенией.

Гельман, естественно, не знал этого. Не узнал он и того, что вечером после его отъезда Нюру с острой сердечной недостаточностью увезли в реанимацию, Дора преждевременно разрешилась от бремени и в течение почти двух месяцев ее мальчонку выхаживали в инкубаторе до второго клинического рождения. Не прильнул он к иллюминатору, не бросил прощальный взгляд на город, где оставил все и всех: живых и мертвых, рожденных и нерожденных...

Он сидел в глубоком кресле, вдавив голову в откинутую спинку. Ощутив вдруг резкую боль в груди, впервые в жизни бросил под язык валидолину и непослушными дрожащими руками пробовал гладить колени, чтобы унять противный озноб.

Ася сидела рядом, осунувшаяся и постаревшая. Ее лицо хранило следы внутренней борьбы и напряженности, бес-

сонных, полных страхов и огорчений ночей, но в глубине глаз уже жила уверенность в спокойном завтрашнем дне. Она обхватила двумя руками плечи доктора, прильнула к его груди и в который раз повторила:

— Главное, что ты есть у меня! Мы с Леркой отдадим за тебя жизни, только скажи...

Ее слова проникали в его мозг и успокаивали. И сообщение стюардессы: «Внимание пассажиров! Наш самолет пересекает границу Союза Советских Социалистических Республик!» — он воспринял без эмоций: виновато улыбнулся Асе и, сладко потянувшись, расслабился.

Лерка устроилась в первом салоне с Майкой; Мария Михайловна в третий раз за утро приняла анальгин, пытаясь заглушить проснувшиеся боли; Фред, чего-то наглотавшийся перед полетом, мучался жаждой, а посему в короткий срок опустошил стеклянную фляжку «Украины», выбросил ее в туалете, разорвал, таким образом, последнюю связь с родиной и тихо уснул. Он не слышал сообщения на борту о непогоде над Веной, проспал посадку в Златой Праге и пришел в себя, окончательно проснувшись, лишь в автобусе, пересекающем Дунай по мосту Малиновского в австрийской столице.

В Вене лил дождь, и редкие пешеходы в Винзоре не обращали внимания на «татру», частично заполненную переселенцами, а в особенности на Фреда, выискивающего первую ответную улыбку на чужой земле. Призыв гида обратить внимание на русского солдата со знаменем, фигура которого венчала огромную мраморную композицию в память тридцати пяти тысяч советских героев, отдавших жизни за мир венцев, привлек его внимание, но осмыслив, что площадь названа в честь Иосифа Виссарионовича Сталина, он и вовсе запутался в своих впечатлениях и окончательно смутил тещу вопросом:

— Мама, скажите, мы еще ЗДЕСЬ или уже ТАМ?!

Не поверив ее ответу, бросил мутный взгляд в окно и воскликнул:

— Что не говорите, а я уже здесь был! Начинаю верить в переселение душ.

— Глядя на тебя, я уверовал в переселение тел,— улыбнулся Гельман.— Ну, а наши души при нас.

— Доктор! Вы не подскажете, где купить вторую... как бы это сказать, душонку... По сходной цене, разумеется. Для качественного равновесия,— хмыкнул Фред.

— По-моему, ты одну уже имеешь,— мрачно констатировала Майка.— И именно такую, как ищешь... Но если бы

можно было раздвоиться, я наверняка забрала бы с собой только кусочек ее... а может, даже оставила бы дома.

— Ты просто не ко времени расстроилась,— вмешалась Ася, прижимая к груди спящую Лерку.— Но это пройдет. На тебя погода действует.

— Может, ты и права. Как-то все противно... И дождь противный. Липкий какой-то.

— Как «шартрез»...

— Никак опохмелиться желаете? Может, остановить автобус? — недобро посмотрела Майка на в меру трезвого супруга.— А впрочем, какая разница?.. Пьяному даже удобнее. И я хотела бы проспать прощание, а проснувшись, умереть от радости, узнав, что это был лишь дурной сон...

— Кстати, о снах. Мне всю дорогу снился огромный табун лошадей. Скачущих лошадей, доктор. И я сам на шикарном мустанге... В общем, думаю, выучусь когда-нибудь на конюха по-американски. Неплохая работенка, я вам скажу. Свежий воздух и вода... Ну, а ваша дочка, доктор, будет прекрасной наездницей.

— Лошадь — это ложь. Ну, а много лошадей — значит, много лжи. Так Нюра толковала подобные сны. Они тебя не кусали?

— Внимание, господа! — прервал их гид.— Отель «Аустрия». Семью Гельмановых прошу на выход.

— А Берман что, остается?

— Вас ожидают в Шенау, сударь.

— А... понимаю... Доктор! Вы, наверное, уже американцы, чувствуете?! Проживание под одной крышей с несчастными евреями девальвирует личность. Мне кажется, что вы вообще не еврей, а просто плохо выглядите с дороги. Скажите мне на прощанье: «Жидовская морда» — и я буду тронут.

— Я и говорю тебе: «До встречи, Фред!» Мы еще увидимся. Веселее, Майечка. Вы знаете, для чего живете...

Через неделю в ресторане римского отеля «Санта Андреа» наотрез отказалась принимать пищу шестилетняя Лерка, капризничая «со слезами» и вспоминая «Фредика», а также свою первую учительницу английского языка, добрую Майку, отбывших в Израиль, но пообещавших, как только вылечат мать, обязательно переехать в Америку, жить с ними в одном городе, и только на одной улице, и...

— Дома наши будут обязательно рядом,— мечтала Ася, расставаясь с подругой.

Желанная встреча, по мнению доктора, была нереальной, потому что с тяжелобольной матерью Штаты их наверняка не примут, а в Израиле, в этом он не сомневался, ее не

вылечат. Говорить об этом жене он не хотел, но знал предрешенный исход болезни Марии Михайловны, а на прямо поставленный Асей вопрос ответил: время — лучший лекарь, даже если впереди могила.

— Ты и мне неоднократно говорила о том, что нас также излечит время,— рассуждал он, неумело расправляясь со спагетти.— И как только они их едят? — недоуменно пожимал он плечами, застенчиво оглядываясь по сторонам.

— Наверное, как удобнее,— смеялась Ася.— Ешь, как тебе вкуснее, и не обращай ни на кого внимания.

— Да, но мне никак не удобно...

— Можно подумать, что торговать «Столичными» было более удобно? — бросила она, с недобрым чувством вспоминая, как Гельман и Фред торговались с хозяином шашлычной на Пратере за дефицитные в Вене советские сигареты.— Хорошо еще, что ты людей не хватал за полы пиджаков, как некоторые... «Сударь! Купите...» И от позора не горели!

— Прошу тебя,— отодвинул он в сторону тарелку с упрямой пастой,— не вспоминай об этом. Будь я деловым человеком, то знал бы наверное, что товар нужно вскрывать и показывать каждую пачку в отдельности. Правда, сто долларов в кармане не лишние. Но процедура была действительно унизительной,— снова поперхнулся он, вспоминая Гагуа и шумный протест жены, демонстративно покинувшей гостиничный номер.— Лера будет кушать? — переменил он тему разговора.

— Не буду,— насупилась малышка.

— Тогда мы с папой оставим тебя в отеле, а сами уйдем гулять,— заявила Ася.

— А я буду смотреть телевизор.

— Если папа разрешит.

— Папка, разрешишь?

— Разрешу, если выпьешь бульон.

— Тогда я с вами пойду.

— Ешь быстрее,— улыбнулся доктор.

Покинув гостиницу, они прогулялись тополиной аллеей до площади Навоны и дальше, к грандиозной Пьяцца Венеции, вобравшей в себя солнечный свет, тепло, тайны далеких веков и льющей их в лучеобразные ручьи улиц, источником которых она была, чем, конечно, гордился увековеченный в бронзе легендарный Виктор-Эммануил — конный страж площади. Проехав в автобусе на Эсквилини, они прошли широченной зеленой, усаженной пинией и липами улицей к дворцу президента, спустились к Акведуку Клавдия, добрались по мосту Сант-Анжело до Ватиканского холма

и остановились на площади с грандиозной колоннадой и величественным собором святого Петра перед тысячекомнатным папским дворцом.

В храм божий им проникнуть не удалось,— там шла вечерняя служба, да и боялись за уставшую Лерку, которая вряд ли сможет пробиться к Сикстинской мадонне, чтобы уже там, у триптиха, восхищаться немеркнущими фресками Микеланджело, Перуджи и Боттичелли. Лерку, можно сказать, эти дяди вообще не интересовали, а волновало ее сейчас совсем другое: ей очень уж хотелось скушать в кафе Бьеротти под открытым небом у отеля порцию миндального мороженого с шоколадом и сливками. Сливки в десерт добавила мама по собственному рецепту: «Хочешь мороженое с шоколадом — съешь сливки!» Причем время употребления последних регламентировалось лишь общей процедурой приема лакомства. Поэтому Лерка съедала сливки, а уж затем по несколько раз смаковала каждую ложечку заветного деликатеса, закрывая от удовольствия глазки, умильно гримасничая смешливым личиком и покачивая головкой из стороны в сторону, как Нюра.

Правда, родители ее «взглядов на жизнь» не разделяли, и потому, заполучив входные билеты, они прошли во дворец, осмотрели Бельведерский двор, проследовали в Сан-Домазо, к лоджиям Рафаэля, а оттуда к стансам и даже собрались проникнуть под залы, в аппартаменты Борджа, но... Дитя угрожало уснуть, что и привело в исполнение, едва очутилось у отца на руках, а это прервало дальнейший осмотр до следующего случая.

— Мы непременно вернемся в Ватикан,— оправдываясь, говорил доктор.— Лидо в двадцати пяти километрах, а впереди у нас шесть месяцев. Мы еще не раз будем в Риме.

— Обязательно! — поддержала его Ася.— Кто знает, придется ли когда-нибудь еще побывать в Италии. Нужно все осмотреть: и форум, и Колизей, и Испанскую лестницу... Ты нас сфотографируешь у фонтанов, хорошо?

— Конечно! А Лерку сфотографируем возле Санта Тринита де Монти. Она очень напоминает Андреевскую церковь... нашу... в Киеве.

— Хорошо, милый... И в оперный пойдем, и в «Элизео»...

В отеле из разговора с портье доктор выяснил, что из-за плохой посещаемости «Элизео» прогорел еще весной, а новая труппа никак не соберется ввиду негарантированной отцами искусства заработной платы, и так как актеры «тоже люди», которым присуще стремление к «спокойной жизни» без тревог за себя, Наннету и жену страхового агента

с Авентино, то ожидать открытия театра не стоит, лучше посмотреть труппу «Фламенго», дающую спектакли-водевили на развалинах древнего Колизея.

В оперу они не попали из-за гастролей Большого театра из далекой Москвы, в связи с чем билеты на все спектакли были давно проданы. Все взвесив и оценив, ранним воскресным утром они отправились туда, где древний Тибр впадает в Тирренское море,— именно там они должны преодолеть языковой барьер для обеспечения качественного общения с себе подобными и счастливого будущего в стране чудес, о которой писал еще Шолом Алейхем, подписное издание которого доктор продал по сходной цене обалдевшему от радости букинисту в далеком уже городе своей молодости.

Дорога к морю кружилась светлой веселой лентой мимо тяжелых урожайных виноградников, миндалевых садов, миртовых рощ и, внезапно сжатая каменистыми склонами, сузилась, повернула вправо, вниз к тополиному леску и, вырвавшись из горного плена, унеслась к разноцветным причалам, ярким, будто нарисованным яхтам, бороздившим во всех направлениях сине-стальную, нежную ширь и даль Средиземноморья. Затем мимо закрытых «цивилизованных» пляжей, спрятанных в гуще апельсиновых садов, увитых живыми венками вечнозеленых стриженых кустарников беломраморных вилл толстосумов с царственного Париоли, она свернула влево и через несколько километров врезалась в берег, рассекая на два солено-горьких ломтя колонию новых однотипных красноголовых грибов-коттеджей, временное пристанище псевдоискателей счастья.

Недолгий разговор с клерком из Рав-Тов, старым немецким евреем Зискиндом, чудом сбежавшим от Гитлера в Италию осенью тридцать третьего, от Муссолини во Францию зимой тридцать седьмого, от Виши в Палестину весной сорокового и от Бэн-Гуриона на старости лет в шестьдесят шестом, дабы хоть умереть спокойно, закончился торжественным вселением семьи доктора в чистенькую двухкомнатную меблирашку, расположенную на втором этаже коттеджа номер «сиксти найн» [1] с видом на фиговую рощу, за высоким каменным забором, снабженным охранной сигнализацией. Название деревьев — фиговые — само собой давало ответ на возможность прогулок в тенистой зеленой роще, а поэтому Зискинд лишь дополнил эту тему, откровенно, без обиняков заявив, что побережье, естественно, принадлежит богатым людям, а времена Древнерим-

---

[1] Сиксти найн *(англ.)* — шестьдесят девять.

ской империи, равно и римского гражданского права, по которому плебеи и пилигримы однажды в месяц могли войти в плодоносный сад патриция и квирита на предмет сбора гнилых плодов, упавших наземь с дерев райских, канули в Лету, и так как пляж, где излишний жир восточных евреев плавится и стекает в воды Тирра, находится у Фьюмичино, в каких-нибудь сорока километрах, там-то и надлежит томиться под щедрым солнцем, хоть это и неполезно из-за наличия каких-то, наверное, арабских пятен на нем. Кроме того, купание в соленой воде чревато появлением на теле белого осадка, «возможно, это и соль», заметил старик,— но душ можно принять только в доме шестьдесят девять, и вообще...

— Лучше вам не купаться и не загорать. Послушайте старого Зискинда — он всегда говорит правду. Чем скорее вы овладеете английским, тем раньше уедете в Массачусетс на Атлантику, если вас туда пустят. Так вот там, между мысами Кейп-Анн и Кейп-Код, под Бостоном, вы сможете купаться, сколько пожелаете. Правда, если у вас будет на это время.

— Вы считаете, что у нас не будет свободного времени? — почувствовав в его словах скрытый смысл, ответил вопросом на вопрос доктор.

— Считаю,— глубокомысленно задумался старик, постукивая костяшками пальцев по столу (скверная привычка, унаследованная от папы, меламеда еврейской школы, сожженной коричневыми мальчиками в ноябре тридцать восьмого вместе с папой, остальными учителями и сорока шестью тянущимися к знаниям детками),— что в Америке позволить себе отдых может или богач, или псих. Но так как вы не богач и, как я вижу, не псих, то до того времени, пока вы добьетесь первого или достигнете второго, может случиться и третье, когда уже никто вообще не будет купаться, и, как сказано в Законе — только всплывшие в третий день поплывут по течению.

Перспектива «быть всплывшим» доктору решительно не понравилась, а потому он сменил тему разговора. Посмотрев на внимательно слушающую откровения седого (*совсем, как* Нюра) дедушку Лерку, воскликнул:

— Мы живем ради детей. А уже они обязательно будут счастливы!

— Ну, и что?

— Как, ну и что? Разве не в этом заключена суть человеческой жизни?! Сделать все для счастья детей, которые оплатят родителям той же монетой!

— Держите карман пошире! Ваша мечта несбыточна. Нигде, как в Америке, молодость так глубоко не презирает стариков. По их мнению, родители — балласт, стопорящий скорость цивилизации. Согласитесь! Тех, кого в России называют бюрократами, в Англии — консерваторами, в Китае — будущим рисом, в Америке считают удобрением. Да-да! — зло осклабился старик.— Двое моих сыновей окончили университет. Работают на телевидении. А их отец доживает здесь — среди беглых и макаронников. Когда умерла их мать, они даже не соизволили приехать на похороны. А моя Ирма отдала им всю жизнь. Они, видите ли, были заняты! — прокричал он.— Понимаете!? Заняты у родственников Дюмона. Консерваторы тормозят на поворотах по привычке. Может, это и нехорошо. Но не приехать на похороны матери?.. А! — махнул он рукой.— Тысячи людей продают все, что нажили за жизнь, дома, фермы, дело, которому посвятили себя, переезжают в меблирашки и ждут, когда начнутся боли и нужно будет отдать врачам все, что скопили. А дети!.. Они жаднее докторов... Они спят и видят, когда тебя не станет, чтобы прибрать к рукам все, что ты приберег и сохранил. А зачем? Чтобы потом прогулять с проститутками на Гавайях или в Майами... Я за всю жизнь не отдыхал ни единого дня... Как же я могу им все отдать?!

И так как доктор, вдруг вспомнив брошенных дочерей, умолявших его не уезжать, ничего не ответил, старик перевел дух, грустно улыбнулся дамам и посоветовал наряду с английским учить Талмуд.

— Это необходимо! Вначале вы учите его на идиш, а уже потом переводите на английский,— напутствовал он, вставая.— Молиться полезно для поддержания духа. Если он в нас еще чудом держится... В Бостоне большая и дружная община, но еретиков они не терпят. И главное, за этим есть кому смотреть. Думаю, вы быстро освоитесь. Сам я в Лидо всего три года, но, как видите, ваш язык уже постиг, хоть он, наверное, потяжелее китайского... Именительный, родительный, дательный, винительный, творительный... Все, что человеку положено: родить, творить, дать и в старости винить себя за то, что справлял им именительный, соглашался на предложительный, а они устроят тебе угробительный и не приедут на похоронительный,— грустно улыбнулся он.— Ну что же, и в этом жизнь. А пока учитесь и смотрите за ребенком. Тут все боятся киднапинга. Ходят слухи о еврейских бандах. Правда, у нас пока тихо, но все-таки... Не поощряйте ее дружбы с детьми макаронников. Они часто

больны туберкулезом,— предостерег он и направился к дверям.— Да, забыл предупредить: цветы не рвите. Раз в неделю вам их доставит садовник,— показал он на яркие тюльпаны в глиняной кувшинке у окна.— Ну, а расчет — в Америке... До свиданья.

— Спасибо за все. До встречи. Приходите к нам. Вы очень приятный собеседник.

— В отличие от вас. Но как слушатель вы незаменимы...

Соседкой доктора по коттеджу оказалась сверхподвижная брюнетка, пребывающая уже в том возрасте, когда любопытство проявляет сдержанность, а последняя — сострадание, и потому окружающие уже не интересовались возрастом Иды Лейзеровны Левицкой, знатной закройщицы из Черновцов. Она колобком вкатилась на второй этаж, едва Зискинд захлопнул дверцу своего старенького «ситроена».

— Здравствуйте! Боже мой, как вы доехали? — скороговоркой выпалила она, озаряя гостиную лучезарной улыбкой.— Вы давно из России?

— Две недели. Присаживайтесь, пожалуйста. Будем знакомы: Ася.

— Очень приятно. Ида Лейзеровна. А это ваш муж?

— Вы очень догадливы,— привстал доктор,— И наша дочь Валерия. Лерочка! Поздоровайся с тетей.

— Здравствуйте! — застеснялась Лерка.

— Здравствуй, маленькая,— протянула к ней руки Ида Лейзеровна.— Ну иди же скорее! Иди! Я очень люблю маленьких девочек. Сейчас пойдем ко мне, и я подарю тебе шляпку, а потом сошьем пляжный ансамбль. Я же портниха. И так тяжело переживаю вынужденное безделье. Если у вас есть заказы — милости прошу. Бесплатно. Я еще два месяца пробуду в Лидо.

— Спасибо,— поблагодарила Ася, подавая ей кофе.— Непременно воспользуемся вашим предложением. Но я, право, не думаю сейчас о туалетах. Главное для нас — овладеть языком,— разоткровенничалась она, подвигая гостье сахарницу.

— Ой, что вы! Спасибо! Сахар не для моего возраста. Я лучше выпью рюмочку ликера... с вашего разрешения.— И, увидев некоторое смущение на лицах хозяев, добавила: — Сейчас я принесу... чудесный ликер. Одну минуточку...

Ида Левицкая родилась в шляхетном Львове на тихой улочке в двухэтажном домике с внутренним двориком и деревянным, огромных размеров, распятием, встроенным в нишу увитой буйным плющом дворовой стены. У старой,

скрытой от любопытных глаз зеленым платаном колонки теплыми летними вечерами играли в прятки дети портного Лейзера и сапожника Зденека Гурского, несостоявшегося шляхтича и националиста. В сороковом, когда старый Лейзер, размахивая красным флажком, утирал слезы радости встречая Красную Армию, а Гурский срочно собирал пожитки для отъезда в панский Краков, где в Старом Мясте, рядом с замком польских королей, жил его старший брат Владислав, на зеленом холме у желтой крепостной стены Старого Замка навзрыд плакали шестнадцатилетняя Идка и семнадцатилетний Збышек Гурский.

— Мыла, дрога, гража моя! — сквозь рыдания шептал юноша.— Нема жыци обэз тэбэ. Заклынаю! Тилько дочэкайся. Тилько дочэкайся. Нэ помру, аж докы нэ знайду тэбэ.

— Родненький мой! Верь мне! — обвив руками шею любимого, обещала Идка.— Не умру от тоски — дождусь встречи с тобой...

И надрезала Идка чуть повыше локтя руку свою... И Збышек, скрежетнув зубами, резанул себе левую... И скрестили они руки... И напитали друг дружку кровью своей, и поклялись в вечной верности, и молились этой ночью каждый богу своему. И рыдали в темень, закусив подушку, проклиная время жуткое и разлуку смертную... Наутро не стало семьи Гурского. Поглотила ее эмигрантская доля злая. На час заехал он со своим семейством к отцу-матери, в домницу на Лычаковское кладбище: орлу, что над усыпальницей, крылья выправил да свитку, шашку в клюв ввинтил намертво, и подался на Запад. А старый Лейзер зажил жизнью новой, свободной и счастливой.

Но счастье было то недолгим. Каждому на роду свое писано. Идка уехала в Черновцы учиться на швею... Один бог знает, как судьба схоронила ее по лесам, болотам да у людей добрых.

А отца с матерью и двух братьев Идкиных гитлеровцы душегубкой в Янов вывезли. После войны соорудила она им памятник символический. Всем четверым. Сначала металлический, со звездой красной на башенке. Потом, когда деньги завелись, гранитный, в форме дерева рубленого, с двумя корнями по фронтону и ростками-побегами. Благо фотографии сохранились. Их на фарфоре ей исполнили.

И глядят они в Идкины глаза... удивленно глядят братики, да с надеждой и прозрением, будто Бога видели, старшие...

— А два года назад,— утирая слезы, продолжала она,— Збышек нашелся. Представляете? Письмо прислал, фотографии... Он в Джорджии, в Атланте. Инженером у Боинга.

И зовет меня к себе... Сдержали клятву мы с ним,— всхлипнула она.— Только долго ждали... нам уже по пятьдесят три... Но мне кажется, что вчера мы только расстались. Сейчас я принесу фотографии. Он очень красивый, вот увидите...

Утром добродушный Зискинд отвез новоприбывших в школу, единственный серо-желтый коттедж, оба этажа которого были заняты классными комнатами, оборудованными магнитофонными системами.

За учительским столом восседала синьорина с распущенной смоляной косой и огромными «колибри» на веснушчатом носике.

— Лотта Рейнджер,— представилась она.— Как вы понимаете, передо мной поставлена нелегкая задача: за шесть месяцев обучить вас английскому языку. Но, думаю, мы объединим свои усилия и сообща справимся... Главное, что вы должны запомнить: никаких разговоров на русском языке. В доме тоже говорить по-английски при включенных диктофонах, которые с комплектами кассет я вам сегодня выдам. Кассеты будем ежедневно прослушивать в классе и устранять ошибки.

— В постели, надеюсь, не нужно включать диктофон? — с трудом подбирая слова, спросил доктор.

— Это ваше личное дело. Мне совершенно безразлично, в каком тексте устранять погрешности.

Вечером возвращенная из импровизированного детского сада Лерка хвасталась новыми знакомствами и грациозно демонстрировала реверанс, преподанный ей новыми воспитателями.

Через месяц доктор уже бегло изъяснялся с телефонистками, заказывая разговоры с далеким Киевом, и только Ася, в темноте, пользуясь тем, что диктофоны на ночь выключены, шептала слова любви на языке своей матери. Нежных слов на английском она не воспринимала.

— Знаешь, Гельман,— говорила она, прижимаясь к его не на шутку поседевшему виску,— я уверена, что любовь, роды и смертельные муки говорят на родном языке. Он никогда не исчезнет, как ни старайся его забыть и вырвать из своей души. Не получится.

После рождества Гельманы обследовались в американском военном госпитале для получения разрешения на въезд в Соединенные Штаты.

— Это основное,— похлопывая по плечу доктора, говорил Зискинд.— Вы — врачи, и без меня все понимаете. Если

у вас в роду были душевнобольные или сифилитики, а может, вы страдаете панкреатитом — мы не желаем с вами мучаться. Так скажет консул, ясно?

И запомните: социолог, психиатр и детектор лжи — на них держится система медицинского сыска. В этом вы совсем скоро убедитесь. И никакой лекции я вам не читал! — пригрозил он кому-то указательным пальцем правой руки, поводив им почему-то перед своим носом.— Вы мне нравитесь. Поэтому я откровенен. Русские евреи, в отличие от вас, не умеют слушать. Они без умолку тараторят, плачась и рассказывая о своем прошлом. Я так думаю: или вы не русский, или у вас нет биографии. А может, вы не видите во мне собеседника?! Да-да, собеседника! — прервал он его попытку заговорить.— А старый Зискинд умеет слушать. Но это не главное — он умеет молчать. Но вы мне не верите. И правильно делаете. В добрый час. Такси до Целии, американский госпиталь. Держите конверт. Коньяк ваш... вечером,— добродушно рассмеялся он...

Через неделю строгий консул проставил в паспортах супругов Гельман въездные визы и пожелал им счастливой жизни в столице Массачусетса, который в 1776 году был одним из тринадцати штатов, объединившихся в единое могучее государство.

Совершив пересадку в Нью-Йорке, февральским пасмурным днем Гельманы ступили под стеклобетонный свод Бостонского аэропорта, где их поздравил с благополучным прибытием специальный уполномоченный еврейской общины. Через час они были представлены в синагоге и переданы на попечение опекуну — сорокалетней вдове владельца электротехнической фирмы Дорис Пейдж, худощавой брюнетке с нервным лицом и уверенной, чуть импульсивной походкой.

— Мистер Гельман,— заявила она, не обращая внимания на Асю,— будет жить у меня. Квартирой займемся позже. Если успеем, Брайтон сегодня же поговорит с Дженингсом и, возможно, уже завтра вас устроят на работу. Валерия будет учиться в конфессиональной школе. Ее воспитанием я займусь лично. Вы не возражаете?

— Сколько стоит обучение в частной начальной школе? — спросил доктор.

— Это вас не касается. Деньги за ее обучение буду платить я. Мы вырастим ее современной женщиной. Для этого ей нужно быть старательной и послушной. Вы будете слушаться, мисс? — строго спросила она не привыкшую к холодному обращению Лерку.

— Да, тетя,— испуганно ответила малышка, хватая за руку мать.

— Не «тетя», а миссис Пейдж.

— Извините,— согнулась она в реверансе,— миссис Пейдж.

— Ну, до чего же она похожа на Пэтти, просто копия! — воскликнула миссис Пейдж, отрывая ее от пола.— Ты маленькая Пэтти и я очень люблю тебя!.. Скажи, какое ты любишь мороженое? Не знаешь? Ну вот тебе и раз...— Она позвонила в колокольчик.— Посиди минуточку.

— Мирра! — обратилась она к чернокожей служанке.— Приготовьте маленькой мисс любимое мороженое Патриции.

— Да, миссис,— ответила та, удаляясь.

— Миссис Пейдж, а кто такая Патриция? — преодолевая неловкость, спросила Ася.

— Пэтти? Это моя девочка. Она погибла в шестьдесят восьмом. Мы как раз купили виллу. Ей было всего пятнадцать, когда это произошло. Ее выкрали негры, поиздевались и бросили в залив. Утопили, как котенка, живую. При вскрытии у нее в бронхах была вода. Я стояла рядом с прозектором Флэггом из Гарварда и все видела... Я выпила эту горькую чашу до дна,— уже не сдерживая слез проговорила она, подбегая к двери.— Мирра! Где же вы?

— Вот я, миссис. Извините, шоколад еще не остыл,— оправдывалась служанка, посыпая тертым миндалем высокую горку крема, увенчанную башенкой апельсинового цвета.— Маленькая мисс сама будет есть?

— Покормишь ее в детской.

— Пойдемте, мисс.

— Иди же, Валерия,— подтолкнула ее Пейдж.

— А мама? — улыбнулась Лерка, посматривая то на Асю, то на аппетитное лакомство.

— Иди, ласточка.

— Не нужно сюсюкать с ребенком. Вы, наверное, решили вырастить ее легкоранимой, неприспособленной к жизни в цивилизованном обществе... неврастеничкой.

— Простите, но она у нас единственная,— оправдывалась Ася.

— У вас еще будут дети. Но только Валерию я взяла под свою опеку. Навсегда! — провозгласила она.— В отличие от остальных. Мистера Гельмана я оставлю в покое лишь тогда, когда прочувствую, что никому не удастся сбить его с ног. Рекламу, сэр, я вам создам. А это у нас главное для хирурга. Экзамен ответит на все вопросы. Смотрите, не опло-

шайте. Вы мне положительно чем-то понравились. Не похожи на остальных выскочек и грамотеев. Ужинаем в шесть. Ребенка не тревожить. С Мирриам ей не будет скучно. Сто двадцать пять процентов гарантии,— резко бросила она, окинув их пренебрежительным, но заинтересованным взглядом...

ГЛАВА 23

К прибытию в Тель-Авив пассажирского сверхсупераэробуса АЗ-10 в аэропорту Лод царила веселая, праздничная атмосфера. Дети Сиона встречали юбилейного, стотысячного возвращенца на землю предков. Накануне празднования Рош-Гашоно появилась редкая возможность блеснуть рекламным шоу. Это было крайне необходимо в условиях падения курса любви и преданности к «Эрец-Исроэл» тех, кто, по мнению некоторых, в качестве «говорящих орудий производства» должен заселить, и обжить, и сохранить будущий великий «Израиль от Евфрата до Нила».

У сорокаметровой, драпированной янтарным плюшем трибуны с огромной голубой Звездой Давида посредине толпились высокопоставленные лица из Мапай, ветераны Хаганы, Иргун Цвай Леуми, молодчики из «Моссад ле алия бет»; «Бонды» Харела и Ицхака Хофи, как здесь называли хладнокровных убийц в смокингах из Шеерут Едиот; величественные раввины в мирных тогах; миссионеры из «Лиги защиты евреев» во главе с ребэ — сержантом израильской армии Кахане, сменившим на время фрак и манишку на полевую форму гангстера; налетчики из «Шлом Цион»...

Телемониторы, установленные перед трибуной на балконах и открытых машинах, сотни газетчиков и фотокинокорреспондентов, аккредитованных в Тель-Авиве, тройное полицейское оцепление — все свидетельствовало о грандиозности торжества.

На площади перед аэровокзалом застыли в парадном строю серебристые «кадиллаки» с зеркальными стеклами и сиденьями голубой обивки. Их шеренги замыкали неэкономичные «крайслеры» и «ролсс-ройсы» — обязательные атрибуты власти, высшей знати и ультраделовых кругов.

Сводный военный оркестр и почетный караул, составленный из представителей трех родов войск со штандартами, замерли против трибуны и приготовились к торжественной встрече Шарона, падкого к сенсационным свершениям и пожелавшего лично приветствовать беженцев из Москвы.

И когда над Яффой появилась приближающаяся точка аэробуса, волнение на площади достигло своего апогея. Оркестр грянул «Хай Исроэл, хай!» Мама Берман пролила первую слезу. Папа Берман до боли сцепил зубы, что также было немедленно замечено и отправлено в теле-радиоэфир умеющими «делать гешефт» оперетором телевидения и репортером из Кол-Исроэл, сопроводившим кадры фразой: «Господа, внимание! Вы видите муки отца и слезы простой еврейской матери, ожидающих единственного сына, чудом вырвавшегося из красной неволи».

В это время к сгорающему от нетерпения Фреду подошел с радиограммой в руке подсевший на борт самолета в Анкаре гид из СОХНУТ Мэнахем Ройтер.

— Дорогой Берман! — начал он, передавая ему радиограмму на иврите, в строках которой Фред не обнаружил ни одной знакомой буквы.— Вы счастливчик. Вас будет приветствовать второй человек империи и, не будь у Бегина неотложных дел в Египте, вы бы удостоились личной встречи с премьером. Но, как говорят, простите и приготовьтесь.

— К чему? — спросил взволнованный Фред, с тревогой посматривая на Майку, хлопочущую возле своей матери, измученной дальней дорогой.

— Ну, во-первых, к выступлению перед собравшимися; во-вторых, к пресс-конференции, и самое приятное,— с завистью посмотрел он на собеседника,— к приему подарков... И не забудьте желанную встречу с родителями на истинной родине. Она пойдет в первой полосе «Джерузалем пост», для обложки «Бтерема» и прямым репортажем по телевидению. В общем, вам повезло...

Едва аэробус втащил свое грузное тело на стоянку, как вместе с автотрапом к борту подкатили два открытых «понтиака» с телекамерами, нацеленными на пассажирский люк переднего салона. Толпа журналистов метнулась к трапу, оттеснив чету Берман, почувствовавших конъюнктурный спрос и возможность выплыть из средиземноморской мути на поверхность на гребнях рекламных волн. Флиртануть с судьбой-злодейкой и, кто знает... может быть, найти «свой бизи» в блеф-шоу политиканов, сменивших скорострельные «узи» и «галиль» на втиснутые под левую руку полуавтоматические шмайсеры двадцать второго калибра с нарезными пулями.

Фред первым вышел из огромного брюха аэробуса, широко улыбнулся, поприветствовал рукой родителей и бодрым шагом приблизился к журналистам. Майка, поддерживаю-

щая чуть живую Марию Михайловну, едва передвигала ноги.

— Улыбайтесь, прошу вас! — шепнул ей знакомый с подобными играми Ройтер.

— Я не кукла,— резко ответила она, обвела утомленным взглядом площадь и остановилась рядом с мужем, делающим «заявление для нации».

— Господа! — пытаясь унять внутреннее волнение, начал Фред, желая блеснуть красноречием.— Я и моя семья счастливы ступить на землю великой родины предков у священных врат Сиона, где слились воедино Бог, закон и высшая добродетель. Пользуясь предоставленной мне возможностью, я приветствую великую нацию добра и справедливости в день тридцатой годовщины создания государства, дающего приют и родительский кров своим детям, разбросанным по злой и несправедливой планете. В этот праздничный день я всем своим горячим сыновьим сердцем кричу: «Славься, Родина! Славься, Сион! Славься, великий Израиль! Хай!!!!»

Мощное «хай», подхваченное сотнями глоток, троекратно пронеслось над площадью, а блудный сын отдался в жаркие объятия родителей. После многочисленных поцелуев, церемонии знакомства с невесткой и «махаттунем», они проследовали на трибуну, где были представлены Шарону и его свите.

Венки из живых цветов украсили грудь переселенцев. Ройтера, оказавшегося в эпицентре внимания, слегка знобило, поэтому он не сразу овладел собой и приступил к обязанностям переводчика. Во время речи Шарона Фред изображал крайнее внимание, преданно глядя ему в рот.

— Господа, друзья и сподвижники,— вполголоса переводил Ройтер,— еще с незапамятных времен нашу колыбель топтали грязные орды завоевателей. Не было дня, чтобы исповедующий закон иудей мог спокойно лечь спать, как не было ночи без горя, слез и невинно пролитой крови наших отцов, дедов и прадедов.

Нас топили, вешали, четвертовали, резали, дыбили, колесовали, травили, будто крыс, и сжигали живьем на глазах у антисемитов Вселенной. Но мы выжили и этим еще раз доказали забывшей Бога планете, что мы жили, живем и будем жить во славу Иеговы, Господа-Бога нашего единственного.

Вспомните, сколько раз сравнивали с землей наши жилища и сколько раз мы восставали из пепла?! Так было

с Тель-Авивом, так было с Иерусалимом, так было с жемчужиной Палестины — Хайфой.

Сколько же можно было терпеть надругательство??! Мы бежали домой от желтых звезд, насмешек и издевательств. От пыток и концлагерей. Мы бежали нищие и обездоленные, голые и босые, избитые и голодные, моля у бога защиты и приюта.

Как жаль, что только после Гитлера мы начали строить наш дом по-настоящему... Но за тридцать лет мы построили Новый Израиль!

Мы начали с плуга и построили димонский реактор; мы начали с осла, а теперь наши «аравы» и «уэстуэнды» — чертят на божьем небе святой Могед-Довед! Нас обвиняют в жертвах. Нас обвиняют в крови!

Нам кричат: «Дейр-Ясин!» И поносят наш доблестный Итцель...

О каких-то трех сотнях арабов вопят тридцать лет... А мы, отдавшие миллионы жизней, молчим и не орем: «Освенцим!» Вся наша история — это еще один тысячелетний Освенцим для нашей многострадальной нации...

В Дейр-Ясин наши мальчики и девочки обагрили ножи возмездия...

А может быть — это миф, ниспосланный нам небесами, дабы, узнав о нашей жестокости, арабы освободили бы нам жизненное пространство.

Они повторяют: «Голанские высоты и сектор Газа!» Да, они существуют и будут жить до скончания мира. Они будут землями великой священной империи — Израиля от Евфрата до Нила!

И сегодня, с отеческой нежностью встречая детей наших, мы напутствуем их словами: «Идите! Дерзайте! Покоряйте!» Впереди у нас много священных походов за земли Давида. Убей всякого, кто обидел тебя! Так учат великий Моисей и Талмуд! Почитайте отцов своих и друзей своих. Но не прощайте врагам нашим! Не щадите обидчиков наших! Ибо выколовший глаз деду моему, пусть это было тысячу лет назад, знал, что я выколю оба глаза внуку его сегодня! Никто и ничто не остановит победный марш нашей непобедимой армии. Она покрыла себя неувядаемой славой во имя Израиля! С нами бог! Хай!!!

Я поздравляю детей наших с благополучным возвращением домой и от имени государства дарю вам автомобиль...

На площадь выкатили и остановили у трибуны жемчужно-янтарную «альфа-ромео».

«Вот это подарочек»,— обрадовался Фред.

Момент передачи ключей был расстрелян сотней фото-кинозатворов и он, шепнув Майке об отказе опорно-двигательного аппарата, на несогнутых, как и воля, ногах, достиг подрагивающего от нетерпения лимузина.

Вечером в фешенебельном отеле «Хилтон» осчастливленное семейство переселенцев восседало за огромным, уставленным соками столом перед представителями печати, радио и телевидения.

Ройтер старался изо всех сил, предупреждал желания, высказывал просьбы, запасался рекомендациями и адресами.

Фред окончательно вошел в роль и на вопрос репортера из «Кол-Гаам», спросившего его, почему, добившись всего в России, он все-таки покинул ее, ответил:

— Может быть, я не прав, но любовь к родине сильнее! Поверьте, нас очень тянуло домой!..

Не успел он расписаться в получении гонорара за участие в теле-шоу, как вездесущий Ройтер принес ему следующую весть:

— С вами хочет поговорить представитель «Шин-Бет», дорогой Берман,— сказал он, приглашая его в один из многочисленных банкетных кабинетов при ресторане.

— А чего он хочет? Я очень устал,— едва выговорил Фред.— Я еле волочу ноги. И еще, Ройтер, эта игра не для евреев.

— Я вас понимаю... Но запомните: здесь все евреи. А игры — самые серьезные,— подтолкнул он его к двери.— Идите и не волнуйтесь. Стригите купоны, пока в руках ножницы...

Навстречу ему поднялся брюнет среднего возраста, одетый чуть строже, чем необходимо для частной беседы.

— Здравствуйте, Берман! — приветствовал он его на русском языке.— Поздравляю вас. Сегодня вы покорили всех. Я на очереди. Моя фамилия Каменгер. Вы уже знаете, чье ведомство я представляю. Хочу задать вам несколько вопросов. Естественно, сугубо конфиденциальных. Ответы вас ни к чему не обяжут.— Он вынул из атташе-кейс сигареты.— Прошу вас.

— Спасибо, не хочу.

— Ну, что же, начнем, пожалуй.

— Начнем, если вы закроете этот ящик.

— Ах, да,— хлопнул он крышкой «дипломата».— Извините, одну минуту.— Надавил на кнопку звонка.

В дверях показался официант.

— Два «банановых Дайкири», Морис.

— Что это такое? — поинтересовался Фред.

— Лучший в мире коктейль, Берман. Странно, что вы о нем не слышали. Постараюсь вам его описать: смесь бананового, лимонного и сока плодов лайме. Всего понемногу, за исключением рома, а сверху дольки свежих фруктов. Все это увенчано глазированной вишней. Вспомнили?

— Не знал, не знал, и забыл,— вяло улыбнулся он.— Но должно быть вкусно.

— Сейчас попробуете. Первые ощущения непередаваемы... Так на чем мы остановились? Ах, да... На ваших знаниях радиоаппаратуры. Откуда вы с ней знакомы?

— Дома... в России,— поправился он,— я увлекался музыкой, в связи с чем приобретал японские новинки. Однажды записал таким способом разговор с девушкой. А сейчас предположил, что и вы, возможно, воспользуетесь моим способом.

Над дверью загорелась сигнальная лампочка.

— Войдите, Морис... Спасибо, можете идти.

— Действительно красиво,— оживился бывший директор спортбара.

— Попробуйте!.. Ну как?!!

— Отличный вкус.

— Скажите, Берман, кто был вашим последним боссом?

— Каган... Зиновий Исаакович Каган. Он скоро прибудет в Израиль.

— Почему вы так решили?

— Мы вместе оформляли документы на выезд.

— Он богатый человек?

— Не знаю. Во всяком случае, он не нуждался.

— Вы доверяли ему?

— Еще бы! Я работал барменом и без его участия угодил бы в тюрьму за одну рабочую смену.

— Он сохранил вам свободу?

— Конечно!

— Чем же?

— Он платил тем, кто мог поменять ее на следственный изолятор.

— Понятно... Скажите, Роман... разрешите я буду вас так называть?

— Пожалуйста.

— Скажите, почему свой багаж вы адресовали в Нью-Йорк?

— Это недоразумение.

— Ну зачем вы так? — улыбнулся Каменгер.— Я рассчитываю на большую откровенность... Ну, как у вас говорят:

«Ладненько!» На первый раз... Роман, вы принимали участие в судьбе Вайнера?

— Какого Вайнера?

— Заведующего парикмахерским салоном.

— Помню. У него были дела с Каганом.

— По просьбе Кагана вы ездили в Москву?

— Нет, никогда.

— Послушайте!

— Послушайте, Каменгер, мне надоело. Дайте сигарету.

— Пожалуйста... И ответьте на мой вопрос.

— Я уже ответил.

— Вы нуждаетесь в помощи?

— Да, нуждаюсь.

— В чем [illegible]енно?

— Хочу вылечить тещу.

— А еще?

— Я еще не собрался с мыслями.

— Ну что же,— поднялся Каменгер,— с вашего разрешения, мы еще встретимся.

— Пожалуйста, у меня от вас не будет секретов.

Ранним утром, тепло попрощавшись с Ройтером и удобно разместив семью в подаренном ему лимузине, Фред с энтузиазмом принялся накручивать на спидометр бетонку, соединяющую столицу с Хайфой. Искупавшись на «диком» пляже, он к полудню припарковал «Марлен» — так он окрестил свой новый автомобиль в память о нравственном падении в далекой юности — в пустующем гараже на отцовской вилле.

— Ты неплохо устроился, отец,— заключил он после осмотра четырехкомнатного коттеджа, цитрусового сада, добротной старой мебели, милых сердцу вывезенных из России картин, ковров, паласов и хрусталя.— Летняя кухня, зимняя кухня — сказка, да и только.

— Было бы что готовить, сыночек,— уклончиво ответил умудренный опытом папа.— Я помню, после войны наша мама на керогазе такую бабку из мацы делала — пальчики оближешь! А здесь что? Думаешь, Париж? Как бы не так! Хуже Бомбея... И все это,— развел он руками,— не наше. Я покажу тебе теудат оле [1]. Кредит, кредит, кредит... тут и машканта [2], и машлима [3], и шесть процентов годовых, хоть я и просил меньше. Так знаешь, что мне ответил маклер: «Если вы хотите меньше платить, поищите другого

---

[1] Теудат оле *(иврит)* — долговая книжка.
[2] Машканта *(иврит)* — ссуда на покупку квартиры.
[3] Алеаа машлима *(иврит)* — дополнительная ссуда.

уполномоченного. Я вам выпишу меньше, а сам окажусь на улице. Я ведь только оведет социанет»[1].

Я подумал и решил, что он, наверное, прав: нужно платить. А с чего? Ты не знаешь? Я тоже... Мы откладываем только на старость. Все остальное — в погашение ссуды. Многое из того, что я привез из дому, пришлось превратить в деньги и раздать нужным людям. Один бандит такой кусок урвал, что тебе говорить... А что с нами было бы, если б я обошелся без взятки? Во-первых, здесь без взятки или протекции, а это одно и то же, порядочному человеку не обойтись. Нет денег — живи в киббуце, бегай в абсорбцию и бейся головой о стенку. Если видят, что ты «олим»,— с тобой вообще не разговаривают. Поэтому я платил, и много платил. Как говорят евреи: «Хорошо, когда кончается деньгами».

Но ты не волнуйся, основное я не трогаю. Какое я имею право? Оно все твое. Для кого я всю жизнь подставлял голову?.. Ты же сам знаешь... Хоть наша мамочка здесь отдыхает, и то слава Богу. Синагога, подруги. И главное... нет прокурора с Короленко. Если б они только не воевали: было бы тихо и радостно. Но временами бывает просто страшно... Представь себе на минуточку: идет женщина в куфийе[2]. Галабея[3]... В нее четыре бабы влезть могут. Под такой не то что автомат, пулемет спрячут. И неизвестно, кто под платком, мужчина это или женщина... Чего оно идет и куда?.. Вдруг выхватит бомбу и заорет: «Интифада!»[4] — что тогда?..

— Как с работой, отец?

— Что тебе сказать?! В Америке я таки да проворовался... Я развозил в день тридцать тонн мяса и брал себе только три килограмма. Где ты видел, чтобы в еврейской семье обедали без мяса?!

Как-то вызывает меня босс и говорит такую вещь:

«Берман, вы мне нравитесь. С завтрашнего дня я буду вам платить на сто долларов больше и, кроме того, ежедневно буду поощрять вас тремя килограммами мяса»...

Я, конечно, поблагодарил его, чуть на колени не упал и взмолился: «Лучше давайте деньгами!»

И каждый день продолжал брать, как ты понимаешь, свои три килограмма... И что ты думаешь?.. Через неделю он меня вызвал, поставил в паспорте печать красного цвета, шири-

---

[1] Оведет социанет (иврит) — социальный работник.
[2] Куфийя — женский платок.
[3] Галабея — арабское платье.
[4] Интифада — восстание (араб).

ной, я тебе скажу, на всю стр'.ницу. А в ней одно слово: «Ганеф». С этим я и уехал в Израиль... Но самое интересное случилось здесь: после того, как я изъял из спиленной шпонки в стенке бельевого шкафа один русский камушек и отнес его ребэ, я стал нужным человеком. Мне нашли работу... Я тебе должен сказать! В Хайфе я развожу пятьдесят тонн и не беру себе ни граммульки. Однажды после работы открываю рефрижератор и вижу в углу шмат мяса килограммов на пять. Я сажусь и лечу к хозяину. Падаю на колени, кричу:

«Босс! Один бог знает, я говорю правду! Чищу машину — вижу мясо!»

Он меня, понятно, поблагодарил. Дал две сотни шекелей за душевное беспокойство, а когда я собрался уходить, он мне выговаривает:

«Смотрите, Берман, чтобы это не было советским фокусом». Как тебе нравится?..

И потому как Фред не мог унять хохот, он продолжал:

— Только ты, сыночек, здесь не оставайся. Приедешь лет через пять, десять, когда они все завоюют. Не дай бог, они тебя заберут в армию...

— Как только прояснится с тещей,— ответил Фред, заметив вышедшую на поиски Майку.— Мадам, мы вот они. Идите к нам скорее,— позвал он ее.— Спроси у папы, здесь косые дожди бывают?

— Заинтересовался климатом? — покраснела она.

— Косые дожди! Тут такие ливни бывают, я вам скажу, никакой зонтик не поможет. Страшно, будто в потоп...

В центральной клинике Хайфы их принял руководитель радиологического отделения доктор Норман Юхтман, получивший медицинское образование в Старом Свете, эмигрировавший в Новый и практиковавший даже в главном госпитале военно-морских сил США в Бетесде под Вашингтоном.

После поверхностного обследования Марию Михайловну госпитализировали, а через неделю профессор выкроил минуту и принял супругов Берман в своем уютном кабинете в приемном отделении клиники.

— Вы нам, пожалуй, не нужны,— указал на дверь профессор Берману-старшему, узнав, что Майка знает английский.— Подождите детей в коридоре. И пожалуйста, поплотнее закройте дверь — мои кондиционеры работают на последнем издыхании...

— Начнем, молодые люди?! — устало посмотрел он на застывших у стола уверенного в себе Фреда и побледневшую, буравящую его пронзительным, скорбным взглядом

Майку.— Первое, о чем я хочу вас просить: не обольщайтесь. И вот почему. Ваша мать лечилась в России, а русская онкология стоит в первом ряду мирового учения о борьбе с раком, вернее, со ста различными заболеваниями, по одному на каждый тип клеток тела, которые могут стать злокачественными. К сожалению, опухоль у вашей матери была в таком состоянии, при котором говорят: «живот ножа просит». Но заверяю вас, мы поставим вашу мать на ноги. Ну, а ко мне придете лет через пять,— улыбнулся он, умолк и расслабился в кресле.

— Майя, спроси, почему через пять лет?

— Потому что,— с трудом подбирая русские слова, ответил Юхтман,— через пять лет вашу маму можно будет считать практически здоровой. Если к тому времени не проявятся вторичные очаги поражения. Ну, а вы к тому времени постараетесь разбогатеть, чтобы не являться ко мне с пустыми руками. А разбогатеть здесь,— умолк он на минутку,— совсем не просто. Особенно вам, выходцам из Восточной Европы.

— Вы знаете русский язык?! — восхищенно спросила Майка.

— Пирогова, Сеченова и Павлова нужно читать, как Шекспира,— только в оригиналах. Кстати, Кассирского я также читаю на русском,— с достоинством ответил профессор, вставая и показывая этим, что прием окончен...

— Ну как, дети? — спросил Берман-старший, искренне переживая за здоровье полюбившейся махаттунем.

— Все в тумане, отец. Но нас принял очень грамотный хирург, наверное.

— Здесь у него очень громкое имя. Он, говорят, творит чудеса.

— Бедная мама,— со слезами на глазах проговорила Майка.

— Ну что ты, в самом деле. Не смей расстраиваться. Больше пережили — меньше осталось. Через день-два ее прооперируют, а через месяц мы уже будем в Штатах.

— Не понимаю, ее еще вчера прооперировали! — воскликнул Берман-старший.

— Как?

— Как? Не знаю! Вы же разговаривали с Юхтманом. Он, очевидно, думал, что вы в курсе. Пока вы беседовали, я, от нечего делать, посмотрел на информационное табло. Давление нормальное, температура чуть повышена. Находится в блоке «В», шестая одиночная палата. Оперировал доктор Манкилевич — очень талантливый гинеколог, эмиг-

рант из Литвы. Он здесь с семьдесят третьего. Так что нечего плакать, махаттунем вне опасности. Используем мой выходной, как положено.

— А как положено?

— Сейчас мы заедем за мамой — и к морю. Вечером пойдем в ресторан. Посмотрите, как отдыхает местная молодежь. Она, конечно, совсем, можно сказать, не отдыхает, она бесится, но взглянуть не мешает.

— Поедем, Майечка? — спросил Фред, открывая ей дверцу машины.

— А как же мама? — вздохнула она.

— Если она попала в руки Юхтмана, можно не сомневаться. Все будет хорошо,— погладил ее по плечу свекор.— Не думай на плохое. Возле нее сидят пять человек. Ты такое слышала — у постели одного больного пятеро медиков? И за все платит раввин. Это же сказка. Рассчитаетесь... Что вам говорить... я сам рассчитаюсь за пятнадцать лет. Такая операция стоит мешок шекелей. Но это все ерунда, лишь бы сваха была здорова. Так что выбрось из головы. Мы поедем на хороший пляж, там у тебя сразу поднимется настроение...

Часы у моря пролетели весело и беззаботно. Майка на время избавилась от дурных мыслей, и ее веселый смех песней звучал в ушах Фреда, пока он постигал секреты детской игры в кегельбане. Ужин в ресторане на семейном совете отклонили — решили посетить театр, в котором гастролировал столичный «Дебабис» с нашумевшей драмой «Махджуб».

— Не сомневайтесь, вы все поймете,— уговаривал их отец.— Я буду переводчиком...

По пути Майка попросила Фреда заскочить на минутку в клинику и скрылась со свекром в приемном отделении. В информационном зале центральное табло было уже погашено, но это не смутило Бермана-старшего. Он набрал на клавишном компьютере фамилию, блок и палату больной Бергман и через мгновенье на черном экране прорезалась светящаяся, бегущая строка. Прочитав ее, он побледнел, посмотрел расширенными от ужаса глазами на невестку, сорвал трубку телефона и после минутного разговора с кем-то повернулся к Майке, застывшей в немом ожидании. Но уже в следующее мгновенье она прочла в его глазах страшную правду и вдруг...

Высокие потолки рухнули вниз, в глазах у нее все смешалось, потускнело и исчезло...

Фред, почувствовав беду седьмым чувством, прибежал на помощь, поднял Майку с пола, положил на хирургическую

каталку, неистово забарабанил в дверь. На шум прибежали санитары, равнодушно посмотрели на безжизненное лицо молодой женщины и пошли прочь. Фред бежал за ними, дергал за полы серых курток, что-то кричал на неизвестном им языке, молил и взывал к их совести и человеколюбию и жутко ругался многоэтажной, площадной бранью.

— Олим,— сказал один санитар другому, расхохотался ему в лицо, больно пнул в грудь и выговорил на иврите что-то мерзкое плачущему отцу.

— Сыночек! — воскликнул тот, подбегая к каталке.— Скорее. Ее нужно перевезти к амбулатории.

— Зачем? К какой амбулатории? — в неистовстве прокричал он.

— Скорее, сыночка, успокойся! Умоляю тебя! Здесь ей никто не поможет. Только там, понимаешь? Покатили... Там есть «скорая помощь». Ну послушай меня, покатили...

После смерти матери Майка впала в глубокую депрессию: оставаясь слезливой и заторможенной, она никого не хотела видеть. Общаясь с родными, вдруг становилась вспыльчивой, порой грубой, невосприимчивой и неблагодарной к заботе окружающих. Днями лежала она в постели, мучаясь воспоминаниями, винила себя в смерти самого дорогого человека, вспыхивала гневом всякий раз при виде мужа, признавая в нем первопричину всех несчастий и бед, выпавших на ее долю. В день похорон, стоя на краю свежевырытой могилы, слушая кадыш и ни слова не понимая, она по-своему прощалась с завернутой в саван покойницей, проклиная и себя, и Фреда, и легкомыслие. Собственная жизнь теперь казалась ей ненужной и бессмысленной...

Когда все кончилось и желтый холм вырос над свежей могилой, она упала на колени, прижалась лицом к земле и, разбросав по сторонам руки и обхватив ими чужую пересохшую глину, заголосила по-своему, по-русски, долго и жалко, и надсадно, с надрывом причитая и поливая твердую какую-то осыпь горькой и чистой слезой. Фред несколько раз напрасно пытался оторвать ее от могильного холма, потом смирился, опустился рядом, все больше проникаясь горем, прослезился, затем достал носовой платок, громко высморкался, вновь попытался выдавить слезы, но, прочувствовав бесполезность второй попытки, дотронулся до ее руки. Она оторвалась на миг и, не отряхнув рук, чесанула ими траурные полотнища приспущенных к могиле волос, взглянула, испепелила, заставила съежиться да и привстать под жженым, гаревым этим взглядом и произнесла с придыхом и болью адской, невыносимой:

— Ненавижу! Ты обманул меня и убил ее. Ненавижу тебя, слышишь? — схватила она его, оторопевшего, и беспомощного, и уличенного за руку.— Сколько буду жить, не прощу тебе этого. Убирайся,— крикнула во весь голос и снова припала к могиле.

Фред постоял минуту, словно раздумывая, осмотрелся по сторонам, но не увидел ни родителей, ни соседей, отдавших последний долг ни по-соседски, ни по-доброму, ни по-злому — а просто никак...

Никого не увидел он, а, подняв голову, узрел огненный солнечный диск на закате, наклонился, легко оторвал ее от могилы, прижал к груди и, будто больного и плачущего ребенка, понес к выходу.

Она больше не сопротивлялась: позволила усадить себя в машину, привезти домой, омыть руки и уложить в постель... Часом позже, зашторив окна, к ее постели придвинули столик и помянули всей семьей ту, которой земля будет пухом и сегодня, и присно, и во веки веков.

— Слов много, а Бог один,— философски заметил отец, наливая в рюмки пантеровскую водку,— как все люди идут к одному концу, так и к Богу единому однажды придут все веры. Я не верую ни в Яхве, ни в Йегову, ни в трех лицах, ни в трех временах сразу; но когда умру, выпейте за меня водки. Вот этой, Дроздовского. В ней горечи хоть завались. Одно вам скажу: нужно жить и не таить в себе зла. А главное — быть сильными. Слабых здесь убивают. Не виноват мой сын, Майя. Он хотел, как лучше... Поверь мне, не виноват он перед тобой...

Через несколько дней Фред снова беседовал с людьми из МОССАДа. Они остановили его у бензоколонки, предложили следовать за ними.

— Куда, если не секрет? — спросил он, не проявляя ни огорчения, ни тревоги.

— Приедем, узнаете,— улыбнулся один из них, усаживаясь за руль «рено».

Привезли они его на беломраморную виллу с окнами на море. Представили широкоплечему дяде в шортах и черных очках, который в течение двух часов выяснял, почему переселенец не желает изучать иврит и не хочет получить, на первых порах, работу грузчика в американском универмаге Гарфункеля.

— Там могла бы работать и ваша супруга, владеющая английским языком,— добавил незнакомец.

— Спасибо,— поблагодарил Фред,— но, к сожалению, моя жена тяжело больна после смерти матери. И это

является основной причиной нашего отъезда из Израиля. Мы должны на время переменить обстановку.

— Значит, вы уезжаете?

— Да, наверное.

— Далеко?

— В Америку.

— Ну, что же, как хотите. Но учтите: стариков заберете с собой. Нам не нужен балласт. И оплатите все долги.

— Что вы имеете в виду?

— Ваши желания, в первую очередь. Израиль не может кредитовать старость.

— Об этом вы должны предупреждать всех желающих перед въездом на родину. Мой папа мог воспользоваться правом свободного выбора страны для проживания.

— Вы, очевидно, забыли о том, что ваш папа жулик.

— Вы также стараетесь не помнить то немаловажное обстоятельство, что даете приют всем евреям планеты, прощая им не только пороки, но и устоявшиеся привычки и странности. Ко всему, должен заметить, что у вас было время для обдумывания. Если я не ошибаюсь, это вы ввели в гражданство моего папу?

— Так же, как вас и вашу жену, Роман. Израиль не виноват в том, что Россия лишает своих граждан защиты в день отъезда. А здесь наша с вами Родина, хотите вы этого или нет.

— Я буду всегда помнить об этом.

— Мы тоже, Роман, никогда вас не забудем.— Незнакомец поднялся.— Мы увидимся с вами,— снял трубку телефона.— Берман свободен...

На следующее утро Фред явился в министерство абсорбции. В полдень по исполнительному листу, заверенному печатью городского нотариуса, у него конфисковали автомобиль, за эксплуатацию которого предложили немедленно внести девятьсот сорок шекелей. К вечеру по требованию общины он оплатил восемь тысяч за девять дней лечения покойной тещи в радиологическом отделении клиники. В счет были включены исследования, операция, беседа с доктором Норманом Юхтманом и даже закрытый массаж сердца умершей Бергман, не перенесшей острой сердечной недостаточности, осложнившей послеоперационный период. Пришлось погасить также долги за проживание в Австрии и воздушное путешествие по маршруту Вена — Тель-Авив, после чего квитанции были приколоты к заявлению, которое повторно просматривали и изучали.

После месячного обивания порогов напыщенный самодовольный чиновник с огромной седой гривой, сидящий неподвижно, словно сфинкс Эдипа, даже не шевельнувшийся при появлении Фреда, глазами указал на дарконы [1], дающие право сбежать с земли обетованной.

— Вы подумали об отце? Он может здесь все потерять,— произнес тот с угрозой.

Фред, желая оставить приятное впечатление, минуту раздумывал над ответом, и произнес с чувством:

— Не любите нас очень, ибо я буду вынужден обратиться в Лигу защиты евреев с просьбой о расторжении брака. Вам же будет стыдно за соседей... Чава...

За время своей болезни Майка выносила сумасбродную идею возвратиться на родину и, не разделяя общей семейной радости, решилась, наконец, честно признаться Фреду в своих намерениях. Без особого внимания выслушав сводку новостей и просмотрев маршрутки (благо с английским текстом), она села на подлокотник его кресла, обвила руками многострадальные плечи бесстрашного мужа, чем привела его в восторг, и тихо произнесла:

— Я очень люблю тебя и ни в чем больше не обвиняю. Приняв твою басню за правду, мама перед смертью радовалась жизни и верила в избавление от недуга. Спасибо тебе за это.

Я тоже верила. Но не умерла, как она. А главное, зная об обмане, не разуверилась в жизни.

Я понимаю, что твои родители дороги тебе и так же, как и ты, желают жить в этом мире. А там... дома... для вас просто нет места. А раз так...

В этот момент что-то новое, непонятное и вдруг живое, зашевелилось у нее под сердцем.

Она затаила дыхание, приложила к животу дрожащие руки и, прочувствовав нечто неизмеримо дорогое, жданное и необходимое, выдохнула протяжно и нежно:

— Ой, Ромочка! — И залилась слезами...

Фред по-своему понял эту фразу и, целуя ее заплаканные глаза, жарко шептал:

— Я знал, что ты поймешь нас. Мои тебя очень любят. Особенно мама... Когда мы освоимся, заберем их к себе. Пусть тешатся с внуком.

— Кого ты хочешь, роднуля?!

— Мне все равно,— ответила она, впервые после трагедии расслабленно и умиротворенно.— Только бы скорее...

---

[1] Даркон — выездной паспорт.

Хочу прижать его к груди хоть на секундочку. И закричать от счастья, что он есть.

— И я хочу! Можно мне послушать его сердечко?

— Слушай,— прошептала она, прижимая к себе его голову.

ГЛАВА 24

Поздним вечером после веселого празднования Рош-Гашоно в алтаре синагоги у Ковчега завета при свете ароматизированных свечей, сидел один из распространителей «опиума для народа» в глубоком старинном, черного цвета кресле с резной спинкой и округлыми подлокотниками. Его старческие, в цвет стеарина, ласкающие одна другую руки крепко сцепились короткими, иссушенными, чуть дрожащими костяшками на опавшем к старости животе. При этом большие пальцы кружили карусель друг за другом, что в довершение к прикрытым глазам и мерному тихому сопению удостоверивало глубокие раздумья старика — Кагана. Вокруг него тени плясали старинную, времен «исхода» дикую пляску, лизали блеклыми, холодными языками вековую горечь скинии и, облизываясь и, прости, Господи, чертыхаясь, запивали потертым сафьяном кож, катарактовыми брызгами плюшевых драпировок и убегали в высокие, темные, как и древо познания, потолки, хохоча с мудростью над доблестным развратником Соломоном и его притчами.

Против него, потирая пальцами натруженные за день колени, в модном клетчатом, серых презентабельных тонов костюме, сидел его единственный племянник, Земка — Зюка — Зиновий, не пытаясь прервать томную йогу дяди, бросая сожженые мартом взгляды по сторонам, чуть при этом тоскуя и поерзывая. Время от времени импульсивно, боясь, что догонят, левая рука его бежала к правой, больно ударялась в висячий давидовожелтоглазый гроб, соблазнялась, ласкалась к нему и умиротворенно истекала пóтом и прочими продуктами секреторно-почечной деятельности, шлаковоыбрасываемой через разнеженные поры на достойный и молчаливый объект своего безумного чувства.

Наконец старик очнулся, кашлянул, с шумом втянул в себя воздух и глубокомысленно изрек:

— Не нужна она тебе там и расчет твой неверен.— Посмотрел он на Зему слезящимися глазами, выпятив нижнюю губу и сцепив зубы.— В конце концов, деньги можно было раздать «тяжеловозам» и не ввязываться в столь сомнительное предприятие.

— А если «тяжеловозы» там превратились бы в диких мустангов, с которых потом не спросишь, да и не сыщешь нигде, что тогда?

— В этом ты прав. Порядочность они оставляют здесь вместе с паспортами. Но учти! Когда ты разгрузишь ее, она наделает глупостей. Береги Стеллу от ее откровений, а себя от кинжала. Там — не дома!

— Она не способна на глупости.

— Если она красива — это сделает ее новый любовник или тот, кто захочет им стать. Ты уверен, что Даль уберегся от соблазна?

— Да, как это ни грустно.

— Вот что самое ужасное. Тебе не в чем ее упрекнуть.

— Я возлагаю огромные надежды на сказки Венского леса и прочую экзотику Запада. К тому же они, наконец, получат желанную свободу. Волею судьбы им нужно спать если не в одной постели, то в одном номере.

— Это уже кое-что.

— Если он проведет с ней ночь, я уверен в их будущем.

— Ну и девочка! — мечтательно зажевал губами старик.

— Понимаю тебя, дядя. Но, к сожалению, я уезжаю. Когда тебя ожидать?

— Не знаю, родной. Ты же знаешь, мне нужно быть здесь. Кстати, твой преемник — наш человек?

— О чем ты говоришь, дядя!

— Слава богу. Главное, чтобы он не присваивал больше, чем положено. Я не хочу портить себе нервы с этой мышиной возней: сколько прислали, кому и сколько отдали... Скажу тебе, «на абэнэ мунэс» [1]: когда ты получал от наших друзей чуть больше, чем раздавал,— я на это закрывал глаза. Ты же у меня единственный. И до смерти буду помогать тебе, где бы ты ни был. Деньги наши запустишь в дело.

— Конечно, дядя.

— Слава богу, бизнес этот не скоро кончится. Найдутся еще идиоты для заселения святых мест. На земле ли, на небе — богу ведомо... Завтра, не забудь, помаши мне рукой, одинокому. А сейчас иди...

И вот что еще, Тору поцелуй! Да хранит тебя Бог...

— Не хочу,— брезгливо поморщился Зюка,— на ней миллионы губ побывали...

Утром, закончив таможенные формальности, Каган вывел свою укрупненную тайными связями семью на летное поле и, поднявшись по трапу к пассажирскому люку «туш-

[1] Абэнэ мунэс *(идиш)* — честное слово.

ки», резко обернулся, прижался к поручням. Возвел счастливые глаза к небу, блаженно улыбнулся и, зажав между ногами молчаливого, из крокодиловой кожи свидетеля глобальной торговой сделки, прижал к губам ладони и с силой швырнул их на смотровую площадку аэропорта.

Отправитель веры иудейской, ослепленный двумя солнцами сразу, утер умильную слезу, прославляя Бога, и продефилировал к личному автотранспорту, не поблагодарив водителя за услужливо приоткрытую дверку, плюхнулся на сиденье.

Благополучно завершив беспосадочный перелет, в таможенном зале Швехата они попали в цепкие лапы верного посланца заокеанского сионизма Вилька, который привез их в Альзергрунд, поселил в Видене, посоветовал посетить ночной ресторан в Иозефштадте и грозился устроить в их честь прием при свечах в старинном дворце Шенбрунн, принадлежащем, по его словам, некоему братству, не лишенному тайных связей ни с бронзовой дамочкой французского происхождения с острова Бедло, ни с наследниками престарелой Дороти Шифф, местами освещающими или напротив, тушующими эти связи в сионистской прессе.

— Мы можем все! — хвастливо заявил он, окидывая собеседников пренебрежительным взглядом.— Нам подвластен весь мир. Дипломаты и торгаши, газетчики и фабриканты, правительства и церковь реализуют власть, данную им Богом, в угоду нам,— тайным правителям мира. Мы не дадим вас в обиду. Вы еще не раз убедитесь в силе нашего международного братства. Израиль — слишком узкое место для нас. Правда, мы решаем его проблемы, не считаясь со средствами и временем. Когда Синай оккупируют американцы, евреи смогут спокойно строить свое будущее под защитой лучшей армии в мире. Это неминуемо произойдет через несколько лет. За это время вы обживетесь в Америке, а потом, уже богатыми людьми, переедете в страну предков. Хоть я и не советую. Я очень доволен вами. Вы сделали правильный выбор. Особенно вы, Даль. Ваша жена русская, не так ли?!

— С любовью не шутят, дядя! — ответил тот, потягивая аперитив и приобщаясь тем самым на западный манер к ранней пьянке.

— Любовь я приветствую! Бесплатную тоже, хоть и реже. Но в Израиле вы бы набрались горя. Вас бы не только выгнали из синагоги. Вас в нее попросту б не впустили. Но вас изгнали бы из любого дома. Неприкасаемые живут не только

на границе с Пакистаном. И единственную удачу я вижу в том, что вы бы не были связаны с разводом, потому что подобный брак — блеф в землях обетованных.

— Прекрасно! — прервал его словотечение Виктор.— Я пью за удачный выбор Родины для потомков от смешанных браков. Виват!

— Может, тебе хватит, нахаленок? — неодобрительно заметил Каган.

— Может... Но не забудьте, дядя, я реализую право бессертификатного гражданина. У меня нет даже вонючей нансеновской паспортины, с которой не впускали в приличный бардак на Берри. Не говоря уже о большем.

— Понимаю вас, Даль. Но что стоят пять лет по сравнению с американским паспортом, дающим право,— задумался Вильк,— на все...

Что он подразумевал под этим, никто не понял и не успел спросить в связи с появлением в интерьере холла томно-нескромной детали — длинноногой Ники, втиснувшей место, по которому ее в детстве мама шлепала, в джинсы, на два сайса меньше разумного. Разбойница расстреляла сочным бюстом все живое, включая швейцара, четырех лифтеров и двух случайно оказавшихся в холле официантов. И даже престарелый портье, визуально определив в багаже гостьи брошенный за ненадобностью лиф, в следующее мгновенье уже кричал: «Майн Готт»,— пытаясь промокнуть жирную чернильную кляксу, оставленную им в паспорте свинопромышленника из Эссена.

Возмутительница спокойствия грациозно пронесла себя к беседующим, обняла за плечи впервые пережившего гипертонический криз Даля и тихо для Земы сказала:

— Иди за мной, или я усну!

Преображенный Даль катапультировался из кресла и под жадные взгляды окружающих проследовал в лифт вслед за «умопомрачительной газелью», как сказал, знакомясь с Каганом, прибывший на охоту Гагуа, работающий вместе с Вильком в фирме «Обчистим ближнего».

— Мы тоже люди! — гортанно забурлила Кура в его голосе.— Чтобы так издеваться над живыми горцами. Вах! Все думают, если я темпераментный, так меня дразнить можно... без надобности. Скажи, генацвале,— обратился он к Кагану,— это твои люди?

— Да,— с огорчением ответил тот, предупрежденный сионистским эмиссаром о возможной встрече с бизнесменом.— Но, к сожалению, они уже куплены. Впрочем, как и все русские деликатесы. Я их, дорогой, сам люблю...

Пропустив в номер Нинку, Даль упал на диван и заскулил:

— Сядь рядом, я расскажу тебе о моей созревшей любви.

— Не, зяблик, неинтересно,— ответила она, включая телевизор.— Придумай что-нибудь более трогательное.

— Ниночка... Единственная моя...

— В этом номере?

— В этом городе, в этой стране, в этом мире...

— Интересно...

— Если ты помнишь, когда-то там... за поворотом, я утверждал, что не люблю тебя...

— И что же изменилось?

— Выключи эту проклятую рекламу... не выношу.

— Почему?

— Потому что я начинаю рекламировать свои чувства.

— Начинай,— улыбнулась Нинка, выдергивая вилку из розетки.

— Че, на кнопку нажать нельзя?

— Буду еще целиться,— рассмеялась она, обнажая рисованные голливудские зубы.— Давай, гони! Че там у тебя,— плюнула она ему в душу.

— Нинуля, маленькая,— начал он уговаривать себя в мнимой победе.— Оставь Зему ради меня.

— Ну, и...

— И ради нашего счастья! — бросился он к ее креслу, опустил голову, неуклюже пытаясь укротить взорванное страстью дыхание.

— Я не согласна с тобой,— ответила она, взъерошивая его прическу.— Если бы ты предложил сделать его рогоносцем, я бы еще подумала, несмотря на то, что он жуткий собственник. Я же прощаю ему Стеллу... Но предать его в открытую не смогу. Он же хороший, правда? И пожалуйста, не шути со мной больше, ладно?

— Ну, что ж,— покраснел Даль от злости,— тогда пеняй на себя!

— Чего мне остерегаться, зяблик?

— Я качусь в блуд, мадам.

— А, понятно. Умоляю тебя — будь осторожен. У тебя нет иммунитета к капиталистическим коккам.

— У тебя тоже,— огрызнулся он.

— Но он мне и не нужен.

— Имея рядом такого донора, как Зема, не согрешила б, если и запаслась...

Вечером, в ночном бар-ресторане «Кляйн-Дюссельдорф», где они решили отметить свой благополучный бросок на Запад, Даль начал переводить свои упреки в ее подозрения.

Не в полной мере прочувствовав букет русской рябиновой, он прошел к дальней стене, обозрел стойку бара и всех гостей, поднятых ввысь высокими вертушками кресел. Повернулся к пьяной шлендре необъятных размеров и пресинильного возраста, подморгнул девицам, отдыхающим за двухместным столиком у стены и, уловив доброжетальность в ответном подергивании век, проследовал к ним, вежливо поздоровался общепринятым на Руси «здравствуйте», а услышав в ответ восхищенное: «О-о-о, русиш!» — выбрал из своего словарно-багажного эсперанто: «Твелф о'клок, нахт, жду[1]»,— грациозно удалился к эстраде. По пути он нескромно заглянул в дверь одной из многочисленных комнат отдыха, в тени которой ничего не успел рассмотреть, но услышал женское: «Ой!» — и не обещающий ничего хорошего мужской рык, пошел прочь и благополучно опустился в кресло рядом с томной Нинкой.

— Где Зема? — спросил он, простреливая пространство во всех направлениях.

— Они танцуют.

— Ну и пусть. Давай выпьем.

— За что?

— За его развод, за ваше счастье, за мои успехи.

— Не стоит... А впрочем, за твои успехи, я выпью...

Музыка в ресторане не утихала. Оркестр выдавал на-гора порции из пяти-шести блюд, начиная с вальса и оканчивая тяжелым роком. Два телевизионных монитора, стрелящие в круглый, опускающийся для удобства танцующих и защиты сидящих за первыми у эстрады столиками гостей дансинг, бросали в эфир ресторанное шоу с танцами и концертными номерами несостоявшихся эстрадных звезд.

Растерзанный своей неосведомленностью Каган, пригласивший супругу на тур вальса, вдруг понял, что никогда не выберется на поверхность, а загнанных лошадей пристреливают. Посему, закусив губу, он демонстрировал «пляску святого Витта», став двойной мишенью и украсив собой заслуженный отдых венцев у экранов телевизоров, а заодно разгрузил положительные эмоции расступившейся, хохочущей и уже не танцующей толпы. Комментируя его выступление, захлебнувшийся восторгом диктор венского телевидения по секрету сообщил телезрителям, что перед ними выступил знаменитый сын туманного Альбиона — Джимми Гопкинс, слегка помолодевший и подросший на шесть дюймов после лечения и отдыха в целительном

[1] Твелв о'клок *(англ.)* — двенадцать часов; нахт *(нем.)* — ночь.

Карлсбаде. Оператор проводил «Гопкинса» к столику, а затем крупным планом подал на экране его семью.

В это время новые подруги Даля оторвались от основного занятия в комнатах отдыха и, впитав телеинформацию, решили во что бы то ни стало дождаться и заполучить во временное владение прелестного русского парня. Он появился в поле их зрения с опозданием, уже после полуночи, что было простительно джентельмену с такими поразительными знакомствами; пригласил их за столик и провозгласил тост за здоровье эрцгерцогини Христины, владелицы личной гробницы в соборе августинцев, что не было учтено тамадой, но совершенно не смутило девиц, искренне полюбивших обаятельного секретаря великого английского комика. И когда по неуловимому жесту белокурой Вильмы, прочувствовавшей расположение к себе гостя и возможность взять у него интервью тет-а-тет и в местной валюте, менее удачливая Хильда исчезла, а всепонимающий кельнер перенес русскую рябиновую в кабинет, Даль окончательно вошел в роль и ответил на вопросы с присущей ему добротой, темпераментом и нескаредностью души в количестве шестисот шиллингов. Ответы его звучали вполне откровенно, с некоторой нетерпеливостью, что выдавало в нем затворника, соскучившегося по общениям подобного рода. Ответив на первый, прерывистым шепотом, в знак ложного волнения заданный австрийской Фриной вопрос:

— Май дарлинг?

— Май тоже...

Возвращаясь пешком в отель, он никак не мог вспомнить последующего развития событий ввиду того, что уснул и был разбужен корректным швейцаром, покинутый и одинокий. В гостиной, на журнальном столике, его ожидал термос горячего кофе.

И так как благодарность он выразить подруге не смог, наткнувшись на запертую дверь спальни, ему пришлось уснуть без душа и молитвы, ввиду того, что о существовании первого он забыл, а второе не знал и впервые в жизни произнес: «Господи, что же ты наделал!» несколькими месяцами позднее на горном апеннинском перевале...

Благополучно приземлившись на римской кампанье, укрупненное семейство Кагана было крайне огорчено встречающим их гидом, сообщившим, между прочим, полное отсутствие в порту родных и близких. Ошеломленный Даль, даже не поднявшись в номер отеля, помчался дорогой Солнца во Фьюмичино и уже через несколько часов держал в руке письмо от брата, оставленное соседям по коттеджу, в кото-

ром тот проживал в период преодоления языкового барьера и нравственной акклиматизации, связанной с ожиданием горячо любимого родственника.

«Дорогой мой! — писал тот, зажав, очевидно, ручку в комке оголенных нервов,— эти подонки-макаронники отказали мне в проживании и связались с американским консулом. В аэропорт меня будут сопровождать выродки из Скуадра Мобиле, которые облегченно вздохнут, когда я покину Рому. Лечу в Майами. Что буду делать? Ожидать тебя и присматриваться к заокеанской жизни. Адрес сообщу в Лидо. Если остановитесь в Остии, подъедешь к старому Зискинду из Рав-Тов. Он у них основной. Не трать денег. Берегись проституток. У меня все на месте. Целуй жену и Зему.

Твой Ефим.

В консульстве о тебе знают. Маршрутку получишь в Майами-бич.

Фима».

«Ну что ж! Неплохо для начала, — констатировал Даль.— Еще пара таких сюрпризов, и инфаркт мне обеспечен...»

Слегка успокоенный он, как это обычно бывает после стресса, почувствовал пустоту в желудке, перекусил в шумной «Монете» на берегу и ускоренным шагом направился в сторону Рима.

Машин на трассе было мало, и водители их, будто сговорившись, игнорировали его стремительно летящие в облака жесты, равно и отутюженную спортивную внешность, объезжая рвущегося наперерез самоубийцу, ускоряя скорость своих машин, смеясь над тщетными попытками пешехода привлечь внимание к своей скромной персоне. Отмахав пару километров, он наткнулся на одинокий «фиат-спорт», замерший у обочины с поднятым капотом и нескромной, враз привлекшей его внимание композицией распластанных на левом крыле тугих женских бедер, обтянутых бело-кремовыми джинсами средних европейских размеров.

«Страна чудес! Сплошные сюрпризы!» — прошептал он, созерцая видение и обозревая окрестности в поисках наблюдающих за подсматривающими.

Никого не обнаружив, он обошел машину и с умным видом склонился над чревом мертвого и уже остывшего организма, в котором копалась без малейшего знания предмета юная автомобилистка, не сразу оторвавшаяся от импульсивного подергивания разноцветных артерий, вен и капилляров, прервавших где-то поступление чего-то к сердечной сумке друга цивилизованного человечества.

— Кажется, я могу быть вам полезен, мадам? — вполголоса проговорил он, откровенно рассматривая яркую, акселерированную представительницу знойной Паданской равнины. Римлянка благожелательно улыбнулась, демонстрируя волнительную серость чуть испуганных любознательных глаз, легкий пушок над не тронутыми цивилизацией сочными, призывными губками.

— Но мадаме,— синьорина,— ответила она на единственно понятое слово, сопровождая ответ непререкаемым жестом правой ручки с зажатым в ней гаечным ключом.

— С таким маникюром — в мотор! Мне вас жаль, синьорина,— с чувством произнес он, принимая от нее первый сувенир.

— Маникюр! — рассмеялась она и развела руками, показывая одновременно и беспомощность, и необходимость.— Дойч, франс, инглиш?

— Ай кноу инглиш [1]. Чуть-чуть,— добавил он по-русски, проклиная в душе свое преступное нежелание покорить этот рубеж дома.

— Рашен?

— Еврей,— ответил он, показывая ей ключи от чемоданов и предлагая тем самым передать ему ключи от замка зажигания.

— Ченч? — недоверчиво посмотрела она на него, борясь уже с последними страхами и указывая рукой на кабину.

— О андерстенд [2],— воскликнул он, обнаруживая их на водительском сиденьи.

— Вы апатрид?

— Это что-то новое. Наверное, оскорбила? — произнес он, снимая крышку трамблера, заглядывая внутрь, укоризненно покачивая головой и одновременно ощупывая карманы в поисках несуществующего надфиля.

— Совиет Юньон — Итали — Юса? — продолжала она допрос с пристрастием.

— Мани! [3] — С досадой ответил он, щелкнув пальцами.

— Но мани! — испугалась она.

— Да не нужны мне ваши деньги! Монету. Понимаешь? Сольди...

— А-а-а! Паньмает...

Зачистив контакты, он установил крышку прерывателя, подкачал бензин, включил ожившее зажигание и под радо-

---

[1] Ай кноу инглиш *(англ.)* — я знаю английский.
[2] Андерстенд *(англ.)* — понимаю.
[3] Мани *(англ.)* — деньги.

стный возглас юной автомобилистки сел на место пассажира.

— Рома? — спросила она, набирая скорость.

— «Гранд-отель».

— Карашо. Как вас зовут?

— Виктор. А ер найм? [1]

— Маргарита,— дотронулась она рукой к груди.

— Наваррская! — восхитился он.

— Спасибо! — восприняла она комплимент.— Вы джентльмен.

— Люблю все красивое,— понесло его.— Поэтому я здесь, в Риме. Вы — первая синьорина на свете. Я сегодня Вена — Рим ту-ту!

— Маргарита будит отметит ваш ту-ту.

— О-о-о! Какое хеппи энд...

Въехав в Рим, они пересекли Тибр по мосту Маргариты и через несколько минут вошли в подъезд трехэтажного дома на Париоли, по-сиротски неухоженного рядом с роскошными, скрытыми за садовой зеленью виллами.

В уютной двухкомнатной квартирке он мигом освоился и, усевшись у круглого кофейного столика в гостиной, с интересом рассматривал семейный альбом. Родственники Марго глядели на него весело и беззаботно, безусловно, наверное, поощряя и молчаливые, проникновенные взгляды на сидящую рядом хозяйку дома, и пристрастие к охлажденному чинзано, и на детское любопытство, позволившее гостю обозреть почему-то все-таки односпальную постель в будуаре, куда проник его мечтательный взгляд после третьего бокала, пробудившего в «скромняге» непокоренный азарт исследователя и канатоходца.

— Так папа захотел — Марго живет одна,— перехватила она его взгляд.

— Как каждая синьорина,— подтвердил Даль, не рискуя потерять чудом налаженные дипломатические отношения с итальянской республикой. «К тому же я не знаком с их обычаями,— подумал он,— если придут родственники — скандал обеспечен...» — Где твой фазер [2]? — с интересом спросил он, с тайной надеждой выразить ей свои глубокие соболезнования по поводу безвременной кончины близких и дальних родственников.

— Они в Неаполе,— не оправдались его надежды.— Я студентка. География, понимаешь?!

---

[1] Ер найм *(англ.)* — ваше имя.
[2] Фазер *(англ.)* — отец.

— Си-си!

— Папа — босс. Авто. Файф хандрид[1] авто такси. Ты драйвер?

— Дома у меня был «фиат».

— Ты есть много рубли?

— Нет.

— Ты диллер?

— Я был вторым фрезером в Союзе.

— Не понимаю.

— На конкурсе.

— О! Очень харашо. В Рома хочешь драйв?

— Я не смогу. Нужно учить инглиш.

— Понимаю. Но сэтэрди, санди,— тоурист, Везувий. Мой папа — босс. Ты драйвер. Мани на чинзано, понимаешь?!

— Спасибо. Я ариведерчи.

— Маргарита, ты, фиат, отель...

— Но-но! Чинзано,— щелкнул он пальцем по подбородку.— Я буду переживать за тебя.

— О-ля-ла! — воскликнула синьорина.— Так мне еще не говорили. Где ты жить? «Гранд-отель»?

— «Гранд-отель». Я — Даль.

— Харашо. Марго искать тебя.

— Телефон Маргариты?

— Но-но! Папа будет пи-пи, пи-пи, пи-пи! Понимаешь?

— ??

— Но, телефон! Аривидерчи, Даль...

В холле отеля его встретило удрученное до крайности семейство переселенцев.

— Ну, ты даешь, зяблик! — воскликнула Нинка.— Мы уже не знали, что и думать. Представляешь, я одна в чужой стране, без мужа и наследника. С ума сойти можно...

— Где Ефим? — прервал ее Каган.

— В Майами,— Виктор протянул ему письмо.

— Фиме легче,— заключила Стелла.— А тут не знаешь, что завтра будет.

— Что тебя волнует? — оторвался от письма Каган.

— Твои семь пятниц на неделе.

— Объясни, если не секрет.

— Дома ты нас убеждал, что едешь в Израиль. В Вене решил ехать в Америку, теперь ты решил не ехать к морю, хоть тебе предложили и Лидо, и Остию, и Фьюмичино. Неизвестно, что ты придумаешь завтра.

---

[1] *Файф хандрид (англ.)* — пятьсот.

— Об этом я и сообщу тебе завтра,— со злостью ответил Каган, посматривая на Нинку.— А сейчас иди к Вове. Через час спуститесь в ресторан.

— Я с тобой, Стелла,— заявила Нинка.— Пойдем посплетничаем. Пусть мужчины решают свои дела. Мы же им доверяем, не так ли?

— Слушай, зяблик,— подсел к Виктору Каган.— Нам с тобой необходимо поговорить на одну перезревшую тему.

— На какую?

— Сейчас услышишь,— ответил он, вынимая сигареты.— Кури.

— Не хочу.

— А выпить желаешь?

— Тоже нет.

— Странно! Ну, что ж, так даже лучше. Слушай меня и не перебивай. С того дня, как я закрутил всю эту тему с Ниной, мне не дает покоя ревность. Но если раньше я слепо ревновал ее к тебе, то теперь даже оправдываю.

— Что вы имеете в виду, дядя? — с интересом заглянул он ему в глаза.

— Ну как... Я думаю о вашем возрасте... Она моложе тебя на три года. Идеальная разница. Ну, и ваши достоинства, дающие право на...

— А-а-а! Вот оно что! Новая система допроса в действии. Значит так, синьор. Откровенность прежде всего: я хочу ее с первого дня. Но она с того же момента меня игнорирует. Я свободен?

— Ты меня не понял, Виктор. Напротив, я хочу... чтобы вы... Неужели ты не понимаешь меня? Короче, переспи с ней. Даже если для этого мне придется тебя поощрить.

— Вот оно что? Кажется, начинаю понимать. Вы хотите заиметь против нее компру,— посмотрел он на него с неприкрытым презрением,— чтобы оставить девушку нищей, я прав? Так вы же подлец, дядя! Вы подумали о том, что она будет здесь делать одна?

— Я думаю о том, что для тебя это очень выгодная партия.

— Простите, дядя, я опять чего-то не понимаю. Кто вам дал право решать чужие судьбы?

— Виктор, подожди! Не рви сердце. Во-первых, она не нищая. Она тоже вывезла тысяч пятнадцать. Ну, а правду она узнает только в Америке.

— Вы осчастливите ее откровениями, когда получите багаж, так я понимаю?

— Хоть бы и так. Но ты пойми другое: у меня есть семья, сын, наконец. Имею ли я право оставить одну женщину ради другой? Стелла будет здесь такой же одинокой!

— Да, но у нее родители в Израиле.

— Я обманул тебя. Ее родители в Киеве. Они с трудом дали нам разрешение на отъезд. В Израиле у нее никого нет.

— Ужас какой! А я тобой восхищался. Пусть даже ты поступал гадко, но я считал, что поздняя любовь оправдывает подобные жертвы. Тем более, ты говорил о том, что Стелла рвется к своим. Знаешь, Каган, таких дел небо не прощает. Ты плохо кончишь,— шепотом сказал он и направился к лифту.

— Постой, Виктор! — схватил тот его за руку.— Ты пойми, Нина богатая невеста. Очень красивая и образованная. Ты знаешь, она золотой бухгалтер.

— Я знаю, что ты в последний год воровал, не стесняясь. А она на это закрывала глаза. И ты меня не агитируй. Что же касается ее достоинств, то ты не коммивояжер брачной фирмы.

— Виктор, моя от ровенность не дает тебе право хамить! Я просто ищу выход из создавшегося положения. И зная, что ты не ангел...

— Но и не черт, подобный тебе... Не приставай ко мне больше, понял? Чтобы наша беседа не получилась более откровенной, вернее, чтобы я не набил тебе морду...

В этот вечер Виктор напился ужасно, зло и сверх меры, не реагируя на просьбы, сознательно довел себя до бессознательного состояния, чтобы хоть на время схоронить поздние угрызения совести и тщетные попытки найти выход из ужасного положения, в котором оказалась женщина... Не близкая, но любил он ее наверняка, не отдавая отчета, разучившись когда-то мыслить и критиковать низкие поступки, свои и чужие, в угоду...

«Чему в угоду? Чему? Зачем я верил ему?» — мучался он утром, глядя на хлопочущую Нинку.

— Ну и напился же ты, зяблик,— выговаривала она, приводя в порядок его костюм.— Я от тебя такой прыти не ожидала. Разве можно так расстраиваться? Ну, увидишься ты с братом через полгода, что от этого изменится? Дольше ждали. К твоему приезду он немного обживется в Майами. Все-таки не на пустое место приедешь. Приятно, когда тебя ждут. Вот меня никто нигде не ждет... А тот, кто ждет, мне и вовсе не нужен,— усмехнулась она, отворачиваясь.

— Не понимаю...

— Ты сейчас ничего не поймешь. Лучше выпей рюмку водки и закуси. И учти: еще раз напьешься до беспамятства, как вчера, я на правах друга отхлестаю тебя твоим же ремнем. Такого стыда натерпелась, ужас! В ресторане на тебя все только и смотрели. Хорошо, что Стелла Вовоньку увела. Совсем о парне не думаете.

— Тебе его жалко?

— Конечно.

— Потому что он сын Земы?

— Потому что он человек. И неплохой человек.

— Откуда ты знаешь?

— Вижу.

— Что ты могла увидеть за десять дней?

— Лучше б их вовсе не было,— с болью проговорила она, наливая кофе.— Ешь скорее. В одиннадцать придут из ХИАЗа. Зиновий хочет договориться о курсах.

— Что его не устраивает?

— Он не хочет жить на побережье. Его не поймешь: говорит, удрал из Союза не для того, чтобы жить среди евреев. Смешной он...

— А ты смешных любишь?

— Я его люблю.

— Счастливая!

— Вдвойне...

— Почему?

— Ну как же, одним замужеством получу и мужа, и сына, и хорошую женщину предам, и себя самым последним ничтожеством прочувствую.

— Раньше ты этого не понимала?

— Тогда я не знала его семьи. Верила в то, что он живет с монстром, а не с женщиной... Так он рассказывал. Поэтому Стелла для меня не существовала... Были он и я... Ладно, одевайся. Я пойду к ним.

— Подожди, вместе пойдем,— сказал он, вставая.

— Зяблик, ты меня совершенно не стесняешься.

— Ты меня приучила. Помнишь твои шуточки, там, в Киеве.

— Действительно шуточки,— потупила она взгляд.

— Зачем ты меня соблазняла?

— Хочешь честно?

— Да.

— Зема проверял тебя. Просил меня об этом. Перед твоим приходом я включала магнитофон. Потом он прослушивал наши беседы. Ты прости меня, Витька! Я тогда

совсем угоревшая была. А он записи коллекционировал... Хотел при случае пристыдить тебя, наверное.

— Выдумщик он, твой Зема,— едва сдерживаясь от других откровений, ответил он.— Он тебя не обвинял в том, что мы вначале роли разучивали, а потом для него спектакль разыгрывали?

— Хамить начинаешь! Лучше б я тебе не рассказывала... Записей-то в Италии нет. Так что забудь об этом, хорошо?

— Зачем же ты мне все это рассказывала?

— Чтобы ты никогда не верил женщинам... Да еще влюбленным... Где ворованная любовь — там и подлость, даже если это называют самопожертвованием...

ГЛАВА 25

Дождливым октябрьским днем, когда пожелтевший от злости Тибр, устав принимать в себя сточные воды уставшей римской канализационной сети, грозился выйти из берегов и затопить в Палатине скромные жилища потомков гиббелинов и гвельфов, к скучающему в ненастье портье «Гранд-отеля» подошла промокшая до нитки юная автомобилистка и, не пытаясь смахнуть с лица дождевые холодные струйки, спросила Даля.

Он спустился вниз, не подозревая об уготованном ему злой долей приятном сюрпризе, оторвавшем его на время от настойчивого изучения проклятого английского языка, во временных лабиринтах которого, как в собственной жизни, он заблудился прочно и навсегда, путая паст с фьюче [1] и осмысливая себя не вчера или завтра, а только сейчас. О первой синьорине Рима за долгих полтора месяца он добросовестно забыл, не позволяя и мечтать о встрече, пусть мимолетной, но нужной для реализации зародившегося в душе плана акклиматизации и внедрения в темные массы обитателей «еврейского» побережья Тирренского моря на предмет закупки у последних русских сувениров, не привлекая к своей скромной особе усиленного внимания различных спецслужб и прочих легальных и нелегальных органов, курирующих беженцев, для овладения их ценностями.

Старая консьержка дома на Париоли, с которой он несколько раз пообщался, причем однажды даже с беременной одиннадцатью детками русской матрешкой, вызвавшей

---

[1] Паст, фьюче *(англ.)* — прошедшее и будущее время глаголов.

в умудренной сплетнице эмоциональный взрыв, сопряженный с многократным восклицанием: «Мама мия!» — хлопканьем в ладоши, сладостным повизгиванием, царским угощением перчеными салатами, французским супчиком, торреаннунциановской пастой и на манер испанской дуэньи полушепотом произнесенными откровениями касательно ранних визитов с целью застать врасплох самую красивую синьорину Маргариту Росси в один из страстных четвергов, но, конечно, имея приглашение на более поздний час. Визиты без приглашения не были оговорены вовсе, ввиду возможной потери места со всеми вытекающими отсюда последствиями, как-то: трехмесячного пособия по безработице, последующей голодовки и жалкого плача семерых внучат от двух дочерей, забывших за любовными играми престарелую и очень любимую маму...

Увидев возле портье свою знакомую, прямо-таки скажем, не в лучшем виде, Даль пренебрег правилами хорошего тона, гигантскими шагами пересек холл и, не ответив на искреннее приветствие, схватил ее за руки и увлек в лифт. В номере Нинка, выступившая в качестве сестры милосердия, заставила ее принять горячий душ и облачиться в пеньюар и халат русского производства. Крепкий чай с малиной завершил комплекс оздоровительных мер, и наутро Даль за рулем «фиата» уже мчался все еще влажной дорогой Солнца. Его милая попутчица весело смеялась над его успехами в лингвистике и успокаивала, как могла. И в первую очередь теми немаловажными обстоятельствами, что его будущие пассажиры такие же, как он, апатриды, и один из языков восточной Европы более приемлем для всестороннего с ними общения. Ну, а полный экзотики и зримого очарования путь на вершину и великолепный кратер Везувия в переводческом таланте не нуждается...

Папа-босс на босса похож не был и предстал перед Виктором нескромно маленьким, с живым смоляным взглядом, непомерной, барахтающейся на худом загривке шевелюрой и с оригинальным носиком, нескромно орущем на всех языках сразу: «Отделите от меня любую половину и он, синьор Росси, будет счастлив». Недостаток роста папа скрадывал грандиозностью жестов, живейшей мимикой, громкой скороговоркой и подпрыгиванием вокруг обожаемой дочери. Узнав историю с отогреванием единственной наследницы русской малиной, он вовсе проникся теплым чувством к симпатичному джентльмену, имеющему, кроме вида на жительство, международное водительское

удостоверение, европейское фэйс[1], подобострастный взгляд и еще что-то привлекательное — иначе он бы не был здесь, а единственная на свете Маргарита не смотрела б на него с восторгом и не произносила бы так жарко заученное с детства: « Марго хочет!», что в синонимической транскрипции трансформировалось в «Папа может!» и решило вопрос в пользу несчастных беженцев из Восточной Европы, бездумно пока прожигающих жизнь на солнечной ветке Лидо — Остия — Фьюмичино.

Вечером в дискоклубе, готовясь к волнительному путешествию с великой Амандой Лир в розовую страну любви, они под руководством опытного ведущего проверили силу дыхательного аппарата и прочность голосовых связок. Предложенный последним все усиливающийся счет от одного произнесенного полушепотом до двенадцати на критических децибеллах, ввел их в состояние порочной легкости души и тела, в котором они и пребывали с короткими коктейль-перерывами весь вечер и часть ночи, безумно растраченной на сумасшедшую гонку в столицу мира.

Когда, припарковав рядом с «фиатом» почти новый микроавтобус, он снова увидел односпальное, в целях сохранения нервных клеток папы-босса, ложе Маргариты, на ринге его души в смертельной схватке сошлись любовь и практичность. Так как сомнения выступили в роли рефери, бой обещал закончиться смертью нежного и доброго, как в самый первый раз, чувства. Однако в самый критический момент умудренное жизненным опытом коварство примирило готовых на компромисс дуэлянтов и, оставив на ковре истекающие кровью сомнения, они, как старые друзья, шагнули в гостиную.

Виски с тоником, «Ковбойская любовь» в исполнении модной рок-группы и сереющий небосвод за окном заставили Марго нескромно посмотреть в сторону будуара и спросить его напрямик:

— Там, где ты жил, модно любить мальчиков?

— А что, похоже? — нашелся он, не увиливая от ответа.

— Если я не права, поцелуй меня...

Поцелуй Даля длился ровно сутки, в связи с чем он отсутствовал двое. После его возвращения Ника не разговаривала с грешником трое суток, а Каган не здоровался пятеро, что послужило основной причиной их размолвки на несколько недель. За это время Виктор, не без помощи

---

[1] *Фэйс (англ.) — лицо.*

своей возлюбленной и ее друзей, завел знакомство со скупщиками русских сувениров на «американке» в Остии в любом количестве с выгодой и пользой.

Осевший на Ватиканском холме и подвизавшийся в качестве диктора «Гласа божьего» Игорь Вагин,— с черным «мерседесом», черной глоткой и такой же черной биографией, занесшей его из России на правый берег Тибра, даже выделил ему кредит на обоюдовыгодных условиях с целью скупки кораллов для производства ватиканских четок.

Прочувствовав бизнес и вцепившись в него двумя руками, Даль три раза в неделю совершал автоброски по маршруту Рим — Неаполь — Везувий и через два месяца, одинаково плохо владея итальянским и английским, он гордился тем, что не нуждался больше в услугах переводчицы, которая настолько привязалась к своему избраннику, что часто сопровождала его в турне, бессовестно прогуливая любимые в прошлом лекции по географии...

В рождественский вечер Марго окружила праздничный торт густым разноцветным частоколом витых свечей, при свете которых надела на шею возлюбленного агатовый амулет, выполненный в форме головы лошади.

— Он защитит тебя от сглаза и от женского глаза. Я люблю тебя,— прошептала она.— Не уйди от меня целый год!

— Не уйду! — пообещал Даль, надевая ей на палец золотую, с изумрудными глазками змейку.— Твоя мудрость — мои глаза. Я увезу тебя в Америку.

— Не огорчайся, но я не поеду с тобой. Для Америки ты слишком беден.

— А ты слишком мудрая! Но я же пытаюсь разбогатеть. Чем я не будущий сын Америки! Давай выпьем за счастье Лошади.

— Давай... Но подлинное счастье можно ощутить лишь при встрече с «Белым Солнцем». Знаешь, что это такое?

— Нет, не знаю...

— Тогда не пей. Отодвинь бокалы... Смотри.— Она вынула из секретера и положила перед ним четыре ампулы.— В них «Белое Солнце», пойдешь к нему на свидание? Как я, не раздумывая...

— Пойду! — ответил он, преодолевая сомнения и не думая о последствиях столь опрометчивого поступка.— Вслед за тобой. Чтобы ты не скучала по пути к «Белому Солнцу».

— Не боишься? Тот, кто хоть раз встретится с ним, уже никогда не откажется от знакомства. Тогда вот это,—

подняла она над собой ампулу,— называют не «Белым Солнцем», а «Белой смертью!» Пойдем?..

— ???

— Запомни: «Ле гитта делла дрога».

— Свидание с «Белой смертью»,— перевел он, чуть вздрогнув при виде шприца в прозрачной пластиковой упаковке в виде распятия.

— Их делает Ватикан,— перехватила она его взгляд.— Сам папа освятил эти встречи...

Спокойной рукой наполнила она шприц и элегантно и точно ввела его содержимое в вену левой руки. Затем включила магнитофон, сменила иглу, перезарядила шприц, подошла к Далю:

— Давай руку, милый. И думай о том, каким богатым ты будешь там, в Штатах. Какой большой дом купишь! Какие машины приобретешь! Бассейн не обязательно мраморный, но вода в нем будет голубая-голубая...

Придержи жгут. Сжимай ладошку. Ну еще, еще... Вот так. Хватит... Отпусти жгут. Люби меня, мой единственный,— шепнула она, увлекая его к постели...— Ложись и мечтай о нашем счастье. Только вслух мечтай...

Он вдруг прочувствовал горячую волну, благодатным теплом разлившуюся по телу. Искры бенгальских огней брызнули в глаза, закружились в них диковинным хороводом и исчезли... И только музыка, тихая музыка окружила его, проникая всюду: в душу, в сердце, в мозг, развеяла страх и увела в лето...

— Говори, любимый... Я жду... Мы в Америке. Видишь Майами?! Океан накатывает нежные волны на желтую-желтую отмель. Песчаный пляж, и яхта... Ты видишь нашу яхту? Нет-нет, вот она, бело-голубая с розовыми парусами и золотой надписью: «Маргарита».

— Наваррская...— прошептал он, закрывая глаза, чему-то бессмысленно улыбаясь, окончательно переступая через реальное и сознательное... Через потери и страхи за неминуемое «завтра»...— Матросы ждут... Мы дома... Вилла... Высокий каменный забор... Витая решетка литых ворот... Зеленая аллея... Как здесь много цветов!.. Ливрейный слуга на беломраморном крыльце... Открытый «паккард». Шофер-негр...

— Нет-нет! Не нужен шофер. Ты и я! Только ты и я!.. Ты так красив за рулем. Скорее на яхту! Нас ждут...

— Не хочу никого видеть... Только ты и я... Только ты и я...

— Хорошо, ласковый мой! Я у ног твоих. Бог мой единый, земной и небесный. Скажи им, пусть правять по ветру. Идем в каюту. Как прекрасно здесь... мне... у ног твоих... Иди ко мне... Иди же... Иди... Ты самый сильный... Самый сильный... О мадонна! О жизнь моя! Нет сильнее тебя, Аполлон...

Через несколько дней, оставив приобщающихся к вечности переселенцев у входа в неаполитанские катакомбы, Даль уехал на Позиллипо. Возле собора Сан-Франческо ди Паоло он свел знакомство с не внушающим доверия жителем Партекопеи, предложившим ему контрабандные «семь пятерок», начиненные марихуаной. Но Даль от сигарет отказался.

— Ну что же, не подходит — твое дело! Приезжай после обеда в Саниту. К фуникулерам. Что-нибудь придумаем,— пообещал тот, заметив слезы в глазах новоявленного наркомана...

Возвращаясь с Везувия, Даль изменил маршрут, свернув с побережья к старому городу. Он выехал на вершину холма и мимо новых благоустроенных районов помчался по фешенебельной Виа Санта Терезия дельи Скальци к центру Партекопеи. Обозрев с тридцатиметровой высоты транспортной эстакады грязный квартал бедняков с обветшалыми домишками из серо-желтого туфа, узкими, грязными улочками и бесчисленными натянутыми меж окон веревками с развевающимися на них белыми флагами простыней, он оставил «фольксваген» и спустился вниз в заплеванном вагончике фуникулера...

Через несколько минут за сколоченным из старых ящиков забором между ним и парнем из «каморры» начались переговоры, по завершении которых стороны пришли к соглашению и в знак особого расположения обменялись верительными грамотами — бездумный посланец «Красного Востока» разорился дочиста в обмен на пятнадцать кубов «Белой смерти»...

Знаток погрязших в нравственных долгах душ человеческих Вагин, восхождению которого на грязную вершину подлости, лицемерия и предательства собственного народа, приведшие его в радиорубку «Гласа Божьего», могли б позавидовать папа Борджиа вместе с клейменными потомками Чезаре и Лукрецией, вовремя сориентировался в обстановке и в скромной своей шестикомнатной обители, рядом с аппартаментами кардиналов Курии, взял пространное интервью у желающего избавиться от головных болей и ломоты в костях Даля. Под рубрикой «Вера и власть в России»

его напыщенные слова улетели еще одной грязной «уткой» в и без того загаженный и черненый под цвет сутаны радиоэфир. Двадцать «кубов» «дури» были достойной платой за ложь и вымысел, к которым постепенно приобщился наивный мечтатель, желающий во что бы то ни стало отвлечься от мрачной действительности.

Трясина «Белой смерти» засасывала его с каждым днем все больше, а инъекции метадона, к которому он прибегнул по совету дежурного врача римского наркоцентра, не приносили желаемого облегчения, поэтому в середине февраля он вызвал на откровенный разговор дуреющего от мозгов Кагана, предложив ему услуги в предательстве уже обманутой женщины, пожертвовавшей всем ради слепой, но всемогущей любви.

— Пятьсот долларов, дядя,— и я подтвержу...

— Даже шрам от мастита на левой груди! — удивился тот.

— Только деньги вперед.

— Согласен. В среду поедем на Везувий, там все и расскажешь. Договорились?

— Яволь.

— Чего так?

— Подлости подобного рода приятнее утверждать на немецком...

Каган, проживший пленником отеля всю зиму, накануне поездки совершил с семьей экскурсию в Пио-Климентино, вечером позволил себе провести несколько часов в дорогом ресторане, а утром, оставив утомленную Стеллу в отеле, отправился с задумчивой Нинкой в Неаполь.

Практичный Даль, чтобы оправдать затраты на бензин, объехал три международных стоянки такси, но желающих прокатиться хотя бы до Неаполя не нашлось, и только в Остии, у моста Скафа, к ним присоединились двое парней с девушкой, да и то из-за неисправности в скоростной «тоете», стоявшей на домкрате у обочины.

— Ждем тебя на Везувии, Тедди, не задерживайся! — крикнул водителю «тоеты» один из экскурсантов.

— Или встретимся здесь, в Кастельфузано,— добавил другой.

— Не волнуйтесь, я догоню вас! — махнул он им рукой, снимая переднее колесо...

— Подшипники разлетелись. И наружный, и внутренний,— объяснил молодой человек, усаживаясь рядом с Далем.— А времени в обрез, виза кончается. Завтра нужно быть в Швейцарии.

— А наша Эсмеральда очень хочет побывать на Везувии,— добавил парень, сидящий за Каганом.

— Почему «наша»? — улыбнулся Даль.

— Эсмеральда — моя жена и сестра моего друга.

— Дядя! Мы подобрали себе подобную семью,— выступил Даль переводчиком для Кагана.— Правда, с единственной разницей: моя жена не есть ваша сестра, но есть ваша любовница...

— Что с тобой, Виктор? — нахмурилась Нинка.

— Да так, мадам, шутить изволю...

В Неаполе он со щедростью хлебосольного хозяина показал туристам арку Альфонса Арагонского, затем свернул на набережную и помчался мимо Сан-Карло на восток к серпантиновой горной дороге, скрытой от любознательных глаз за сплошной стеной вечнозеленых дубов и средиземноморских сосен.

Трасса была свободной, и одинокая «тоета», возникшая за поворотом у съезда на боковую, бегущую к зарослям зеленой пихты дорогу, сразу привлекала их внимание.

— Молодец, Тедди. Не опоздал,— довольно произнес муж Эсмеральды.

— Тормозни здесь, пожалуйста. Сколько с нас?

Даль остановил автобус, бросил оценивающий взгляд на экскурсантов, прикидывая в уме возможную сумму вознаграждения и, мучаясь сомнениями, воскликнул:

— На ваше усмотрение, синьор!

— Ну и отлично...

В следующее мгновение вороненый ствол полуавтоматического шмайсера больно уперся ему в печень.

— Одно неверное движение — и я стреляю! — пнули его в бок.

— За машиной, ну!

— Господи, что же ты наделал? — прошептал Даль, автоматически выполняя команду и съезжая вслед за «тоетой» на боковую дорогу.

Через несколько сот метров он остановился над пропастью у каменистого, поросшего маквисом и гаригой склона. Каган, чувствуя дуло пистолета на затылке, сидел неподвижно, судорожно вцепившись влажной от испуга ладонью в Нинкину руку. А она, ощущая у левого бока прохладу дамской «Весты», гладила его плечо и тихо повторяла:

— Все обойдется, ты только не волнуйся. Все будет хорошо...

— Вперед! — рявкнул в ухо Кагану брат Эсмеральды.— Дама может остаться на месте.

— Нет, я с тобой! — поднялась Нинка и вслед за онемевшим любовником направилась к выходу.

— Синьоры! — соскочил с подножки Даль.— Если вам нужны деньги, так у нас ничего нет. Мы бедные беженцы. В чем стоим, в том и удрали из красной Москвы.

— Заткнись, гнида! Марш на место... живо!

Виктор сел за руль, сжал его в ладонях, с отвращением глядя на отчаянно жестикулирующего Кагана. Растерянная Нинка стояла в десятке шагов от него под присмотром сидящей на валуне Эсмеральды.

— Скольких ты обманул, мразь? — допрашивал Зему «брат» Эсмеральды.

— Лишь одного. Умоляю вас, поверьте. Только его. Спросите у Меерзона.

— Мы знаем шестерых. А твой Меерзон давно на том свете. Через пару минут ты с ним сам разберешься. Ну, а скольким ты недодал там, в Киеве?

— Умоляю! — поднял он руки к небу.— Поверьте, я рассчитаюсь. У меня есть деньги. Ниночка! Ну, скажи им... Мы рассчитаемся. Обязательно рассчитаемся.— Он упал на колени и забился в истерике.

— Встань, Каган. Встань. И запомни: рассчитаться можно с заимодавцем, но не с обманутым. Тебе нет веры — ты предал свою родину. Но еще до этого ты предал евреев. Тем самым ты предал Израиль. Наш Израиль, в котором нет ничего вашего, русского. Вы, твари, привыкли всю жизнь красть там, в России. А теперь понаехали дурить здесь. Предавший раз — предатель навсегда. Ничто уже его не исправит. Что ты хочешь сказать перед смертью? Только живо!

— О господи! Люди, не надо... Я так хочу жить! А-а-а!..

— Да не вой ты, собака. Это же совсем не больно,— улыбнулся убийца.

— Нет! Слышите, нет! — надрывно крикнула Нинка, бросаясь к ним.— Не убивайте, не нужно...

— Эсмеральда! Убери ее. Быстренько...

В следующую секунду Нинка, получив двойной удар в печень и горло, повалилась к ногам обезумевшего любовника. Но еще до этого Даль плавно спустил с тормозов автобус и, не доезжая нескольких сантиметров до «тосты», резко включил сцепление и до упора вдавил в полик педаль акселератора.

Выстрелы прозвучали одновременно с душераздирающим криком летящего в последний путь Тедди.

Взрыва «тоеты» Даль уже не слышал. Он лежал с простреленной грудью на руле «фольксвагена», раскинув руки и всматриваясь остекленевшими глазами в сторону главной трассы, откуда так и не пришла помощь.

— А мог бы жить, дурик,— брезгливо морщась, сказал «муж» Эсмеральды, выталкивая его из кабины.— За руль, Эстер! С богом!

Нина пришла в себя, широко открытыми глазами обвела горный склон, напрягаясь всем телом, приподнялась на локтях, посмотрела по сторонам. В трех шагах от нее, уткнувшись лицом в землю, в неестественной позе с подогнутыми к животу ногами и вывернутой правой рукой лежал тот, ради кого она пожертвовала в свои двадцать шесть (да что годы считать, если жизнь растрачена) всем святым и принесла себя всю без остатка на огненный жертвенник всепожирающего чувства, в благости нареченного любовью. А оно, окрыленное не осмысленной, но (увы!) жадной и коварной чувственностью, убило добро — во имя зла, разум — во имя безрассудства, честь — во имя бесчестья и имя самое — во имя предательства и позора...

Не в силах подняться, она поползла к Кагану, прижалась на секунду, с трудом перевернула его на спину, взглянула на застывшее в мучительной гримасе лицо. Безуспешно попробовала утереть запекшуюся в уголке рта струйку крови, приложила ухо к груди, прислушалась... Мучительно выдохнула:

— Нет, любимый мой, нет!.. Что же я скажу сыну твоему?.. Ты должен был жить... Это я во всем виновата. Господи, что же это такое? За что, Господи! Виктор, слышишь? — посмотрела она в сторону лежащего над обрывом Даля.— Зема мертвый... Витька!

Она заставила себя встать, но, пронзенная резкой болью, упала как подкошенная и поползла к нему, сцепив зубы и не чувствуя огня в израненных острыми камнями коленях. Припала к его груди и, услышав едва уловимое биение сердца, вдруг ожила, к ней вернулись силы. В неистовом порыве сорвала одежду, разорвала на длинные полосы рубашку, оголила израненную тремя пулями грудь и, как умела, бинтовала его, беспамятного, очень тяжелого и, наверное, мертвого. Подложила ему под голову свою куртку, прикрыла платьем и в изнеможении повалилась на холодные камни.

Этот момент и был запечатлен фотостопом полицейского вертолета, совершающего патрулирование горной трассы, вслед за снимком того, что осталось от Тедди и его супер-

гроба после взрыва на высоте восьмисот десяти метров над уровнем поющего Неаполитанского залива...

Даль пришел в сознание на третьи сутки после операции в реанимационном центре Неаполя. Открыв глаза, он обнаружил на прикроватной тумбе вазочку с букетиком маргариток и расстрелянную агатовую голову лошади, заставившую смертельную пулю срикошетить вверх и влево от сердца. Еще через семьдесят два часа он осмотрел место своего расстрела на фотографии, опубликованной в «Ил Мессаджеро» и снабженной заметкой внушительных размеров с не менее броской, вызвавшей на его обескровленном лице первую ехидную улыбку, надписью: «Рука Москвы в действии».

Через неделю он прочел прощальное письмо Нины, переданное ему сиделкой вместе с незабудками и залитой сургучом матрешкой.

«Даль, дорогой! Прости меня, я уезжаю домой. Вчера справила девять дней по Зиновию — больше мне здесь делать нечего...

Поцелуй Маргариту. Она очень любит тебя. Они с отцом помогли мне, а главное, Стелле и Вовочке.

Австрия отказала мне в визе. Еду в Париж. Мне объяснили, что из Франции легче попасть домой.

Не суди меня, умоляю. Я любила его. И сохраню о нем память навсегда. На всю жизнь. Если выживу.

Гадкое, подлое...— знаю, что было. Всей жизнью своей буду искупать вину перед ним, перед Стеллой... перед Вовочкой.

Ты дорог мне, как мальчонка, как братик меньший, но не более. Прости за откровенность. Знаю, что сумасброден ты. Заранее отвергаю встречу и не желаю другого будущего, кроме уготовленного мне моей собственной дурью... Уверена в одном: вернусь домой — выживу!..

С полными очарования глазами бродила красавцем Римом и вспоминала бабку свою и домик ее на Костопаловке. Ту кривую улочку когда-то называли «Собачьей тропой».

Поверь! За право колени преклонить на тропе этой и крикнуть на всю Батыеву гору: «Родина моя единственная, прости меня, глупую!» — отдаю навечно все красоты мира и все миры, о которых мечтала когда-то.

Из Парижа напишу Ефиму в Майами. Стелла уже в Америке. Их в виде исключения приняла Атланта. Говорят, хороший город, но ужасная преступность и киднапинг, особенно в бедных районах. Я отдала им багажные квитанции на имущество Зиновия, оформленное на мое имя. Вовочке подарила все, что смогла... Он очень похож на отца...

Моими вещами распорядись по собственному усмотрению.

В память о муже Стелла передала тебе матрешку. Если встретишься с ними — не омрачи... умоляю...

Люби Марго! Она — истое дите Рима: испорченное, красивое и непорочное!..

Целую тебя. Нина.

И самое главное! Согласие на развод оставила в консульстве. Ты свободен отныне...»

Прочитав письмо, он надолго укатился в мрачные раздумья, сопроводив их немыми слезами, горестными вздохами и воспоминаниями, а вечером отказался от капельницы, что заставило медсестру вызвать старшего ординатора, который неслышно проник в его палату, сел у постели, проверил пульс и довольно произнес:

— Ваше сердце, Даль, нуждается в повторном расстреле...

— ??

— До чего вы странные, русские?! Диву даюсь... Как можно чужие беды принимать так близко к сердцу? Он мертв, а вы живы! И в этом я вижу настоящее счастье. И не смейте переживать. За лечение платит Лига защиты евреев. Они требуют как можно скорее поставить вас на ноги.

Ватикан также интересуется вами. Синьор Вагин дважды звонил нам. Он утверждает, что красные стреляли в вас после бескорыстного интервью, данного вами «Святому голосу».

Гордитесь, Даль, и подарите мне матрешку. Моя жена будет молиться за вас. Даль! Осчастливьте итальянскую синьору!

— Я согласен,— великодушно прошептал он.— Только снимите сургуч и раскройте ее. В ней должна быть записка от моих друзей.

— Конечно! Одну минуточку. Сейчас я приму у нее роды. Сколько их должно быть?

— Двенадцать.

— Двенадцать так двенадцать. Одна... две... три... четыре...

В десятой матрешке лежала записка от Стеллы и «давидово-желтый гроб» Кагана.

«...Ты рисковал своей жизнью, спасая моего мужа. В память о нас носи его перстень до конца дней твоих. Стелла, Володя»,— прочитал он, впервые после операции покрываясь горячей испариной.

— Ну вот! Мертвые делают подарки, а вы плачетесь. Действительно вы счастливчик, Даль.

— Действительно! — повторил он, надевая на указательный палец вечную память о том, кто пал жертвой собственной жадности и ничтожества...

Только через месяц Даль впервые встал на ноги и, обняв прорвавшуюся через все преграды Маргариту, сделал несколько неуверенных шагов по палате. Но уже на следующий день «дитя Рима» возило его в трехколесном кресле, без устали щебетала на англо-итало-русском диалекте эсперанто влюбленных и настойчиво рекомендовала переселиться на несколько недель к воде — на виллу папы-босса.

Но, движимый инстинктом самосохранения и тягой к родственному общению, он подолгу молчал, предавался аутогенному тренингу, концентрируя свое внимание на указательном пальце левой руки, чему в немалой степени способствовало нахождение именно на нем вечной памяти по «убиенному мученику», и, чему-то загадочно улыбаясь, предлагал ей обдумать его скромное предложение, заключающееся в обязательной беременности в первую ночь любви после выписки из клиники с последующим поставлением итальянской нации в положение «де-факто» и отбытием в такой желанный Майами.

Марго соглашалась на все, кроме беременности и отъезда, и. взывая к его разуму, повторяла:

— Пойми же, наконец, я хочу любить, но не предлагаю тебе испортить фигуру. А кроме того, мой бедный, любимый папа — сицилиец. Моя бабуля, его мать — урожденная Эспозито. В шестидесятом ее пристрелили люди из Ндрангеты... Так вот, мой отец зарежет тебя, как овечку. И мой амулет... Да что там амулет! Племенной скакун тебе не поможет. Ты не учитываешь темперамента папы, несмотря на то, что, безусловно, уже догадываешься о моем. Скажу тебе по секрету: я буду любить тебя всю жизнь. Но уж если начну рожать, то не остановлюсь до последней возможности. А за какие деньги ты нас всех прокормишь? Нас же будет больше, чем в. русской матрешке! — хлопнула она в ладоши.— И как ты ни будешь умолять, я не позволю тебе большего, чем забеременить меня еще раз...

— Страсти господние! — прервал он ее.— Со стороны посмотришь — прекрасная девочка! Но что творится у тебя внутри?! Детородная машина. Вечный двигатель! Перпетуум мобиле!.. Но я на все согласен. Поцелуй меня. Уходи и возвращайся с отцом.

— Зачем, милый? — обвила она руками его шею.

— Когда два сицилийца будут говорить — ты сможешь подслушивать. Подвези меня к маслине, я немного остыну...

Папа-босс застал Даля, беседующего с респектабельным джентльменом средних лет.

— Простите, ко мне пришли,— наконец-то избавился от надоедливого посетителя Виктор, улыбаясь своему будущему тестю.

— Больше не смею вас задерживать. Но прошу обдумать наше предложение. Мы заботимся о вашем будущем и, главное, о вашей безопасности. До встречи...

— Кто этот синьор и что ему от тебя нужно,— возмутилась Марго.

— Представитель СОХНУТ. Он пришел с предложением: так как на меня покушались «красные из Москвы», я должен уехать в Израиль и стать там ходячей рекламой. В этом случае они обеспечат мне райскую жизнь,— весело рассмеялся он, посматривая на ожидающего признаний папу-босса.

— Дорогой синьор Росси,— начал он под ободряющую улыбку Маргариты.— С вашего разрешения, давайте подъедем вон к той лавочке.

— Никаких лавочек, Даль! Продолжайте. У меня всего десять минут,— развернулся тот вокруг оси, схватился за неукрощенные вихри, прочесал их штыками пальцев и бросил на затылок.— Если вы обеспокоены своим положением — то это совершенно напрасно. Итальянские власти к вам благосклонны и, пока вы не научитесь бегать трусцой, они выселять вас не намерены.

— Большое спасибо. Примите мою огромную благодарность за оказанную вами помощь моим соотечественникам.

— Должен признаться, Даль, вашего друга похоронили с достойными почестями. И в этом моя заслуга. Я с детства люблю подобные процедуры,— Росси по привычке взлетел в воздух.— Вот уж когда действительно ощущаешь, что и ты приобщаешься к вечности. В этих делах я знаю толк. У нас в Сицилии каждый день стреляют. И не только сыновья Ндрангеты или правнуки Андриано Лемми из Порчиле, нет! У нас стреляют все, уставшие от шума. Тихо же здесь не бывает. Что вы хотите?! Мы едим слишком много перца... кстати, вам желудок не прострелили?

— К счастью, нет.

— Золотая примета. Сто лет жизни вам гарантированы. Вы помните, как спасали мою девочку от простуды?

— Конечно, помню.

— Так я и знал. Ну, а моя Маргарита,— протянул он к ней руки.— Иди, папа обнимет тебя...— ответила вам тем же, если б не амулет, который она силой отняла у своего дорогого папочки...

— Но я взамен подарила папочке золотой рог, на вот такенной, — показала она мизинец,— цепочке!

— Марго думает, что если папочка в возрасте, то ему нужен рог! Как бы не так! Может, ты поговоришь тет-а-тет с мамочкой и подаришь мне еще один?!

— А с головой лошади тебе было бы лучше?

— А Далю ты дарила ее, руководствуясь этим принципом? — бросил он ладони ей под ноги.

— Папочка! Умоляю! Я хочу, чтобы ты себя берег,— надула она губки, обнимая в момент укрощенного зверя.

— Хорошо. Даль, вы можете подвинуться? Я устал.

— Ну пожалуйста. Конечно. Прошу вас! — начал он перемещаться в сторону.

— Этого только не хватает! — схватилась Марго за кресло и повезла любимого к садовой скамейке.— Папочка, садись. Здесь прекрасно. А то ты начнешь разговаривать и изобьешь его руками. Ты забываешь о том, что Виктор весь в ранах.

— Я помню о том, что Виктор — победитель. А с победителя не получишь ни лиры. Их же не судят. А они вешают! — удавил он руками свое горло.— Кстати, Виктор, вы должны мне немного денег.

— Хорошо. А за что?

— За машину. Разве Марго вам не говорила?! Они ее взорвали! Правда, она была застрахована на этот случай. От угона я не страхую. Но от бомбы?! Это у нас так модно... Дорогой Даль! Время заканчивается. Взрывайте свои тайны, и я убегаю. Три минуты,— вскочил он со скамейки.

— Не страшно, я уложусь.

— Что? Вы хотите лечь? Вам трудно сидеть? Маргарита опустит спинку кресла.

— Нет-нет. Вы меня не поняли. Я хотел сказать, что для взрыва мне хватит трех минут.

— Взрывайтесь — они кончаются.

— Синьор Росси! Я прошу руки вашей дочери и разрешение на ее отъезд в Америку.

Росси на мгновенье остолбенел. Закрутился по часовой стрелке в юлу, упал на скамейку, захохотал, вдруг умолк, посмотрел на «просителя» с глубочайшим состраданием и спросил:

— Даль. Признайтесь: в голову вас не ранили???

— Можете проверить, я разрешаю... Ну, а наши отношения с вашей дочерью дают мне право просить отцовского благословения.

— Что вы хотите этим сказать?

— Только то, что сказал...

— Папочка! Твоя дочечка такая же, какой была до встречи с этим русским героем! — предупредила отцовский гнев Маргарита.

— За это откровение я убью тебя, как только встану на ноги,— высказал жених ей благодарность на русском.

— Что ты сказал, Виктор?

— Я просил бога, чтобы он подействовал на твоего папу.

— Я уговорю его, если ты согласишься жить здесь, в Италии.

— Я увезу тебя в Майами или уеду один.

— Виктор! Объясните мне фразу, после которой я пожалел о том, что вы выжили.

— Я не знаю! Может, вы пожалели об этом еще в день трагедии?

— Ну что вы, в самом деле,— признала Маргарита.— Папочка! Ты не похож на моего любимого папу!

— Ну хорошо! — вскочил Росси.— Давайте по порядку. Вы добрый, красивый и смелый — это мы знаем! Вы — еврей! Меня это тоже устраивает: мы смуглые, вы смуглые, в общем — это не заметно. Мы кудрявые, и вы тоже...

— А лысый еврей, папочка?!

— Это уже хуже, но сносно. А вот бедный!

— Хватит! Вы что, мои деньги считали?

— Нет, Даль. Но я — деловой человек. Три-пять тысяч долларов — средняя стоимость еврея, живущего в новом Бермудском треугольнике: Рим — Остия — Фьюмичино. И никакой перспективы.

— А двести пятьдесят, триста тысяч?

— В нашей солнечной Италии, дорогой Виктор, слишком дешевые деньги. Двухсот тысяч,— хлопнул он себя по коленям,— даже не хватит на вечер в дорогом ресторане с армянским коньяком и русскими осетрами.

— Я говорю не о лирах, а о долларах,— уточнил Даль. Росси притих, скрестил на груди руки, оглянулся по сторонам и, никого не увидев, плюхнулся вновь на скамейку и истерически захохотал:

— Вот что значит выжить после расстрела! — прокричал он в зеленую листву дикой маслины.— А учат стрелять в голову. Ха-ха-ха...

— Увези меня немедленно,— побледнел от гнева Даль.— Я не хочу его больше видеть. Увези же!!!

— А я хочу! — внезапно прервал смех Росси.— Я хочу убедиться в том, что вы не лжец! Моя единственная дочь может выйти замуж даже за нищего, но не за лгуна!

— Я согласен доказать вам, что я не солгал ни вашей дочери, ни вам, но только после того, как вы проставите сумму приданого в брачном контракте.

— Это интересно. Вы мне начинаете нравиться, Даль. Все-таки в голову вас не ранили...

В брачном контракте моей девочки будет проставлена сумма...— Марго, обними папочку...— Триста тысяч долларов, с правом пользования ими обоими супругами,— но, естественно, не в равных долях. При исчезновении мужа все деньги переходят к Маргарите Росси. Процентаж не учитывается, но оперировать всей суммой нельзя.

— Мне, папочка!

— Твоему мужу, детка. Он может распорядиться тридцатью процентами суммы сроком не более, чем на один год. При необходимости использовать в деле бо́льшую сумму, потребуется письменное разрешение Маргариты Росси. Между будущими детьми после смерти Маргариты Росси (а это произойдет через сто двадцать лет или позже) основная сумма распределится солидарной рентой. Все! — подпрыгнул он.— Вы все поняли, Даль? Ну, и чем же вы можете нам ответить?

— Тем, что вы внесете в брачный контракт изменения.

— Какие, если не секрет?

— Вы проставите в нем сумму приданого, равнозначную той, которая будет находиться в моем распоряжении на момент бракосочетания. Остальные пункты в брачном контракте меня устраивают. Все.

— Мама мия! — закрыла лицо руками Маргарита.— Зачем же тебе был нужен автобус и этот никчемный бизнес? Не было бы ни слез, ни потерь...

— Марго! Не смей! — взвинтился Росси.— Ты забыла о том, что наш герой ранен и еще не совсем здоров. Что она понимает в делах, сынок? — улыбнулся он Виктору.— Не сердись на нее. И запомни: у сицилийских женщин огонь и разум находится в обратно пропорциональной зависимости.

Но в этом есть и свои преимущества — если она... отойди — повернулся он к дочери,— на пять метров, еще, вот так... Если она пошла в свою маму, то лучше тебе застраховаться от пожара. Ты выжил здесь,— показал он на зда-

ние клиники,— но рискуешь сгореть в ее спальне. Но знай! Я тебе ничего не обещаю! Ко мне никаких претензий. Сейчас мы решаем следующий вопрос. Марго! Мне кажется, что я, как будущий тесть, должен позаботиться о здоровье нашего победителя. Пойду переговорю с врачами. Путь пользуют тебя дома. Мы отбываем немедленно.

Через несколько недель Даль в присутствии эксперта из Банко Националь дель Лаворо произвел «эксгумацию трупа» и «бриллик» заиграл на его ладони рекордной суммой в четыреста тридцать тысяч долларов, после чего был заложен в кодовую кассету и помещен в один из центральных банковских тайников.

Солнечным летним утром Виктор Аронович Даль, приведший в исполнение реальную, черным облаком нависшую над итальянской нацией угрозу, подвел к трапу «Боинга-757» компании «Алиталия», следующего по маршруту Рим — Нью-Йорк, свою чуть располневшую супругу, Маргариту Даль, в девичестве Росси, послал воздушный поцелуй тестю и отбыл во Флориду к уставшему загорать брату...

ГЛАВА 26

В первой роте восьмого отдельного батальона командос, в который попал Додик благодаря своей акселерации и усиленным занятиям гребным спортом в далекой России, тихо — солдаты спят мертвецким сном; об этом позаботился сорокапятилетний сержант Штерн, выжавший из них утренний марш-бросок выжженной землей из Гедеры до Наблуса с полной выкладкой и одной флягой воды «на брата».

Хорошо, что запасливый Венька Гримст из Кишинева забил в вещмешок лишний пузырь виски и термос кофе, а то бы на жаре и посдыхали. Да и в Наблусе от души поработали: какой-то араб ночи расклеил листовки с призывом к интифаде. Пришлось полгорода перековырять, арестовать шестьдесят два человека — все на одно лицо. Четырех студенточек даже связали. Такие худые попались — сдуреть можно, никак им наручники приладить нельзя было, уж как только не примеряли... Защелкивали на предплечья, повыше локтей — тоже спадают. Вот смеху было!

Побросали их в вездеходные стойла с замками на каждую шею. Усадили... Так Штерну и этого мало показалось: приказал застроить им ноги. Вот и считай: сто двадцать

четыре титановых стропы, сколько же ножных напульсников! А какой вой эти выродки подняли, когда машины по колдобинам на крейсерской скорости шли! До Рамлы орали, как недорезанные. Еле в карантинку сдали. Половину пришлось по тоннелю волочить — видите ли, ноги у них посинели. А кто их ерзать заставлял? В другой раз думать будут, прежде чем по городу бесцельно чкаться...

С девками еще больше намучились: приехали в Нев-Терзу, так эти шакалы их принимать не захотели — слишком избитые, говорят. Не выживут. Хорошо, что сержант подоспел, объяснил: в следующий раз сам на облаву пойдешь и повезешь их в кабине «даймлер-бенца»...

В батальон приехали, только пообедали — и снова преодоление препятствий, каратэ и «партизанская война» с третьим взводом. Печенки друг другу отбили, а инструктор опять недоволен:

«Плохая у тебя реакция, Вайнер»,— заявляет.

А где ей взяться, если на ногах по четырнадцать часов в сутки без привычки? Да еще сержант издевается. Спрашивает: кто к девочкам в Натанью на ночь поедет? А сам антимонию развел, два часа одно и то же: «Эрец-Исроэл в библейских границах от Евфрата до Нила! Тора и меч спущены нам с небес! Сила прогресса — не мир, а меч!» Одуреть можно.

Скорее бы уже пятница — и в Хайфу к матери. Хоть ванну приму и отосплюсь. Правда, отец с утра до ночи на работе, и мама по две смены вкалывает, но все равно это счастье. Сколько безработных по городу шастают!

Слава Богу, раввин помог. Ну и что с того, что пришлось заплатить?

Не хочешь платить — едь в киббуц. Сам себя охраняй, работай, как вол, и строй Великий Израиль!

Ну, а здесь лучше: платят ничего, и вещички кое-какие, да и безделушки на облавах достаются. Не все же Штерну отдавать...

Из Ливана я кое-что таки прихватил! Они из Сура бежали, как чумные; заходи, бери все, что нравится... Ох, там и мяса понаделали!!! Особенно хороши «венусы» со спаренными стволами! Молодцы янки! Это даже не «узи»: за полторы секунды — сто пуль. Вот это скорость!..

Зазвонил телефон. Додик нехотя поднял трубку:

— Первая рота, рядовой Вайнер.

— Как дела, шнорек? — раздался пьяный голос сержанта.

— Рота спит, все в порядке, господин сержант.

— Выпить хочешь?

— Так точно, господин сержант.

— Пришли кого-нибудь. Только со второго яруса, понял?

— Так точно, понял, господин сержант.

— Давай.

— Слушаюсь, господин сержант...

Додик, чертыхаясь, пошел по рядам. «Со второго яруса! Видите ли, сабра не тронь! Скоро прикажет им ноги укрывать...»

Он подошел к койке Гримста. Хлопнул спящего по спине.

— Встань!

Сонный завоеватель враз соскочил на пол.

— Что, тревога?

— Да, тревога... за родных и близких! — расхохотался Додик.— Гони к Штерну за «батлом».

— Что, сам не можешь?

— Мне дежурить до двух. Еще полчаса. Как раз... Бахнем — и спать, понял?

— И охота тебе ночью?

— Не рассуждать. Да посмотри... Может, у него свежий «Кей-холл» есть. Выберем по девочке на ночь. Давай-давай... С понедельника в Рамлу на месяц запрут — там похуже будет.

— А чего?

— С ооповцами поработаешь — сам узнаешь. Из них, чтобы одно имя выжать,— два часа кулаками махать нужно...

Бодро спрыгнув с подножки американского «джипа», Додик птицей взмыл на третий этаж, позвонил. Дверь ему открыла мама.

— Зиндэлэ! — воскликнула мадам Вайнер, принимая его в горячие объятия.— Мы тебя ждем, ждем... Решили уже, что ты утром приедешь. Боренька, вставай, Додик приехал.

— Наконец-то,— раздался сонный голос отца.— Я в десять пришел с работы и только прилег. Сколько уже времени?

— Без десяти час,— ответил завоеватель, закрываясь в ванной комнате.— Я на минуту. Только пыль смою.

Родители забегали по квартире, захлопотали, и, когда посвежевший сын зашел в столовую, его уже ждал ужин.

— Садись, Доденька! Киндэле ненаглядное! Выпьешь водки? Сегодня уже шабыс, слава богу.

— А вы?

— Что ты! Мы после захода солнца не едим. Не дай Бог, в общине узнают. К тому же, у меня опять разболелась печень.

— Ты был у врача?

— О каком враче ты говоришь! Кто меня отпустит к врачу?

— А местный доктор тут же предложит исследования на две недели, чтобы сорвать побольше,— добавила мадам Вайнер.

— Хозяин возьмет за это время другого работягу. Ничего не поделаешь, нужно скрипеть. На улице безработных больше, чем арабов. И так нас местные проклинают на чем свет стоит. Хуже антисемитов, чем евреи, в мире нет. Только и слышно: «Зачем вы к нам приехали? Работу у нас отбирать? Мы здесь на песке города строили, в палатках жили. А вы приехали на готовенькое и лишили наших детей работы. Они теперь без дела шляются. Американские сигареты и «порно» продают. Убирайтесь на все четыре стороны. Хоть к чертовой матери...» Уж так стараешься, так стараешься, а все равно платят наполовину меньше, чем местным...

— Ну, а в профсоюз они нас до сих пор не приняли. Уже по три медицинских комиссии прошли, а «Гистадрут»[1] молчит.

— Конечно, если б они узнали о моей печени... то и разговора бы не было. Они же должны помогать в случае болезни. А кто хочет отдавать свои деньги на чужую печень?.. Счастье еще, что меня не взяли в армию. Да-да! Они всех забирают на переподготовку. Из нашего подъезда человек восемь призвали. Двое уже вернулись... в гробах. Меня как-то пронесло. Ну и ребэ заступился, позвонил кому следует. «У них,— сказал он,— сын доблестный воин...»

Польщенный Додик весело улыбнулся и, вдруг вспомнив, снял с шеи золотую цепочку с бешбармаком из слоновой кости.

— Это тебе, мамочка!

— Где ты ее взял, зиндэлэ? — спросила мадам Вайнер.

— В Гедере, по случаю. За бутылку виски выменял.

— Она же арабская, Доденька!

— Ну и что? Руку Магомета выбрось, а цепочка арабами не пахнет...

---

[1] «Гистадрут» — Всеобщая федерация труда.

Четырехметровые добротные стены из обожженного кирпича надежно скрывали от любознательных глаз мужскую тюрьму, сотворенную руками человеческими во славу Саваофа.

Огромный центральный корпус в форме «Звезды Давида» находился в тисках пятиэтажного прямоугольника и сообщался с ним шестью лучами трехэтажных галерей, вместивших в себя вышколенный штат службистов, гангстеров и знатоков политического и уголовного сыска, круглосуточно повышающих профессиональный уровень по выколачиванию признаний в антигосударственной деятельности. Тюрьма была переполнена, и только пятый этаж блока «С» пустовал: со времен Адольфа Эйхмана, ожидавшего здесь справедливого суда истории, тюремные власти не водворяли в этот блок никого. Ну, а долготерпеливое время не распорядилось еще заселить этот блок бандитами из Херута, Лаам, Мафдал, Агудат-Исроэль — черной тысячью преступников, реализующих закон и право Израиля на международный геноцид истинных хозяев региона.

Четыре взвода охраны несли службу, соответственно, в четырех блоках. Пятый и шестой осуществляли круглосуточную вахту, охраняя въезд и подземные тоннели с тремя командными пунктами, начиненными японской телевизионной системой кругового обзора, системами инфракрасного излучения — паутиной, опутывающей всю прилегающую местность ночью.

Внешнюю охрану тюрьмы осуществляли две отдельных стрелковых роты. Их городок находился за объектом и соединялся с четырьмя сторожевыми вышками подземными тоннелями, снабженными многочисленными лифтами для выхода на контрольно-следовые полосы, расположенные между внешней стеной и основными четырьмя «запретками», разгороженными колючкой с током высокого напряжения.

За время существования тюрьма не помнила ни одного побега, и только птицы изредка нарушали неприкосновенное воздушное пространство периметра насилия — но и их не стало. Их попросту перестреляли стрелки из ИЦЛ по просьбе операторов пультов управления, которым птички небесные перепортили все нервы, включая тревожные системы при «нарушении тюремных границ»...

Сменив уходящих в батальон усталых дозорцев, первая рота приступила к несению службы. Додика и Гримета прикрепили к следователю военной прокуратуры, Ицхоку Гедельбрайту из Беэр-Шевы, который очень гордился своим

чисто арийским, то бишь сабра происхождением и высшим образованием, полученным в еврейском университете Иерусалима. За свою полувековую, полную радужных свершений жизнь Гедельбрайт стрелял в 1948 в мирных жителей-ливанцев в Нахарии; в 1967 предал военному суду тысячи патриотов Газы и запросил в общей сложности пять тысяч лет каторожных работ непокоренным иорданцам в библейском Иерусалиме в последние разбойные годы.

— Я осуществляю следствие от имени великого Израиля! — высокомерно заявил он вновь прибывшим доблестным воинам.— Вы одно из моих средств для достижения цели, которая оправдывает любые средства.

Поэтому: мое слово — Закон!

Вокруг каждого арестанта вами должна быть создана атмосфера страха и безысходности.

Ничто так не живо в человеке, как чувство страха. Нужно уметь вытащить это липкое, противное до рвоты, жалкое, подталкиваемое под кадык инстинктом самосохранения чувство наружу. Тогда любой герой вспомнит, в какой рубашке его мама рожала и как звали акушерку, перегрызшую ему пуповину. Никто из заключенных не должен уверовать в близкую смерть. Ваша задача — выбить из них мечту о скорейшем избавлении от мучений. Но свято место — пусто не бывает!

На место мечты нужно поселить пытку. Пытку! — прорычал он, звериными глазами впиваясь в своих подручных.— Ясно?

— Так точно, господин следователь.

— Я знаю о том, что вы из России,— перешел он на дружеский тон.— Наши характеристики во многом помогут командованию определить вашу преданность великому Израилю...

Итак, начинаем: арестант 4040, камера 483, блок «В». Доставить ко мне. Усадить сюда,— указал он на массивное кресло, накрепко вделанное в бетон, с ремнями-застежками для рук, ног и туловища.— Перед накладыванием ремней оголяете арестанту руки. Во время производства допроса по моей команде один из вас будет делать ему немножечко больно.

Но предупреждаю — без крови и потери сознания. Дыхание не сбивать. В них душа и без того еле держится. Армия нам и так поставляет полутрупы. Что это за материал с переломанными костями? Шутники находятся,— с вертолетов на малой высоте сбрасывают, а потом к нам везут на лечение. Поэтому требуется что-нибудь оригинальное... Заж-

женная сигара под кадык, например, вырывание волос, ногтей, иглоукалывание по схеме... Ну, это в процессе работы, понятно?

— Так точно, господин следователь! — в один голос ответили подобострастные подмастерья, желающие во что бы то ни стало утвердиться и доказать крайнюю лояльность и огромную преданность «истинной и исконной Родине».

— Следующий этап — при необходимости я подаю команду тому из вас, кто будет сидеть за тем столом,— указал он на столик с приборной панелью в глубине кабинета.— И, повторяю, по моей команде вы нажимаете на красную кнопку в приборной доске, предварительно включая реле времени до зеленой отметки. Команда подается включением в панели сигнальной надписи «Старт». Это прибор для электрошока, понятно?

— Так точно, господин следователь,— за двоих ответил Додик, усваивая назначение широких тесменных ремней, змеями ползущих к креслу инквизиции...

Вскоре Гримст с Додиком весело хохотали, глядя на судороги вытащенного из отстойника молодого араба, с которым они работали в течение последних дней. Металлические «стаканы», укрепленные на движущейся карусели, представляли собой метровой высоты пеналы, в которые вне зависимости от веса и габаритов вбивали несчастных, заполнявших собой пятидесятисантиметровую ширину ящика пытки.

— Во извивается, глиста! — хохотал Гримст.— Элвис Пресли ожил в Рамле. Кому продать сенсацию?

— За бутылку! — взвизгнул Додик.— Больше за эту пенку не дадут. Поднимайся, живо! — пнул он ногой арестованного.— Сегодня ты заговоришь! Или переночуешь в боксе. Понял, Махмуд?

Не реагируя на пинки, замученный продолжал лежать; тогда они схватили его за ноги и поволокли по коридору.

Гедельбрайт возмутился.

— Вы б еще мертвого притащили! — разорался он, приоткрывая арестанту веко.— У него же зрачок кошачий. Тащите его к врачам. Впрочем, возьмите носилки, а то еще сдохнет по дороге...

Дежурный врач наскоро осмотрел пациента, с упреком взглянул на сопровождающих:

— Искусственное дыхание, живо!

...Вскоре доктор уже поил горячим чаем возвращенного с того света в рай обетованный и приговаривал:

— Вот так всегда: они убивают, а я оживляю. Слушай, Хасан, или как там тебя? Хочешь жить — скажи им правду. Я каждый день буду тебя латать. Но однажды ты умрешь, и все кончится. Но это будет не скоро,— ухмыльнулся он,— потому что я хорошо знаю свое дело. Скажи им правду, Махмуд...

Араб полулежал в высоком хирургическом кресле, не в силах приподняться или хоть прикрыть наготу; весь в кровавых, и синих, и лиловых, и желтых, и черных кровоподтеках и ссадинах, уставившись в потолок, обжигая разбитые в кровь губы и щеки крепким и приторным чаем, вбирая в себя силы для следующей пытки...

— Что им сказать? — тихо проговорил он.— Они и без того все знают! Я родился в доме своего отца, в Наблусе. И двое моих сыновей родились в моем доме... Отца вы убили в сорок восьмом. Маму прикончили в шестьдесят седьмом. Детей и жену — весной этого года... А я живу,— приподнялся он на руках,— живу, растерзанный, как и мой дом! — окрепшим вдруг голосом заговорил он.— И пока я живу... пока стучит мое сердце — я буду бороться за свободу и независимость моей Родины!

— Молодец, Хасан! Ты — патриот! — поддержал его Додик.— Скажи, кто принес листовки, и следователь отпустит тебя домой. Правильно, господин врач?

— Конечно! Солдат говорит правду. Кто принес тебе листовки, Махмуд?

— А я вдруг подумал, что вами руководит сострадание. А вы...

В следующий момент удар страшной силы обрушился на него снизу, вырвал из кресла и с силой швырнул на бетон...

— Отличная пружина! — заметил доктор, отпуская педаль гидравлического затвора.— Никогда не подводит. И главное — эффективно и жизненно необходимо, как катапульта Аравы... Унесите. Отойдет в камере.

— Он очень разбился! — испугался испытывающий при виде крови тошноту Гримст.

— Тебе его жалко? — с укоризной спросил доктор.— Полей ему голову йодом. Пусть мозги немного прожгутся. Только не здесь. В одиночке... Да, скажите Гедельбрайту, что до пятницы Хасан в отпуске.

— До какой, господин доктор?

— Если оживет, то до следующей...

Прослушав за месяц полный курс и закрепив на практике полученные знания, Додик с грустью расставался с местом,

где каждую минуту всем сердцем ощущаешь жизненное превосходство, гордость за сильных мира сего, а также радость бытия и блаженство векового и исполненного наконец изреченного когда-то Саваофом через пророков: «...И дам тебе силу и меч, дабы смог ты покорить врагов наших во славу мою...»

Довольный Штерн прочел перед строем благодарственное письмо тюремного руководства и вручил Додику первую нарукавную нашивку — отличительный знак храброго воина — и отпускное свидетельство на десятисуточный отпуск.

— Боже, сыночка! Как ты возмужал! — воскликнула мадам Вайнер, едва он переступил порог родительского дома.— Мы уже не знали, что и думать! Ты нас так испугал своей последней открыткой... «Писем не будет!» У кого только папа не спрашивал, где ты, никто не мог ничего ответить. Мы уже, грешным делом, решили, что ты в Бир Зейте. Там усмиряли студентов Палестинского университета. У нас в синагоге говорят... о том, что застрелили целую дюжину. Слава богу, среди наших жертв нет. Так пишет «Гаарец». Где же ты был, зиндэле?

— Ой, мама! Это неинтересно,— отмахнулся герой.— Лучше приготовь кушать. С утра ни черта не ел.

— Ну, а все-таки, Доденька, где же ты был? — продолжил расспросы отец.— Я знаю! Ты воевал, сыночек. Я же не слепой! Нет, я уже вижу награду. Цилечка! Посмотри на эту полоску! Доденька заслужил награду! Нет, это только подумать! Он был в Ливане. Наверное, он покорял Сур или Сайду. Я же знаю. В «Давар» пишут о том, что там мы таки да показали силу!!! Наши применили напалм и кассетные бомбы. Это правда, Доденька?

— Папа, прекрати! Я не могу рассказывать. Я же солдат. Это тайна. Вы понимаете, что влечет за собой нарушение присяги? Зачем вы толкаете меня на преступление?

— Разве мы с мамой кому-нибудь расскажем?

— Кроме ребэ?

— Ну, ребэ? Если сам бог велел все рассказывать. Ребэ умеет хранить тайны. Это порядочный человек! Он так много для нас сделал! Меня бесплатно исследовали в госпитале. За счет общины, представляешь? Два раза зондировали печень, и оба раза бесплатно. Правда, желчь все равно не пошла. Но все равно... А ты говоришь: «Ребэ!» Он о тебе заботится, как о родном сыне. Ты знаешь, он сказал о том, что у тебя уже есть невеста. Правда, она из России, но что поделаешь? С местными мы тягаться не можем.

— А кто она?
— О, кто она! Дочь адвоката из Харькова. Мать занимается... чем она занимается, Циля?
— Ну, вот этой... что нигде нельзя устроиться... А! Электроникой.
— Правильно, мать занимается электроникой. Очень культурные люди. Правда, ее отец работает сапожником. По специальности своего отца. Но, слава Богу, ему дали патент. Это много значит. Это, я тебе скажу, основное!
— В самом деле, здесь адвокаты не нужны. Кого в Израиле защищать? Арабов?.. Они этого не заслуживают. Евреев?.. Так они в защите не нуждаются. И ко всему, он неплохо зарабатывает. Жена ему помогает... Это тоже работа...
— Чтоб дома не сидеть?
— Ну что ты говоришь?! Конечно, среди людей веселее. И помощь все-таки какая-никакая...
Ну, а девочка у них... это таки золото. Шестнадцать лет! Писаная красавица! Тысяч десять они за ней дают.
— И пару камушков из России,— с сомнением добавил папа.— Короче, зачем гадать?! Завтра ребэ представит тебя будущему тестю.
— Какому тестю? Я же не видел невесту. Вы что? В самом деле меня женили? Да, может, она кикимора?
— Как это, как это, ты мне не веришь? — покраснел от натуги папа.— Говорю тебе — она жемчужина... перлик, в общем...
— Писаная красавица. Я говорю! — добавила мадам Вайнер, преданно всматриваясь в героические черты сына.
— Не понимаю, куда вы торопитесь? — удивился Додик.
— Куда? Как это, куда? — вскочил со стула отец.— Ты женишься. Родится ребенок. Ребэ устроит тебя в дело.
— В какое еще дело?
— Как это, как это! Я пока не знаю, в какое. Но в прибыльное, можешь мне поверить. Ребэ в гешефтах не промах! Знает, кто чем дышит. И нам он поможет во всем.
— Чем вы ему так понравились, не пойму?
— Как это, как это! Ты думаешь, что все мужчины в моем возрасте идут под нож!
— Под какой нож? Ничего не понимаю.
— Боже мой, Цилечка, он же ничего не знает!
— Когда бы мы успели рассказать? Папа у тебя, сыночек, тоже герой! Сейчас он тебе сам все объяснит,— покраснела мадам Вайнер, покидая гостиную.
— Доденька! Поздравь меня! Я решился на обрезание. В мои-то годы. И уже, слава Богу, после всего. Чувст-

вую себя гораздо легче. Представляешь? Меня знает вся община. Подхожу к синагоге, отовсюду только и слышу: «Смотрите! Это тот самый Вайнер. Очень решительный человек!» А ребэ был так доволен! Ты себе не можешь представить... Даже предлагал испросить для меня отпуск. Но ты же понимаешь — я должен работать. Нам никто не даст. Поэтому он о нас так заботится. Так что ни в чем не сомневайся. Завтра сам убедишься...

Рыжеволосая Жанка родилась в центре украинского Харькова. Там, где широченная площадь имени Тевелева покорно вливается в быструю, разноликую Сумскую, уверенно несущую веселую, разноязычную толпу в гостеприимный амфитеатр «Люкса», в старый драматический, в зеленый вековой парк, к тихому озеру под распущенные ивовые косы, легкие всплески воды, разбуженной поутру гордыми белыми лебедями.

Окна отцовской квартиры неслись навстречу грустному тополиному лету, быстрым потокам автомобилей; вбирали в себя солнечные блики, ночные огни, фейерверки праздничных иллюминаций; жадно читали театральные анонсы, всматривались в знакомые лица актеров, переживали вместе с жаждущими общения с богемой неудачниками, потерпевшими фиаско в борьбе за лишний билетик, и ежедневно в течение пяти лет провожали и встречали хозяйку свою, ученицу русско-английской школы Жанночку Глузман. Ее тридцатипятилетний отец был сыном сапожника Мотла, зверски замордованного гитлеровцами в Дробицком Яру под Харьковом и похороненного там же, в огромной братской могиле, вместе с тысячами таких же, как и он, ни в чем не повинных людей, признанных античеловеками представителями низшей, неполноценной, семитской расы. Окончив с отличием местный юридический институт, отец сумел завоевать себе имя в адвокатуре, что дало ему право в течение десяти лет осуществлять правовую защиту частных интересов граждан и нескольких предприятий, юрисконсульство в которых он совмещал между делом.

А «дело», признаться нужно, было довольно выгодным, и потому, устав от презентов, он в один ненастный день начал складывать чемоданы. На вопрос старого заведующего Эрингрига: «Чего тебе не хватает?» — ответил: «Свободы!», которую и поимел в жестяной, прогретой, как сковородка с кипящими на ней гусиными шкварками, будке сапожника в огненной Хайфе, снабженной, к тому же, морем, о котором он больше слышал, чем видел, ввиду многочасовой занятости с полной отдачей сил, приложенных на

наведение глянца уткомордым шузам сабра. Свою работу выполнял с легкой грустью, раболепно подчиняясь критическим окрикам надменных граждан, разрешающих правовой уклон в ритмичной работе щетками дипломированного сапожника и швыряющих в старую картонку затертые гроши «на чай», каковой в бытность свою адвокатом Глузман не употреблял из-за дефицита времени, истраченного на смакование марочного коньяка; к тому же, чаепитие тогда он считал признаком дурного тона.

Жена его, убежав от социалистической занятости в сфере радиоэлектроники, четыре года пребывала в домохозяйках ввиду чрезмерной щепетильности и брезгливости, не позволившей ей занять один из скромных постов в новоявленных подвальных этажах ада — «быт, ресторан, панель», и потому как могла помогала мужу варить ваксу, считать медяки и затачивать рашпилем долговечные пластиковые набойки привелигированной обуви, часто пахнущей нестиранными носками и прочими ароматами немытых и недезодорированных ног.

Из министерства абсорбции, куда они обратились в очередной раз с просьбой о предоставлении работы с учетом высшего образования, их попросту вытолкали, пообещав в следующий раз принять через Шин Бет [1], руководство которой обязательно учтет склонность просительницы к коммунистической пропаганде, резко выраженной последней в старых «русских» воспоминаниях, конкретизированных фразой: «В Союзе я ни дня не была без работы».

— Позвольте,— возмутилась она,— но СОХНУТ обещал нам работу по специальности!

— Мы также обещаем, но это не дает вам права наступать нам на горло. Вы обязательно будете работать в одном из вычислительных центров Западного Бейрута или на берегу Нила, в районе каирского Аль-Моца.

— Когда?

— К сожалению, это известно лишь на небесах и в генштабе, куда вы можете обратиться с письменным запросом или лично. Это как на чей вкус...

Но так как генштаб был для них недосягаем, а небеса в тридцать шесть еще не очень привлекают, Глузманы решили ждать. Чтоб не терять времени понапрасну, папа изучал международное право, а мама все чаще склонялась

---

[1] Шин Бет — Шерут Бетахон (кодированное название израильской разведки).

к мысли преступить себя и согласиться с местом контролера-билетера в кинотеатре...

Жанка же в свои шестнадцать лет мечтала о том большом, светлом, чистом чувстве, которое придет однажды ранним солнечным утром, ворвется чистым ветром в ее заплесневелую жизнь, закружит, надует алые грииовские паруса и...

— Увезешь меня отсюда? — вдруг серьезно спросила она уверенного в себе жениха, бодро вышагивающего рядом в парадной форме,— грудь колесом, правая рука — на портупее у десантного ножа с двумя кровостоками.

— Увезу, если недалеко,— ответил он не задумываясь.— Но только через год, когда закончу службу и куплю машину.

— А самолетом не хочешь?

— Самолетом?.. А далеко?

— Эх, Додик, Додик! Уже целую неделю мы знакомы, а ты меня ни капельки не понимаешь...

— Ну почему не понимаю?! — смутился он.— Ты хочешь в Рим, наверное, или в Париж, а для этого нужны деньги. Вот я их заработаю, и тогда...

— Тогда будет поздно! Пошли домой.

— Мы же только что встретились. Идем к морю.

— Не хочу. Ты мне настроение испортил.

— Не понимаю тебя, чем?

— Я думала... в общем, мне говорили... что ты герой...

— Это правда! Можешь не сомневаться. Я ничего не боюсь,— гордо ответил Додик, увлекая ее к берегу и усаживаясь у воды.— Когда-то я и сам не представлял, что это такое, но побывал в боях, надышался порохом, видел трупы. А кроме того, я их и обыскивал. Представляешь? Они не кусаются... Они молчат, как немые, будто это их вовсе не касается,— смеялся он, неловко привлекая к себе избранницу местного раввина.— Может, я вообще останусь в армии. Где еще можно так заработать?! Дай Бог только, чтобы мы воевали. Тогда я покажу тебе и Рим и Париж!

— А Харьков сможешь? — обхватила она его за плечи.

— Что? — отшатнулся герой Синая.— Зачем тебе Харьков?

— Додик!— умоляюще посмотрела она на него.— Заклинаю тебя! Мне так хочется домой! Увези меня, если я тебе хоть чуточку нравлюсь... А потом — что угодно! Даже одну оставь. Я тебе все приданое отдам. Ну, хоть до Вены довези! Дальше я и одна смогу. Мне бы только отсюда выбраться.

— Ты понимаешь, что говоришь? Из Израиля — в Харьков! Нет, такого я еще не слышал!.. Чего тебе здесь не хва-

тает? Седьмое чудо света! Бери, что пожелаешь. Бей, дави... Нет, я нашел себе место под солнцем.— Он мечтательно посмотрел в высокое небо. Довольно улыбнулся. Расправил молодецкие плечи. Перевел взгляд на приближающуюся к берегу, глиссирующую на легкой волне лодку.

— Вы чего здесь сидите? — крикнул им на иврите рулевой, когда лодка причалила к берегу.

— А что, разве запрещено? — вызывающе спросил на идиш Додик, поднимаясь во весь рост и прикасаясь для уверенности к рукоятке ножа.

— А, олим,— перешел тот на идиш.— Тебе разрешено... разрешено забрать свою девку и убраться вон! Понял?

— Понял,— побагровел Додик, направляясь к лодке.— Сейчас я тебе кое-что объясню, и мы уйдем.

В этот момент из каюты выскочила девчонка лет семнадцати в легкой блузе, прозрачных бикини и с «узи» наперевес.

— А ну, забирай свою крысу и двигай,— передернула она затвором, щелкнув предохранителем на одиночный.— Ну! — в небо ушел ствол одновременно с выстрелом...

— Пойдем, Жанна,— попятился побледневший герой Синая...

Прикрыв собой утопистку-мечтательницу, ощущая противную дрожь в коленках, он неуверенно побрел вверх.

— Паф! — раздался крик рулевого, слившийся воедино с хохотом девицы и шумом взревевшего двигателя...

— Ну, как?! Чувствуешь себя человеком? — спросила Жанна, когда они присели за стойкой бара.

— Чувствую,— ответил он, беря дрожащей рукой бутылку.— Так янки пьют.— Он наполнил фужер и одним махом влил в себя его содержимое.— Их всех нужно давить! — заявил, отдышавшись.

— Кого?

— Всех местных. Для этого я останусь в армии. Если есть бог, то обязательно встречу этого сучонка... Только бы на облаве! Или ее,— мечтательно прикрыл глаза герой Синая.— Потом бы я сказал, что видел ее среди пленных ооповцев...

ГЛАВА 27

Миновала весна и большая часть лета, прежде чем супруги Гельман смогли спокойно, взявшись за руки, пройти стариннным городом, осмотреть величественное здание консерватории, оперный театр, побродить тенистыми аллеями

парка в Гарварде и даже принять приглашение опекунши — провести двое суток вместе с хозяйкой на яхте «Патриция», бороздящей диковинный Массачусетс знойным, по местным понятиям, августом.

Термометры показывали двадцать семь по Цельсию, и песчаная бухта на Кэйп-Код, где погибла маленькая Пэтти, весело купала в бирюзовой воде яркое солнце, легкий бриз играл парусами, подгоняя яхту к берегу, где меж скалистых отрогов в смешанном лесопарке удобно устроилась вилла Пейдж, к которой серой змейкой вилась вверх рубленая в скале дорожка, а от города примыкал к ней уверенный бетонный ручей трассы.

Старый негр Майкл, он же штурман и капитан «Патриции», весело смеялся, по-детски радуясь взрослым, грандиозным успехам Лерки, покорившей штурвал судна; доктор, удобно устроившись в шезлонге, дремал, а дамы бескомпромиссно резались в покер, тайны которого Ася только постигала, в то время как ее визави знала эту игру с детства.

За прошедшие полгода они крепко подружились, с каждым днем испытывая все растущую жажду общения, обусловленную, с одной стороны, чувством благодарности к Дорис Пейдж за безвозмездное жизненное участие, а с другой — непреодолимой тягой богатой, но удивительно одинокой вдовы к будто с небес сошедшему ребенку, чей великолепный памятник на местном кладбище всегда был местом паломничества посетителей и пробуждал в них горькие воспоминания, а главное — нежные чувства, давно забытые в этом удивительно сумасшедшем, движущемся в никуда жизненном водовороте.

— Ты знаешь, Ассоль, просто удивительно,— признавалась Дорис, волнуясь в минуту откровения, закуривая и тут же зашвыривая и сигарету, и зажигалку (чтобы не найти),— у меня никогда не было подруг! Как ни пытаюсь припомнить. Ну, ни черта не выходит. Все эти диннеры, ленчи, рауты, приемы... Пошлые морды. Базальтовая тупость. Скудоумие, ревность, а потом... я потеряла Патрицию.

— Почему ты не родила еще одного ребенка? Тебе было бы легче.

— А... О чем ты говоришь! Его никогда не было дома. Ну, а при его появлении я тотчас требовала закуску — так он был пьян. Поэтому я не впускала его к себе... В естественном для него состоянии он, возвращаясь из Детройта, разбился на трассе. Выехал на полосу встречного движения, по которой шел военный тягач. Тот даже не остановился... Но вот почему у вас нет второго ребенка, я не могу

понять? Хоть и пытаюсь. Девчушке восьмой год, а тебе лишь четвертый десяток... Пора, наверное! Тем более... если бы у вас было двое, я бы забрала у тебя Лерку...

— Ну что ты, Дорис,— вспыхнула Ася,— опять ты за свое! Какая мать отдаст ребенка? Подумай и не сердись... Мы очень благодарны тебе за все — за чувства, за дружбу, за участие, но...

— Никаких «но»! Ты же не хочешь, чтобы твоя дочь была нищей?! А вы не разбогатеете настолько, чтобы она стала богатой. В то же время я очень одинока. Но все, что есть у меня, останется нашей маленькой Пэтти.

Ты же хочешь видеть свою дочь независимой, правда?! Я не настаиваю сейчас, нет! Пусть у вас родится еще один ребенок, а потом мы и поговорим... Кстати, я открыла Пэтти счет в «Гаранти Тресте» на двадцать тысяч. Деньгами она воспользуется после окончания университета — такова моя воля!

— Боже мой, зачем ты сделала это? Дорис, милая, неужели ты серьезно думаешь о том, что когда-нибудь... Ты же сама потеряла дочку... А Лерочка, ну пойми: все, что есть на свете, все, для чего живу, до смерти — это дочь моя! Если когда-нибудь я потеряю ее... Лучше сразу умереть,— залилась она слезами.— Я отказываюсь от денег. Не нужны они нам, не нужны...

— Успокойся, пожалуйста, и запомни: ты самая счастливая женщина в мире. У тебя была только дочка, не говоря о любящем муже, теперь у тебя есть сестра, которая все сделает для твоей семьи — но в первую очередь для счастья нашей любимой Пэтти! А денег я тебе не даю и не предлагаю, чтоб не унизить... чтобы не сделать нищей духом. Забудем наш разговор. А в знак примирения — выпьем.

— Спасибо! Не хочется, Дорис.

— Выпьешь и успокоишься. Да ты сама подумай, чего вдруг расстроилась?! Еще каких-то восемьдесят тысяч — и у нашей маленькой Патриции будет чековая книжка. Она станет средним гражданином нашей благословенной страны. Не будет толкаться в очередях и дышать чужим потом. Но, глядя на чековую книжку, все товары ей продадут со скидкой и согнутся до земли в благодарственном поклоне. Вот тогда ты прочувствуешь, что твоя дочь — Человек! А ты прожила не напрасно... За твою дочь! Держи. Будь счастлива и молись за ее красоту и мое здоровье!

— Спасибо тебе за все, Дорис. И прости меня. Только договорились... Лерочку никто у меня никогда не заберет. Да?!

— Конечно! — поднесла миссис Пейдж ко рту рюмку. Мы ее никому и никогда не отдадим... Будь здорова...

Дора Винницкая была единственной внучкой скрипача-клейзмера из Бердичева, Шлемки-Заики, без которого в округе не образовывались ни смотрины, ни хуппэ, ни обрезание. Причем двое его сыновей тоже были музыкантами, а голосом рыжеволосой канарейки, Гиточки, заслушивались в самой Виннице. Маленькая пекарня, которую открыл Шлемка на честно заработанные деньги, процветала, и, считая по пятницам выручку, Двойра, жена его, всерьез мечтала о собственной мельнице.

Но нужно же было такому случиться, чтобы в это самое время в далеком Егупце[1] какой-то Бейлис, владелец пекарни у Андреевской церкви, на грязной окнами и молвой Воздвиженке, добавил в мацу на Пейсах кровь православного ребенка (вроде по писанию жидовскому так положено). И что тут поднялось!!! Светопреставление какое-то! Вначале били тех, кто нес свежие калачи из лавки Заики, а потом смертным боем мордовали и Шлемку, и жену его хоронили с ним рядышком.

Но, как говорится, мир не без добрых людей!

Вечером после похорон прокрался огородами в осиротевший дом местный кузнец Грицько Журба, вызвал старшего сына Шлемки, Натана, на прызьбу, прижал к своей могучей груди и прошептал: «Тікайте, хлопці, бо порішать вас усіх цієї ночі. І Гіточку теж. Чутка вірна. Тікайте...»

Уложив наспех свой нехитрый скарб на подводу, бежали той ночью темной да муторной два сына с невестками молодыми и прижимали к груди по очереди крохотку восьмилетнюю. И луна-союзница за облака ушла. Но светили им в ночь два костра больших — дом с пекарнею, дотла сожженные, да смеялись вслед им антихристы: «Бач, жиди! Усі померли, та без галасу...»

Лишь в далекой Америке узнали они, что мировая общественность заставила столыпинскую банду пересмотреть «дело Бейлиса» и оправдать его, а убийцу мальчонки Бореньки Верку Чибиряк вместе с братьями-черносотенцами на каторгу отправили... Слышали они краем уха о том, что свершилось на далекой их родине... что прозрели полтора миллиона Бейлисов, став достойными и равными среди равных в семье единой...

Ну а пока...

---

[1] Егупец — Киев *(идиш, сленг)*

Пели в кабачке горемычные еврейские песни и потчевали нередких посетителей-эмигрантов борщом украинским с пампушками чесночными беженцы. И заслушивались гости птицей певчей золотоволосой, и за счет общины еврейской послали малышку в лучшую консерваторию.

Братья за долей светлой на Клондайк подались и остались там в земле мерзлой... Намыли-таки смерть себе...

А Гита, теперь уже Маргит Лакстон, родила единственную наследницу — Дорочку, певунью и мотогонщицу, покорившую богача-электротехника, купившего себе и голос ее, и бесстрашие, и молодость...— был он старше лет на двадцать пять,— ну, и вовремя вырулил на полосу встречного движения, потеряв единственную наследницу и в тоске по ней...

В момент появления в синагоге семьи доктора семилетняя Лерка обожгла Дорис воспоминаниями. Не замордованную Патрицию напомнила она разочарованной во всем и во всех богатой и экспансивной вдове.

Но огнем полыхнула поразительная схожесть девчушки из России с матерью, погибшей в пятьдесят четвертом при трагических и не до конца выясненных обстоятельствах на съемках в Голливуде: горящая индейская лачуга, через которую бежала та, рухнула почему-то не вовремя... «Что судилось адом — то исполнилось...»

Ну, а Пэтти?! Патриция похожа была на бабку свою... Поэтому и коттедж для семьи доктора был приобретен в рассрочку на двадцать пять лет, рядом с городским домом опекунши...

Доктор сквозь пальцы смотрел на все возрастающую тягу Лерки к игрушкам Патриции, а желание Доры помочь в воспитании независимой гражданки Соединенных Штатов Америки оправдывал одиночеством последней и, конечно, высокой культурой, скрытой за завесой резкости и сумасбродства. Ненавязчивое, доброжелательное отношение к себе воспринимал как выражение внутренней чистоты и эмоциональной дисгармонии сорокалетней вдовы, лишившейся всего, кроме денег, но заслуживающей безусловно большего.

«Жить ради себя и только для себя могут лишь те, чьи корни уходят в Новый Свет, в крайнем случае, в европейский Запад, — думал он.— У Доры в генезисе жива память жизни ее предков, привыкших к каждодневному человеческому общению, без которого там,— вздыхал он, вспоминая Нюру, и дочерей, и город жизни своей,— никто иначе не живет и не мыслит дня без соседа, без друга, без счастья общечело-

вческих контактов... Здесь же,— горько улыбнулся он, вспоминая, как на следующий день после ленча у соседей, решил зайти к ним на часок... просто поболтать, но после холодного и отрывисто брошенного: «Что вам угодно?» — смутился, извинился и ушел, сгорбившись, втянув поникшую голову в пристыженные плечи, неуверенной и зябкой походкой отвергнутого,— не то что к соседу — к близкому, родному человеку не придешь по собственной инициативе. А если и припрешься, то услышишь обидное и злое: «Мы на вас не рассчитывали!» Именно эту фразу высказали им одесситы-евреи, с которыми она познакомились, мило побеседовали в синагоге и по-дружески обменялись адресами.

— Оказывается, это ни к чему не обязывает! Сиди и жди, пока тебя пригласят,— возмущался Гельман, возвращаясь домой.— Или нужно вначале пригласить их к себе?

— Да ну их! — в сердцах выкрикнула Ася.— Даже здороваться с ними не буду.

— Тогда тебе не с кем будет здороваться! — поучала ее Дорис.— Мы все так живем. В этом мы находим высшую независимость! Без приглашения приходят только просители. Тот, кто смог переступить через себя... Мы — нация сильных! И ни в чем не нуждаемся — даже в общепринятых, по-вашему, человеческих контактах.

Что может быть проще, чем встретиться, поболтать?.. Но подумала ли ты, какое у твоих друзей настроение? Расположены ли они к общению?

Вот когда они тебя пригласят — тогда другое дело...

— Но тогда, может, я не буду расположена к встрече с ними.

— Все может быть! Тебе только нужно будет сообщить им об этом. Чтоб на тебя не рассчитывали. Ты же сама понимаешь, что наши затраты должны быть оправданы. Короче, мы хотим знать, сколько ртов к нам придет и сколько съедят! Лишний черствый бифштекс мы не разогреваем — он теряет и вкус, и аромат, и калорийность...

В муниципальной клинике имя хирурга Гельмана значилось пока в первой строке от конца в общей «табели о рангах» в силу многих причин, первой из которых была его прокоммунистическая, как считалось здесь, ориентация во взглядах на природу и вещи, а затем уже сомнительное — потому что социалистическое — образование и техническая подготовка. Место младшего хирурга обеспечивало, к счастью, прожиточный минимум с оплатой по векселям, но не более того. Рассчитывать на помощь жены в качестве

врача, к глубокому разочарованию, не приходилось, а позволить ей унизиться до палатной няни в частной клинике ирландца Мак-Кросби не позволяли ни тщеславие, ни стоимость вывезенных из России вещей, ни мнение опекунши, не желавшей девальвации личности конкурентки в честном бою за право обладания «Пэтти».

Что же касается занятий частной практикой, то для достижения этого должны пройти годы созревания, в течение которых беззвучное имя доктора не единожды блеснет в громких газетных отчетах по поводу возвращения «с того света» сильных мира сего, волею случая оказавшихся на операционном столе муниципальной клиники, что почти невероятно, если учесть барскую брезгливость, даже на смертном одре не желающую опуститься на две десятки в одной из молний конъюнктурного барометра Биллока.

И если Дорис и две-три ее приятельницы, отказав самому Мак-Кросби, принявшему из материнского лона на свет божий маленькую Патрицию Пейдж, вверили себя пришельцу из России, добавив к его скромному бюджету каких-то полторы тысчонки долларов,— проблему этим они, безусловно, сдвинули с мертвой точки, но отнюдь не решили.

— Будь вы один, док,— с отвращением глотая таблетку неосинефрина, последствие раннего купания в заливе, говорила ему простуженная опекунша, намеренно вновь и вновь возвращаясь к желанной и недосягаемой цели,— эту проблему можно было бы решить и быстрее, а так...

— Ну, что вы, миссис Пейдж,— отвечал он, не пытаясь вникнуть в суть ее сомнений.— Только семья и является движителем всей моей жизни. Ради нее я готов на любые издержки и жертвы. Я отдам все силы, но добьюсь положения в обществе. Только ради Аси и Лерки. Им я обязан на сегодняшний день всем, даже жизнью.

— Ценю ваше упорство и хохочу над наивностью,— холодно ответила Дорис, прощаясь.— И знаете, док! Никак не могу понять, хоть и пытаюсь: вы — ребенок. Констатирую с сожалением. Где в вас скрыты силы, позволяющие быть мужчиной и принимать окончательные, верные решения в критических ситуациях? Страшно, как и все в этом мире...

Через день она пришла в клинику и у телемонитора, установленного на балконе для публики, стала свидетелем трудной, чтобы не сказать — безнадежной, операции, проведенной Гельманом жертве собственной неосмотрительности, позволившей той поиграть с ручной гранатой, зажатой в правой руке. Причем вырванную чеку в левой одур-

маненная ЛЦД семнадцатилетняя мисс осмыслила лишь за секунду до взрыва...

Более четырёх часов Дорис Пейдж простояла, как завороженная, прижавшись лбом к прогретому стеклу, отделяющему зрителей от поля боя, лишь изредка бросая взгляд на голубой экран, переживая, а скорее — трудно сопереживая каждое движение его рук, покрываясь, как и он, раз от разу испариной, страдая, ликуя, умирая и оживая вновь...

— Ну и русский! — услышала она восторженные слова главного хирурга, включившегося в репортаж для будущих бакалавров медицины.— Паганини, а не русский! Его искусство достойно преклонения...

Вечером Дорис разыскала Гельмана и горячо поблагодарила за впечатляющий, по ее мнению, спектакль, просмотренный однажды за жизнь, в театре одного великого актера, а прощаясь, тяжело вздохнула и резанула напрямик звонко и зло:

— Сэм! Мне нужно было встретить вас раньше. Природа тем и священна, что исправляет, пусть и с опозданием, свои просчеты. Да будет с вами Бог! — пожелала и повесила трубку.

Оглянулась в поисках свидетелей своего унижения, позвонила Мирриам и потребовала виски с содовой... Порок последний и до смерти, в чем признавалась себе же однажды, напившись в одиночестве у громадного трюмо, в уютной, но холодной спальне. На ее полный внутренней борьбы взгляд зеркало ответило молчаливым упреком пьяной физиономии, которая тут же получила достойный ответ тяжелой бутылкой в голову, отчего на месте оной оказалась дыра в полтора фута диаметром...

Юная гонщица Лерка, объезжающая в который раз бассейн на детском картинге, увидев Мирриам с подносом, лихо притормозила, засмеялась и прощебетала:

— Дорик, тебе жарко?

— Да, Пэтти, очень! А кроме того, мне грустно, оттого что ты неумело режешь углы и жмешься к рулю. Возьми дистанционное управление и погоняй его по внутренней дорожке.

— Хорошо, Дорик,— согласилась малышка, усаживаясь за пульт.

Картинг, набирая скорость, двинулся вокруг бассейна.

— Резче. Ну, резче! — В Дорис проснулась гонщица.— Режь угол! Не уводи его на внешнюю дорожку. Ты теряешь время.

— Но он меня не слушается!

— Перестань хныкать! Не слушается... Тогда накажи его.
— А как?
— Разбей. Или утопи.
— Мне жалко его. Он хороший!
— Тогда докажи мне, что он хороший.
— Хорошо...

Лерка пересела на снаряд и помчалась по домашнему треку. Но, как ни старалась малышка удержать его на внутренней дорожке, терпела одно поражение за другим. После нескольких кругов она свернула на аллею, развернулась, развила максимальную скорость и с разгона плюхнулась в бассейн.

— Браво! — услышала она возглас Дорис, едва вынырнула.— Ты поступила, как настоящая леди. Мирриам! Патриция поступила, как настоящая леди!

— Ассоль! — в восторге кричала она в трубку.— Наша Пэтти впервые совершила подвиг, достойный славы и почитания. Быстрее приходи. Сейчас мы ее будем чествовать и награждать. Что? Предупреди его, чтобы ехал ко мне...

Красочно описав Асе все подробности героического поступка, совершенного впервые и почти без подсказки, Дорис прижала к груди малышку и растроганно спросила:

— Что леди просит за это в награду, кроме мороженого, которое Мирриам немедленно приготовит?

— Куклу, Дорик! — зарделась малышка, скривив мордашку в умильной гримаске.

— Для того, чтобы ты стала размазней?

— Я разобью ее, если она не будет слушаться!

— О мисс!.. Ася, она права. Завтра же едем к Фридману и покупаем маленькую Бруки Шилдс. Решено: первый приз, красавица Бруки в возрасте... сколько лет должно быть кукле?

— Два, Дорик.

— Два? Это мало. Она будет мочиться в трусы. Лучше четыре. В четыре года уже просятся на горшок и едят мороженое.

— Ты будешь делиться с Бруки мороженым? — спросила Ася, преданно глядя на дочку, по которой соскучилась за несколько часов разлуки.

— Буду, мамочка. Только пусть она слушается меня...

Вернувшийся из клиники уставший доктор не разделил общего восторга и ликования. Он внутренне содрогнулся при мысли о том, что Лерка могла получить травму при падении.

— Подумайте, чему радуетесь?! — воззвал он к их разуму, отыскивая усталым взглядом затонувший картинг на дне бассейна.— Она же могла разбиться при падении или утонуть, в конце концов. Шалости к добру не приводят — в этом я убеждаюсь ежедневно.

— Да, но ничего такого не произошло, дорогой.

— Сэм слишком предусмотрителен,— добавила захмелевшая Дорис.— Что может сравниться с радостью свободного полета? Да и я же была рядом.

В нем говорит гипертрофированное госпитальным одиночеством чувство страха за единственного пока ребенка. Милый док! Скажите честно, почему у вас нет второго?

— Опираясь на свои знания, должен заметить,— улыбнулся он пристыженной супруге,— что у нас на это не хватает времени...

— Как у вас говорят: «Сапожник — и без сапог!» С сожалением констатирую, что по вопросам бесплодия вы пользовать никого не должны. А прибыльное дело, доктор! И это в то время, как только в одной доброй старой Англии скоро родятся детки, зачатые в пробирке. Подумайте, Сэм, что теряете! Предлагаю бизнес, в котором я обеспечиваю рекламу и несу материальные затраты на исследовательские работы.

Тема: «Ребенок, зачатый в пробирке».

Доноры: первые супруги, обратившиеся к нам по рекламе.

Итоги: вторичное бесплодие покорено и изжито в Новом Свете. Роды транслируют по двадцати четырем каналам телевидения, включая антенное, кабельное, закодированное и даже МТВ [1]. Владельцы домашних «Бетамэкс» [2] платят нам гроши и рекламируют метод Сэмюэля Гельмина! Новорожденный принадлежит всей Америке.

Выводы: Сэм — владелец лучшей клиники на Атлантике!!! Ассоль, которая обязана немедленно подарить нации гражданина (чтобы вам верили пациенты), делит до конца жизни двоих детей со мной, так как я автоматически становлюсь крестной матерью... Успех предприятия обеспечивается вашим талантом, Сэм, который я покупаю навсегда!

Мирра! Мирриам, шампанского! — неистово прокричала она, падая в кресло.

Побледневшая Ася молча сидела рядом, растерянно глядя на супруга, мучительно выискивающего рациональное зерно в заманчивом и отнюдь не сумасбродном предложении опекунши.

---

[1] МТВ — музыкальная программа.
[2] «Бетамэкс» — видеомагнитофон фирмы «Сони».

— А что! — сказал он, придвигаясь поближе к Дорис.— Я бы, пожалуй, согласился попрактиковать эту тему. Гляди, где-то через год оплодотворенная яйцеклетка благополучно трансплантируется в материнское лоно...

— Довольно,— прервала его Ася.— Ты устал. Пора домой.

— Нет, ну зачем же! Сначала нужно выпить за идею. Мирра устала, наверное, держать поднос. Так, Мирриам?

— Да, мэм!

— Ну, а после мы с Асей пойдем смотреть на спящую Пэтти. Пусть она сегодня переночует у меня.

— Вы идите. А я посижу,— откровенно признался доктор...

Лерка блаженно спала в твердой спартанской кроватке, прижимая к себе голенькую Бруки. Ее сочные золотистые кудри спелой пшеничной рекой разлились по подушке, струились вокруг лица, спадали на плечики, кудрявясь на высоких висках. Вдруг она чему-то насупилась, притихла, крепче прижала к себе куклу, довольно улыбнулась во сне и, разметав по сторонам руки, снова ровно задышала.

— У тебя очень красивая дочка! — не в силах оторвать взгляд от кроватки, произнесла Дорис, снимая окрапленный осколками бриллиантов медальон.— Вот, взгляни,— предложила она, раскрывая его.

На ковер выпала плоская стеклянная блестка, которую Дорис бережно подняла и спрятала в реверс медальона. Передала его Асе, которая с интересом всмотрелась в пожелтевшую фотографию, вдавленную в тайник платиновой с чернью скобкой. Она перевела взгляд на улыбающуюся Дорис, с неясной тревогой снова вгляделась в нежные черты детского личика. Удивилась на миг... испугалась чего-то...

— Ну как, узнаешь?!

Из медальона на Асю смотрела ее дочь, Лерка! Только взгляд обиженный, скорее даже — испуганный и какой-то обреченный выдавал в ней незнакомку. Лерка никогда не смотрела на мир глазами, полными горя и страха... Но овал лица, носик, разрез глаз и волосы были Леркины.

— Кто это? Патриция? Чем она так испугана?

— Нет, это не Пэтти. Ее фотографии я храню в тайнике, от которого ключ утерян. Иначе... с ума сойду... Это мама. Моя мама! Ты права, она была очень испугана жизнью... Когда-нибудь я расскажу тебе ее историю. Только не сегодня,— задумалась на минутку, раскрыла реверс и положила на ладонь блестящий осколок.— Странно, правда? — про-

изнесла в раздумье.— И страшно. Жизнь и смерть рядом. И страха нет, вроде это не я...

— Что с тобой, Дорис?

— Ничего, не волнуйся.— Она чуть подбросила на ладони стекляшку.— Вижу смерть свою и живу. Поэтому я сильная, понимаешь?

— Это твой талисман?

— Э, нет,— горько улыбнулась она.— Хуже! В этой искорке — сантиграмм контактного яда.

— Контактного? Я никогда не слышала о таком. Покажи!

— На, смотри. Только будь осторожна. Если ее раздавить, наступит смерть, даже если ты капнешь себе на обувь. Ну, и другому тоже. Поэтому яд и назван контактным.

— Дорис, ты носишь его на себе! Зачем он тебе?

— Зачем? Если я когда-нибудь не смогу найти ответа на вопрос: «зачем живу?» — то сожму ее в ладонях, и все...

— Дорис! Я не отдам тебе ампулу, хорошо?!

— Тебе-то она зачем?! Ты вся светишься счастьем. Только за Пэтти можно отдать жизнь... Права я?!

— Спасибо тебе... спасибо! — ответила Ася, заливаясь слезами...

Несмотря на смертельную усталость, доктор бодрствовал. Как специалист, он понимал актуальность предложенной ему темы. Только в одной Америке каждая десятая семья страдает бесплодием. Поэтому-то и появились по всей стране лавки Фридмана, решившего проблему бездетности зло, жестоко, аморально и подло: куклы-роботы любого возраста и на любой вкус. Цена приемлема для семьи вырожденцев. Но, с другой стороны, огромное количество разводов, самоубийств в бездетных семьях, все возрастающий киднапинг, уличная торговля детьми в стране равных возможностей...

Он вспомнил, как восторгался несколько лет назад коллегами из тбилисского охмадета, с успехом решавшими проблему вторичного бесплодия методом искусственного оплодотворения женщины. Поэтому, не откладывая в долгий ящик, доктор заказал разговор с Союзом.

В комнату неслышно вошла Ася. Присела рядом, спросила:

— Загорелся идеей, Сень?

— Спрашиваешь! — оживился он.— Представляешь: мы решаем проблему, и первый ребенок входит в жизнь. Здесь эта сенсация будет по достоинству оценена. О нас загово-

рит вся Америка. К тому же, мы пойдем проторенной дорогой. Девочки вышлют мне работы грузинской школы. У меня к тебе единственная просьба...

— Кофе? — спросила она, вставая.

— Нет-нет, присядь, пожалуйста, Асенька, родная, я понимаю, что раньше... я имею в виду там, дома, ну, а потом здесь... Короче, тебе было не до этого. Но теперь, любимая, умоляю... подари мне ребенка!.. Ну, пожалуйста.

— Я согласна, любимый, обещаю тебе,— прижалась она к его щеке.— Он будет таким же красивым, как ты! Добрым и ласковым...

Утром, после ухода доктора на работу, Ася бесцельно бродила по дому и впервые в жизни, с глазами, полными слез, просила всемогущего Бога прийти ей на помощь.

«Господи! Если ты есть, помоги мне! — шептала она, судорожно обхватив подушку.— Умоляю тебя, сотвори чудо. Никто же никогда там, дома, не утверждал категорично, что я бесплодна. После той трагедии я была так одинока! А Вадим... он подолгу отсутствовал. Я торопилась стать матерью, прекратила лечение и обманула Вадима. Да и не ложью это было. Я сама поверила в беременность. Манюсенькие детки... Они так похожи и одинаковы. Любой роженице, пусть случайно, но принесут чужого ребенка... Она обласкает его и не отдаст никому. А потом, если необходимо, и сердце из груди вырвет для крохотки чужой...

Когда я поняла, что ошиблась, Вадим был в море... И я решилась взять в роддоме девочку. Ее мать удрала через окно, даже не взглянув на малышку. Разве это мать? А я не могла больше ждать. Все соседи видели меня располневшей, да и Вадька должен был вскоре вернуться... Я умоляла, объясняла, гинекологи дали справки, подтверждающие бесплодие... И Лерку мне отдали с нарушением закона — без письменного отказа той, что произвела ее на свет Божий. Она исчезла из Одессы... Господи! Сколько я потом выстрадала. За годы вымогательства и шантажа!.. Тот негодяй работал в роддоме и знал мою тайну. Когда его за какие-то махинации выгнали, он выдал себя за отца девочки... Что же мне оставалось делать, Господи?.. Я пошла на преступление, чтобы с ним рассчитаться. Но когда я сделала это, он заявил, что не отдал письменный отказ той женщины от материнских прав на Лероньку и нужно снова платить... Господи! Я потеряла все: родителей, первую любовь, доброе имя... Родину. Я живу и дышу лишь ребенком моим... И Семеном, которому исковеркала всю его жизнь.

Люди, узнав мою трагедию, оправдают меня.

А перед тобой я оправдана, если ты есть!.. Если ты и есть высшая совесть и добродетель...

Умоляю тебя, Господи, помоги мне! Не будет ребенка — Семен потребует, чтобы я лечилась, и узнает мою тайну. Ему лишь стоит меня осмотреть однажды...

А тогда!..»

— Что тогда? — произнесла она вслух, оторвав голову от подушки.— Тогда мне останется только это,— посмотрела она на застывшую на указательном пальце бирюзовую, усыпанную изумрудами, камею — старинный перстень свекрови, в тайнике которого ждала своего звездного часа ампула с ядом...

Прошло долгих три месяца. Все свободное время доктор изучал подходы к решению проблемы и даже успел получить от своих девочек посылку с нужной литературой, дюжину льняных дефицитных пододеяльников и засушенную ветку каштана от Нюры, Лерка с успехом покоряла руль «мустанга», сопровождая Дорис Пейдж в ее загородных прогулках. А настроение у Аси не менялось. Осмысливая ее состояние, Гельман не оставлял Лерку на вилле опекунши, ежедневно изыскивал время для коротких прогулок, с болью в сердце оторвал от семейного бюджета семьдесят долларов на сольный концерт Ростроповича и в начале августа был вознагражден звонким смехом и просветленным взглядом жены, поливающей цветники у коттеджа. Узнав «благую весть», он запретил ей заниматься домашней работой, предупреждал каждое желание, всякое общение начинал с надоевшей уже фразы: «Как ты себя чувствуешь?» — и, окончательно утомившись в борьбе за ее тонус, предался недолгому покою, убаюканный морем, доброжелательностью опекунши, радужными и совсем близкими жизненными свершениями.

Двухдневные каникулы прибавили бодрости и благотворно повлияли на Асю. Жизнь переселенцев на данном этапе была безоблачной и не вызывала опасений на ближайшее будущее.

Накануне сентября Лерку торжественно представили дирекции частной начальной школы, где ей надлежало настойчиво овладевать знаниями на протяжении целых четырех лет, и чистым прозрачным утром школьный автобус увез серьезную, повзрослевшую вдруг гимназистку в мир познания.

Взволнованная Ася, сгорая от нетерпения, дождалась окончания уроков в зеленом школьном парке и, отказав-

шись от транспорта, пошла с переполненной впечатлениями дочерью шумным осенним городом.

— Знаешь, мамочка, меня еще ничему не научили,— откровенно призналась златокудрая гимназистка.— Сказали, что завтра нужно снова идти.

— Тебе нравится в школе?..

К сожалению, Лерка не успела выразить свое отношение к новой системе познания... Тяжесть внизу живота, которую ощущала Ася в последние дни, внезапно сменилась острой болью, заставила ее крепче сжать руку дочери, беспомощно уронить на асфальт школьный ранец, оглянуться в поисках помощи, бросить умоляющий взгляд, который вдруг разбился на огненные снопы ярких, но враз затухающих искорок в бодрой толпе куда-то спешащих людей, и, теряя сознание, грузно осесть на дорогу. Лерка широко раскрытыми от неподдельного детского ужаса глазами посмотрела на лежащую без движения мать, залилась слезами, попробовала приподнять ее свинцом налитую голову, надсадно прокричала: «Мамочка! — и кинулась в людской водоворот. Но толпа текла мимо, не принимая всерьез испуганную «рыжеволосую кляксу», как сказал о ней своей подруге захиппованный студент со значком технологического на рубашке.

К тому же кричала она что-то непонятное и взывала к чему-то непостижимому на чужом для них языке, бегая от неподвижного тела к толпе и назад, и снова, протягивая ручонки к ним, и к небу, и к Богу...

Наконец, обессилев полностью, опустилась она рядышком на дорогу, подложила ладошки под материнскую голову и замерла над ней.

Любопытные водители исправно замедляли ход авто, бодро жестикулировали и хохотали, и говорили что-то смешное своим пассажирам, объезжали лежащую на проезжей части женщину и обезумевшую малютку и уносились прочь. Наконец, движущийся во встречном потоке патрульный полицейский «форд» включил сирену, проблесковый маяк, вырулил на осевую, резко развернулся и подъехал к ним.

Два полисмена вмиг положили Асю на носилки, третий взял на руки Лерку и опустил ее в салоне подле матери, над которой склонился «немолодой уже дядя в военной форме», как определила она его в детском сознании, и после беглого осмотра машина помчалась к муниципальной клинике, которую вызвал по рации один из представителей власти.

— Госпиталь?.. Сержант Беркли из полицейского управления,— устало проговорил он, посматривая на зареванную малышку.— Готовьтесь к операции. Женщина лет тридцати без сознания... с острым животом... Что?.. Сейчас... Джеймс,— повернулся он к одному из коллег,— взгляни на браслет.

— Слушаюсь, шеф, минуточку... Третья группа, резус положительный.

— Госпиталь!.. Третья, резус положительный... О'кей...

Гельман прочувствовал беду, как только каталку с больной подвезли к хирургическому столу и освободили от простыней. Из-за спин хлопочущих вокруг санитаров он не сразу увидел ее лицо, но упавшая вдруг неживая рука с материнской камеей на пальце словно обожгла его, вдруг захолодила под сердцем и заставила вздрогнуть от ужаса, покрыться липким противным потом и застыть у пульта анестезиолога.

— Вам плохо, Сэм? — участливо спросил его младший терапевт, Стив Перкинс, оторвавшись от кардиографа.

— Нет, нет, спасибо, Стив,— оправился он от шока, в котором еще пребывала она.— Все в порядке. Противошоковые и сердечные стимуляторы. Шприц для пунктира! — скомандовал хирург Сэмюэль Гельман.

Обнаружив кровь в брюшной полости, он все понял, впрочем, как и все остальные, и в течение трех часов оперировал миссис «X», как значилась она в приемной карте, по поводу «трубной беременности» с разрывом левого яичника и одноименной фаллопиевой трубы, а также запущенного рубцового поражения правой, которую он чистил и промывал после внутреннего иссечения битый час, не внимая совету главного хирурга перевязать ее и «умыть руки».

— Я понимаю и ценю ваши чувства, Сэм, и так же, как вы, вижу, что у больной еще не было детей,— сказал шеф, вопросительно поглядывая на анестезиолога,— но данная операция должна закончиться перевязыванием второй трубы, которая впоследствии может стать причиной повторного несчастья. Кто вас просил дарить ей надежду на материнство? Да и вряд ли она сама на это когда-нибудь решится. Так что вы напрасно, я считаю, увлеклись дополнительной работой.

— Вы очерствели, патрон,— ответил он, пытаясь сдержать вдруг вспыхнувший гнев.— Как с наркозом, Джеймс?

— Все в порядке... в том же режиме.

— Паркинс?!

— У меня о'кей, Сэм! Можете поработать с ней еще минут сорок. Копайтесь. Я за то, чтобы она стала матерью. Дерзайте. Да вознаградит вас Бог! Или будущий ребенок этой женщины.

— Мне в награду она сама,— по-русски ответил он.

— Небось, меня ругаете?

— Нет, патрон. Мне не за что ругать вас.

— Тогда заканчивайте. Апоневроз ушьют без вас.

— Нет-нет, я сам, спасибо...

Не дожидаясь, пока Асю увезут в реанимационный блок, Гольман пересек операционную, спустился в ординаторскую, в изнеможении упал в кресло, закрыл глаза. Но вдруг новая страшная мысль заставила его вскочить на ноги, судорожно схватить трубку телефона и позвонить опекунше.

— Дорис, милая! — с трудом преодолевая чувство леденящего душу страха, кричал он, не обращая внимания на удивленных, оторвавшихся от своих занятий коллег.— Я не знаю, где Лерочка! Она была в школе... Да... Но уже пять часов. Я только что прооперировал Асю. Об этом потом. Умоляю вас, пусть Мирриам приведет Лерочку к вам... Что? Я в ординаторской...

— Сэм, вы спасали свою соотечественницу?

— Да, Стив,— опустил он увлажнившиеся глаза.— Я оперировал свою жену... Асю.

— Как?! У вас же есть дочка!

— Моя дочка! И ее... Она ей ближе матери.

— Сэм, вы герой! Я преклоняюсь перед вашим мужеством. Сейчас же расскажу патрону о вашем подвиге.

— Не нужно... Благодарю вас... И очень прошу...

Телефонный звонок прервал его на полуслове. Дорис не нашла Лерку ни в школе, ни дома. Не было ее и в полицейском управлении, куда она тут же обратилась с просьбой о розыске.

— Не волнуйтесь, Сэм,— уговаривала она,— все группы уже сориентированы. Патрульные машины начали розыск. Я звоню из пункта оперативной связи. Подождите, не вешайте трубку...

Он опустился в кресло, прижал трубку плечом к уху, провел дрожащей рукой по волосам, посмотрел жалким, обреченным взглядом на Паркинса, участливо пододвинувшего ему сигареты, и заплакал.

— Что с вами, Сэм?

— Дочка исчезла... Боже мой, Стив! Что мне делать?! Девочка моя дорогая!

— Во-первых, успокойтесь и закурите. Дайте мне трубку... прикурите... Во-вторых, сто двадцать пять процентов — она найдется! А в-третьих... Что? Одну минуту... Сэм, вас!

В трубке журчал радостный голос Дорис Пейдж:

— Сэм! Вы слышите меня? Ее нашли, слышите?!

— Слышу, Дорис, слышу...

— Тогда прекратите плакать! Она никуда не исчезла. Ее катали в патрульной машине. Просто она всем очень нравится. Сержант Беркли от нее без ума. Ее повезли ко мне. Жду вас у себя...

Ночью доктор разрешил себе посетить Асю и, прильнув к ее голове, ощутил вдруг и тепло, и покой, и острейшее чувство первейшей жизненной необходимости высказать все, что рвалось к жизни из тайников его сердца.

Он вспомнил свое далекое детство, родителей, Нюру, которую любил, по его словам, при живой матери сильнее, чем мать... Ну, пусть не сильнее, но одной доброй и преданной сыновней любовью. С болью говорил о родных дочерях, бросивших его и променявших родного отца на сиротскую жизнь в Союзе. Он клялся ей в вечной любви и преданности и заключил свой монолог чисто профессиональным отчетом о проделанной работе и твердым обещанием подарить ей через два года максимум: «Когда ты окрепнешь»,— счастье и радость так желанного материнства.

Она молча гладила его руку и полными слез глазами глядела куда-то мимо: в окно, или в ночь, или в никуда — не чувствуя ни боли, ни радости, будто все случившееся вчера ее и не коснулось вовсе...

Да и случилось оно не с ней, а с той другой, чья судьба, и жизнь, и тайны просто уже известны и заслуживают того, чтобы ими мучаться и болеть. Его откровения опутали ее всю зримой заботой, успокоили, но не отвлекли от ужасной сути, с которой столкнулась она в миг расставания с болевым шоком. Вместе с сознанием к ней откровением уже вернулась страшная боязнь за тайну жизни своей, похороненную, как считала она, в час прощания с Родиной. А речь его расставила все на свои места, и точки над «I» расставила... и убедила в главном... в страшном самом...

— Береги Лероньку,— прошептала она, услышав скрип открываемой двери.— Напиши Вадиму о том, что я не предала я его,— это моя единственная просьба... И помни: у тебя здесь никогда и никого не будет роднее дочери нашей. Никогда не усомнись в ее любви к тебе. Она одна отдаст за тебя жизнь...

Под утро дежурная медсестра обнаружила ее мертвой, и даже старый, умудренный опытом паталогоанатом с трудом установил причину смерти Ассоль Леонидовны Гельман от отравления малоизученным органическим ядом...

После похорон доктор испросил себе трехмесячный отпуск, прожив его затворником в опустевшем до мерзости доме, не отпуская ни на минуту Лерку, с которой проводил все дни напролет и даже постельку ей устроил в своей спальне.

Дорис Пейдж не одобряла поведения Гельмана, но продолжала ненавязчиво опекать, оказывая молчаливые знаки внимания, поселила на время добрую Мирриам в его доме, но только в конце декабря сумела вытащить вдовца к себе, да и то по случаю своего дня рождения. Гости, музыка, танцы вырвали его из мира безмолвия, в который он погрузился после происшедшей трагедии. Праздник позволил ему отвлечься, расслабиться, забыться, вздохнуть полной грудью и снова ощутить себя живым человеком.

После веселья Дорис увела Гельмана в спальню Патриции, куда Мирриам тихо, чтобы не потревожить спящую Лерку, принесла шампанское.

Она усадила его в низкое кресло, присела рядом, пронзительно заглянула в его измученные глаза и, высоко подняв бокал, решительно заявила:

— Сэм, если вы не возражаете, я выпью за наше счастье!.. Я люблю вас и думаю, что вы никогда не уйдете из моего дома! Вы слабы, Сэм, а я сильная! Но вы талантливы, а я ничтожна! Всю жизнь я буду греться в лучах вашей славы. Моя любовь позволит вам стать популярным! Решайтесь, Сэм! Я люблю вас...

— Дорис, милая! Но я...

— Сэм, вы не один. У вас есть Пэтти. А мне ее Бог послал за все мои страдания на чужбине, ниспосланные небом моей матери и братьям. Я не отпущу вас никогда, слышите?

— Дорис, но Ася...

— Ее больше нет! А ми живем лишь однажды! И хотим, как все живое, просто покоя и счастья. К этому я стремилась всю жизнь... Не томите меня, выпьем?

— Да, Дора,— выдохнул он, прикладывая носовой платок к заблестевшим глазам.

— Плачь и забудь все беды свои. Плачь! Я люблю тебя,— прошептала она, отыскивая на половине пути его мокрые, чуть соленые губы.

ГЛАВА 28

Поздней рождественской ночью, когда изрядно захмелевший Санта-Клаус готовился к заслуженному отдыху у жаркого камина в добротно наряженной в желтые ковры гостиной среднего американца, на замороженной площади у центрального вокзала стояла вереница машин, ожидающих ночной экспресс из столицы. Замерзший Фред сидел в холодном «плимуте», зябко поеживаясь и не решаясь, в целях экономии, включить печку, обогреться, а заодно продуть стекла — придать такси обжитой вид, чтобы, Боже упаси, не отпугнуть клиента, которого он ожидал вот уже битый час, дав слово отработать праздничную ночь на высоких скоростях, дабы вернуться к Майке и своему наследнику Джерри Берману при «валютном настроении», как он называл удачные рабочие дни.

За год, проведенный в «стране чудес», им пришлось сменить три квартиры — причем из грязных меблирашек в Ист-Сайде они переехали в Южный Бронкс по совету вездесущего Маковского, благоволившего к сыну незабываемого «жулика от мяса», а оттуда в Ричмонд, спасаясь от «свирепых бродяг», как справедливо нарекла себя банда ночных головорезов, в Бруклин их изгнал с острова Стейтен суперсын Нью-Йорка — «Сын Сэма», чьи изуверские, граничащие с каннибализмом повадки достойно обсасывали средства массовой информации, и даже солидный «Лук» обещал читателям в скором будущем преподнести первое интервью с первым монстром запуганной его «подвигами» нации.

К счастью, на Лонг-Айленде было пока сравнительно тихо, именно в его западной, примыкающей к Манхаттену, части. И если бы не самоубийцы, желающие окунуться в Ист-Ривер и избирающие для себя последним трамплином в смерть один из унылых, нависших над проливом мостов во главе с Бруклинским эшафотом, чья громада высится в десяти минутах ходьбы от их дома; и если б не зловещая гарь и полный отчаяния смог, гнущие к земле, за неимением убежавшей на восток от цивилизации зелени, огромные трубы концернов тяжелой промышленности; и если б старинная набережная была свободна от взявших ее в плен, прочно и навсегда, многочисленных складов, чьи причалы спрутом тянутся к Гудзону и дальше, на необъятные просторы Атлантики,— район этот мог бы быть назван приемлемым для безбедной, счастливой жизни.

Правда их трехкомнатная, уютная, снабженная даже туалетом с бидэ и ванной с «умным смесителем» квартира была прекрасной. Не говоря уже о роскошной четырехконфорочной огромной электроволновой плите с двумя духовками, в одной из которых можно, по словам мистера Рэнди Джонсона, совладельца трех двадцатипятиэтажных билдингов, одного ресторана, нескольких варьете и прочей архинедвижимости, испечь всемирноизвестную гордость Нации — огромный пудинг... и даже вкуснее, чем приготовленный для Эллы Фицжеральд в театральном клубе «Хейсти Паддинг» в Гарварде, чествовавшем в ноябре обладательницу самого престижного приза «Гремми» в предъюбилейный девятый раз — за ее вечную молодость и полный очарования, с необычайными ритмической и тембровой окрасками, а равно удивительными, бьющими в уши и убивающими наповал хриплыми модуляциями голос.

Плата за квартиру, добытая Джонсоном путем простейшего арифметического сложения сумм за коммунальные услуги, полезную и неполезную, однако необходимую жилую площадь, территориальные выгоды района плюс несколько наценок и надбавок: за близость к Уолл-стрит, музыкальный дверной звонок, переговорное устройство с посетителем, ибо вызов к двери часто оканчивается трагически для вызываемого, и даже за эксплуатацию табличек «У нас все есть» и «Мы застрахованы», вырвала из скромного домашнего бюджета мистера Бермана свыше половины доходов, как и сумасбродные надежды на посещение в ближайшее время Ниагарского водопада и «Кафе-мороженое» на солнечном Невском проспекте.

Схоронив мечты вместе с увесистой пачкой долларов, полученных от продажи «русских сувениров» в заранее подготовленный, как папа учил, подоконник, Фред днем и ночью усиленно гонял тоннелями, мостами и автострадами округов федерального штата за лидером, имя которого — ДОЛЛАР — манило, снилось, притягивало и ускользало, невзирая на скорость, «айр кондишен» [1], а также прочие достоинства неэкономичного, но презентабельного и объемного «лимузина-катафалка», за баранкой коего «младенец каменных джунглей» постигал простую, откровенную и ужасную быль: богатство — мираж! — и на «плимуте» его не догонишь...

Если быть справедливым, как считал он в частных спорах с самим собой, то некоторые вершины за истекший период

---

[1] Айр кондишен *(англ.)* — кондиционер.

времени им были, несомненно, покорены. Накупил он батников и джинсовых костюмов, которым мог позавидовать любой фарцовщик с Крещатика. Без очереди приобретал на раскладке торговца газетами у арки Вашингтона против когда-то бунтарского, основанного студентами Гринвич-Виллидж периодику порнографических изданий всех мастей, до которых легко дотянуться, естественно, за приемлемую плату, подавшись немного в сторону. Его единственный наследник плавает в собственном надувном бассейне, и слух его ублажает не менее прекрасная музыка, чем та, что лилась из стереофонических колонок «Пионер» в далеком Киеве. Для защиты своей собственности, равно жены и себя самое, по сходной цене был приобретен им у подозрительного типа на Шестнадцатой авеню, севернее Восьмой стрит, рядом с салоном, в котором продаются изделия из кевлара фирмы БАИ [1], вороненый «вальтер» калибра 5,6 мм, с которым он никогда не расставался, помещая его в левом кармане при сиденье водителя или же во внутреннем куртки. Две запасные обоймы, надежно помещенные в пачку из-под удлиненных «Мальборо», не очень оттягивали задний карман вельветовых «бананов», зато придавали смелости, а порой и нахальства в разговоре с пьяными пассажирами, готовыми «за любую цену», а может, и «любой ценой», добраться ночью тоннелем под Нарроузом из Бруклина в Ричмонд.

Конечно, к услугам горожан есть густая сеть сибвея, а тоннели и даже трехкилометровый — Голландский — снабжены пешеходными дорожками, но смертник тот (да и вряд ли найдется такой «дернутый»), который по собственной инициативе полезет в их прокопченные желудки. Шансы выйти оттуда с бумажником, да и вообще выйти, а если уж выйти, то ни в коем случае не изнасилованным, мягко говоря, отсутствуют, а проще — равны нулю.

Смерть за спиной статуи Свободы работает без выходных! Да что там — без выходных?!

Без обеденного перерыва выдает она на-гора пятерых пристреленных, семнадцать изнасилованных и сорок три ограбленных в обычные «рабочие» сутки года при плохой погоде. Закон, власть и порядок и даже ангелы-хранители Тома Сливы — все бессильны в борьбе с истинной и ценимой свободой, которую новоиспеченный водитель такси испытал однажды на собственной шкуре.

[1] БАИ — Боди армор интернейшенл *(англ.)* — корпорация, выпускающая изделия из пуленепробиваемых тканей.

Случилось это солнечным летним днем, когда уставший от жары Фред зацепился за перламутровым «даймлером» на Бродвее, у фешенебельного ювелирного салона и в ожидании пассажиров решил наскоро пообедать, а вернее — перекусить: домашний сэндвич — на первое и сигарету — на второе...

Не успел он достать заветный пакет, как щелкнула дверца и на сиденье рядом с ним опустилась броская рыжеволосая «герла» из «тех девочек» и тоном избалованного котенка мяукнула:

— Куда отвезешь меня за двадцать долларов?

— Куда прикажете, мисс! — откладывая ленч до лучших времен, ответил он, включая зажигание.

— Тогда в «Центральный»,— предложила девица, удобно усаживаясь и расслабляя широкий джинсовый пояс, накрепко стягивающий и без того идеальную талию.

За время работы Фред несколько раз бывал в этом громадном титулованном агитпункте ада, некогда излюбленном месте отдыха горожан, лесопарке, имеющем «все для вас и только для вас!», как-то и чешские тиры, и русские качели и кегельбаны, и гриль-бары, и даже клинику и собственную подстанцию скорой медицинской помощи. Парк имел все для досуга и развлечений на любой вкус.

Но федеральные власти не сумели снабдить его гарантированной гражданам безопасностью от преступных посягательств убийц, грабителей, секс-маньяков и прочих монстров на честь и достоинство личности, решившей сбежать на часок от цивилизации, гари и копоти в волшебные зеленые кущи.

Перепуганные до смерти нью-йоркцы, чтившие грешной памятью потомков Дика Диллинжера, застреленного снайперами из ФБР у кинотеатра «Палас», отпрысков высоких кровей Дино Дженовезе и Лаки Лучано, отравленного содержимым чашечки кофе, выпитым им в римском аэропорту, страшного предка секс-вампа из Лос-Анжелеса, «Хилсайдского душителя» — Джо Тарраново, оставившего на измятой траве центрального парка девятерых растерзанных девушек, старшей из которых не было и семнадцати... Шестеро из них уже никогда не увидели солнца, но и после невинной гибели, по воле американской Фемиды, лжеобвиненного Чесмена настоящий душитель-насильник еще долгие восемь лет топтал залитую кровью землю...

«Непонятно, куда ей нужно!» — с тревогой подумал Фред, все дальше и дальше удаляясь от развлекательных аттракционов.

— Далеко еще? — спросил он, окидывая быстрым взглядом попутчицу.

— Держись правее и радуйся жизни. Она такая сладкая! — улыбнулась герл, прикуривая очередную сигарету.— Марихуану куришь?

— Пробовал, а что?

— Держи! — открыла она перед ним пачку.

— Спасибо. А если разобьемся?

— Ты будешь первым русским, погибшим здесь.

— Откуда тебе известно, что я русский?

— Ты еврей из России. Приехал в поисках счастья. Вас нетрудно узнать. Ну, а в отношении счастья — так я помогу тебе его отыскать. Ты приготовил двадцать долларов?

— Разве сегодня плачу я? — недоброжелательно уже спросил он.

— Я тебе не нравлюсь?

— Ты должна была спросить об этом еще там, на Бродвее. И вообще; я не знаю, кто ты такая?

— Я послана Богом оберегать тебя от негров и красных.

— Ты что, из ДДЭ? [1]

— Не говори глупости и сворачивай вправо,— прочувствовав его настроение, предложила она.

— Куда мы едем?

— Ты джентльмен?

— Я еще не стал им.

— Тогда доверься мне. Я сделаю тебя джентльменом.

— Мне как-то не хочется...

— Побыть со мной?

— И с тобой тоже не хочется.

— Не гони, сейчас будет съезд... вот здесь. Держись левее, сворачивай.

— Здесь нет трассы,— притормозил он, с сомнением осматривая густую буковую рощу.

— Она нам и не нужна. Ну, смелее же, красавчик!

Фред неуверенно свернул на лесную дорогу и повел машину к густым зарослям вереска и молодой осоки, убегающим к скрытому за косогором водоему. «Совсем, как дома»,— подумал он, едва втискивая широкий автомобиль меж вековых, глядевших еще на рассвет нации дерев.

— Останови! — внезапно предложила девица, подвигаясь к нему.— Закрой глаза!.. ну, прошу же!

---

[1] ДДЭ — Джуиш Дайрект Экшн *(англ.)* — одно из подразделений Лиги защиты евреев.

— Что ты хочешь?

— Ну и растяпа!.. Что я хочу?! Поцеловать своего красавчика.

— Может, не нужно?

— А за что же ты будешь платить? Двадцать долларов, я думаю, нужно отлюбить. Выйдем на воздух.

— Мне здесь удобнее,— решил он, отбрасывая спинку сиденья.

— Ты опоздал, русский! — внезапно отстранилась она.— Мы не одни!

На мгновение Фред прилип к сиденью, обнаружив в зеркальце заднего вида примерзший к багажнику «датсун» зеленого цвета. Рука его инстинктивно потянулась к «вальтеру», но, переместив взгляд на боковое стекло, он узрел хохочущее дуло чуть потолще 0,45 дюйма [1] и, подчиняясь резкому окрику, вышел на свет Божий.

Перед ним стояли двое парней с бесцветными глазами и квадратными подбородками, по виду которых знаток без труда бы определил сотрудников ФБР, исполнителей нью-йоркского отделения горизонтального подчинения мафии, а вернее всего — обученных в Вудборне бандитов из «Хадасса», один из которых бесцеремонно вертанул его вокруг оси, обыскал и подтолкнул к «датсуну».

— Только не будь шутником,— предупредил он, заметив, что похищенный беспомощно озирается в поисках «дороги жизни».— Эта штука,— крутанул он перед ним шмайсер,— делает дыру величиной с дурную голову. А кроме того, мы твои друзья.

В «датсуне» он обнаружил еще двоих гангстеров и, удобно устроившись между ними на заднем сиденье, в течение получаса уяснял, чего хотят от него рыцари плаща и кинжала, облаченные в потертые джинсы и безобидные голубые батники со студенческими значками Куин-колледжа над кармашками и потертыми «Звездами Давида» на левых рукавах.

Передав в руки новых друзей трехсотдолларовый месячный взнос, он увозил в жизнь защиту от «черного», то есть негритянского антисемитизма, а также право брать пассажиров в самых выгодных районах города, включая тихие игорные дома, сионистские увеселительные заведения, стриптиз-бары, ночные диско и вокзалы Манхеттена.

— При случае будешь получать работу и от нас,— пообещал ему обладатель шмайсера.— Мы понимаем, что ты

---

[1] 0,45 дюйма — калибр 11,4 мм.

не из Лазаров и Бэйчей, а поэтому поможем тебе заработать. Месячные взносы будешь передавать Сабине.

— Где ее искать? — по-деловому спросил он, оправившись от испуга.

— Она сама разыщет тебя, не волнуйся. Все понял?

— Да!

— О'кей!..

Он распрощался с «друзьями», вдохнул полной грудью, радуясь и солнцу, и чистому небу, дружески улыбнулся «Юности», безмятежно лежащей в высокой, сочной траве, безразлично посмотрел в сторону удаляющегося «датсуна» с бешено вращающимся в барабане номерным знаком, опустился на траву и безмятежно закрыл глаза. В следующую секунду он почувствовал колобком прокатившуюся по руке голову Сабины, ее жадную руку на своих джинсах, сжигающий шорох губ: «Люби меня, только бесплатно!» — и растворился в запольшной горечи одномоментного чувства...

Друзья сдержали свои обещания: с каждым новым днем Фред все глубже внедрялся в клиентуру нью-йоркской ночи, сшибая доллары с гулящих и гуляющих, щедрых официантов и не менее добрых завсегдатаев ночных диско, стрип-тиз-баров и кабаре, подозрительных типов от Сабины, и даже был удостоен огромной чести и доверия по перевозке в Буффало вдоль Эри-канала двух цинковых гробов, заполненных тем, что осталось от вчера еще пышущих здоровьем джентльменов, наживших «кое-что» на подпольной торговле гашишем и по пуле из Манлихер-Каркано.

Сабина периодически появлялась в поле его зрения, всегда без предупреждения, но с презентом. В основном, подарки были чисто символическими, и только глубокой осенью он был тронут за живое: ползунки из кевлара достойно украсили гардероб наследника, а пули для «вальтера» с жуткой начинкой из стальной, закаленной, покрытой антикоагулянтами дроби придали ему уверенности при ночных встречах с пьяными компаниями.

В середине ноября Фред по ее просьбе выполнил несколько мелких, но щедро оплаченных поручений, доставляя адресатам всего лишь по банке «Максвел Хаус». Причем никуда не нужно было ехать, никого не нужно разыскивать, просто бросил кофе в багажный ящик — и занимайся своей работой до тех пор, пока на стоянке у вербовочного аквариума «Джи Ай», куда он должен был в такие дни непременно возвращаться изо всех поездок, к нему в маши-

ну садился очередной бесцветный тип, называл его «Красавчиком», передавал памятный брелок Сабины, забирал кофе и растворялся в сутолоке у дорогих отелей и ресторанов. Фред не принюхивался к содержимому банок, хоть и знал наверняка, что заполнены они чем-то другим. Забирая памятный брелок, Сабина также не интересовалась передачей этих банок адресатам, но, явно удовлетворенная исполнительностью русского, попросила однажды ее покатать и, раскрыв сумочку, вдруг предложила произвести ченч сугубо по-американски:

— Ты даешь мне «вальтер», Красавчик... Кстати, когда ты рассчитаешься за кличку?

— ??

— А взамен получаешь от меня вот это! — достала она крытый ядовитой зеленью «Хай-Стандард».

— Ты считаешь, что он мне необходим?

— Чудак! Сейчас все ребята достают такие. Они лучше во всех отношениях: и сильнее, и точнее, и спуск великолепный. В десяти шагах выстрела не слышно. Как-нибудь поедем постреляем, хорошо?!

— С удовольствием. Какого он калибра?

— 5,6, Красавчик. Думаешь, я напрасно дарила тебе пули? Они еще живы?

— Ты дала мне одну обойму. Я и берегу ее, как память.

— При случае принесу еще... Не расстраивайся...

...Фред зевнул, потянулся, посмотрел на часы. До прихода экспресса оставалось семь минут. Пора. Пассажира нужно встречать у тоннеля. Тем более, в рождественскую ночь.

Он вышел из машины, поднял воротник куртки и, спрятав руки в карманы, пошел через залитую огнями рекламы и иллюминации площадь.

Сабину он увидел у тонелля. Она высунулась из окна притормаживающего «форда» и была, как всегда, трезва.

— Красавчик! — крикнула она.— Наконец-то! Все стоянки объехали, полгорода исколесили. Даже в «Кеннеди» гоняли. Цепляйся за нами, дело есть...

Он вернулся к машине и через несколько минут бешеной гонки узкими коридорами Манхеттена припарковался у старой паромной переправы. Сабина небрежно плюхнулась на сиденье, дотронулась губами до его свежевыбритой щеки и, всматриваясь влажно-серыми глазами куда-то в сторону, тихо проговорила:

— Красавчик! Есть работа. Очень срочная...

— Сколько стоит? — с живостью спросил он, отмечая неясные, запрессованные в «форд» силуэты.

— Доллар километр.

— А сколько километров?

— Во Флориду и назад. Оплата по спидометру. Ты согласен?

— Конечно.

— Тогда держи,— бросила она ему на колени пачку долларов.— Здесь — тысяча. Остальное — по возвращению.

Он небрежно пересчитал деньги, положил их на сиденье, чем удивил ее до глубин душевных, и спросил:

— Что везти?

— Сейчас объясню,— ответила она, прикуривая.

Услышав, как он жадно принюхивается, она кокетливо улыбнулась:

— Придется тебя разочаровать. Зимой в машине курить «черпушку» неполезно. Шериф также имеет носик. Порой длиннее, чем нужно. А теперь слушай и запоминай. Ты едешь в Джексон. Через Вашингтон и Атланту. Возвращаешься через Мемфис и Питсбург или Норфолк. Как тебе будет удобно, только не по побережью. Джексон — маленький курортный городок. Каждый житель имеет на каждый день расписное сомбреро, замечу, чрезвычайно экзотическое, новейший «джип» и станковый пулемет. Заигрывать с ними, как ты понимаешь, небезопасно.

Там разыщешь мотель, он у них единственный. Находится рядом с юридической фирмой. Припарковываешься, а через пять минут уезжаешь. Все,— откинулась она на спинку сиденья.

— Что я туда повезу?

— Себя красивого.

— А назад?

— Кофе, конечно. Ты что, все еще не знаешь свой груз?!

— И много кофе?

— Десять банок.

— Ого!

— Какая тебе разница? Ты что, машину перегрузишь?

— Вот что, Сабина,— произнес он после минутного молчания.— Как я понимаю, ты представляешь мир деловых людей, верно?

— Наверное.

— И мне пора стать таким же деловым, как другие?!

— К чему ты клонишь? Говори начистоту.

— Постараюсь! За кофе — эта плата явно завышена. Его навалом в любом маркете. Но за тот груз, который перевожу я,— она чрезвычайно мала.

— Поэтому ты требуешь надбавку?

— Прошу, Сабина.

— Какую?

— Две тысячи с банки.

— Подожди минуточку,— бросила она, выскакивая из машины.

Вернувшись, передала бизнесмену две тысячи долларов в счет выполнения заказа по рождественскому аккордному наряду.

Фред заскочил домой, предупредил сонную Майку о том, что вернется через четверо суток или раньше, постоял у кроватки наследника, выпил чашечку крепкого, отдающего ванилью и кардамоном кофе, запил его холодной водой и в три часа уже наматывал на бескамерные покрышки хайвей штата Мэриленд.

К цели путешествия он домчал без приключений, если не считать часовую остановку под Атлантой, связанную с проверкой документов в связи с таинственным исчезновением сразу пятерых детей, которые безуспешно разыскиваются полицейским управлением, ФБР и армейскими подразделениями Джорджии в течение трех суток.

Вырвавшись из очага массового киднапинга, он позволил себе позавтракать в придорожном ресторанчике под Бирмингемом и, уже не сбавляя скорости, достиг Джексона, пересек по старому мосту широченную Змеиную реку и, любуясь величественной, убегающей в рисованное лазурное небо Тевтонской стеной, въехал в курортный город. Без труда отыскал экзотический, цветастый мотель, лихо развернулся на пятачке перед добротным деревянным зданием адвокатской фирмы и припарковался.

Сабина оказалась права: не успел подумать о полученной возможности выйти на свежий воздух размяться, как в дверях офиса показалась ее близняшка в отороченной рыжей ламой дубленке, в подвернутых, спадающих на высокие сапоги джинсах и соболином меховом треухе. Спортивная сумка на длинном ремне дополняла ее экипировку. Она весело улыбнулась, приветливо, как старому знакомому, помахала рукой, и, не поблагодарив за предупредительно приоткрытую дверцу, бросилась ему на шею.

— Красавчик, милый! Улыбайся, черт возьми, и поцелуй меня. Только не в глаза, они накрашены,— прошептала она.— Молодец, что быстро нашел меня. Поехали.

Фред, сохраняя полнейшую невозмутимость, включил зажигание и, всматриваясь в лица немногочисленных пешеходов, не обративших ни малейшего внимания на их горячую встречу, вырулил на дорогу.

— У тебя на редкость нефотогеничное лицо,— сделала она ему утренний комплимент, сравнивая добытую из пудреницы фотографию с оригиналом.— Возьми на память. В жизни ты гораздо лучше.

— Какой удался, Мегги,— ответил он, с интересом рассматривая поляроидный снимок.— Кстати, я не позировал.

— Почему ты назвал меня Мегги?

— Потому что ты похожа на девочку Мегги из сказки. Кроме того, это имя первым возникло в моей сонной голове.

— Спать нельзя, тебя ожидают в Нью-Йорке,— с некоторым сожалением проговорила она, вынимая из сумки «товар», втиснутый в фирменный пакет одного из нью-йоркских универмагов.— Куда положить?

— Брось на заднее сиденье, я спрячу. И отдай мне брелок.

— Ах, да! Чуть не забыла. Держи... Останови, я ухожу. Прощай, Красавчик...

Он провожал ее взглядом, пока удлиненная дубленка не растаяла за габаритами накрыльного зеркала, затем изорвал в клочья фотографию, запечатлевшую его у багажника автомобиля рядом с номерным знаком и, набирая скорость, развеял ее прах по ветру.

В Мемфисе он позволил себе восьмичасовой отдых, взбодрился в ванне уютного одноместного номера в старом отеле «Клифт» и уснул с «Хай Стандардом» под подушкой, накрепко прижимая к груди достойный благих чувств «товар».

Вечером следующего дня, благополучно миновав [illegible], презирая непогоду и насморк, он направил в лицо поток свежего воздуха и, из последних сил борясь с усталостью, продолжал закармливать ненасытный «плимут» [illegible]ным скоростным фривеем[1].

Устав от бешеной гонки [illegible] он с радостью притормозил на [illegible] немолодого уже мужчины, одиноко стоящего на [illegible] в районе Ньюарка. Он остановился у обочины, слегка опустил стекло правой передней дверки, левой рукой дотронулся к рукоятке пистолета, устало спросил

---

[1] Фривей *(англ.)* — скоростная автострада.

— Куда вам?

— В Нью-Йорк? — вопросом ответил тот.

— Да, садитесь,— пригласил Фред, выключая свет в салоне, так как больше всего не желал быть внезапно ослепленным со всеми вытекающими отсюда последствиями, присущими бандитскому налету на водителя такси.

— Тогда я с вами,— подошел пассажир к задней дверке.

— Нет-нет, садитесь вперед! — властно скомандовал он, поднимая запорный щиток дверцы.— Здесь теплее,— уже добродушно добавил он, погасив в себе страхи.— Вам в Нью-Йорк?

— Да. Я живу в Гарлеме... Всю жизнь,— вздохнул старик, преодолевая неловкость.— Вы извините, я не предупредил, что езжу «автостопом». Денег у меня, к сожалению, нет.

— Не страшно... я устал от одиночества и перед вашим появлением молил Бога о том, чтобы он послал мне попутчика.

— Если бы был Бог, то я не мотался б в Филу... он бы дал мне работу в моем Гарлеме. Я уже четвертую зиму работаю здесь на ферме у Эдди Кантрелла. Он на мое место никого не берет. Ждет меня, потому что знает — старому Джеку Хьюзу можно доверить любую работу. Правда, поручает он мне самую грязную, хоть у него есть где приложить руки. Да что поделаешь?.. Все хотят работать. У всех дети... У меня четверо, но лишь один работает. Живем вместе, еле концы с концами сводим. Поэтому я и устроился у Кантрелла и живу у него по неделе. Только на воскресенье приезжаю к своей Присцилле. Но вам это неинтересно, вы уж извините старого Джека Хьюза.

— Нет, почему же, напротив, мне очень интересно,— ответил он, всматриваясь в зарево огней на горизонте и радостно ощущая близость дома.— Но, думаю, что ваша история слишком оригинальна.

— Оригинальна? К сожалению, нет. В Гарлеме живет около миллиона моих соотечественников, и у половины из них жизнь так же оригинальна, как и моя.

Еще в то время, когда голландцы основали на месте сегодняшнего Гарлема деревню Новый Амстердам, наш район навсегда подружился с бедностью, злом и пороком. И еще тогда, наверное, отвернулся от Гарлема Бог разнокожих людей. Мы так же бедны, как наши прадеды, деды и отцы. На смену нам пришли дети, которые повторяют судьбы своих отцов. Никогда в мире богатых не будет счастливым бедный человек.

— Ну, а как быть с теми, что были бедны, но разбогатели?

— Не знаю... Но уверен: богатство одного — это кровь, пот и мозоли многих. Или же оно — преступление. Вы извините, что я резок. Старый Джек Хьюз привык говорить правду. Заболтал я вас совсем. Вон у вас бензин на нуле, а я все болтаю.

Фред посмотрел на приборную панель, зло чертыхнулся и свернул к автозаправке, пристроился в хвост очереди, прождал несколько минут и, определив, что машины не продвигаются к автоматам, прошел к сидящим без дела автослесарям.

— Что случилось?

— Ничего особенного, сэр. Бастуем до восьми часов,— устало протянул один из них.— Требуем за работу в ночные часы сто процентов надбавки... вместо семидесяти...

Он вернулся к машине, открыл багажник, вылил в жадную пересохшую глотку бензобака содержимое последней канистры, забрал бесценный груз и в кабине бросил его под сиденье.

— Спасибо вам большое! Я, наверное, пойду,— нерешительно проговорил вечерний пассажир,— здесь рядом подземка.

— Как хотите, до свиданья,— попрощался Фред и, закрыв дверцы на ключ, подошел к соседней машине. Постучал в окошко.

— Протяните немного. Я хочу выехать.

— Подожди, через час они начнут работать. Да и метр тебя вряд ли устроит. Попроси вон тех,— показал тот на полицейский «форд» с сигнальной фарой и гербами на дверцах.

Фред подошел к водителю-полисмену.

— Тебе что, неймется? — ответил тот на его просьбу.— Или ты лучше всех, а?

— Я вам этого не сказал. Просто подумал, что вам ничего не стоит...

— Конечно, мне ничего не стоит,— прервал он его,— проверить твои лицензионные карточки и тебя самого... Что-то ты плохо стоишь на ногах парень? Дик! А ну, проверь его, он мне не нравится.

Сержант вышел из машины, подошел вплотную, впился подозрительным взглядом в его покрасневшие от бессонницы глаза, принюхался и приказал:

— Дыши, только поглубже!

Фред глубоко вдохнул и полно выдохнул широко открытым ртом воздух.

— Еще!.. И еще раз... хорошо. Предъяви карточки и права.

Фред послушно сел в машину, приоткрыл багажный ящик, в верхней стенке которого под специально предназначенной для этой цели пружиной хранил документы. Этой роковой минуты хватило для того, чтобы полисмен обнаружил пистолет и неуловимым движением выдернул его из тайника.

— Чего ты копаешься? — недовольно проворчал он, пряча пистолет в карман.— Давай поживее.

— Пожалуйста...

Полисмен просмотрел карточки, небрежно бросил их ему на колени.

— Да ты, парень, пьян! И поэтому поедешь со мной.

— Плакали твои пятьсот долларов! — поздравили его из толпы.

— Это ерунда! — добавил сержант.— Можно и год тюрьмы схлопотать. Мы живем в штате Нью-Йорк, господа! — окинул он всех гордым и решительным взглядом...

По дороге в участок изрядно перетрусивший Фред постарался решить вопрос мирно и разойтись по-дружески.

— Послушай, сержант! — тоном нашкодившего ребенка начал он, притрагиваясь к его руке.— Останови на минуту.

— Чего еще? — спросил тот, выруливая на осевую.

— Понимаешь, сержант, я чертовски устал за день, и поэтому не хочу ехать в твой офис. Возьми двести, и я поеду домой.

— Пятьсот! — ответил тот, нажимая на акселератор.

— Да подожди ты! Я б заплатил пятьсот, если бы был пьян. Мне же тоже известны законы штата. Но я — трезвый.

— Тогда зачем ты жертвуешь двумя сотнями?

— Чтоб не терять времени.

— Нет, тут что-то не то, парень! — проговорил представитель закона, торгуясь с самим собой.— Пятьсот, если хочешь... и останемся друзьями.

— Ну хорошо... Уговорил. Только для этого отвези меня в Бруклин. Я заскочу за деньгами...

— О'кей, поехали.

Заподозривший неладное, полисмен доставил его в полицейский участок, где после отказа в предъявлении регистрационного свидетельства на пистолет, выяснилось, что переселенец, не имеющий нужной информации, а равно американского гражданства, не знает о существовании национальной стрелковой ассоциации со штаб-квартирой в столице,

расположенной всего в километре от Белого дома, как и не догадывается о необходимости зарегистрировать купленное оружие в одном из многочисленных отделений головной фирмы, которые буквально за гроши узаконивают хранение каждой огнестрельной единицы из пятидесяти миллионов, находящихся во владении нации.

Изъятые при обыске десять банок кофе вызвали недоумение на лицах блюстителей закона, холодный пот и обескровленное лицо задержанного, что также не ускользнуло от внимательных взглядов инспекторов. После просвечивания банку торжественно вскрыли, что вызвало неподдельное восхищение сотрудников полиции. После чего последовали: примерка наручников, перевод подозреваемого в одиночку и срочный вызов представителей специального ведомства по борьбе с наркомафией. Последние после поверхностного осмотра содержимого банок кофе бросили «бизнесмена» в крытую машину, увезли к себе, где судьба его решилась быстро и навсегда.

— Милостивый государь! — заявил ему один из них после повторного знакомства с биографическими данными.— Имею честь уведомить вас в том, что вы арестованы и обвиняетесь в транспортировке и хранении героина. Учтите, что каждое сказанное вами слово может быть истолковано против вас.

— Распишитесь!

Фред взял услужливо протянутую ручку, долго вчитывался в содержание уголовно-процессуального документа и, определив для себя норму поведения в данных конкретных условиях, прочно забыл Сабину, размашисто расписался и заявил без излишней скромности, но с апломбом:

— Это еще нужно доказать!

К сожалению, он обольщался: в его сбивчивый рассказ о вечернем пассажире из Ньюарка, который испугавшись полицейского автомобиля на автозаправке, забыл свой пакет, никто не поверил, а на требование связаться с опекуном, Беном Ледовских, фабрикантом брюк из Бриджпора на предмет вызова адвоката, лишь рассмеялись. Просьбу о вызове прокурора, высказанную им также в весьма тактичной форме, попросту игнорировали, сопроводили длинным коридором, втолкнули в полутемную комнату, усадили в высокое кресло, накрепко привязав к последнему и руки и ноги, а позволив отдышаться, включили яркое освещение, в связи с чем он от удовольствия тут же закрыл глаза.

Комната, окрашенная белее белого в белый цвет, ядовито люминисцировала, а две тысячеваттные лампы, мгновенно расстрелявшие его мозг, нестерпимо выжигали малейшую испарину на лице, иссушили глотку, и бронхи, и легкие раздавили, расплавили, залили его, превратившегося в ртуть, в огненную сковородку, которую подогревает адским пламенем, зажатым в женственной и ласковой руке, «гнусная бронзовая дамочка с побережья».

Подвергнутый перекрестному допросу группой опытных взаимозаменяемых через каждые четверть часа следователей, работающих «из любви к искусству» в черных защитных очках, он пробудил к жизни мертвую защиту в виде слез, изощренных проклятий, площадной небоскребной брани на русском и нелепых, облаченных в торг притязаний на глоток проливаемой перед его носом из стакана на пол воды.

Через два часа, перед тем, как оказаться в черной стране беспамятства, он с жутким энтузиазмом попытался улыбнуться и без разрешения окунулся в небытие...

Очнулся Фред в тихой уютной комнате с решетками на высоком окошке, с полным воды графином на тумбочке и букетиком пластмассовых нарциссов в плоском, ввинченном в стену пластиковом кувшине. Он лежал в домашней постели, не шевелясь и не пытаясь упрятать под спудом душевной травмы ранние слезы сострадания, равно и позднее раскаяние — неминуемые качества грешника, «страждущего по себе».

Рядом на вмонтированном в бетон табурете сидел немолодой уже джентельмен с усталым лицом, слезящимися глазами и стеклами очков, замершими поверх глаз, среди укатанных, глубоких, с рытвинами лобных дорог.

— Я ваш следователь, Берман,— проговорил он, отметив возвращение грешника в рай обетованный.— Меня зовут Дэн Тейлор. Я буду вести следствие по вашему делу. Вы меня слышите?

Подследственный чуть кивнул неизмеримо тяжелой, с рвущимися из мозгов наружу, пульсирующими реками крови головой.

— У меня для вас новость! — заметив реакцию подследственного, продолжал Тейлор.— Те, кто снабдил вас «Хай-Стандардом» со спиленным номером, кстати, мы его уже установили,— желали лишь вашей смерти. Хочу вас обрадовать сообщением, что пистолет был приобретен полтора года назад солидным человеком из Лиги защиты евреев. Правда, этот тип в настоящее время проживает в Израиле.

Но об этом после. Сейчас мы посмотрим фильм под названием: «Пробные стрельбы из вашего пистолета».— Он снял трубку телефона.— Пожалуйста, Бейси.

Погас свет, и прямо против него на экране закопошились какие-то люди, закрепляющие пистолет в специальном держателе.

— Бейси! — скомандовал Тейлор.— Пистолет крупным планом со всех сторон. Пусть Берман его опознает... А теперь, пожалуйста, выстрел и его последствия. Только помедленней, я имею ввиду последствия,— улыбнулся Тейлор...

Во время просмотра фильма Фред воскресил в себе похороненную памятью Сабину, жемчуг зубов ее похотливого рта, призывную улыбку и заманчивое предложение обязательно как-нибудь пострелять в лесу из подаренного ею пистолета.

Воскресил и проклял! Навсегда! Навечно! «Сколько жить буду»!

— Сука! — простонал он...

При выстреле затвор пистолета отлетел назад и пробил два экрана двухмиллиметровой листовой стали, расставленных позади стреляющего на расстоянии 60—90 сантиметров.

— Ну как? — спросил торжествующий Тейлор.

— Не верю,— раздался в ответ слабый голос подследственного.

— Идти сможете?

— Смогу...

Через десять минут в подвальном стрельбище у баллистиков Тейлор повторил свой вопрос вконец очумевшему подследственному.

— Что же вы молчите, Берман? Нет слов от восторга?! А может, вы вовсе и не еврей? Может быть, вы русский?! А??? Ведь «Джойнт» и Б'най б'рит поклялись пролить на наших улицах ненавистную всему свободному миру русскую кровь! Отвечайте же!..

— Пошел ты...— напрягшись всем телом, хрипло прокричал он.

— Не понимаю. Говорите по-английски и не орите.

— Я буду орать до утра! — в истерике кричал Фред, брызгая слюной, размахивая руками и содрагаясь от ужаса, беспомощности и безысходности.

— До утра! — схватил его за горло один из «экспертов-баллистиков».— Ах ты, красная сволочь! Ты вообще знаешь, что такое Федеральное бюро расследования преступлений?

До утра мы тебе вышибем все зубы. Бросим в общую, где наши уголовники очень любят «красных цыплят». Они там живо сделают тебя педерастом... Ну, а потом отвезем тебя в Лэнгли...

ГЛАВА 29

Не привыкшая к долгим отлучкам супруга, Майка стойко переносила одиночество в течение трех долгих рождественских дней. После полудня она с маленьким Джерри прогуливалась по захламленной набережной, всматриваясь в нескончаемые потоки автомобилей, и возвращалась домой разочарованная, обещая себе впредь не отпускать любимого и единственного кормильца никуда, никогда и ни за какие деньги.

Вечерами она подолгу стояла в удивительно вдруг прохладной одинокой спальне, окидывая беспокойным взглядом нескончаемую звездную, больную, расколотую офисами международного торгового центра и знаменитым Эмпайром, увенчанным шестидесятисемиметровой рапирой телевышки, небесную твердь, студеные воды Ист-Ривер, в которых затеял веселую пляску неон, играя доведенными до отчаяния судьбами и мириадами гневных огней в страхе бегущей, прыгающей, рычащей, манящей карусельной рекламы. Одиночество сковывало, раздражало, рождало ненужные мысли, воспоминания об утраченном, недосягаемом, но всегда памятном, и всякий раз под сердце подкатывалось чувство страха.

В такие минуты она бежала и от окна, и от себя к маленькому ребятенку, возлежавшему в теплой постельке с туго еще спеленатыми на ночь ножками. Маленький Георгий, названный так в память о погибшем в третий день войны прадеде при защите священной границы на Буге, был сразу же переименован в Джерри — дань американизации Бермана русского происхождения. Наследник еще не воспринимал сиреневых тонов райской жизни, а потому безмятежно спал, раскинув одетые в варежки для предупреждения членовредительства ручонки, чуть посапывая и улыбаясь пухленьким ангелочкам — любителям ночных игр с непорочными, что такая редкость, созданиями.

Но если это обман — грех, то Джерри в эту тихую, полную тревог ночь согрешил, по крайней мере, дважды, пробуя силу дыхательного аппарата и прочность голосовых связок без малейших к тому предпосылок.

«Зубки, наверное»,— решила Майка, удостоверившись в первичатой свежести сынишки, в очередной раз переступая через свою же клятву, прикладывая его к груди поздней ночью.

Ощутив и родной запах, и блаженство, и источник насыщения одновременно, малыш с жадностью заработал беззубым ротиком, но был вдруг остановлен соловьиной трелью дверного звонка. Майка, забыв о весомооплачиваемом переговорном устройстве, кинулась в прихожую, взволнованно, с надеждой спросила:

— Ромка, ты?!

— Полиция, открывайте! — резануло молнией по сознанию, приостановило на мгновение сердце. Оно ударило под горло: раз, другой, третий... Птицей раненой закамнилось вниз и, взмыв из последних сил вверх, зашлось под грудиной...— Не отходите от дверей, открывайте. Или мы взломаем дверь.

«А если грабители?» — вдруг осенила ее страшная догадка. Она вбежала в гостиную. Посмотрела в глазок перископа, прижала к груди сына и включила дверной автомат...

В квартиру шумно ворвались полисмены, оперативные сотрудники ФБР и вездесущие газетчики, любители скандальной хроники. Защелкали блицами фотозатворы. Начался обыск.

Лишенный радости Джерри издал гневный, переходящий в визг плач. Майка окинула растерянным взглядом превратившуюся в поле боя квартиру и обратилась к развалившемуся в кресле усталому и безразличному к происходящему джентльмену.

— Объясните мне, что здесь происходит?

— Что происходит? — даже не взглянув на хозяйку квартиры, повторил он.— Обычный обыск.

— Простите, но вы не предъявили мне никаких документов на обыск. По какому праву вы ворвались в мою квартиру?

— Право! Какое право? Федеральное бюро расследования преступлений наделено полномочиями Президентом Соединенных Штатов Америки.

— Да, но обыск должен быть санкционирован,— не унималась Майка.

— Повторяю, нам не нужна санкция,— усмехнулся он.— Нам нужны наркотики.

— В моем доме нет наркотиков. Ваши незаконные действия завтра же будут обжалованы.

— Миссис Берман, наверное, забыла о том, что живет в свободной стране, а не в коммунистическом питомнике. И не мешайте, пожалуйста, моим мальчикам работать, унесите этого красного крикуна...

Ранним утром Майка позвонила опекуну, который принял ее тотчас в укрытом красными коврами кабинете своей старой городской квартиры и, не осведомившись о прибавке веса спящего на коленях наследника подопечной, молча выслушал информацию, пустил в потолок очередную дымовую завесу из толщенной «гаваны», затем позвонил адвокату и поручил ему заняться делом Бермана.

— Не волнуйтесь, Мэй! Как говорят у нас: сто двадцать пять процентов уверенности,— спокойно проговорил он, одаривая ее искоркой надежды.— Все будет о'кей. Америка тем и хороша, что не знаешь сегодня, где встретишь рассвет завтрашнего дня. И встретишь ли?.. Каждый миг кого-то сажают. И это и объяснимо — здесь у каждого свой бизнес, свои страсти. Конечно, я не верю, что Фред за год сумел освоить подобные горизонты. Но у нас все возможно. Мы живем в стране равных возможностей, тем более, у вашего супруга, Мэй, вызывающе порядочное лицо. Обычно первое впечатление решает дело. Кейпл увидится с ним сегодня же. Конечно, я не обещаю, что его освободят. В делах подобного рода, как мне кажется, денежный залог напрасен. Да и кто вам даст деньги? Лига защиты? Маковский? Синагога? Или я? Никогда! Никогда,— повторил опекун,— и не сердитесь, Мэй. Это не в его интересах. Если Фреду хоть что-нибудь известно, то свобода — его эшафот. Здесь умеют лишать бесценного дара речи. Правда, с одновременной остановкой сердца. Что поделаешь... В век технического шпионажа тайны нуждаются в реальной охране... Не будем гадать. Подождем до вечера. Я вас ожидаю в девять. И, пожалуйста, без ребенка.

— Мне, к сожалению, не с кем его оставить.

— Ах, да! Совершенно забыл. Позвоните мне через два часа...

Грегорий Кейпл, преуспевающий адвокат средней руки, отдал служению слишком экзальтированной, порой преступно заблуждающейся или намеренно играющей разновесами американской Фемиде долгих тридцать пять лет беспримерной, подвигу подобной гонки за денежными знаками. Он пользовался заслуженным уважением своих многочисленных клиентов сразу по двум причинам: во-первых, он умело сгущал краски, в связи с чем в его акварели повышенным вниманием обеспечивались разводы «густой

бычьей крови» на черном фоне; во-вторых, он никогда никому ничего не обещал, что давало возможность после окончания очередного спектакля протянуть в небо руки и патетически воскликнуть: «Я сделал все!» Это обычно служило командой владельцу чековой книжки и родственника-арестанта к передаче в верхние конечности метра благодарности с нулями в конце желанной цифири...

Свидание с обвиняемым он получил не сразу в связи с мертвецким сном подследственного после допроса третьей степени.

И все же...

Через несколько часов статный рыжеволосый охранник, вооруженный связкой длиннющих, массивных ключей, провел мэтра к решетчатой металлической перегородке, за которой нетерпеливо переминался с ноги на ногу полный решимости подзащитный.

— Хэлло, Берман,— приветствовал его мэтр, всматриваясь в заросшее, с глубоко запавшими глазами лицо клиента.— Вы мне нравитесь даже с бородой, пусть я и не имею под рукой ничего для сравнения.

— Кто вы? — выдавил из себя Фред вместо благодарности за утренний комплимент.

— Моя фамилия Кейпл. Она вам неизвестна, естественно. Я адвокат уважаемого вами Ледовских. По его просьбе я буду осуществлять вашу защиту. Вы доверяете мне?

— Безусловно, если вас прислал опекун.

— Вот и договорились. Кроме того, я уполномочен вашей супругой передать вам привет и горячую просьбу быть сильным и верить в ее любовь и справедливость американских законов,— с чувством произнес он, передавая подзащитному воровским жестом записку от Майки.— Ну, а теперь перейдем к делу. Фабула мне известна от работников следствия. Что вы можете добавить?

— То, что меня уже двое суток не выпускают отсюда, пытаясь заполучить признание в сотрудничестве с мафией и даже с Лигой защиты евреев. Хоть это, на мой взгляд, поощряется не только властями Соединенных Штатов, но и всем прогрессивным западным миром!

— Что вы имеете в виду!?

— Лигу защиты евреев.

— Уверяю вас, что руководство этой организации будет немедленно информировано мной об издевательстве, причиненном вам работниками следственного аппарата. И безнаказанным это не останется...

— Что еще?

— Все, пожалуй.

— Вопросы есть?

— Единственный: когда меня отпустят?

— Считаю, что этот вопрос преждевременный. Видите ли, сегодня вам свобода противопоказана.

— Почему?

— Я боюсь, чтобы вас не отправили на тот свет.

— Кто?

— Любители «Максвел-Хаус».

— Я их не знаю.

— Верю вам. Но я убежден и в том, что ночной пассажир знает номер вашей машины. А значит, и вас.

— Он не вправе предъявлять мне претензии, зная о том, что со мной произошло.

— Хорошо. Я займусь вопросом вашего освобождения под денежный залог. Что еще?

— Где моя машина?

— В полицейском управлении Бронкса.

— Она арестована?

— Настолько мне известно, нет.

— Я хочу увидеться с женой.

— Вы встретитесь не позже завтрашнего утра.

— Какова сумма денежного залога в делах подобного рода?

— Не менее пятидесяти тысяч. Вы располагаете такой суммой?

— Думаю, что мне помогут друзья. Прошу вас связаться с Маковским из ХИАЗа. Пусть он уточнит, где находится Зиновий Каган, выехавший из Союза в августе—сентябре семьдесят седьмого. Он был в Италии, а сейчас, я думаю, он здесь, в Штатах.

— О'кей! Что еще?

- Пока все. Когда вы придете ко мне?

— При первом же допросе. До встречи...

К встрече с Майкой Фред подготовился самым тщательным образом и предстал перед ней свежевыбритым и помолодевшим за недельную разлуку. Его покоряющая улыбка вселила в нее спокойствие и уверенность в «хэппи энд» зловещей драмы, которую она уже критически оценила, проклиная фатальное совпадение обстоятельств, борьбу за уровни, помноженную на неустроенность нового свободного образа жизни.

— Как ты, Ромка? — спросила она, всматриваясь в его лицо, отмечая про себя и скорбные тени под глазами и скрытую в глубине взгляда [illegible]

— Да куда уже лучше,— ответил он, прижимаясь к решетке.— Ты только не переживай. С кем Джерри?

— Он с няней, ее нашел Ледовских через общину в Бруклине. Четыреста долларов в месяц. В шесть утра я отвожу его к ней, а вечером забираю.

— Тебе не страшно одной?

— Страшно. Очень! Но сегодня нет выбора. Ты не думай об этом.

— Кагана разыскали?

— Да,— смутилась она.— Понимаешь, его убили в Неаполе весной семьдесят восьмого.

— За что?

— Я не знаю подробностей.

— Жаль, я на него очень надеялся. Ну что же... машину забрали?

— Да, она в гараже Ледовских.

— А ключи?

— У меня.

— Брелок не украли?

— Нет-нет! Но их почему-то два. Тот, что я тебе подарила, и еще один.

— Какой?

— Агатовая гемма в форме «Звезды Давида», а в ней резная фигурка одноглазого скелета.

— Один гранатик я потерял,— проговорил он после минутного молчанья.— Знаешь что, отлично! — внезапно перешел он на русский, чем вызвал немедленное замечание конвоира.

— Как ты себя чувствуешь? — снова продолжил он на английском.

— Обо мне не волнуйся. Главное — твоя свобода. Говори скорее, он отошел.

— Запомни: черный «форд», восьмиместный, семьдесят пятого года выпуска. Его номер ты найдешь под резиновой прокладкой в колпачке золотника моей запаски.

— Ромка, я ничего не поняла! Что такое золотник?

— Вспомни свой велосипед.

— Ну!..

— Ниппель в колесной шине.

— Знаю.

— Это и есть золотник. Он прикрыт колпачком. В запасном колесе. Усвоила?

— Ну конечно.

— Узнай через Кейпла, кому принадлежит черный «форд». Найди владельца и пригласи к нам Сабину.

— Что это за люди?

— Наши друзья.

— Почему ты мне о них никогда не рассказывал?

— Майка, не время сейчас... Когда встретишься с Сабиной, покажешь ей брелок и попросишь передать тебе сумму залога. Если она не согласится, предупреди, что, как только меня переведут в Лэнгли, я расскажу все, что знаю.

— Почему тебя должны перевести в Лэнгли?

— Потому что, если меня не защитят люди Сабины, они запустят в печать версию о красной мафии, якобы засылаемой из Москвы под видом советских евреев, разлагающей по заданию Кремля американское общество.

— Они что, тронулись?

— Они давно здесь все тронутые. Но в Нью-Йорке этого не докажешь. Действуй как можно энергичнее. И вот еще что: скажи Сабине: если что-нибудь случится с тобой или с Джерри, я выдам все и всех... начиная с «Центрального». Напомни ей.

— Что именно?

— Она знает... Теперь иди. Если ты разыщешь ее — я буду дома.

— До суда?

— До смерти от старости. Им не за что меня судить. Пусть ищут того, кто оставил в машине пакет с наркотиками.

— Роман, зачем ты это делал?

— Не нужно об этом. Спасай меня, иначе я погибну...

Тимоти Гарланд, владелец черного «форда», он же босс стриптиз-бара «Хинд»[1] с восемнадцатой авеню, принял Майку после настойчивого телефонного звонка в одном из многочисленных кабинетов «Фор лав»[2] своего престижного офиса и, выслушав настоятельную просьбу, категорично ответил, что никакой Сабины не знает.

— Это очень редкое имя, миссис Берман, и если бы я хоть однажды услышал его, то обязательно бы запомнил...

— Ну, что же, как вам будет угодно,— сказала она решительно поднимаясь из кресла.— Но если вы все-таки ее вспомните, передайте, пожалуйста, что мой муж хочет вернуть агатовую камею, которая, думаю, дорога ей как память.

— О! — воскликнул Гарланд.— А я-то думал, что у вас к ней дело. Оказывается, здесь банальная любовная история... Вообще-то оставьте мне свой телефон. Возможно, я и наведу кое-какие справки.

[1] Хинд *(англ.)* — «Лань».
[2] «Фор лав» *(англ.)* — «Для любви».

Но среди моих девочек да и близких знакомых, такая мне что-то не припоминается. Может, она и увлечена одной из моих девчушек?! Да-да! — заметил он ее смеющийся взгляд.— В наше время взрослые женщины все чаще восхищаются тем, что когда-то теряли, и безвозвратно... Согласитесь — в девичьем теле запечатлена красота жизни и чистота духа, не так ли?! Я поручу навести справки о вашей знакомой...

Тимоти Гарланд был, конечно, плутом и обманщиком. Телефонный звонок раздался в Майкиной квартире уже на следующий день. Тихое грудное сопрано пригласило ее в бар, на семьдесят девятый этаж Эмпайр Стейт Билдинга к восьми вечера.

— Как я вас узнаю? — с трудом сдерживая нетерпение спросила Майка.

— Держите в руке камею,— ответили ей, и в трубке раздались короткие гудки.

Она приехала к знаменитому билдингу Лоуренса Чайна за полчаса до назначенной встречи, поднялась на восемьдесят шестой этаж, выкурила сигарету на застекленной смотровой площадке, задумчиво всматриваясь в невеселые, как и мысли, свинцово-серые мглистые дали, а затем не торопясь спустилась вниз и без одной минуты восемь вошла в расцвеченный холл бара, достала брелок и в нерешительности остановилась.

— Прошу вас, мисс! — услышала за спиной приторный голос словно из-под земли выросшего мэтра.— Вас ожидают.

От неожиданности она вздрогнула, неловко улыбнулась, оставила в услужливых руках швейцара дубленку, прошла вслед за мэтром к двухместному столику, расположенному у дальней стены, и опустилась в предусмотрительно отодвинутое кресло.

— Здравствуй! — услышала она у самого уха мягкое грудное сопрано рыжеволосой девушки.— Это я звонила тебе, а сейчас видела, как ты улыбалась швейцару. Ты с ним знакома?

— Нет,— ответила Майка, с некоторой ревностью рассматривая незнакомку, вдруг почувствовав в ней соперницу.— Знаешь, этот бар впору назвать «Фантомом».

— Почему?

— И мэтр, и ты появились так неожиданно.

— Ты, наверное, подумала, как привидения,— рассмеялась она.— Я бы тоже назвала его этим названием, потому что летом сорок пятого года, когда мы победили Гитлера...

— Прости, кто это «вы»?

— Как кто? Американцы... евреи... ну и эти... англичане, Де Голь...

— Ясно... Прости, я перебила тебя.

— Ничего. Так о чем это я... А! Летом после войны в этот этаж врезался военный самолет, которым управлял пьяный летчик. Ну, конечно, возник пожар. Человек триста сгорело. А после ремонта на месте катастрофы открыли бар. Реклама выгодная, понимаешь? Мы немного отвлеклись. Закажем поесть, а потом поговорим, хорошо?

— Давай,— согласилась она, почувствовав доброе начало знакомства.

Сабина посмотрела в зал. Тотчас перед ними возник официант.

— Что будешь кушать?

— Мне все равно, Сабина. Да и есть-то не хочется.

— Почему?

— Я знаю, что мой муж голоден, но ему, поверь, тоже не до еды.

— Ну, что ж... Аппетит приходит после аперитива. Пит, на двоих, как обычно. Виски со льдом, а содовую отдельно. И принеси русские крабы к бренди. К фруктам шампанское... Горячее — на твой вкус... Выпьем за наше знакомство?!

— Нет, Сабина, мы выпьем за свободу моего мужа! — ответила Майка, вынимая из сумочки агатовую миндалину.

— А где твой муж?

— Сейчас не знаю... Его должны были перевести в Лэнгли.

— Мы все обхохотались, когда услышали эту сказку. Не волнуйся, русского шпиона из него не нарисуют. Расскажи мне, что им известно?

— Им известно, что в машине моего мужа кто-то забыл пакет с наркотиками.

— Как он себя чувствует?

— Вроде нормально.

— Говорят, у него была страшная жажда?

— Если тебе известны подробности, то стоит ли разыгрывать спектакль?

— Стоит! Не сердись. Лишний раз убедиться в порядочности человека всегда стоит... Всего. Даже денег... За его свободу! — подняла она бокал.

— Пей на здоровье!.. Но одних пожеланий мало.

— Что нужно для его свободы сегодня?

— Пока я не знаю. Кейпл говорит, что в его деле всякие старания напрасны. Он уверяет, что даже Ли Бейли в паре с Ричардом Хейесом не вырвут у присяжных вердикт: «Не виновен».

— Аферист твой швейцарец. Он думает, что если переделал фамилию, то мы не знаем его родителей. Скот эмигрантский,— безапелляционно заявила она, расправляясь с салатом.— Один «Скакун» увел бы его домой после первого же допроса... Я уже молчу о боге из Бостона. Он избавил от пожизненного дочь Херста. Ей дали семь лет, несмотря на то, что в санфранциской «Хайбернии» она всадила три пули в брюхо беременной бабы. Не говоря уже о прочих ее «приключениях»... Он защищал капитана Медину и Джека Руби. А ваш швейцарец блефует. Хочет обобрать, да и только... Да черт с ним! Что нужно Фредди сегодня?

— Нам нужен денежный залог и полная безопасность.

— В каком смысле?

— Если случится что-то непредвиденное со мной или с сыном,— в Лэнгли узнают Гарланда, тебя и ваших друзей из «Центрального». Так сказал мой муж.

— А если и с тобой, и с сыном, и с Фредди? — недобро спросила она, звякнув прибором о тарелку.— Что тогда?

— Тогда эти подробности станут известны от неизвестного вам человека.

— Спасибо за откровенность,— мило улыбнулась Сабина, возвращаясь к еде.— Плачу тебе тем же... Мы знаем все и даже больше. Мы провожаем тебя к опекуну и встречаем у дома австралийки Харди, когда ты приносишь ей малыша. Мы аплодируем твоей преданности и рукоплещем стойкости твоего мужа. В тех стенах, где его содержат, редко кому удавалось сохранить право на отрицание после допроса третьей степени. Поэтому мы согласны помочь вашей семье. Днями решится вопрос о предании его суду присяжных заседателей. Вопрос о денежном залоге уже решен, и нам известна сумма. Шестьдесят тысяч скоро вернутся к нам так же, как к тебе вернется «Красавчик».

— Кто-кто?

— «Красавчиком» мы называли твоего мужа. Пусть тебя не смущает эта кличка.

Гордись: он внутренне красивее, чем можно было бы предположить. И не ревнуй — меня он ненавидел... Деньги в «Чез Нешонал» на Уолл-стрит. Чек у тебя в сумочке.

— Как? — Майка схватилась за сумку.

— Поставь на место и не привлекай к себе внимания. Ты же сама утверждаешь, что здесь орудуют призраки,—

рассмеялась она.— Я просто не даю угаснуть твоей уверенности. Когда вернется Фредди, передай ему, чтобы он никого не искал. Если за его машиной будут следить, пусть не думает, что это мои знакомые. ФБР не скоро выпустит его из своего поля зрения после того, как суд его оправдает. А теперь давай выпьем...

Прошло долгих три месяца, прежде чем освобожденный под денежный залог переселенец предстал перед жюри присяжных заседателей и, начисто отрицая свою вину в хранении и транспортировке героина, выступил «свидетелем обвинения» по эпизоду о незаконном приобретении, а равно ношении и хранении огнестрельного оружия, испросив таким образом у Фемиды право на снисхождение.

— Господа присяжные заседатели,— бодро начал он после приведения к присяге за покрасневшей от стыда свидетельской трибуной.— Немногим более года я проживаю в вашей прекрасной стране, познаю ее людей и законы. Чуть больше года я ежедневно читаю скандальную хронику и все это время дрожу за свою жизнь. Проникаясь жизнью вашего великолепного города, я со все возрастающим беспокойством отмечал, что не только простые смертные боятся насилия, но даже представители власти настолько испуганы, что применяют оружие, казалось бы, в самых нейтральных и безобидных ситуациях.

В августе прошлого года я был свидетелем убийства полицейским водителя, в руке которого блеснул гаечный ключ. Он пытался этим ключом устранить повреждение в заглохшем автомобиле...

В ноябре на Девятой авеню в Манхеттене, севернее Тринадцатой стрит, полицейский застрелил нарушившего правила уличного движения пешехода только за то, что тот полез в карман, в котором лежал русско-английский разговорник. А ведь этот пешеход так же, как и я, приехал из России в поисках счастья.

Господа присяжные заседатели! Четырнадцать месяцев я проработал водителем такси, обслуживая ежедневно около пятидесяти пассажиров. Я обращаю ваше внимание на то обстоятельство, что днем и ночью каждый пассажир опускает руку в карман то ли за деньгами, то ли за моей смертью... Поверьте! Только страх толкнул меня на приобретение пистолета без законного оформления в национальной стрелковой ассоциации. Закон, запрещающий хранение и ношение приобретенного оружия, был мне неизвестен.

К счастью, я не произвел из этого пистолета ни единого выстрела, ибо, как вам известно из материалов настоящего уголовного дела, первый же выстрел был бы для меня роковым. Это лишний раз убеждает пользоваться услугами специализированных салонов по продаже оружия. И покупать его только на законных основаниях. Поверьте! Я очень дорожу своей репутацией, ибо больше всего в жизни желаю стать гражданином вашей великой страны. Прошу вас меня оправдать...

Прения сторон открыли перед подсудимым перспективы в виде тюремного заключения до десяти лет после гневной речи прокурора, пытавшегося с чисто деляческих позиций убедить жюри в том, что даже из горящей виллы успевают вынести драгоценности, то есть «вытащить из огня каштаны», но не дарят водителю такси свыше килограмма героина, испугавшись полицейского патруля.

На это Кейпл умело огрызнулся, заявив, что в юриспруденции пример — не факт, а перспектива провести десять лет в Сен-Квентине стоят разлуки с паршивым наркотиком.

— Господин прокурор не таскал бы из огня отравленные каштаны,— усмехнулся он под одобрительный хохот зала.— Кроме того, следствие по делу проведено и примитивно, и тенденциозно.— Адвокат бросил полный сарказма взгляд в сторону оппонента.— Мой клиент сбежал из России не для того, чтобы попасть в тюрьму только за то, что в его машине кто-то что-то забыл. Пусть господин прокурор вспомнит, сколько зонтиков за свою жизнь он оставил в такси?! Если бы мой подзащитный возвратил зонтик господину прокурору, то последний должен был бы его только отблагодарить!

Господа присяжные заседатели! Я прошу вас удостоверить акт судебного медика округа Бронкс, выданный по факту освидетельствования обвиняемого одиннадцатого января сего года и допросить эксперта Клиффа Стивенсона, принимавшего участие в освидетельствовании.

Далее: я считаю, что следствие должно было ответить на те же вопросы, что стоят перед вами, уважаемое жюри, сегодня, а именно:

1. Мог ли героин забыть в машине моего клиента кто-либо из пассажиров, обслуженных в такси в течение злосчастного дня?

2. Мог ли забыть героин в машине моего клиента пассажир, сбежавший на автозаправке?

3. Мог ли ночной пассажир моего клиента быть кем-то использован вслепую и перевозить товар неизвестной

ему ценности и назначения? И забыть его в такси от усталости?

Этот последний тезис, как я считаю, объясняет все... Вспомните показания моего подзащитного! Они правдивы и однозначны на всем протяжении варварского, как я считаю, дознания и следствия. Цитирую лист дела № 8: пассажир вышел у бензоколонки без признаков волнения, сославшись на то, что доберется домой другим видом транспорта. Повторяю: без признаков волнения! Если бы мой доверитель лгал, пытаясь обрисовать ситуацию, при которой в страхе перед разоблачением преступник убегает, завидев полисмена, то убеждал бы он нас несколько иначе.. Далее: представьте, что подсудимый действительно перевозит в салоне автомобиля под сиденьем героин, цена которого во много раз выше стоимости золота. Тогда напрашивается закономерный вопрос: остановил бы он в районе пригорода машину и взял бы в салон незнакомого человека? И это в нашем городе! В городе, где из-за жуткого усиления деятельности преступных шаек и организованной армии бандитов, собравшихся с пяти континентов нашей благословенной Земли, скоро наступит день, когда водитель такси согласится работать только в бронированных доспехах и в кабине из пуленепробиваемого стекла! Господа присяжные заседатели! Подсудимый проживает в нашей стране год. У него прекрасная жена и ребенок, родившийся в Нью-Йорке. Они приехали к нам не из Сицилии или Корсики, а из России, где о профессиональной торговле наркотиками знают чуть меньше, чем о детском сексе. А в данном случае он, как утверждает обвинение, перевозил одну тысячу двести сорок граммов, восемьдесят три дециграмма, семь сантиграммов героина! Вдумайтесь, господа! Кто доверит пришельцу из России героин, да еще в таком количестве!

И последнее: пистолет! Как вам известно, в нашей стране каждые тринадцать секунд кто-то приобретает оружие, а через каждые тридцать минут очередная пуля обрывает бесценную человеческую жизнь. С целью защиты мы окружаем себя огнестрельными системами последних усовершенствованных моделей. Мы боимся! И страх заставляет нас убивать, защищаясь! «Стреляй первым!» — девиз тех, кто желает выжить! В этой связи мой клиент приобрел пистолет совершенно уникальных достоинств — он должен поразить стреляющего. Как вы понимаете, в Америке у моего клиента врагов нет. А если бы и были, то подобные огнестрельные системы нам пока неизвестны. Эти системы известны только в России, которая придумывает все новые

виды вооружения для того, чтобы уничтожить нашу Богом благословенную Америку...

Я уверен, что мой клиент знает, кого благодарить за такой подарок! И вы, господа присяжные заседатели, догадываетесь о том, что я знаю наверняка! Только красные способны на подобные действия, и поэтому Берман невиновен! Резюмирую: Берман приехал с семьей в Соединенные Штаты Америки под защиту американского закона и справедливости. Так защитите его, господа! Укройте от расправы нашим флагом, он просит защиты у вас!

Жюри присяжных было единодушно во мнениях, и на следующий день после оправдания Фред, искренне отблагодарив Ледовских за заботу суммой, значительно превышающей «вес половины подоконника», впервые в новом году позволил себе однодневный отдых, посвятив его целиком своей избраннице.

Утро они провели на Лонг-Айленде, позавтракали в недорогом, но уютном итальянском ресторанчике. Днем знакомились с музеем быта американских индейцев и впервые посетили Метрополитен-оперу, преступив через родительские обязанности, а также презрев страхи позднего возвращения домой. Джерри, по договоренности с Харди, ночевал вне дома, что позволило им вечер и остаток ночи посвятить себе и давно назревшему разговору, который состоялся далеко за полночь в гостиной у жарко натопленного электрокамина и сопровождался вначале томными, взывающими к чувству звуками японских саксофонов, а уж потом угрюмым молчанием главы семейства и тихими слезами его жены.

— Пойми наконец,— из последних сил сдерживая рыдания, что придавало ее голосу решимость и силу, убеждала Майка,— в августе минет два года, как мы за границей. Но мне кажется, что это просто затянувшаяся командировка, которая вот-вот закончится, и я снова увижу Родину. Вначале я мечтала вылечить маму... Но не думай, теперь, когда я все осмыслила, я понимаю, что никогда не верила в эту идею до конца. Просто успокаивала себя, как могла. Да и ты помог, и Нина, и Каган... А когда я окончательно поняла, что выздоровление — это миф,— матери уже не было... Но появился Джерри. Поверь: в нем жизнь моя, но он не заменил мне Родину. Родина дороже жизни, Роман! И терпение мое исчерпалось! Не могу я здесь больше... Я понимаю тебя: ты окунулся в здешнюю воду, как щуренок, который недавно еще задыхался на песке. Ты сознательно связался с этими грязными типами. Скажешь, что

я неблагодарна, что ты рисковал ради семьи? Так знай — преступление я никогда не оправдаю.

— Пойми же, в моей беде виноват только случай. Если бы я не встретил их тогда...

— Не обманывай ни себя, ни меня... Не кофе, так было бы что-нибудь другое. Не Сабина, так Алиса... из Страны чудес... Был бы другой бизнес — такой же грязный, и опасный, и лживый... Здесь все лживо, как синтетические лужайки и газоны. Все надувное, как бассейн нашего сына. Согласись со мной, Ромка. Давай вернемся домой. Умоляю тебя. Если бы не любила, уехала бы одна. Но знай: откажешься — потеряешь и меня, и Джерри.

— Да, но в этом случае и вы потеряете и мужа, и отца.

— Это очень грустно, но неизбежно произойдет в случае твоего отказа. Я сыта и Израилем, и этим гнездом осиным. Умоляю тебя, вернемся!

— Да,— протянул, как простонал, он,— а ты подумала о том, пустят ли нас назад? Кому мы там нужны: людям, с которыми не советовались, или Родине, от которой сбежали подальше? Кто нас впустит назад, кто? А если и разрешат вернуться, то что я там буду делать? Воровать я умею, а работать не научусь...

— Врешь ты все! Вспомни: дома ты говорил, что за одного битого двух небитых дают... А работать?.. Неужели ты забыл то время, когда мы поженились и ты перестал обманывать таких же, как сам, людей? Тебе там не нужно было оружие. Ты был спокоен за себя в любое время дня и ночи, как все мы, как весь наш народ! Давай уедем, Роман!

— Ну что ты зарядила одно и то же... В конце концов, можно уехать в Австралию или в Новую Зеландию, уехать туда, где нас еще нет,— рассмеялся он.— Да и здесь, в Америке, через десять лет мы рассчитаемся с долгами и ни в чем не будем нуждаться...

— Ни в чем не будем нуждаться,— грустно повторила она.— Кроме пули, которую ты едва не получил, кроме права называться людьми и жить в достойном людей обществе. Задумайся же, наконец! Задай себе вопрос: «кто мы?» и кем будем, прожив здесь еще тридцать лет? Молчишь?

— ??

— Я отвечу тебе: лгунами и изгоями, обворовавшими себя на всю, никогда неповторимую, единственную жизнь. Но я не допущу, чтобы мой Джерри был изгоем и отщепенцем в обществе, где грязная «деньга» стоит всего: и любви, и верности, и даже материнских чувств. Если дома я сомневалась в том, что люди из нужды могут продать свои здоро-

вые органы, то здесь я в этом убедилась. Включи телевизор, и через минуту тебе покажут несчастного, продавшего глаз за пять тысяч долларов...

— Да прекрати же ты, наконец!

— Нет уж, выслушай до конца... Объявление: «Хочу продать почку за двадцать пять тысяч. Тайна гарантируется...» Счастливчик без почки за рулем «кадиллака». Он в маске, чтобы люди не узнали. Шрам на месте аннексированной почки сугубо косметический... Ничтожество, продавшее своего шестинедельного сына... Родители, отдавшие своих первенцев Ларри Флинту. Пусть обучаются любовным играм! Как-никак! Престижное рекламное издательство «Детский секс». Теперь я ни в чем не сомневаюсь, даже в самом непостижимом! Отец торгует дочерью на Бродвее, а дядя — племянником на Миннесоте... «Мистер! Посмотрите на моего птенчика...» До какого маразма можно дойти!.. Я решила, Роман! Мы с Джерри уезжаем. И зовем тебя домой! — заключила Майка свой монолог, резко поднялась и ушла в спальню.

Фред, погасив в себе желание последовать ее примеру, встретил рассвет у камина в тяжелых раздумьях и, не приняв никакого решения, прошел в кухню, сварил крепкий кофе, поставил на поднос туго спеленатый кофейник, проследовал в спальню, присел у постели спящей супруги и тихо позвал:

— Майечка, просыпайся. Будем пить кофе.

— Что ты решил? — услышал в ответ вместо пожелания доброго утра.

Вопрос этот заставил его вздрогнуть от неожиданности. Он всмотрелся в ее покрасневшие от бессонницы глаза и проговорил:

— Прости меня, но я не смогу уехать отсюда. Даже если и захочу. Они просто убьют меня, и на этом все кончится.

— Роман, может, ты преувеличиваешь?

— К сожалению, нет. Денежные залоги просто так не даются. За них нужно платить. Да и что ты вообще знаешь о еврейской мафии, о тех силах, которые ее направляют и руководят? Знаешь ли ты, чем занимается Лига защиты евреев, которая создана для нашей защиты? Терроризирует негров... А те устраивают нам кровавые побоища, призывая такими средствами к алии. Сможешь ли ты ответить мне, где кончается фашизм и начинаемся мы — шнореки, вставшие под знамена сионизма? Почему мы громим преставительства «Аэрофлота» и стреляем по квартирам советских дипломатов, почему мы подкладываем бомбы

в машины представителей нашей с тобой бывшей Родины и перед всем миром берем на себя ответственность за случившееся? Знаешь ли ты о том, из кого сформирована наша Лига? Нет, наверное, не знаешь. Она создана и пополняется такими же, как я, еврейскими Фредами, Ромиками, Каганами и Далями, Гельманы и прочие неудачники или идиоты типа Вайнера в счет не берутся... Но никому здесь не прощают измены. Поэтому я остаюсь. Конечно, Лига поправит мои материальные катаклизмы, в этом я уверен, потому что не раскололся там, на следствии, и не впутал никого в наркобизнес. Еще когда я впервые познакомился с людьми Сабины, МОССАД предложил мне защиту, и я согласился сотрудничать с контрразведкой, чтобы никто и ничто не ускользало от всевидящих глаз Израиля. Теперь ты, как и я, понимаешь, что неизвестно, где кончается мафия и начинается Израиль. Я не знаю, что со мной будет дальше, но уверен в одном — я медленно, но уверенно иду к своему катафалку. Прости меня, но ты должна была узнать правду... Я очень виноват перед тобой и попытаюсь хоть чем-нибудь помочь, если ты решила уехать. Я сделаю это, потому что очень люблю тебя. Потому что хочу, чтобы мой сын, кем бы он ни стал в будущем, спокойно жил на земле своих предков. Нашей с тобой Родине...

Маковский принял их весьма доброжелательно — не усидев в кресле, кинулся навстречу, долго жал руки и засыпал вопросами:

— Хелло, Берман! Я слышал, вы сумели совершить целых два подвига!

— Какие же? — спросил Фред, усаживаясь вместе с Майкой в низкие кресла у журнального столика, сплошь заваленного сионистскими изданиями.

— Какие? Грандиозные! За год вы успели спутаться с мафией и выйти сухим из воды. Это редко кому из ваших удавалось. Поздравляю!

— Спасибо.

— Выпьем за ваши успехи?

— Если дадите мне пятьсот долларов.

— Не понял?!

— Я с машиной.

— А, теперь понял. Супругу не приглашаю, зная коммунистическую солидарность. Ну, рассказывайте, с чем пришли.

— Мы пришли посоветоваться. Дело в том, что моя жена после причиненной ей моральной травмы желает отдохнуть

и проверить в разлуке со мной свои чувства. Я же, являясь по специальности ревнивцем со стажем, не могу ей этого позволить и поэтому решил уехать вместе с ней.

— Из Нью-Йорка? Не рекомендую. Мафия вас найдет везде. Даже на конце света. Хоть я лично уверен, что Нью-Йорк и является концом света. Да-да, не смотрите на меня так пристально. Я — Маковский, поэтому не советую.

— Фред пошутил,— вмешалась Майка.— Мы расстаемся. Я решила вернуться домой.

— Домой? Как это — домой? — посмотрел он на нее поверх очков.— Дом там, где я есть. А я есть там, где у меня есть дом? О каком доме вы говорите?

— Я говорю о Родине! — посмотрела она на него с вызовом.— Вы не ослышались, я говорю о Союзе.

— О Союзе? Так у вас же там нет дома. Не только дома... даже забор — и тот уже снесли шагающие экскаваторы киевского завода,— расхохотался он.

— А если серьезно, Маковский, что вы можете посоветовать? — прервал его смех Фред.

— Я многое могу посоветовать. На то я — Маковский. Во-первых, обратиться к психиатру. Доктор Вебер, угол Четырнадцатой авеню и Девятой стрит. Курт Вебер — великолепный психиатр. Немец, как ни странно. Лечит на основе учения доктора Месмера и прославленного мэтра Фрейда евреев, сдвинутых по фазе в сторону левоцентризма. Когда-то пользовал больных, направляемых Джоном Бэрчем. Прекрасные результаты — половина из них повесилась. Второй половиной были их жены. Они здравствуют и поныне. Те, что дожили, разумеется... Во-вторых, ХИАЗ против всяких предательств и глупостей. Лига защиты... та вообще побьет вас камнями по древнему, жестокому, но необходимому закону для фальшаков... А в-третьих, вам необходимо обратиться в эмиграционное управление с удобным предлогом. Расходы: пять долларов и четыре за фотографию. Но я не советую... Здесь кончаюсь я как Маковский и начинает крутиться чертово колесо машины принуждения. Прощайте...

В эмиграционном управлении они простояли весь день в очереди озабоченных, занятых горькими раздумьями неудачников, для которых время наивно-восторженных возгласов «Ах, Америка!» бесследно кануло в вечность, оставив разбитые надежды, утраченные иллюзии, разочарованный стон «Ох и Америка» и безответное и отчаянное: «Куда податься?»

— Скорее бы все кончилось! — с надеждой проговорила Майка, вслушиваясь в их разговоры.— Не знаю почему, но я уверена в завтрашнем дне...

— Нужно еще дожить! — хмуро ответил Фред.— Я чувствую, что они из тебя всю кровь выпьют. И из меня тоже...

Фред оказался прав. Безликий прозрачный тип, к которому они обратились, сначала вообще отказался от беседы с просителями, но затем смилостивился, выслушал их просьбу, подал анкету, которая дважды переписывалась и возвращалась в связи с тем, что миссис Берман отказалась сообщить властям о цели своей поездки в Австрию.

После того, как она все же вымучила и обрисовала тему в виде отдыха в горнолыжном комплексе Аксам-Лицуми под Инсбруком, ей посоветовали отдохнуть в Скво-Велли или же слетать на Аляску и, ехидно улыбаясь, предложили немедленно выдать разрешение и ходатайство канадскому консульству о предоставлении миссис Берман въездной визы.

Прорвавшись в кабинет инспектора, они пытались выразить свое негодование, но были грубо остановлены и одернуты гневным взмахом руки и ударом кулака по столу.

— Довольно! — крикнул инспектор, вскакивая из-за стола.— Врать будете своему папе, который крал у нас мясо. Шлепер несчастный! Хотите проверить свои чувства к супругу в Австрии,— пожалуйста. Но только вычеркните из анкеты ребенка!

— На каком основании? — испуганно спросила Майка.

— На том основании, что ребенок испортит вам отдых, связанный с посещением вершины Ходль, лыжными гонками и олимпийским слаломом. Оставьте сына своему супругу. Он не хуже вас справится с его воспитанием.

— Я согласен, но моя жена будет переживать разлуку с сыном. Да и я целыми днями работаю.

— Знаю, наслышан о вашей работе... Думаю, вы научились не искушать судьбу. Если вы в состоянии позволить жене отдых в Австрии, то выделите тысячу долларов на месячное содержание ребенка в одном из лучших пансионатов. Записывайте адреса.

— Они не нужны. Я кормящая мать и поеду вместе с сыном.

— Только после разрешения руководства управления. Приходите завтра.

Они подготовились к генеральному сражению и, полные решимости, прибыли в назначенный час. Но руководство

ведомства не соизволило их принять ввиду чрезвычайной занятости.

— Завтра утром вас устроит? — небрежно спросил инспектор, и, не ожидая ответа, добавил: — До встречи, миссис Берман. Подождите супруга, пожалуйста, внизу. Вас проводят...

Учтивый клерк галантно раскрыл перед ней дверку лифта, а не менее предупредительный лифтер чуть было не вытолкал ее в холл первого этажа.

— Простите меня, миссис, но слишком много вызовов. Все этажи сигналят. Выходите поскорее...

Она безуспешно прождала мужа более часа, всякий раз с надеждой всматриваясь в кабины открываемых лифтов, и только не обнаружив на автостоянке «плимут», поняла, что дальнейшее ожидание напрасно. Остановила такси и поехала в Бруклин. В пути она безразлично смотрела на до противного надоевшие, однотипные, узкие, без единого деревца улицы, серо-грязные, цвета талого снега небоскребы с бесчисленными черными, бегущими в небо, ступенями окон и мрачными, враждебными, приспущенными защитными решетками дорогих витрин.

Она вышла из машины у дома воспитательницы сына, бросила на сиденье несколько долларов и, не оглядываясь, вбежала в подъезд Харди, которую застала плачущей и виноватой:

— О, миссис Берман,— проговорила старая австралийка, заливаясь слезами.— Они ворвались ко мне и даже не разрешили его одеть. Набросили на мальчика одеяло и увезли с собой. Я не успела даже сложить его вещи. Вот, я сложила их...

— Кто увез моего сына? Говорите скорее, кто забрал Джерри? — в неистовстве прокричала Майка, бросаясь к ошеломленной старухе.

— Успокойтесь, умоляю вас, миссис Берман. Это не киднапинг. Вы же знаете, я никому не открываю. Его увезли полисмены. Они оставили для вас номер телефона полицейского управления. Вот он, на столе. Позвоните. Они сказали, чтобы вы им позвонили...

В полицейском управлении она с трудом отыскала кабинет дежурного офицера, без стука открыла дверь и с криком: «Где мой сын?» — рванулась к столу.

— Какой сын? — оторвался от записей дежурный.— Кто вы такая? И почему вошли ко мне без сопровождения? Идите в приемную.

— Я никуда отсюда не уйду. Моя фамилия Берман. Вы забрали моего сына. Я только что звонила вам по телефону, номер которого вы оставили Джейн Харди. Вы мне сказали, чтобы я немедленно приехала в управление.

— С этого нужно было и начинать. Пройдите тоннелем во флигельное здание. Кабинет семь-девять...

У входа в тоннель дежурный полисмен проверил ее документы и, оставив их у себя, открыл вертушку, за которой ее уже ожидали...

Учтивый сержант средних лет проводил ее на седьмой этаж мрачного здания, предупредительно открыл дверь девятого кабинета, представил седовласому джентльмену и скрылся в боковой двери.

— Присаживайтесь, миссис Берман. Я слушаю вас,— слащаво улыбнулся он, отщелкивая брелком кончик сигары.

— Полчаса назад я звонила вам по поводу...

— Гражданина Соединенных Штатов Америки Джерри Бермана, так я понимаю?

— Джерри Берман — мой сын.

— Джерри Берман — гражданин нашей страны, как вы знаете.

— Я требую немедленно вернуть мне ребенка.

— С удовольствием! — прикурил он сигару.— Но только после выполнения маленькой формальности: завтра передадите в эмиграционное управление заявление с просьбой не оформлять вам в течение пяти лет документы на выезд из Соединенных Штатов Америки с сыном Джерри.

— Негодяи! — по-русски прошептала она.— Вы мне еще ответите за беззаконие! — сказала она звонко и гневно.— Я не остановлюсь ни перед чем! Чье указание вы выполняете?

— Мы выполняем указание президента! — расхохотался седовласый джентльмен.— И действуем только от его имени. Идите и жалуйтесь. Даже в Гленков. Если вас там ожидают... Но самое лучшее, что вы можете предпринять, миссис Берман, так это стать более благоразумной за пять лет раздумий...

Покинув ненавистный офис, Майка в течение нескольких часов бесцельно бродила по улицам и вернулась домой, когда на город опустилась грязно-серая ночь.

Темнота в прихожей отрицательно ответила ей на вопрос о присутствии в квартире «кормильца», а страх перед одиночеством заставил включить все осветительные приборы.

На столе в гостиной она обнаружила листок, мелко исписанный знакомым почерком исчезнувшего мужа:

«Майка, дорогая моя! — прочла она, с трудом разбирая слова сквозь призму слез, волнение, подавленность и усталость.— Ты знаешь, как я отношусь к твоему отъезду — я не хочу потерять тебя! Впервые в жизни только здесь, в Америке, я понял, что стал неподсудным: мой суд — Бог, если он существует, а наказание — ад, в который мы с тобой попали! Люблю тебя очень! Но разве подонки имеют право на светлые чувства? И имеют ли они их вообще?!

А если так, значит, я еще человек, потому что живу тобой. Грязный, подлый и мерзкий... Не имел я права втянуть тебя в авантюру, расплата за которую — жизнь. Моя жизнь... Сегодня она, как ни странно, в твоих руках...

Прощай! Я не знаю еще, что ты решила, и поэтому не могу сказать «до свиданья...».

Около полуночи в квартире мистера Бермана раздался настойчивый телефонный звонок, и когда Майка сняла трубку, она снова услышала тихое грудное сопрано:

— Здравствуй! Это я тебе звоню. Ты узнаешь меня?

— Да, узнаю,— ответила Майка и разрыдалась.

— Не плачь. Будь сильнее чуть-чуть и выслушай... Ты уже убедилась в том, что я появляюсь тогда, когда всего нужнее тебе?.. Ну, не молчи же, вспомни о призраках... или о приведениях, если хочешь.

— Да-да, я всю помню. Спасибо, что ты позвонила.

— Не в этом дело. Слушай и запоминай: я знаю, отчего тебе плохо сейчас!

— Отчего?

— Потому что, приехав к нам, ты ни дня не жила нашей жизнью, и в этом наша промашка. Мы виноваты в твоем одиночестве. Но я помогу тебе!

— Чем, Сабина?

— Одному серьезному офису требуется знаток русского языка. А ты, ко всему, еще превосходно владеешь английским. Кроме того, у тебя отличная тембровка и дикция. Не волнуйся, все будет о'кей! Только не вешай нос... Красавчик тебя очень любит. Он знает адрес нужного тебе офиса. Там тебя уже ожидают. Передашь им привет от Эстер... Это моя подруга. Доброй ночи! — шепнула Сабина и повесила трубку...

Утром Майка прибыла в эмиграционное управление, поднялась в кабинет инспектора и, не поздоровавшись, положила ему на стол подписку.

— Ну, вот и прекрасно, миссис Берман,— резюмировал тот, пряча ее в ящик стола.— Преклоняюсь перед вашим благоразумием...

— Где мой сын? — прервала она его.

— Ваш мальчик давно ожидает свою маму, миссис Берман. Подойдите к окну и убедитесь в этом...

Она подбежала к окну, прижалась к стеклу разгоряченным лбом и застонала от счастья: внизу стоял многострадальный ничейноподданный мистер Берман с гражданином Соединенных Штатов Америки Джерри Берманом на руках. А из раскрытого оконца «плимута» взмахом руки ее дружески приветствовала золотоволосая Сабина — «Надежда и Юность Америки».

ГЛАВА 30

Светало. Далеко впереди над горизонтом, где еще недавно догорели ночные блестки, рассеивая фиолетовую мглу и синь, вставала заря, разливая по спящему небосводу веселую солнечную палитру утренней свежести и красоты. Тьма неохотно отступала, бежала в еще сизую высь и пряталась в необъятных небесных далях, унося навсегда с собой чью-то радость, беды и тайны: то, что навсегда останется в прошлом и никогда не вернется назад. И только легкой грустью шевельнется порой давно забытое таинство той далекой ночи, что как две капли воды похожа на эту, также уходящую в память, — ночь человеческой радости или печали — одну ночь человеческого бытия...

Старый консьерж унылого, повидавшего жизнь пятиэтажного дома на улице Севр вышел из своей допотопной каморки, зябко поеживаясь от утренней прохлады под назойливым моросящим дождем, миновал неприветливую, высокую, устроенную еще во времена последних Людовиков чернокаменную ограду, разделившую рабочий Бийанкур и шестой парижский округ на два неравных (один с солью, другой с маслом) бутерброда, подождал, как и было договорено, золотоволосую Люси, торопящуюся в киоск на Монпарнасе, и, прижимая к груди фиалки, довольный поспешил назад к месту своей престижной службы. В комнате он поставил цветы в заготовленный еще с вечера кувшинчик, сел за старинный ручной коммутатор, отыскал штеккер пятьдесят первой квартиры, улыбнулся, определив не положенную на рычаг трубку, и послал в сеть долгий стереофонический вызов.

Резкий звонок вырвал из цепких рук Морфея молодую женщину, спящую за персиковым, тяжелого репса пологом в алькове, одновременно являющимся продолжением гостиной и кабинетом: рядом на откидном столике расположи-

лись допотопный «Симменс», тройной бронзовый, с остатками ароматизированных витых стеариновых разноцветов подсвечник, томик ранних стихов Ахматовой, малахитовая пепельница и фотография молодого жгучего брюнета в замысловатой, бронзовой с эмалью рамке.

Тяжелый, кофейных тонов ковер над кроватью был украшен четырьмя старинными, в серебряных ризах школьными творениями иконописного терема, несколькими гравюрами на исторические темы, а сверху над ними раскрывали художественный вкус хозяйки пейзаж стылой березовой рощи и занесенная снегом, лепленная меж холмов спящая деревня с темными колодцами, с черными глазищами рубленых изб, с мертвыми, будто кресты сгнившие, трубами... И ни лошаденки тебе, ни собаки: в снегах вся да в нежити...

Открыв глаза, любительница антиквариата высунула из-под одеяла руку, включила старинное резное, с хрусталем бра, села в высоких подушках, с трудом отыскала затерявшуюся в постели трубку, прижала ее к уху и сонным еще, чуть испуганным голосом проговорила:

— Алло, я слушаю... Спасибо, дядя Егор... Окончательно проснулась... Мы с Жульеном музыку слушали до полуночи... я и уснула с трубкой... Он приедет к восьми... Пусть пройдет ко мне. Спасибо...

Она повесила трубку, встала с постели, бросила на плечи легкий синтетический халатик, раздвинула шторы, пересекла единственную комнату, вошла в ванную, ревниво осмотрелась в зеркале, слегка коснулась обеими руками лица, провела длинными красивыми пальцами по несколько раз под глазами и включила душ...

Вскоре в проснувшейся квартире, дразня и нескромно заигрывая, заглядывая нахально во все углы, хозяйничал манящий запах «мокко»; на столе в окружении зелени и сочных бурых помидоров красовался тонко нарезанный камамбер, а в духовке млел толстенный (секрет фирмы) омлет, извлеченный оттуда по команде дверного звонка, оповестившего о прибытии гостя.

Молодой высокий брюнет прошел в переднюю, наскоро прижался к щеке хозяйки, освободил из бумаги трио распустившихся тюльпанов, поместил их в высокой глиняной амфоре у окна и, тяжело вздохнув, спросил:

— Что со мной будет завтра, не знаешь?

— Знаю, Жульен,— ответила она, разрезая омлет.— Садись к столу, кофе стынет... Завтра ты напишешь мне в Вену и через день получишь ответ.

— Получу ответ... Он мне лишь грусти добавит. Ну что же, тогда сообщу телеграфом, что запросил визу в Австрию.

— Зачем?

— Чтобы увидеть тебя... и не отучиться завтракать по-русски...

«Мир не без добрых людей»! — подумалось Нине, которая встретила в «Каравелле» кампании «Эр-Франс» молоденькую стюардессу из Ле-Бурже Милен Пухову, внучку штабного офицера корниловской дивизии, эмигрировавшего в страну поэтов и любви вслед за прочими неудачниками, сбежавшими от вселенской российской грозы и осевшими в пятнадцатом городском округе — там, где кончался Париж французский и начиналось горькое поселение изломанных революцией судеб некогда холеных представителей голубых, сизых и прочих кровей... От великовельможной двоюродной сестрицы самого самодержца Российского, Ксении Александровны, боярских думников Щебеко и Куракина до преуспевающих в прошлом разночинцев породы Овчинниковых и братьев Трындиных, чьи висячие «бомбы-луковицы» пытались конкурировать со всемирно известными часами «П. Буре» и «Ланжином», отстукивая новое время по старому романовскому календарю.

Не вписавшись в крутой поворот судьбы, Леонид Пухов сорил собой не однажды, пока не растерялся полностью, нагрузившись не в меру букетом французских болезней с латинскими названиями, по дороге от Елисейских полей, следуя улицей Берри к бульвару Гренель, на углу которого функционировала аптека, изготавливающая лекарства по рецептам русских врачей. Это послужило причиной глубокой семейной трещины с последующим разводом, состоявшимся между отпетым штабс-капитаном и его женой Елизаветой, в девичестве Лизанькой, не впустившей его однажды в каморку пятого этажа дома по улице Севр из боязни заразиться «этим самым», да еще, упаси Боже, передать папин подарок двенадцатилетнему Егорушке — баловню, если б жизнь не слукавила да не свершила хамскую волю в далеком Питере... Так и не излечившись от болезней любви, Леонид Пухов съехал в «Русский дом» заокеанской вшендры мисс Педжэт, купившей богадельню для ископаемых русских скитальцев в Сен-Женевьье де Буа, а оттуда в двадцать шестом году переселился под сосновый крест, на местное русское кладбище, где навечно занял удобное место между почившими в бозе фрейлиной двора Ее Величества, восьмидесятилетней томной ланью Лукрецией слева

и своим непосредственным шефом, генералом Скоблиным по правую руку...

Двумя годами позже Егорушка, работающий водителем такси, используя общарпанный «пежо» Гочкиса в личных целях, по два раза посетил Пер-Лашез и Батиньоль, наконец выбрал место под раскидистой липой на последнем для принявшей смерть по своей доброй воле, усыпившись газом, сорокачетырехлетней маменьки. В тоске по Родине он навсегда осел в русском Париже. Когда пришли боши, сын русского пораженца стал резистантом, нещадно бил гитлеровцев, был дважды ранен, попал в Компьенский ад, чудом выжил, торжественно был приглашен на Кэ д' Орсе и вернулся на улицу Севр уже гражданином Франции; там женился на дочери местного консьержа Сюзанне Лекомб и, отправив достойного тестя на вечный отдых, в пятидесятом занял его место. В утеху старости бог одарил его маленькой Милочкой-Милашкой, дань Франсе-Милен, и пусть Сюзи из-за болей в сердце и частых госпитализаций в столичный кардиологический центр не увидела дочь в полувоенной форме, Егор Леонидыч был счастлив.

Правда, в последние годы снова обострилась болезнь по русскому дому, по земле и языку, которые он не позабыл за долгую и не ахти приветливую жизнь на чужбине.

За жизнь не научился он болеть о прошлом, а не о настоящем, не отвык каждый день ходить в гости, при встрече шумно выражать радость и размахивать руками, тратить чуть больше, чем зарабатывать, завтракать когда угодно, но не в половине первого, с аппетитом есть какие-то дурацкие котлеты, счищать с сыра плесень и всеми фибрами души ненавидеть тех, кто однажды сказал, прошептал или рявкнул второпях: «Сале странже» [1].

Поэтому-то, встретив вернувшуюся из рейса Милочку, да еще с обаятельной, настоящей, а самое главное — русской женщиной, из уст которой волшебной песней лилась родная русская ручь, Егор Пухов праздновал по-русски, по-настоящему, а потом поселил ее у себя, приводил в дом гостей, упивался домашними компотами, морсами и киселями и заставлял Нину рассказывать, рассказывать, рассказывать...

Однажды к ним без приглашения, как у русских, пришел внук умершего в психиатричке имени Святой Анны русского интеллигента Ростовцева, авиатехник из Орли, тридцатидвухлетний Жульен. Он весь вечер с достоинством молчал, но с упоением слушал рассказы о далекой родине,

---

[1] Сале странже *(фран.)* — паршивый иностранец.

мрачнел, встречаясь с ней взглядом, упорно противился позднему ужину и убежал на английский манер, чтобы на следующий день явиться с билетами в фирму Бруно Кокатриса и, краснея и смущаясь, упросить не сударыню, а просто Нину послушать детей дикого атлантического побережья, слитых в единую ультракомби клоунады, рока, секса, рекламы и фантазии, выраженную одним манящим и таинственным логарифмом: «Кисс».

В переполненной «Олимпии» они едва пробрались к своим местам, приготовившись ко встрече с одним из новых направлений в джазовой музыке. Но то, что представили на их суд заокеанские баловни, никак не желало вписываться в узкое это понятие,— оно лезло из него, выпирало, рвало и, наконец, смешалось в дикой какофонии звериного рыка, взрывающих тьму, ослепительных вспышках света, зловещей игре кровавых языков пламени и смраде горящих дымовых шашек. На фоне этого фантасмагорического шабаша два призрака в сверкающих костюмах и демонических масках, в ботинках на двадцатисантиметровых каблуках танцевали «танец любви» вокруг одаренных и не менее голых красавиц...

— Прелюдия ко второму пришествию Христа,— обменивался впечатлениями Жюльен, провожая Нину домой в стареньком «ситроене».— Не знаю, как вы, но я увидел ад.

— А я побывала в мире чудовищ,— ответила она, с интересом всматриваясь в ночной Париж.— Мне вспомнился Уэллс. Космические пришельцы покоряют землю. Очевидно, с этой целью они и посетили вашу столицу.

Жюльен остановил машину на площади Данфер Рошро у старинной церкви, выстроенной в стиле российских новгородских храмов.

— Этот собор построил для нас великий Рахманинов. Его музыку очень любят в русском Париже. Он писал ее, чувствуя то же, что и мы... Любовь... боль... и тоску,— вздохнул он.— Непереносимую... особенно, когда в пасхальные дни собираются здесь все русские... Из православных церквей в Париже осталось только три: эта, на бульваре Экзальманс, ну и, конечно, на улице Дарю, она самая памятная.

— Чем же? — спросила она, все больше увлекаясь собеседником.

— В ней отпевали великого Шаляпина. Он жил на Д'эйло. Хотите, поедем туда?

— Не сейчас, Жюльен, спасибо. Обязательно поедем, но только в другой раз. Уже поздно. А вам завтра рано вставать. Я хочу, чтобы вы отдохнули перед работой,—

посмотрела она на него нежно и ласково. Но вмиг, с болью, будто обожглась, потупила взгляд и отвернулась в сторону...

— Вы что-то вспомнили? — помрачнел он от собственной догадки...— Или кого-то?

— Я любила... Очень любила...

— Он остался в России?

— Нет, Жюльен, он в земле... и не нужно об этом,— снова добром засветились ее глаза.— Вы извините, я не хотела испортить вам настроение. Поехали поужинаем, хотите?!

— Хочу. Очень! А где?

— Дома. У дяди Егора. Они еще не спят...

— Лучше в ресторан. Поедемте в Мулен-Руж. Там вам очень понравится! Особенно сейчас, вечером... Представляете?! Холм мучеников высотой в сто тридцать метров увенчан спустившейся с небес Сакре-Кер...

Давайте торопиться!.. Монмартр тяжко дышит и грозится опуститься в тартарары... В прошлом году на месте огромного платана наутро зиял глубочайший провал! Поедемте?! Только взглянем на церковь... А потом поужинаем в русском ресторане... Можно поехать в «Максим». Вы увидите настоящих русских официантов старых времен... У них такая странная форма! — мужчины — в плисовых штанах и шелковых рубахах, девушки — в сарафанах и кокошниках. Ну, впрямь, как в сказке. Там, я думаю, кусочек нашей с вами Родины.

— Нет, Жюльен. К сожалению, нет! Родины не найти нигде, кроме как на Родине. Там, где родные тебе поля, леса и реки, где люди живут все для всех, а не для себя самого... Где все твое, родимое. И никто, поверь мне, не увез в добровольное изгнание на чужбину даже малюсенький кусочек Родины: ни те, что бежали от гнева бедняцкого, ни сбежавшие от дури своей!..

Не знаю, понимаешь ли ты меня?! Ты-то сам больше француз, наверное?

— Да, так считают мои знакомые и друзья, потому что в общении с ними я никогда не затрагивал самое потаенное. Знаете, я очень любил своего деда. Он умер от горя, хоть врачи считали его душевнобольным. Они были французами, поэтому им была непостижима его болезнь! Его тоска, его грусть и позднее раскаяние. Он прожил здесь тридцать лет, но не знал французского языка, как не знали его почти все, живущие в Бийанкуре. Когда он жил с нами, то из всех линий метро знал единственную с конечной станцией Булонь-Бийанкур... Потом он уехал от нас... Вернее,

ушел туда, где, по его словам, вообще не нужно смотреть на иностранные физиономии... Он переселился в дом для русских эмигрантов на улицу Лурмель, а затем в Нуази ле Гран. Эти приюты были построены на средства Анны Ахматовой и Караваевой, которую после этой милости русские прозвали Матерью Марией. Потом она стала самой бесстрашной русской женщиной в Сопротивлении, ее сожгли, как Жанну Д'арк, гитлеровцы... В Майданеке или в Бухенвальде... Ну а те, кто пережил войну, остаются русскими до смерти. Даже мои старики, дорабатывая до пенсии сегодня на «Симке», почти безвыездно живут в нашем старом районе... И говорят на русском языке...

В детстве меня манило в Союз любопытство. Ну, а с юностью ко мне пришло чувство, будто я лишний здесь. Понимаешь, чужой и ненужный! Но, вместе с тем, я почувствовал тогда, что знаю, зачем живу! Уверился в том, что меня ожидает Родина моего деда, отца и матери... Знаешь, я, наверное, волнуюсь и не могу точно выразить свои мысли.

— Нет-нет, Жульен. Я все понимаю... Говори!

— Я неправильно сказал... Я прочувствовал тогда, что далеко на востоке меня ожидает не чья-то, а моя Родина. Вот так точнее, понимаешь?

— Скажи, а почему вы не вернулись домой?

— Знаешь, первые потрясения, связанные с потерей дома, Родины у моих притихли, когда началась война. И на первое место выдвинулся наш исконный, не зависящий от условий и места жительства, сугубо русский патриотизм. Мы знали, что только в активной борьбе с бошами поможем нашей России... Они ушли в маки. Били фрицев... И победу, здесь, в Париже, встречали в едином строю с Красной Армией, которая спасла и Россию, и Париж, хоть здесь и не было русского солдата... Здесь кичились открытием второго фронта... но все понимали, что в сорок четвертом он... русским не был нужен, ибо победа уже была предрешена. Ну, а потом, в пятьдесят третьем, умирал дед, после его смерти нам отказали в выезде. А здесь всех запугивали — говорили о том, что в России они не смогут прокормить своих детей, которые, ко всему, вряд ли выживут, так как возвращенцев наряду с репатриантами селят на дальних северных окраинах или, в лучшем случае, в Сибири.

У знаменитой, застывшей в лучах прожекторов Триумфальной арки одиноко стояли две советские «Волги».

— Смотри, Жульен!

— Да, это приехали советские туристы.— Глубоко затянулся табачным дымом и добавил: — К несчастью, тогда и их не было...

Они миновали дворец Шайо, проехали оживленными в поздний час Елисейскими полями, пересекли у площади Согласия тихую Сену и, не доезжая фешенебельной Риволи, свернули к Булони.

— Разрешите мне приходить к вам? — спросил он, останавливаясь на улице Севр.

— Я всегда буду рада вам, приходите...

Более года потратила Нина, добиваясь разрешения вернуться на Родину. Наконец в июле она поставила свою подпись в журнале для иностранцев консульства Австрийской республики, получив долгожданную визу и право на проживание в стране, с которой началась ее заграница...

За это время она дважды пообщалась с обогащенным судьбой-злодейкой владельцем супермодного косметического салона в Майами Виктором Далем, не решившимся взять в компаньоны своего любимого брата Фиму, но предоставившему ему место старшего кассира с ежедневным материальным отчетом, жестко контролируемым боссом Витей.

Даль, безусловно, преуспевал. Он был честен в делах, потому как никому ничего не доверял, был строг, потому что был зол, был самолюбив, потому что богат: он стал отцом почти троих детей, потому что двоих уже имел, а третий должен был явиться на свет Божий поздней осенью, потому что супруга его слов на ветер не бросала и принесла сначала двойняшек Джона и Джоан, и на подходе была Джулия, если девочка, Арчил, почти Арон — в честь деда, если мальчик.

Деньги, вырученные им после дешевой распродажи Нинкиного имущества, были своевременно телеграфированы в Париж, и они-то и явились единственным средством к существованию молодой женщины, предлагавшей свои услуги и высшее образование всем возможным и невозможным фирмам, которым требовались, понятно, через биржу труда, желание, ум и руки...

— У нас много безработных, но мы их знаем,— ответили ей на одном из заводов.— Они — французы. Но и для них у нас нет мест сегодня. Вас же не знает никто. Вы иностранка. К тому же, из России. К сожалению... Прощайте...

И если бы не Жульен, который проводил все свободное время в однокомнатной квартирке пятого этажа по улице Севр, выхлопотанной прелестной соотечественнице Егором

Пуховым, жизнь Нины потеряла бы всякую эмоциональную окраску и смысл. Жульен не позволил ей замкнуться в порочном круге несчастий и разочарований: он познакомил ее с городом своего детства, юности и отрочества и, окончательно влюбившись, признался, наконец, в своем чувстве родителям, которые и сами души не чаяли в этой «чудной девочке» после первого же ее визита в их старую квартиру в том же злополучном пятнадцатом городском округе, где прошли их детство и молодость, и если бы не мечта о возвращении на Родину, то, возможно, и вся жизнь, проведенная на чужбине.

Нина принимала ухаживания Жульена с пониманием, интересом, с благодарностью, наконец, с каждым днем привыкая к нему все больше; тревожась, если он опаздывал к перенесенному на шесть часов обеду, поила его горячим молоком с медом и подогретой «Бурбуль» при простудах и даже, просматривая семейные фотоальбомы Ростовцевых, прекратила давать советы, на какой из прошлых почитательниц он, по ее мнению, должен был бы жениться...

Авизо [1], полученная ею от местного департамента по делам иностранцев, предполагала пересечение границы мадемуазель Семиной в течение ближайших восьми дней, была прочитана Жульеном с видом приговоренного к гильотинированию. Но что поделаешь?! Се ля ви...

Каплей единой булькнули в океан мироздания семеро суток и, уместив свой нехитрый багаж в трех чемоданах, с фиалками в руках и солеными слезами Егора Пухова на щеке, мадемуазель Семина кинула долгий прощальный взгляд на свое временное пристанище, черный, замшелый снизу камень ограды, на старую улицу Севр, улыбнулась безоблачному в утро свершения небу и склонила голову на плечо убитого горем Жульена.

— Я буду ждать тебя! — пообещала она в Ле-Бурже, и он еще долго стоял у решетки тоннеля для пассажиров, провожая взглядом ту, что стала для него дороже жизни...

В Швезате водитель такси погрузил ее чемоданы в багажник горящего черным лаком «мерседеса», внимательно выслушал «такую красивую парижанку» и доставил без промедления в маленький отель «Вендль», удачно пристроганный к площади, освященной величественным храмом святого Петра, где, пусть и с трудом, госпожа Семина получила удобный полнометражный номер с видом на огром-

---

[1] Авизо *(франц.)* — извещение.

ный собор святого Стефана, монументальные башни которого видны из любой точки древнего красавца города, пересеченного голубым, что, конечно, ошибочно, потому как он серый, Дунаем.

К вечеру Нина спустилась вниз и, взяв у портье небольшую карту центра города, на которой карандашом было помечено местоположение отеля, вышла на закрытую для транспорта, отданную в полновластное владение пешеходов широкую, шумную и веселую Грабен с зеркальными витринами магазинов. Подошла к Колонне Чумы, воздвигнутой благодарной нацией в епоху Ренессанса по случаю избавления от черной смерти, поужинала под цветастым зонтом в зеленом уличном ресторанчике, погуляла по внутреннему городу и к ночи вернулась к себе, еле волоча ноги. Но ни волнения последних дней, ни утомительное путешествие, ни даже вечерний променад неоновым Рингом не позволили ей уснуть. Она лежала в удобной постели уютного номера, в сотый раз разрабатывая план действий, продумывая и отвергая возможные варианты своего поведения, но не находила нужных слов, которые убедили бы, заставили поверить и тем самым определить ее дальнейшую, исковерканную сегодня судьбу.

«Прийти и покаяться,— решила она, вспоминая детские проказы, материнскую непереносимость слез и ускоренное, таким образом, прощение. Но тут же в памяти почему-то возникали слова: «Москва слезам не верит!» Признаться, что любила?.. Ну и что? — задала она себе вопрос, превращаясь в строгого оппонента: «А почему не уберегли любимого вами человека от дурного поступка? Да и кем вы ему доводились: женой, любовницей?»

— Нет,— вслух произнесла она.— Нужно рассказать все без утайки. Только правду,— а там будь что будет. Об отце и о погибшей матери. О том, как нравилась жевательная резинка и белые джинсы. И о том, как Каган часы подарил японские... Зачем я приняла их тогда?

«Ну что вы, Нина Андреевна?! Это же мелочи...»

— Мелочи? — повторила она.— А потом сколько было еще мелочей, и к какому падению привели меня... эти мелочи...

Наскоро позавтракав, она поехала на Райхсбрюкке, отыскала советское посольство, долго бродила вокруг него, так и не решившись войти в незапертые двери...

К полудню ноги привели ее в Пратер, чрезвычайно оживленный в районе детского сказочного городка... Перегоняя друг друга, управляемые белокурыми мальчишками и дев-

чонками, мчались широкими дорожками пестрые минидаймлеры, самокаты, велосипеды и прочая техника. Обменивались последними новостями седенькие бабушки, попыхивали сигарами и трубками степенные дедушки, чинно катили нарядные детские коляски молодые мамы,— Пратер жил безоблачной мирной жизнью.

Она присела за свободный столик в открытом кафе, горько улыбнулась сквозь слезы чьему-то задорному смеху и, вспомнив свою дурную привычку, закурила.

— Боже мой! И в Австрии все женщины курят. Что они находят в этом хорошего? Стасенька, ты мне можешь объяснить? — сказала по-русски седоватая дама подтянутому сухопарому мужчине лет пятидесяти.— Знаешь, у нас дома на каждой пачке сигарет написано: «Минздрав предупреждает — курение опасно для вашего здоровья». А в Америке ты видел такое, Стасенька?!

— Капиталистам, Идочка, категорически безразлично человеческое здоровье. Представь себе на минуту владельца табачной фирмы, рекламирующего таким образом товар,— рассмеялся он.

— Вы русские? — неожиданно для себя спросила Нина, резко повернувшись и не успев даже покраснеть от непрошеного вторжения в разговор незнакомых людей.

— Русские, конечно, русские! — доброй улыбкой ответила ей женщина.— Мы из Львова. А вы откуда?

— Я киевлянка...

— Идите к нам. Скорее. Ну, пожалуйста, за компанию!

— Прошу вас! — поднялся мужчина,— Будем знакомы, Станислав. Моя жена — Ида.

— Нина...

— Выпьем за знакомство, Ниночка?!

— Спасибо... Я только кофе, если вы не возражаете?

— Три коньяка и черный кофе,— заказал Станислав и, будто оправдываясь, добавил.— Разделите нашу радость, Ниночка. Нам разрешили вернуться.

Его слова обожгли ей лицо, укрыли красными маками шею и грудь и застыли под сердцем.

— Куда? — едва выдавила из себя она.

— Как это, куда? В Союз... Домой, конечно!

— Как вы добились?

— Как! Очень просто... Пришли в посольство, объяснили. Нам поверили. Мы же не какие-то бездомные...

Беседуя с новыми друзьями и единоверцами в зеленом вековом парке, она увидела и зарегистрировала навсегда в памяти, в крови, в сердце, новый для себя Пратер —

лесопарк боли и скорби, раскаянья и горьких слез человеческих...

Ровными и ухоженными, отороченными стриженой жимолостью, бегущими к Дунаю аллеями, бродили, не зная куда деться от тоски своей, многие сотни изнуренных, пепельнолицых людей в ожидании чуда...

Но молясь о свершении чуда этого и ЯХВЕ, и ИЕГОВЕ, и РОДИНЕ непреложной и единственной, проклятой, преданной и покинутой ими однажды...

ЭПИЛОГ

Погожим летним днем, когда щедрое на загар солнце уже отработало наиболее напряженную половину благодатной дневной смены и, перевалив зенит, принялось с особой тщательностью рассматривать и ласкать золотые купола Лавры и серебрить белокаменную Русановку,— узкой полоской берега к одному из пляжных «лягушатников» шла молодая, красивая женщина с бесштанным карапузиком, прилепившимся к ее груди и обвившим ручонками материнскую шею. Она вошла в воду, поставила малыша на ноги, приладила на его грудочке эластиковые ходунки и, прочувствовав полную безопасность, он умильно плюхнулся на животик и, высоко подняв головку, смешно заколотил ручонками по воде.

А женщина, склонившись над ним, счастливо улыбалась, легкий ветерок играл пышным стожком его смолянистых кудряшек и уносил вдаль волшебные звуки материнского голоса.

— Ну, давай, давай! — ласково повторяла она.— Учись, родненький мой. Ножками, ножками! Плыви, солнышко мое ненаглядное!..

— Тетя! Дайте нам его, мы осторожненько! — попросили окружившие их быстроглазые девочки.— Тетя, ну пожалуйста.

Мать ласково посмотрела на их задорные загоревшие личики, весело улыбнулась и, будто оправдываясь, сказала:

— Нельзя, детки...

— Почему, тетя?

— Страшно, миленькие... да и папка у нас очень строгий!

Она прилепила мальчонку к груди и направилась к буйным зарослям днепровского лесопарка. Навстречу ей с одного из многочисленных стоящих в тени векового дуба лежаков поднялся ладно скроенный высокий мужчина с вьющейся

копной смоляных волос и лучистым взглядом задорных оливковых глаз.

— Пойдешь к папке? — тихо спросила она, опуская сынишку на зеленую лужайку.

Он пошатнулся на нестойких еще, чуть кривеньких ножках, неуверенно выставил вперед ручки, промурлыкал что-то нечленораздельное, оголив в улыбке белоснежные зубки, и бодро шагнул навстречу крепким отцовским рукам.

— Еще, миленький, еще!.. Молодчина! — подбадривал отец каждый его шажок, а затем оторвал малыша от земли, высоко поднял над собой, усадил на плечи и подал жене руку.— Егорушке спать пора. Пошли домой.

— Разве уже время? — удивилась она.

— Я думаю, что да.

— Не нужно, Жульен. Если он сейчас поспит, то ночью играть захочет. А тебе завтра в рейс.

— Ну, смотри сама. Только в машине он все равно уснет. Давай отвезем его к маме и в музкомедию сходим. Я же тебе обещал.

— В другой раз пойдем. Тебе отдохнуть нужно,— прижалась она к его руке.— Домой хочу...

1978 — 1980 гг.



ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА

Я писал эту книгу с единственной целью — хотел серьезно и начистоту поговорить с читателем о самом страшном и горьком в жизни — отказе от своего Отечества. О добровольной потере Родины, родного языка, своей культуры, возможности каждодневного общения с теми, с кем ты вырос и жил бок о бок в горе и в радости...

В числе твоих знакомых, мой друг-читатель, наверняка есть старики, детей которых толкнула нелегкая на «воссоединение семей».

Задавался ли ты вопросом: «Кто поможет сегодня этим пенсионерам?»

«Кто закроет им глаза завтра?»

«Кто помянет их в дни сыновние и принесет на могилу цветы?»

Еще с семидесятых годов в нашу страну заслано свыше миллиона вызовов для так называемого «воссоединения» семей. Все они, за редчайшим исключением, невзирая на место и время их отправки в СССР, родились в одном офисе, под одной крышей. Вызовы, подписанные гражданами Израиля за деньги или под угрозами представителей СОХНУТ, вызвали у адресатов в СССР далеко не однозначную реакцию. Основная масса советских людей, патриотов своей страны, для которых не существует вопроса оставаться дома, на родной земле, или покинуть ее, с возмущением уничтожала вызовы от лжедядей, лжедедушек и лжебабушек. Но, к сожалению, были и такие, которые покинули Родину,

став лишними гражданами в странах воссоединения, изгоями и космополитами.

Я не могу понять, зачем реализовывать законы, разъединяющие семьи в угоду крайне реакционной политике, выражающей интересы оголтелой кучки сионистов, в обмен на некоторые экономические выгоды,— потери наши не восполнятся никакими миллионами долларов.

Сколько раз задыхалась в пожарищах наша земля, сколько слез выплакано на ее пепелищах. Сколько снега на висках поколений в память о тех, кто прикрыл ее, растерзанную, заплатой из своего тела.

Вспомним круги ада Освенцима и Бухенвальда, Треблинки и Майданека, Хатыни и Янова, Дробицких и Бабьих яров. Вспомним растерзанные арабские деревушки Дейр-Ясин и Кафр-Кассем, Пардес-Абу и Вади-Диоз, Сабру и Шатилу, концлагеря Рамат Арнон и Фарах. И самое главное... Кровь не бывает голубой. Она красная: в гневе, горе и радости. Невинно пролитая в землю, она греет нас, живущих спасенным солнцем и жарким дыханием маков...

Вот почему я не желаю, чтобы мои близкие и родные встали под знамена, на которых начертано: «Землю без народа — для народа без земли!» Чтобы под этими знаменами погибали они в Газе и на западном берегу Иордана.

В романе показаны люди, ставшие жертвами идеологической диверсии, оказавшиеся на Западе в силу разных обстоятельств: одни из них выехали по религиозным убеждениям, другие, представители теневой экономики, созревшие, как им показалось, для «творческой жизни» в условиях свободного предпринимательства; третьи — эмиссары сионистских спецслужб, выдававшие себя в СССР поборниками прав человека, а на поверку оказавшиеся аферистами, не имеющими ничего святого и мечтающими о западных свободах в обмен на оболганную ими свободу на Родине; а кто-то думал: «...Просто уеду, джинсы белые с курточкой куплю, чтоб манжетики только раз подвернуты... и машина... Чтоб как у людей, в общем. Ну, а потом приеду и пройдусь по Крещатику... Сила!»

К сожалению, встречаются еще люди, отучившиеся прислушиваться к голосу разума, пренебрегающие элементарной человеческой логикой.

Они отказываются от прошлого и будущего, не понимая и не признавая главного: изменение социального строя не может зачеркнуть память, не стирает то, чем ты жил, в чем суть жизни. Не убьет то необъяснимое НЕ́ЧТО, что нельзя ни пощупать, ни понюхать, но то, что до смерти будет любимо и свято, то, что зовется Родиной.

Ну, а если Израиль? Тот исконный, заповедный Израиль, где его сын, напялив военную форму, научился воевать с безоружными?

Тот правдивый Израиль, обманом заманивший еврея на корабль, который скрипит и раскачивается в волнах разбушевавшегося моря среди грозных скал в то время, как капитан спит в своей каюте, а рулевой в отчаянии крутит штурвал, не зная точного маршрута; компас сломан, а карта не точна; работающие на пределе помпы безрезультатно откачивают просочившуюся в трюмы воду, а реи на мачтах сломаны. Корабль застрял на мели. Где разместить вновь прибывших? Неужели они будут сидеть на чемоданах и ждать, пока в сухом доке произведут капитальный ремонт судна? Или начнут искать прибежища в других странах? Да-да, лучше пусть уйдут и постучатся через год, но они им ничего не обещают...

Тот благочестивый Израиль, где одна корова ценится дороже, чем сто переселенцев из стран Восточной Европы, где советского еврея приравняли к кусту, удерживающему пески. Им закрепляют захваченные у арабов территории.

И все-таки туда едут. В этом есть и наша вина, читатель. Пока они решали вопросы, связанные с эмиграцией, мы жили своей жизнью... Возле тех, кому «голоса» советовали бежать из Союза, никого не было рядом...

Как сказал поет:

...А мы спокойно спим,
едой, насытившись,
Не замечая этот страшный час...

Но еще не все потеряно! Нужно только бороться за человека, за каждого человека.

Негоже спекулировать на «духовном единстве всех евреев нашей планеты», на «неодолимой идее возврата» «к вратам священного Сиона», у которых соберется остаток насильственно удаленных из Палестины ветвей библейской смоковницы и спасется,— потому что это неправда. Еще до древнеиудейского восстания и разрушения Иерусалима римскими легионерами евреи расселились по странам Евразии. На пороге первого века, в преддверии христианства, в Палестине жило семьсот тысяч евреев, а за ее пределами — в Греции, Месопотамии, Сирии, Египте — во много раз больше. Только в Римской империи их было около четырех миллионов человек.

Филон Александрийский в первом веке н. э. писал... «Те города, где родились евреи, где родились их отцы, деды и прадеды... в каждом отдельном случае были, по их убеждению, их Родиной, Отечеством...»

Знали бы об этом наши отцы, введенные в заблуждение и покинувшие Родину по религиозным убеждениям. Ведь ничто и никто не мешает им отправлять веру здесь, дома...

Знала бы героиня романа Майка о том, что мировая наука пока еще бессильна в неравной схватке с запущенными формами некоторых органических поражений, не поверила бы отравленному сионистской пропагандой авантюристу-мужу...

Окажись возле Аси надежный друг, на которого можно во всем положиться, и не было бы ни горя, ни потерь...

Если бы мы, читатель, были рядом с ними...

Ну, а пока... в Вене тысячи бывших граждан СССР стоят в очереди перед нашим посольством и просят о возвращении домой.

Еврейская колония в Остии, под Римом, согласна на все, только бы не возвращаться в Израиль, откуда они через Стамбул, Пирей, Марсель чудом выбрались из сионистского «рая».

Сегодня тысячи бывших советских граждан просят израильские официальные власти вернуть их на Родину, покинутую ими однажды...

Низко склоняю голову перед Родиной моей и, закрыв глаза на заблуждения, обман или

сумасшествие тысяч обманутых нынешних обитателей венского Пратера, римской Остии, израильской Хайфы, молю: «Страна моя великая! Прости их! Они не знали, что делали...»

Я ни в коем случае не задавался целью нагнетать напряженность, взвинчивать эмоции, сеять раздор. Сейчас самое главное — объективность и правда.

И если пролилась хоть одна детская слеза, каждый порядочный человек, независимо от его политических, идеологических, религиозных взглядов и вероисповедания должен честно сказать об этом и сделать все, чтобы не усугублять людские беды и горе. Во имя человека написан этот роман, боль за судьбы людские помогала автору освоить эту довольно противоречивую и малоисследованную в литературе тему.

Измаил ЗАСЛАВСКИЙ

Литературно-художественное издание

Заславский
Измаил Анатольевич

ИСХОД

Роман

Киев, издательство «Радяньскый пысьмэнных»

Художник Л. А. Бернат
Художественный редактор В. С. Соловьёв
Технический редактор Н. М. Самойличенко
Корректор А. А. Холоша

ИБ № 3563

Сдано в фотонабор 11.09.90. Подписано в печать 02.11.90. Формат $84\times108^{1}/_{32}$. Бумага типографская № 2. Гарнитура тип Таймс. Печать высокая с ФПФ. 22,68 усл. печ. л. 22,89 усл. краскоотт. 25,23 уч.-изд. л. Тираж 165 000 экз. (1-й завод 1-65 000 экз.). Зак. 374. Цена 2 р. 50 к.

Издательство «Радяньскый пысьмэнных»,
252054, Киев-54, ул. Чкалова, 52.

Харьковская книжная фабрика имени М. В. Фрунзе,
310057, Харьков-57, ул. Донец-Захаржевского, 6/8.

2 р. 50 к.



PHOTOS BY ANDREY G AKA DONUT190